

Юрий  
Назубин

ПРОРОК  
БУДЕТ  
СОЖЖЕН

Юрий  
Назубин



**ПРОРОК**

**БУДЕТ**

**СОЖЖЕН**

Москва «Искусство» 1990

Printed in

ББК 84Р7=4  
Н 16

Н  $\frac{4702010201-113}{002(01)-90}$  Без объявл.

© Ю. М. Нагибин, 1990

ISBN 5-212-00386-5

---

## Надгробье Кристофера Марло

---

— Если чума в Лондоне продлится хотя бы еще месяц, Дептфорд несомненно обретет высокий чин города, — говорил Кристофер Марло, актер и поэт, молодому аристократу по имени Кеннингхем. — Кабаки растут, как грибы, что ни день открываются новые гостиницы и постоянные дворы. Вчера зажегся красный фонарь первого публичного дома.

— Он скоро погаснет, — меланхолически произнес высокий, стройный, весь в черном, Кеннингхем. — Местным девкам не выдержать конкуренции нахлынувших сюда лондонских шлюх.

— Лондонских дам, хотите вы сказать.

— Это одно и то же, — небрежно уронил Кеннингхем. — Профессиональные шлюхи верны Лондону. Они там нарасхват. Чума неизмеримо повысила цену наслаждения. А дамы, нашедшие приют в Дептфорде, вознаграждают себя за утрату столицы языческой свободой.

— Да... — согласился Марло и притуманился, замолчал.

Они стояли посреди главной улицы селения, пыльного большака, заросшего по обочинам лопухами, подорожником, чертополохом, еще не распустившим свои пунцовые, душно пахнущие соцветия. Сельский вид улицы не соответствовал ее населенности, нарядности толпы, изысканным туалетам дам, обметавшим пыль Дептфорда атласными и бархатными юбками. Пересохшая в майское бездожде глинистая почва порошилась красноватым прахом, ярко окрашивая женские подола, головки мужских замшевых сапог, копыта лошадей, колеса карет и телег. Гарцевали всадники, искусно горяча статных, тонконогих коней. За стеклами карет мелькали перья, меха, драгоценности, по гербам на дверцах можно было узнать самые громкие имена Англии. Каретам уступали дорогу, опасно сворачивая впритык к домам, телеги, груженные мясными тушами, битой птицей, мешками с мукой, вонькой рыбой в бочках. Не в силах прокормить нахлынувшие толпы, Дептфорд скупал продовольствие в окрестностях.

— А что погнало сюда вас — Кристофера Марло,

чувствующего себя в царстве смерти едва ли не уютнее, чем среди живых? — Кеннингхем улыбался редко, и узкая, неразвернутая улыбка неожиданно шла к его удлинённому, бледному до проголуби, как у всех рыжих, лицу проблемском далеко запрятанного мальчишества.

— Боже мой, Кеннингхем, театр бежал из Лондона, едва первая чумная крыса завертелась волчком. Вы же знаете, бедные, бездомные, отрешенные служители Мельпомены осторожны и пугливы, как олени. А что я без театра? К тому же я скоро заканчиваю новую пьесу и хочу ее тут поставить.

— Надеюсь присутствовать на премьере, — церемонно произнес Кеннингхем.

Марло знал, что слова эти продиктованы вовсе не пустой любезностью. Едва ли был в Лондоне человек, так ценивший и понимавший драматическую поэзию, как Кеннингхем, никогда не прикасавшийся к перу. В последнем Марло был уверен, иначе Кеннингхем хоть бы раз проговорился ревнивой завистью. Но все его оценки отличала чистота искренности и бескорыстия, при живой, даже страстной заинтересованности, хотя спокойная, чуть меланхолическая, печально-важная повадка молодого аристократа, казалось бы, исключала всякое представление о сильном чувстве.

Но Кристофер Марло видел его куда проницательнее, нежели другие люди из окружения Кеннингхема, принадлежащие к породе друзей-собутыльников. Холод, достоинство, важность не по годам — Кеннингхему не было и тридцати — защищали душу нежную и ранимую.

— А вы, Кеннингхем, неизменный председатель пиров в зараженном Лондоне, почему вдруг покинули ее величество чуму? Сюда доходили слухи, что вы поклялись хранить ей верность до конца, как некогда Вальсингам.

Бледные щеки Кеннингхема чуть порозовели.

— Что стоят клятвы в наше время? Мери вдруг захотелось жить. Вы помните Мери, Кристофер?

— Конечно! — воскликнул тот, и перед ним живо встал милый образ молоденькой девушки, которую Кеннингхем перед самой чумой привез из своего корнуоллского поместья.

Она была простолюдинкой, но, видно, голубая кровь Кеннингхемов подмешалась к алой струе, гулявшей по жилам ее предков. На округлом деревенском личике с матовой, не поддающейся загару кожей плакали без слез иссиня-черные, огромные, удлинённые глаза с поволокой.

А рот, большой, нежный и вместе решительный, рисунком и цветом палевых губ смягченно повторял смелый рот Кеннингхема. Им хорошо и удобно целоваться, вскользь подумал Марло и почему-то вспомнил, что наложницу-певунью Вальсингама тоже звали Мери.

— Мери обнаружила, что любит меня, и захотела будущего. Но кто знает, не носим ли мы уже смерть в себе.

— До сих пор никто из беженцев не заболел.

— И это странно. Сомнительно, чтобы бежали только незаразившиеся.

— А если они потому и бежали, что здоровы? А те, в ком уже гнездится болезнь, лишены спасительного побуждения?

— Значит, Мери здорова, — задумчиво сказал Кеннингхем, — она рвалась прочь из Лондона. Она, такая покорная, тихая и... обреченная. Мне казалось, что ее уже поманила смерть и — природе вопреки — она решила вырвать для себя немного жизни и любви. Признаюсь, Кристофер, когда я целую Мери, то всегда вспоминаю слова Вальсингама из «Гимна о чуме» о свежем дыхании девы, быть может, полном чумы.

— Неужели вы так боитесь смерти? Вы, черный председатель чумных пиров?

— Вы полагаете, я говорю о смерти из страха? Смерть — самый красивый символ Творца и самый непонятный. И мне с отрочества хотелось постигнуть его тайный смысл. Мне кажется, поняв это, я пойму все... На чумных пирах — ваше выражение — меня порой будто осеняло что-то. Еще бы немного, чуть-чуть и... Но вот этого чуть-чуть всегда недоставало. Я наблюдал окружающих, самого себя, если только возможно наблюдение над собой. И, в сущности, не увидел ничего нового: разные степени страха, заглушенного вином, бравадой, хвастовством. Впрочем, случались и взрывы истинного отчаяния. Это было глубже. Но даже чующие смерть в себе, верные кандидаты в покойники, ни словом не проговорились. В Лондоне злоязычили, что наши пиры разнузданны, оргиастичны, что все кончается чуть ли не свальным грехом. Возможно, тут сказалась память о шестьдесят пятом годе. Вальсингам допускал многое. Он хотел забыться. Потеря жены, потом матери что-то нарушила в нем. Но вы же знаете меня, — разве я позволю?.. Да еще в присутствии Мери. Конечно, были и поцелуи, и объятия, иные пары уединялись, но так происходит всегда, когда люди много

пьют. И не в этом состоял смысл. Гости собирались и ждали, чье место окажется незанятым. Тогда подымали тост за выбывшего или выбывшую, отдавали должное погасшему человеку. Потом начинался пристойный, истовый пир. Кто-то пел, кто-то читал стихи, а кто-то беззвучно плакал. Порой смех сменялся стоном, шутка — криком боли. Но распускаться никому не дозволялось. И тень вечности склонялась над нашим столом. Тон задавали — важность, достоинство, сосредоточенность.

И скука, добавил про себя Марло. По мне куда лучше оргии Вальсингама. Недаром так бесились церковники!.. Марло не любил разговоров о смерти, ибо считал, что настоящая, действенная жизнь налита сутью до края, как заздравная чаша вином. Потусторонний мир хорош для литературы. Марло не верил в него, хотя никогда в том не признавался. Загробная жизнь — поэтическая предпосылка, обретавшая под пером Марло пряный, густой аромат настоящей мускульной жизни. Он не соблазнялся раем, не боялся ада. Он верил в Океан. Там были бури и постигаемая беспредельность. Там, в глубине зеленых вод, обитали загадочные существа, неизвестные формы жизни и, быть может, потонувшие миры. Там были острова и земли, населенные страшными и прекрасными людьми с черной, как сажа, и красной, как вино, кожей. Там скрывались неисчерпаемые сокровища — золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Там возбуждался человеческий дух, подымался до подвига, безоглядного риска, разбоя, убийства. Но это — пена, сметаемая ветром с тяжелых океанских волн. А сам Океан, неукротимый, беспредельный, — чист и безгрешен. Омыть душу Океаном, что может быть прекраснее на свете!

— Я не участвовал в сражениях, — гнул свое Кеннингхем, — не испытывал морской бури, убийца не заносил надо мной кинжала, и самое сильное, что я испытал, — это чума. Лишь она дала мне подняться над обыденностью.

— О, Кеннингхем, — все еще во власти захватившего его образа произнес Марло, — чуму разносят крысы. А есть Океан!..

Кеннингхем с любопытством посмотрел на собеседника.

— Скажите, Кристофер, что для вас самое важное, самое главное в жизни?

Марло почему-то ждал этого вопроса. Он хотел повторить Океан, но понял, что тут будет подмена изна-

чальной сути чем-то производным. Ответить же надо было всерьез, без кокетливого сдвига.

— Поэзия, — сказал он со смутным ощущением не точности.

— Нет, — сказал Кеннингхем, — так мог бы ответить я, если б для меня не было самым главным — любимая женщина. А для вас — творчество.

Марло наклонил голову. Он не произнес этого слова только потому, что оно звучало высокопарно и стыдно в применении к себе, он безотчетно пощадил Кеннингхема. Возможно, любимая женщина и была для него главным счастьем, но главной мукой — творчество, вернее, отсутствие творческой силы. Приверженность Кеннингхема к поэзии не была любительской — платонически безопасной страстью ценителя, знатока, литературного гурмана. Нет, она горько отдавала осознанностью собственного бессилия. Бедный Кеннингхем!.. Но как странно, что бывает творческий позыв без способности к деянию. Это все равно, что родиться для полета с грудью-килем и воздухом в костях, но без крыльев. Жестокая и бессмысленная игра природы!

— А что самое главное в творчестве? — допытывался Кеннингхем с наивным любопытством мальчика, старающегося выяснить, кто сильнее — кит или слон.

Всякого другого Марло, не задумываясь, послал бы куда подальше, — он ненавидел «литературные» разговоры, — но не славного Кеннингхема. И он ответил серьезно:

— Верить в то, что ты пишешь. Тогда все получится, как бы невероятно, дико, даже глупо это ни выглядело в замысле.

Кеннингхем молчал, он ждал пояснений.

— Простите, что сошлюсь на собственный пример, но ведь себя лучше знаешь. Вам знакома немецкая лубочная сказка о докторе Фаусте?

— Конечно. Еще с детства.

— И ваше впечатление?..

— В детстве — чарующее. Позже — грубое, убогое... Да, а Марло взял эту глупую выдумку и возвел в ранг высшей поэзии. Теперь я понимаю, вы верите во все это, в возвращенную юность, в Елену... — И он тихо прочел:

Так вот оно, то самое лицо,  
Что бросило на путь исканий сонмы  
Морских судов могучих и сожгло



Вознесшися башни Иллиона.  
Елена, поцелуй меня. О, дай  
Бессмертье мне единым поцелуем!  
О, ты прекрасней, чем вечерний воздух,  
Одетый в красоту миллионов звезд...  
Лишь ты одна возлюбленной мне будешь.

О, ты прекрасней, чем вечерний воздух!.. — повторил он, с силой вобрав в легкие аромат летнего подвечера, принявшего в себя дыхание трав с лугов, молодой листвы, раскрывшихся цветов и осилившего вонь харчевен, колесной мази и навоза. — Смотрите, Марло, ваш Фауст, в отличие от своего прообраза, выбирает не бога и вечное спасение, а Елену и вечность мига наслаждения. Значит, все-таки главное — любимая женщина?

— Мне трудно сказать вам «да», дорогой Кеннингхем, я еще не встретил своей Мери. Вернее, каждая женщина, когда я с ней, кажется мне Мери — единственной и вечной, простите, что злоупотребляю именем вашей прекрасной возлюбленной. Я без колебаний готов на смерть ради той, с которой нахожусь, но смерть не наступает, а жизнь незаметительно уводит меня прочь. И не было случая, чтобы я пожалел об этом.

— Так, верно, и должно быть. Любовь — творчество не одаренных натур. Лишь здесь они могут подняться до бога.

Можно сказать, что и чума была творчеством для Кеннингхема. Эти важные пиры, на которые допускались лишь избранные — аристократы духа, а не крови... Удивительно, что одно часто совпадало с другим. Казалось бы, людям, самим рождением поставленным над окружающими, избалованным, счастливым, труднее расставаться с жизнью, нежели пасынкам мира, а между тем последние зачастую проявляли куда больше жалкой растерянности перед лицом гибели. Наверное, расстаться с жизнью, не вкусив ее сладости, труднее, чем изведав насыщение. Впрочем, едва ли это рассуждение справедливо. Что он знает о простых людях Лондона, тех, кто и в дни чумы продолжают тянуть привычную ляжку, не одурманенные тяжелым вином, любовью, музыкой, извращенным тщеславием? Быть может, высшее мужество — в лачужках, а не в пышных декорациях, дающих приют красивой обреченности. Кстати, милый Кеннингхем и тут не проявил творческого духа. Он заимствовал и маску, и самую идею пира у таинственного Вальсингама. Конечно, он придавал всему отпечаток собственной личности, но все равно, если это и творчество, то эпигонское...

Разговаривая, они медленно двигались по улице в сторону базарной площади. Чуть не из каждой двери тянуло кислым запахом пива — добропорядочные домики превратились в распивочные, а их владельцы с чадами и домо-чадцами — легкой наживы ради, — перебрались в сарай, овины, погреба. Но все равно не хватало места под крышей всем желающим залить внутренний жар, и, подобно знаменитой лондонской Пивной улице, с краю базарной площади раскинулась поднебесная пивная. Гигантские бочки стояли прямо на земле, в окружении лотков с копченой, вяленой, соленой, жареной рыбой, подсолненными ячменными хлебцами, оливками и моченым горохом. И жаждущие заливали в свою бездонную утробу золотистую благодать из четырехпинтовых оловянных кружек.

— Прекрасная тема — чума-созидатель, — со смехом сказал Марло. — Никакие победы отечественного оружия, успехи ремесел, открытия новых земель, завоевания и торговые союзы не обогащали так Дептфорд, как чума. Сколько новых зданий построено и строится, сколько увеселительных мест возникло, сколько денег и товаров пришло, сколько золота прибавилось в сундуках, как утончился вкус, облагородились нравы. Сейчас в Дептфорде — лучший английский театр, красивейшие женщины, изысканнейшие кавалеры. Дептфордцы узнали, что с обидчиком можно расправиться не только с помощью дубинки, но и благородной сталью, что куда надежнее. И не обязательно обращаться к мировому судье в случае тяжбы, можно подослать наемных убийц. Они услышали модные песни, узнали новые игры и новые способы плутовства. Они впервые увидели Аристократа, Ученого, Поэта, Актера, Франта, Мота, Шулера, Авантюриста, Шлюху. Не знаю, завезут ли сюда чуму, но сифилис — непременно. Наверное, им трудно будет возвращаться к прежней сельской идиллии, отведав столь хмельного напитка. Я склонен думать, что селение уже погублено без чумы. Добрые дептфордцы развращены шальными деньгами, продажной любовью, азартными играми, пошлостью бивачных настроений.

— Позвольте! — засмеялся Кеннингхем. — Вы собирались произнести похвальное слово чуме. Чуме — созидателю. А свернули на скучное морализирование. Вы все-таки не любите чуму, Кристофер!

— Нет, — признался Марло, — хотя мне по нутру возбуждение, которое она с собой несет. Но смерть от чумы

не имеет ничего величественного, даже просто привлекательного. Она мучительна, неопытна, вонюча. Как источник гибели прекрасен Океан, он поглощает тебя без остатка, и ты не гниешь заживо, отравляя воздух. Ты скрываешься в пучине и, кто знает, быть может, очутишься в сказочном подводном городе.

— Почему вы не подались в корсары, Марло? Они обычно тем и кончают.

— Возможно, я еще сделаю это. Порой я чувствую такое напряжение жизни, что ни сцена, ни стихи, ни любовь не приносят утешения. И тогда я мечтаю об Океане.

Кеннингхем пристально посмотрел на Марло, на его сильное, поджарое тело, худое лицо с тонкими, раздувающимися ноздрями и трепетными ресницами, страстное, тревожное и незащищенное лицо человека, подчиненного какой-то тайной власти, и гибельное предчувствие сжало ему душу.

— Послушайте, Кристофер, мы живем в дурном, грубом, разнузданном мире. Высшая доблесть — не вступать в обмен ударами...

— Почему вы мне это говорите? — недовольно прервал Марло. Ему претили наставления даже близких людей.

— Не знаю. Мне хочется, чтоб до бессмертия вы как можно дольше топтали нашу несовершенную землю.

— А я и не собираюсь умирать.

— Не умирайте, Марло, прошу вас. Хотя бы ради меня.

— Скажите, Кеннингхем, — Марло улыбался, но в голосе его против воли пробились тревожные нотки. — Вы так долго были в царстве чумы, что, наверное, видите скрытое от других. Может, на моей шкуре уже проступили знаки болезни?

— Господь с вами! Просто я люблю вас и мне спокойно.

— Напрасно! Знаете, что я сейчас сделаю? Пойду к своей любовнице и проведу с ней тихий, семейный вечер, достойный дептфордского обывателя.

— Боюсь, что у вас несколько ложное представление о досуге здешних обывателей. Но бог вам в помощь. Пойдите! — сказал он, заметив движение Марло. — Я слышал, в «Глобусе» пошла ваша новая пьеса «Тит Андроник», почему вы ничего не говорили о ней?

Всей судорогой мышц Марло тянулся к жизни, а Кен-

нингхем еще не утишил литературного зуда. Марло пере-  
силил себя ради друга.

— По той простой причине, что у меня нет такой пьесы. И это уже не первый случай, когда мне приписывают чужое. Наверное, я мало пишу.

— А кто же автор?

— Некто Шекспир из Стратфорда на Эвоне.

— Ничего особенного?..

— Старые драмоделы перекрестили его в «Потрясателя сцены». Если начинающий автор с ходу вызывает зависть маститых коллег, он далеко пойдет. Я читал в списке его поэму. Клянусь, Кеннингхем, о нас вспомнят только потому, что мы были современниками этого парня.

— Меня увольте. Я — современник Марло.

— Спасибо, Кеннингхем. Мой почтительный привет Мери. Приведите ее в театр на моего «Эдуарда».

Не плачь о Мортимере, этот мир

Презрел он и, как путник, прочь уходит,

Чтобы открыть неведомые страны!..

И он устремился прочь упругой, неслышной, кошачьей поступью, ловко скользя в толпе, запрудившей площадь, и вскоре скрылся из вида...

... Марло нашел свою возлюбленную в задних комнатах третьего по счету трактира, куда он заглядывал в поисках темных глаз, белой груди и звонкого смеха. Они условились встретиться в другом месте, но Катарина почему-то предпочла их последнее убежище.

Она сидела у камина в кресле с прямой, высокой спинкой, вполоборота к жаркому огню. Крупная и плотная, Катарина постоянно мерзла, уверяя, что виной тому впитавшийся в кожу лондонский туман. Меж колен ее строился молодой человек, давно примелькавшийся Марло, хотя имени его он не помнил. Он постоянно наткался на этого молодца в театре, кабаках, знакомых домах, — тот был, видимо, из хорошей семьи и всюду вхож. Ловя на себе зачастую его собачий взгляд, Марло относил молодого человека к скучной и докучной когорте поклонников. И сейчас, застав его в позе весьма недвусмысленной — он обнимал пышный стан Катаринины и ласкал ее полюбленную грудь, Марло в первые мгновенья как-то не придал ему значения, сморгнул прочь, словно соринку. Он видел лишь Катарину, большую, праздничную, безмерно желанную, ее золотистые волосы и агатовые глаза, свежий рот и высокую белую грудь, которую она так охотно от-

крывала ему навстречу. Он не осознал поначалу, что сейчас эта грудь открыта вовсе не в его честь, что Катарина нагло, бесстыдно прелюбодействует у того же огня, что еще утром согревал их нагие тела, распростертые в блаженной усталости на зальсой шкуре белого медведя. Он видел только свое желание, ставшее нестерпимым вблизи утоления, — столь полного он не знал ни с одной женщиной, — и с присущим ему самозабвением уже погружался в сладкий омут счастья, как вдруг непредвиденная помеха хлестнула его по глазам репьевой метелкой.

— Ничтожная помеха, если б дело касалось другой женщины. Ничего не стоило прогнать этого щенка хорошим пинком в зад. Но он любил Катарину, сам не признаваясь себе в этом чувстве, любил, даже сделав окончательный вывод, что она законченная шлюха. Может быть, из-за этого он любил ее еще сильнее и обостренней. Она выдавала себя за знатную даму, попавшую в затруднительные обстоятельства. Как-то смутно тут участвовала чума, запутанное дело о наследстве, — Катарина носила вдовий траур, — козни врагов и судейская волокита. Она брала деньги с таким видом, словно намереваясь в ближайшем будущем не только вернуть все сторицей, но и озолотить своего любовника. Впрочем, что значили для нее его театральные гроши, когда она умело ощипывала таких вот богатеньких юных джентльменов, как этот Арчер, — вдруг вспыхнуло в памяти имя.

Марло привык иметь дело со шлюхами, их было у него почти столько же, сколько дам из общества, и он легко закрывал глаза на то, что давало им хлеб насущный, наряды и теплый кров. Он знал то выражение покорности и усталой скуки, с каким они отдавали себя клиенту. И гордился тем, что пробуждал в них бескорыстную женскую радость. Зачастую они вовсе не брали с него денег. Но эта дрянь умела совмещать корысть с наслаждением. Ее увлажненные губы были полуоткрыты, голова то и дело откидывалась назад, будто она подставляла лицо солнцу, а Марло слишком хорошо знал, что это значит.

— Мадам, младенец, которого вы угощаете грудью, несколько великоват, — произнес он звенящим голосом. — Я думаю избавить вас от него. Защищайся, мерзавец! — гаркнул он и, выхватив из-за пояса кинжал, кинулся на соперника.

Фрэнсис Арчер неловко вскочил. Он был года на два три младше Марло, но выше ростом и много тяжелее. Рос-

лый, плечистый детина, вскормленный деревенским молоком и маслом, сын разбогатевшего крестьянина-овцевода, выбившегося в джентри, не аристократ, не воин, не артист, не спортсмен, он оказался в неподходящей и крайне затруднительной для себя роли. На его благообразном, красновато-загорелом лице сменялись удивление, растерянность, испуг, жалкая надежда, что все происходящее окажется шуткой, горестная обида. Слепленный гневом и ревностью, Марло все же успел заметить эту странную игру чувств, как и железное самообладание Катарины. В той не было ни растерянности, ни тени страха. Какая-то брезгливая досада растянула и утончила ей губы. А не поспевшие за злобным чувством агатовые глаза победно сияли.

Так вот оно, то самое лицо,  
Что бросило на путь исканий сонмы  
Морских судов могучих и сожгло  
Вознесшиеся башни Илиона.  
Елена!..

Тонкая, острая сталь готова была коснуться груди Фрэнсиса Арчера, пронзить ему сердце, навеки лишив возможности обнимать женщин, пить вино, покупать красивую одежду, ходить в театр, восхищаться талантом Кристофера Марло и хвалиться перед друзьями знакомством с великим человеком.

Что ни говори, Марло проглядел своего величайшего поклонника. Арчер был тяжело помешан на Кристофере. Некогда его манила сцена и он мечтал стать актером, лишь угроза отца лишить наследства — весьма солидного — удержала его от решительного шага. Он увлекался поэзией и даже издал за свой счет небольшой сборник bucolических стихотворений, не растопивших ледяных сердец современников. Но его тяжеловесный дух не перестал томиться желанием славы. Где, когда и с чего пронзила столь неподходящая мечта сына богатого овцевода, остается тайной. Он не желал славы военачальника, морехода, проповедника или ученого, славы государственного деятеля, покровителя искусств или коллекционера, он хотел лишь славы Кристофера Марло, слагающего звонкие стихи и бросающего их с освещенной свечами сцены в потрясенный зал и за стенами театра остающегося таким же неистовым и прекрасным. Ему хватило трезвости довольно скоро понять, что на такую славу нечего рассчитывать. Он узнал, что Марло учился в Кембридже, следовательно

но, ему пришлось порвать со своей средой, чтобы стать актером. А он, Арчер, не смог расстаться ни с деньгами, ни с ласкающим душу званием эсквайра. И он смиренно решил: с него довольно и отблеска славы Кристофера Марло.

Фрэнсис Арчер не пропускал ни одного спектакля с участием Марло, он раздобыл списки всех его неизданных стихов, поэм, пьес и выучил их наизусть, стал бывать во всех домах и кабаках, где появлялся поэт-актер, ухаживал за теми же женщинами, спал с теми же шлюхами, сорил деньгами, одевался, как Марло, и так же заламывал шляпу, но никак не мог привлечь внимание к своей личности. С поразительной слепотой окружающие не хотели догадаться, на кого похож Фрэнсис Арчер. Возможно, вся беда заключалась в том, что ему не удалось стать достаточно близко к Марло. Он был слишком ничтожен, безлик, чтобы поэт заметил его. Не исключено, что порой Марло казалось, будто его тусклое отражение мелькнуло в зеркале, его тень скользнула в сумерках, его смех прозвучал в табачном дыму кабака. Но он не задерживался на этих странных впечатлениях, а другие люди, менее чувствительные и наблюдательные, вовсе не подозревали о потугах Арчера. Даже его имени никто не мог толком запомнить. В часы бессонья он с ужасом думал, что Фрэнсис Арчер, эсквайр, безнадежно канет в небытие, едва завершит свой безрадостный земной путь.

Не надо только думать, что Арчер любил Кристофера Марло и что к его тщеславным мукам примешивалась сердечная боль неузнанности. Нет. Кеннингхем, — тот действительно любил Марло и всем существом отзывался его поэзии. Арчер же пьянел от шума вокруг прославленного имени, все остальное играло второстепенную роль. Он был жалок в своей прикованности к образу Марло, но не трогателен.

Почему он оказался здесь, у груди Катарини? Арчер последовал за Марло, когда тот понял, что не может остаться без театра в чумном и веселом городе, и стал нести свою службу подражания и сопутствия, как прежде. Он вовсе не был роковым человеком, этот Фрэнсис Арчер, эсквайр. И никогда не рассчитывал сыграть роль в судьбе Марло. Ему бы хоть немного отраженного света... Едва увидев ту, которую называли «последней любовью Марло», он почувствовал, что может небывало приблизиться к своему кумиру. Не очарованный, не отуманенный яркой кра-

сотой и небрежной повадкой Катарины, Арчер сразу разгадал в ней обычную потаскушку, ловко наживающуюся на кутерьме чумы. И Марло не поддался бы обману, если бы не воспаленное время, возвеличивающее мнимости и унижающее истинные ценности. Людям почему-то нравилось водить самих себя за нос. Как женщина Катарина вовсе не привлекала его, Арчеру нравились маленькие сухошавые блондинки, но она была дамой сердца Кристофера Марло! Арчер быстро сумел найти к ней путь и договориться о свидании. Смысл всей затеи был в лестных слухах. «Слышали, Фрэнсис Арчер отбил любовницу у Марло». — «Какой Арчер? Театрал, немного поэт, славный малый?» — «Он самый. Марло рвет и мечет. Но что поделаешь, красавица сделала выбор». Все это было упоительно. Смущало лишь одно — «рвет и мечет». Арчер слишком хорошо знал необузданный нрав поэта, чтобы воображать, будто тот хладнокровно примет случившееся. Но Арчер надеялся, что оскорбленная гордость поможет прозрению Марло, и тот не станет ломать копий из-за продажной твари. Хуже было бы столкнуться нос к носу у Катарины. Тогда, без сомнения, Марло задаст ему знатную взбучку, а он не сумеет постоять за себя. «Вы слышали, Марло надавал пинков Арчеру». — «За что?» — «Застал его у своей любовницы». Ей-богу, и это звучит не так уж плохо. Особенно если представить себе завистливую интонацию, с какой передается сплетня. А пресловутые пинки — всего лишь условное обозначение мужского столкновения. Считается, что обиженный муж или любовник всегда расправляется со счастливым соперником пинками, — таков устоявшийся фольклор, которому всерьез никто не придает значения.

Арчер не ждал одного — что в дело вмешается острая сталь. Он считал Марло слишком умным, великодушным, да и циничным для этого. Потому и мелькнула на его лице надежда, что все разрешится бранью, тумакон, шуткой и пониманием низкопробности происходящего. Ему невдомек было, что краплеными картами играли он и Катарина, но отнюдь не Марло.

Не знал он и того, что в подобных играх поэты всегда проигрываются в пух и прах. А ставка — их собственная жизнь, причем от противника они не принимают равной ставки. И вовсе не потому, что поэты безруки и неловки от природы в мире активного действия. Очень часто великолепная физическая оснащенность: сила, грация, точ-



ность жестов — отличают сновидца. Поэт безоружен перед противником по другой причине. Так было, так есть, так будет всегда. Сколько раз выходил поэт на ристалище с твердой рукой, безошибочным глазом, во всеоружии правоты, в сборе всего своего существа, а на носилках все равно уносили его. Поэту мешает нанести смертельный удар то, что лежит вне его физической сути и заведомо делает из него жертву.

Могуч, стремителен и упруг был не кошачий — тигринный прыжок разгневанного поэта, крепка, как кленовый свиль, мускулистая рука, привычная к мечу и кинжалу, молнией взблеснуло лезвие, но все это было лишь порывом, всплеском воды, головокружительным цирком.

А противостоял ему дюжинный человек, персть земная, обыватель, безмерно привязанный к своей шкуре. И когда сверкнул кинжал, в нем мгновенно прекратилась всякая игра, вытесненная угрюмой серьезностью самозащиты. Деревенский увалень, чье тело не цивилизовала спортивность, присущая лондонской молодежи, оказался сноровистее сухопарого, натренированного Марло. Тот — при всей искренности оскорбленного чувства — все-таки давал высокое представление на тему: любовь — ревность — месть, этот без дураков спасал себя, единственного — родное вместилище для пудингов, окороков, вина и пива. Арчер не пожелал той единственной славы, какой заслуживал, — пасть от руки Марло. (Ему это вовсе и не грозило, на самый худой конец — легкая рана, царапина, несколько капель крови). Нужно было лишь побороть инстинкт самосохранения, и он стал бы человеком. Да куда там! Самозащита мгновенно превзошла грозностью нападение. С удивительной для его грузного тела ловкостью Арчер шарахнулся в сторону и что есть силы ударил кулаком по локтевому сгибу руки Кристофера, сжимавшей кинжал. Рука мгновенно согнулась, и кончик лезвия угодил прямо в глаз поэта. Он рассек прозрачное тело хрусталика, проник сквозь глазницу в мозг, в драгоценное вместилище снов и слов, и пронзил нежный образ Елены — последнее земное желание и бессмертную мечту поэта. И все. Океан нахлынул и поглотил Марло.

Что было дальше? Грубая суета происшествия. Топот ног, женский визг, свалка. Какие-то доброхоты навалились на Арчера, ломали и скручивали ему руки. Совершенно напрасно, — потрясенный содеянным, он не думал ни бежать, ни сопротивляться. Потом его куда-то волокли,

награждая затрещинами и пинками. А затем вступили в действие законы доброй, старой Англии. Арчера отпустили под залог, в назначенный день судили и оправдали. Свидетели, а их оказалось неожиданно много, дружно показали, что подвергшийся нападению, безоружный Арчер лишь защищал свою жизнь. Да, это правда, если не заглядывать за поверхность события. В конце концов Марло был всего лишь актеришкой и стихоплетом, а Фрэнсис Арчер — богачом и эсквайром.

Когда недолгое судопроизводство кончилось, Марло уже похоронили, и вдовствующая Катарина не прочь была продолжить столь бурно начавшееся знакомство с Арчером. Но тот даже не вспомнил о ней. Зачем она ему без Марло? Катарина была не в его вкусе. Он поспешил на могилу Марло. Им владело странное чувство к покойному, будто тот обманул его, оставил в дураках. Марло позволил глупо и бездарно, по ничтожному поводу убить себя и лишил Арчера той крупницы славы, на которую он был вправе рассчитывать. На само убийство Арчер не возлагал никаких надежд — поговорят, поговорят да и забудут. Он не без труда отыскал могилу за чертой Дептфорда. Ненавидевшие Марло церковники не разрешили похоронить умершего без покаяния актеришку на поселковом кладбище. Свежий бугор глинистой земли, обложенный зеленым дерном, был придавлен чугунной плитой. И с обмершим сердцем Арчер прочел надпись:

Кристофер Марло  
убит  
Фрэнсисом Арчером  
1 июня 1593 года

Бедный Кеннингхем хотел навечно пригвоздить убийцу к позорному столбу, но даровал ему бессмертие. Фрэнсис Арчер мгновенно понял это, и горячие слезы счастья покатались по его загорелому лицу. Отныне они неразрывно вместе — Марло и он. Так, об руку, пройдут они через годы и столетия, и всякий, кто придет поклониться праху Марло, поклонится и ему, Арчеру.

С глубоким умилением смотрел Арчер на скромный холмик и плиту — залог памяти вечной — на общей их с Марло могиле. Мог ли мечтать он о чем-либо подобном!..

Никто не срывает банк дважды. Фрэнсис за всю последующую жизнь не проявил себя больше никаким поступком. Да он и не стремился к этому. Дело было сле-

лано, и он спокойно ушел в тень. Его не встречали ни в театре, где воцарился Эвонский лебедь, ни в кабаках, ни в любимых местах гуляний золотой лондонской молодежи. Он и вообще не появлялся в Лондоне. Купив дом в Дептфорде, он посвятил себя уходу за могилой Марло, которую мысленно называл «наша могила». Он посадил вокруг нее кусты жимолости и боярышника, поставил красивую чугунную ограду и удобную чугунную скамью, на которой проводил в сладком раздумье многие часы. Он приносил сюда свежие розы, зимой выращивая их в горшках, время от времени подсеивал траву, подсаживал цветы. До последнего дня своей долгой жизни не изменил он этой заботе. Он даже не потрудился оставить распоряжение о собственных похоронах. Ему было совершенно безразлично, где зароят его брэнное тело, коль еще при жизни обрел вечное успокоение под боком у Марло.

До сих пор в густой заросли — перепутанице многих дикорастущих, перевитых вьюнком и дроком, можно увидеть старую замшелую плиту — органическая жизнь внедрилась в чугун, обратив его поверхностный слой в почву и покрыв зелеными плюшевыми нашлепками, — и разобрать полустершуюся надпись:

Кристофер Марло  
убит  
Фрэнсисом Арчером  
1 июня 1593 года

Добросовестности ради следует сказать, что в нашем правдивом рассказе есть одна неясность. Председателя чумных пиров, друга Кристофера Марло, предавшего земле его тело, по одной версии звали Кеннингхем, по другой — Корнуоллом, по третьей — Дорсетом. В памяти потомков этому человеку, не совершившему убийства, повезло значительно меньше, чем Фрэнсису Арчеру, эсквайру.

— Собирайся, распоп! — сказал стрелецкий десятник с наискось разрубленным лицом; по краям широко сборчатого шрамаросло дикое мясо.

— Аз есмь протопоп, а не распоп, — огрызнулся Аввакум, подымаясь со своего ветошного ложа.

Лицо десятника налилось темной кровью, а шрам и дикое мясо остались в своем цвете, ибо лишены были кровяного орошения, — мертвая бледная борозда усугубляла жестокость звероватых черт, но воин смолчал на дерзость узника.

— И ты, Елифашка, шевелись! — обратился он к соузнику протопопа.

— Поимей уважение к иноческому сану! — одернул его протопоп.

В изуродованной глазнице десятника косо сидел темный сухой глаз. Сейчас этот глаз почти выкатился на щеку.

— Он такой же расстрига, как и ты, — медленно проговорил стрелец.

Послышались странные звуки, будто вдалеке зашлепали вальки по мокрой тканине, и аж под сердце полоснуло протопопа забытым ладом вольной жизни. Полоснуло и осталось болью — это Епифаний замотал огрызком дважды урезанного языка, зачавкав вислыми губами, силясь что-то произнестъ.

Первый раз усекли язык Епифанию, и равно и попу Лазарю, и дьякону Федору, томящимся в соседнем срубе, еще в Москве, во дни церковного собора, но тогда языки отросли у них. Епифаний же из воздуха поймал пучок языков, выбрал наилепший и в рот себе вложил. Мига единого не оставались в безмолвии миленькие! Эти новые языки им урезали под корень уже в Пустозерске. Гладко у них во рту стало, протопоп сам пальцами шарил, да милостив господь, снова отросли языки, маленько тупей прежнего, а для речи годные. И вот отнялся язык у Епифания. В наиважнейший, роковой час лишился, бедненький, дара звучащего слова. Господь ли его забыл или Епифанию не

по плечу пришлась ноша и отвернулся он от господ бога в душе своей?.. Сему последнему отказывалось верить сердце. Надо так полагать, еще одна мука ниспослана страдальцу Епифанию, дабы испытать стойкость его веры. Но царь небесный с Епифанием сам разберется, а перед людьми за онемевшего инока заступником он, Аввакум.

— Сей старец тебе не то что в отцы, в деды годится, воин! — сказал Аввакум. — Обращайся с ним по достоинству его лет, мудрости и благочестия.

— Заткнись! — коротко приказал воин.

— Меня и государь великий Алексей Михайлович, царствие ему небесное, молчать не научил, тем паче не замкнет мне уст ничтожный тюремщик.

Он угодил в самое больное место стражу. Стрелецкий десятник любил поле и сечу и ненавидел свою нынешнюю службу. Он был уже не молод, но крепок, как дуб, и мог бы за милую душу поигрывать саблей и бердышом на неспокойных границах русской земли. Ужасной своей ране был он обязан тому, что перевели его из-под Белгорода в царев стремянный полк. Велика, конечно, честь, да царя с души своротило, когда увидел он изуродованную харю десятника. И загнали стрельца на край света для скучной и унижительной ратнику тюремной службы.

— Больно ты бьешь, Аввакум, — сказал он сумрачно, но без злобы, ибо уважал всякое мужество. — И по заслугам получаешь.

Протопоп не ответил. Он задумался о том, почему его обошли карой, совершенной над его сподвижниками. Ведь им не только языки урезали, но и десницы отсекли. У Лазаря всю кисть, у Федора поперек ладони, у Епифания персты. Правда, и здесь господь не поскупился на чудо: Епифанию персты удлинил, а отрезанные члены Лазаря и Федора сохранил в нетленности. Федор — дурак, сам виноват, что съежилась и загнила его отрезанная рука, которую он прятал в узилище, ибо стал блевать на святую троицу. У Федора-окаянного не троица есть бог, а единица слиянная, как будто могут быть три в одном! Вот до какой мерзости договорился его духовный сын. Пришлось Аввакуму не только в послании чадам церковным его заклеить, но и тюремщикам донести, дабы отняли у Федора зловредную писанину и огню предали. Выходит, и враг может на что доброе сгодиться. Но с того времени испортилась, изнемогла Федорова отсеченная длань, и он сам со стыда велел ее в землю бросить.

Иное дело с Аввакумом. И язык многоглаголивый не покидал звучной пещеры его рта, при нем же остались и длинные сильные персты, равно цепкие, ухватистые и к гусиному перу, и к рыбацкой сети, и к веслу, и к мелкому телу крестимого младенца, и к тугой, доброй груди протопопицы Марковны, сладкой подруги всей его жизни.

Бесхитростный и ясновидящий старец Епифаний уверял, что покойный государь Алексей Михайлович, расположенный к устному и письменному слову, виршевым согласиям и комедийному строению — душе души спасения любил позорища, миленький! — не хотел лишать себя Аввакумовых словес. Огненноустый, как его называли, протопоп был равно силен и в звучащем, и в начертанном пером слове. Крепкие памятью людишки записывали для царя речения Аввакума, а краснописцы переписывали те послания, кои не для царских очей предназначены были. Впрочем, и сам царь-батюшка не был обойден посланиями и челобитными неленивого Аввакума.

Всю кисть оттяпали у Лазаря, дабы не брался за перо твердый верой, но тусклый нетворящим разумом поп; усекли руку у писучего, но не богатого дарованием дьякона Федора, а надо бы по плечо отхватить, во еже не срамил святую троицу. А не чуждому нежных словес плетению Епифанию лишь подкоротили персты, дабы не мог лба перекрестить по старому канону. Но не позволил тронуть царь-словолюбец словотворца-протопопа.

Думая об всем этом, постиг Аввакум и светлую мысль старца Епифания, понудившего его написать свое житие — сказ о бурях житейских, о виденном и претерпленном, а не поучение, не проповедь, не наставительное, утешительное, челобитное или обличительное послание.

Поначалу смушало протопопа — а кому нужно такое вот, вроде бы не устремленное к цели писание? Да и не святой он, не пророк, не схимник, чтобы его житие людям надобно было. Но поверил бесхитростному и ясновидящему сердцу инока, покорно и бесстрашно прошагавшего с клюкой и котомкой от Соловецкой обители до Москвы на суд скорый, жестокий и неправедный. Епифаний направлял его руку. Своим затупленным, дважды резаным языком требовал он от Аввакума полной обстоятельности: где да и когда на свет появился, от каких родителей, как встретился с кузнецовой дочкой, четырнадцатилетней Настасьей, и сочетался с ней совокуплением брачным, обретя на всю жизнь друга ко спасению. И о жестоком соблазне

плотском — никому прежде не признавался в том протопоп, даже Марковне, от которой не имел тайн, — а искусила его невольно юная блудница на исповеди, столь воодушевленно живописавшая свой грех, что он, недостойный врачеватель, сам разгорелся блудным огнем. По счастью, осенило его — огонь пожирающий огнем же и изгнать. На пламени церковной свечи жег он правую длань, покуда не наполнилась исповедальня обвонью горелого мяса и не утихло нутряное разжжение. На весь свет, понуждаемый Епифанием, раззвонил Аввакум об этом сраме. Да нешто позорит человека, даже иерея, преодоленный соблазн?

И о первых мучительствах — а сколько их ему выпало! — рассказал Аввакум в подробностях. О буйных жителях села Лопатищи, чуть не до смерти убивших его в отместку за скоморохов, которых он изгнал, изломав их ухари и бубны и отняв медведей; о Василии Петровиче Шереметеве, повелевшем сбросить его в Волгу за то, что отказал он в благословении его сыну Матвею, срамному бритобрадцу; и о печальном начале своего противоиерейского служения в Юрьеве-Повольском, где прихожане, подзуженные начальниками-блудодеями, люто избili его батошьем и рычагами.

Начнешь вспоминать и не кончишь!.. Только перевел он дух в Москве, куда бежал из Юрьева-Повольского под крыло друга, протопопа Неронова, как вошел в силу Никон, призванный царем на патриарший престол. Властолюбивый, хитрющий, мозговитый толстогуб принялся насаждать в церкви греко-римскую блудню. Сие угодно царю Алексею было для его политики противу турецкого султана. Прямым наследником и заступником византийского упадка выходил теперь царь Великия, Малыя и Белья России. Да не угодно ему было, что Никон сам над царской властью подняться возжелал. Но это уже много после оказалось, а в те ранние поры новый патриарх, во всем от царя доверенный, повел православную церковь под греко-римское ярмо, безжалостно расправляясь с супротивниками: кого в тюрьму, кого в ссылку, кого на тот свет.

Тут и лучшие зашатались!.. Сам Неронов, настрадавшись по дальним монастырям, осунувшись плотью до лепестковой тонины, утратив надежду на торжество правды, принял три перста да с тем и отошел. Ему, миленькому, хоть тонкий лучик надежды, как в щели от лампадного

огня, потребен был, дабы соблюсти душу. А ты выстои без надежды, без тонкого лучика света, в непроглядной тени земляной могилы, где и хлеб едят, и ветхия испражняют; выстои, когда жена твоя и чада тоже брошены в мерзлую тундряную землю; да и не просто выстои, а укрепляй через тысячи верст преданных истинной вере и сокрушай вероотступников; выстои в грязи, смраде и духоте, когда достаточно тебе сложить трехперстную дулю — и сам царь тебя в объятия примет и с целованием к груди прижмет. Конечно, не нынешний, скудный духом молодой Федор, а могучий отец его Алексей, прозванный *Тишайшим*, хотя крови больше самого Грозного пролил. Любил он в тайности чувств своих Аввакума, хотел мира с ним, в чем и царице открылся. Ближнего боярина и самого верного человека Артамона Матвеева сколько раз к нему посылал и сам возле его темницы в Николо-Угрешском монастыре со вздохами и стенаниями бродил в надежде размягчить душу протопопа. И Аввакум жалел его, сердцем жалел заблудшего государя, да ведь не бывает двух правд, правда одна, и коль сведома она тебе, то и держись ее до смертного часа. Но не ему Неронова судить. Может, потому и не снес искуса, бедненький, что не сподобил его господь дара письменного слововыражения. Не было выхода его душе.

Аввакум узнал, какая великая милость дарована ему господом богом: глаголом души опалить, когда направил иерисиарху всея Руси свое первое послание, сочиненное купно с Даниилом, костромским протопопом. Оценил царь с патриархом по достоинству сие творение: Даниила в Астрахани терновым венцом венчали и в земляной тюрьме уморили, а Аввакума Борис Нелединский со стрельцами прямо от всенощной, которую он на сушиле у Неронова служил, взяли и в Андроньевом монастыре на цепь посадили. И вот тогда впервой заступился за него царь: не дал расстричь, обошлось дело сибирской ссылкой.

Обошлось!..

Уехал он туда священником, пусть и потерпевшим от скорого на расправу Никона — да таких уже немало было в русской церкви, — а вернулся мучеником за веру и народным ироем. Возвели его в этот высокий и страшный сан страсти, претерпленные от воеводы Пашкова, покорителя Даурии, лютейшего из лютых самоуправцев, собственное непокорство, мятежный дух — казаков на бунт подбивал — и огнеустые послания царю, никонианам, наставления чадам духовным.



Как ни лют, ни беспощаден был собиратель земель сибирских, ратный муж Пашков, не мог бы он так зверовать над священнослужителем в протоиерейском сане, если б не тайное повеление от самого Никона. Он и бил нещадно Аввакума, и в яму бросал, и топил в сибирских холодных реках и в глубоких озерах, и морозил в снегах, и голодом морил — что волк или медведь оставит, тем питалось Аввакумово семейство, сосновую кашу за лакомство почитали, — под конец и вовсе огнем и железом пытаться хотел, мстя за сына, пропавшего в Монголии со своей дружиной. Пашков-сын у волхвов об удаче похода просил, а не у святой православной церкви, за что и был проклят протопопом. Уже похороненный и оплаканный близкими, сын вернулся в тот самый миг, когда огонь уже опалил бороду протопопу. И поник сивой головой гордый воевода, надломился его могучий дух. Он давно уже об одном только мечтал — услышать хоть слово смирения от протопопы, — но не дождался. И какая-то робость поселилась в косматом сердце завоевателя, привыкшего ломать и гнуть всех без разбору. Бросив Аввакума с семейством без довольствия и снаряжения посреди враждебных инородцев, воевода ушел в Москву, как бежал. И спрашивал себя протопоп: кто же кого больше мучил, Пашков его или он Пашкова? Похоже, что осилил вооруженного до зубов воина иерей в затасканной рясе.

Два года добирался Аввакум до Москвы. Он шел, громко проповедуя слово божье, обличая никонианскую ересь: как труба иерихонская, раздавался его голос по сибирским городам и весям. Великая сила наливала его обухдавшее, сухое тело, и, одолевая трудные версты, славя до хрипоты святую троицу, он по ночам на привалах, под кедрачами или на теплых полатях, в лодке, выволоченной на берег, или в шалаше из елового лапника крепко обнимал, любил и брюхатил сладкую, горячую свою протопопицу.

И, как положено мужу и жене, все пополам делили: и великие муки и малые радости, и раз выпало каждому из них рухнуть ослабевшей душой и быть спасену силой другого. Они шли по замерзшему Иргень-озеру, то и дело оскальзываясь и убиваясь о лед и едва поспевая за двумя полудохлыми клячонками, тащившими сани с рухлишком и детенками, когда на упавшую протопопицу мужик-сопутник повалился и намертво ко льду прижал. Оба кричат, плачут и не могут встать от истощения. И тогда много-терпеливая протопопица, отвалив из последних сил омо-

ро лного мужика, возопила с гневом и отчаянием: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И ответил протопоп единственными, быть может, словами, способными поднять ее на ноги: «Марковна, до самых до смерти!» И она, вздохнув, молвила: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

И побрели, и до Москвы добрели. Отдохнувший в долгом пути от издевательств и побоев, отведший душу неустанной проповедью, согретый жадным вниманием, даже восторгом тьмы людей простого звания, узнавших в нем заступника перед богом от царского и патриаршего гнева, и при всем том принятый царем с великим почетом, растекся Аввакум, как дерьмо в оттепель. Покоя ему захотелось, умиротворения. Ах, как вспомнишь об этой слабости, так сами вскипают со дна души слова отвращения: «Кал и гной есмь, окаянной — прямое говно! Отовсюду воняю — душой и телом!» И тогда, заметив его сумление, сведомилась протопопица, что, мол, притемнился, отец? И он, свинья злосмрадная, да что там свинья, та от естества воняет, а он от греховной хитрости своей, все на семью, на детушек скинул — вяжут-де ему руки, уста зажимают — и, хоть зима еретическая на дворе, не может он уста для обличения распечатать. И протопопица, святая душенька, ведь сама только чуть отогрелась душой и телом, салопчик-другой завела, шубейку теплую справила, детишек отмыла да подкормила — впервой вкус медового пряничка узнали, миленькие! — так ему рекла: «Аз тя с детьми благословляю: дерзай проповедовать слово божие, а о нас не тужи; догдеже бог позволит, живем вместе, а егда разлучит, тогда о нас в молитвах своих не забывай. Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудную еретическую!»

И он склонился перед женой своей, и восстал из грязи, и пошел обличать с прежней силой никонианскую ересь, а вскоре и царю-батюшке зело крепкую грамоту отправил.

Тут и пошло. Его и просили, и совестили — совести в помине не имеющие! — и казнями всякими страшали: участь Павла Коломенского, за правду удушенного, у всех перед глазами стояла, но больше на уговор брали, на обещание великих милостей, должностей высоких, но протопоп Аввакум уже был тем неумолимым правдолюбом, каким остался и по сей день. Не хотел он никаких сделок с властями, даром что семейство его возросло и забот, и силы-защиты, и средств для пропитания куда больше требовало, но, коль *жена* на подвиг его благословила, не

спихнуть Аввакума с пути правды ни царю, ни боярам, ни церковным начетчикам хитроумным.

Не хотелось царю отдавать на правез своего писателя. Раз встретились они лицом к лицу, поглядели друг на друга и молча, печально разошлись. Подивился он глубине взгляда широко расставленных царевых глаз и прочел в них свой приговор. Вскоре пришло повеление сослать его с семьей в Мезень. Что ж, так и на этой земле положено: царю царствовать многие лета, а проповеднику мучиться многие лета. А как отойдут они в вечные дома, так уж господь по-иному распорядится.

Далека Мезень, а и там люди живут. Промышлял он рыбкой, от соседей гостинчик перепадал, и по-прежнему наставлял людей доброй вере, обличал и язвил супротивников.

Далека Мезень, затеряна за лесами дремучими, за болотами непролазными, посреди мхов, снегов да дерев-кривулин, путь к ней — где водой, где волоком, где чуть не вскок по кочкам — ах как долог! Но крылаты человечьи слова. Уму непостижимо, с какой быстротой достигали и речи, и писания протопопы не только до Москвы-столицы, но и отдаленных окраин Государства русского: Сибири, Даурии, где лютый воевода хотел его извести.

Иные дурачки шепотно, в оглядку *пророком* его называть стали. Пустые и богопротивные то речи. Но, видать, жгло его слово людские души, как в древности глаголы библейских пророков. А в такие огнепальные времена, полные искусного витийства, разносящегося не только с амвона, но и с царского печатного двора, не так-то просто быть услышанным, да еще из тундряной дали!

И опять затребовали его в Москву. А там все то же: отрекись да отрекись! Уговаривали, умоляли, на спор пытались взять, грозили. И дабы скорее открылся ему свет истины, в Пафнутьевом монастыре на чеши держали. А потом на Угрещу, к Николе свезли, кружным путем — болотами да грязью, чтоб не сведали чернососошные да не отбили своего печальника. И там ему бороду под корень отхватили. И сказал он в боли и унижении: «Выпросил у бога светлую Россию сатана, да и очервленил кровию мученической. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то лю-бо — Христа ради, нашего света, пострадать!»

Семнадцать недель продержали его у Николы в студеной палатке, и не замерз он только потому, что являлся ему его ангел-хранитель и тепло в сердце вдувал. И слу-

чалось, царь подходил к темнице: вздыхал жалобно да и прочь отходил. Казалось бы, что общего между задумчивым, в науках сведущим, к чтению приверженным, богомольным царем Алексеем и звероватым язычником, воеводой Пашковым? А ведь и тому, и другому равно нужно было, чтобы взмолился Аввакум: «Помилуйте». И Пашков разом отложил бы кнут и батожье, и царь отворил бы темницу, только запроси он пощады. По душе это им нужно или от чего другого? Просто не ответишь... Пашков не своему делу служил — государеву. Не больно Тишайшего заботило, что казаки Пашкова от голода кобыльи кишки немывтые с калом пожирали, что мертвым зверевым и птичьим мясам причастны стали, что кнutoбойничал над ними Пашков без всякого удержу. Нет, Тишайшему земли за Байкалом надобны были, а как добывает их Пашков, ему и горюшка мало. И Пашков знал это и гнул напропалую. И еще Тишайшему надо было, чтобы на всем пространстве Великия, Малыя и Белья России мертвая стояла бы тишина и покой, чтобы не разгибал спины пахарь, не озирали очами творящееся вокруг и не ждал помощи от неба. Где ожидание, там надежда, где надежда, там и стремление. А стремление бунтом чревато. И разве не берется за колья, косы и вилы то там, то здесь замордованный крестьянский и посадский люд? Разве не потрясли крепкий трон государев монахи Соловецкой обители, уподобившиеся воинству небесному?

Нет, не нрав свой потешить хотели великий царь и пес его лютый Пашков, когда ждали — Большой со вздохами и стенаниями. Малый с кровавой бешеной слезой — его, Аввакума, мольбы о пощаде. Был он им что рыба кость в горле — стала поперек, колет и глотать мешает. Не давал он им Русь проглотить. И веры в себя лишал. У них и войско, и оружие: пушки, ядра, осадные машины, мушкеты и пистолы, мечи, сабли, бердыши, а у него только слово. А что такое слово — звук, дуновение, а вот поди ж ты!.. Он раз упрекнул Артамона Матвеева: «К чему зверуете? С теми, что меч поднимают, мечом и деритесь, а тех, кто лишь слово имеет, словом же и побивайте. А коли сами в слово не верите, нет у вас правды. Нешто Христос огнем и мечом истине путь пролагал? Нет, *устами*. Слабым уст шевелением богочеловек, свет наш, уловлял людские души и вел ко спасению».

А все же уважлив к слову был царь Алексей Михайлович. Куда менее Аввакума перед ним виновных отда-

вал церковникам на суд, расправу, кнутный бой, удов отсечение и сожжение в срубях, а писателя не уступил. Не плоть Аввакума, а дух сломить он хотел. Иначе не будет прямо его сидение на высоком золотом троне, не покойны в деснице скипетр, а в шуйце держава, не прочна на главе высокая, расшитая алмазами и жемчугом шапка Мономаха и душна, как удавка, золотая цепь нагрудного креста. Вот какой затеялся спор между сыном спившегося деревенского попика и самодержавцем государства Российского, вторым царем из рода Романовых.

И, отстояв, отохав под стенами Аввакумовой темницы, царь совсем было решился отдать его в руки палачей, да царица отмолила его от смерти. Снова свезли его на худой телеге к Пафнутию и забыли о нем на время. Сильна была при царе царица, да не настолько, чтоб в государевы заботы соваться. Нарочно придумано сие было, чтобы знал протопоп — достиг он предела царева терпения.

Выдерживали его в Пафнутьевом монастыре без малого год, и вовсе неспроста. Ожидала его баталия великая на церковном соборе с вселенскими патриархами и многомудрыми богословами. Ожидалось, что светочи греко-православной церкви, зело в науках преуспевшие и даром витийного слова украшенные, сокрушат и повергнут в прах мужицкого попа. Славно готовили его к этому отпору! Келарь Никодим завалил окошки и дверь, а топили келью по-черному, дыму идти некуда, к тому же смрад ужаснейший от сцанья и сранья. Думал Аввакум, конец ему пришел. Да господь милостив. Даже ангела-хранителя не стал посылать, обошлось обычным добрым человеком. Дворянин Иван Камынин был щедрым вкладчиком в обитель, его побаивались. Так он сам все разломал и дал узнику отдух. Когда же в отверстие окошко смрад из кельи наружу рванул, то шибануло спертой струей пролетевшего мимо воробышка, и он мертвым на землю пал, а куст пунцового чертополоха разом обвял. Протопопа же ответной чистой струей без чувств на пол повергло.

И вот поставили его в Кремле перед вселенскими патриархами: Макарием Антиохийским, Паисием Александрийским, Иосафом Вторым Московским, а при них еще сановитых голов сорок. После Артамон Матвеев, редкого ума и странной грусти человек, будто провидел сквозь весь почет, пышность и удачу горестную судьбу свою, сказывал, как двоилось сердце царя Алексея в дни яростных сражений Аввакума с князьями церкви и светилами бого-

слова. Ждал, сердешный, ох как ждал, что сломают они хребет Аввакумовой вере, а вечером в терему говорил царице, поглаживая густую темную округлую бороду длинными и сильными перстами: а наш-то мужичок чижгородский носом в лужу вселенских воткнул! Две души было в царе. Да нет, так не бывает. Одна душа — лица государственная, как ад, страшная, с рубашки — домашняя, мягкая да теплая. Будь он не царем, а простым человеком, ему б цены не знали. Но он самодержавие, ему бы только усиливаться, вдаль и вширь ползти — на кой, спрашивается, ляд? — и сок кровавый из людишек тягловых жать для силы власти своей и тех, кто возле трона. А зачем сила и власть и государства просторы безмерные, если нет добра и правды, если сир, наг, измучен, истощен народ? Нешто Россия — земля, Россия — человеки, неужто царю непонятно? Он же башковитый. А коли понятно, да все равно на свой угол гнет, значит, преступник перед богом и людьми.

О чем бы речь ни заходила, об азах ли, как креститься — дулей или пятью перстами, как аллилуйю возглашать или о поучениях святых апостолов, срамил и на позор выставлял протопоп всю их римскую блудню одной лишь верой, одной надеждой на свет Христа. И выходило: вера сильнее науки! Вроде бы и аза не умел протолковать мятежный протопоп и даже имя собственное забыл, но выходил на ристалище, воспламенялось в нем сердце, и косил он от плеча несаяный плевел среди пшеницы. И все начетки — с копытец долой! И со злобы, что сковырнул он их идолов, кинулись скопом бить его церковники. Но он их апостолом Павлом окоротил: «Убивше человека, как литоргисать станете?» Вот вам и по науке — враз откатились.

Спорили, бранились, руками размахивали, так что пот вструй за пазуху тек, а у протопоба на челе и дланях телесная роса кровью окрашивалась, и трепетали вселенские, но ничуть не укротились злобой. Чаяли они через свою победу всю Русь под себя подобрать. Царь же супротив думал — через них еще шире силой своей распространиться. А тут распоб с выдранной бороденкой, нещадно битый, пытаный, осрамленный, поперек всех этих великих расчетов втиснулся.

В редком почете он тогда жил. Его со сподвижниками: старцем Епифанием и попом Лазарем стрельцы в отхожее место с бердышами провожали. Такой чести само-

му царю не оказывали. Может, опасались, что вознесутся они со своих куч? Царь с царицей чуть не каждый вечер ближних людей за благословением к нему посылали. Артамон Матвеев, твердая душа, именем царя заклинал: «Соединись с вселенскими хоть какой малостью!» Ишь хитрые какие — царь с советниками! В малу дырку и море утечет? И он отвечал царю через Артамона Матвеева: «Аще умерети мне бог изволит, с отступниками не соединюсь. Ты мой царь, а им до тебя какое дело? Своего царя потеряли, да и тебя проглотить сюда приволоклись! Я не сведу рук с высоты небесной, дондеже бог тебя отдаст мне!»

И царь сказал: где бы ты ни был, не забывай нас в своих молитвах. И понял Аввакум, что царь прощается с ним. Так оно и оказалось. Вкупе с Епифанием, Лазарем и дьяконом Федором сослали его в Пустозерск, место болотистое, пустое, тундряное. Его с Москвы в целости отпустили, а им языки урезали. Кинули их сперва в избы, после в срубы деревянные, в землю вкопанные, в каждом срубе — скважина-оконце, в него и пищу подают и лайно извергают, на полу вода не просыхает. Округ срубов тех ограда крепкая, за оградой стража зоркая. Почет или осторожность? Коли почет, так не заслужили, коли осторожность — так зряшная, бежать отсюда невмочно, да и некуда. А слову стены и стража — не препятство. И Аввакумовы, и Федоровы послания свободно слуха русского достигали. А если и осеклось напоследок у Федора-дурня, то по его, Аввакумову, доносу. А с царем расстриженный протопоп твердым словом попросался: «Видишь ли, самодержавие! Ты владеешь на свободе одною русской землей, а мне сын божий покорил за темничное сидение и небо, и землю. Ты возьмешь гроб и саван, аз же, присуждением вашим, не сподоблюсь савана и гроба, но наги мои кости псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачimy: так добро и любезно мне на земле лежати и святом одиянну и небом прикрытым быти: небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь — бог мне дал, а его ж выше того рекох».

И с правым, и с виноватым разделяется беспощадное время. Нету уже царя Алексея. По словам близких царскому семейству людей, чуть не до последнего дня читывал он вслух царице Аввакумово житие. А в иных местах отводил глаза от строк и наизусть, будто свое или из священного писания, негромким, но звучным и глубоким голосом произносил. Особенно любил он описание роскошеств земли сибирской: «Лук у них растет и чеснок, —

больше романовского луковичи и сладок зело. Там же растут и конопли благорасленные, а во дворах — травы красныя и цветы благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей, — по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры и таймени, стерляди, и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во окияне — море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо на нем; осетры и таймени жирны гораздо, нельзя жарить на сковородке, жир все будет. А все то у Христа того наделано для человеков, чтоб, упокаяся, хвалу богу воздавали. А человек ... скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съесть хочет, яко змия; ржет, зря на чужую красоту, яко жеребя; лукавит, яко бес; насыщаяся довольно; без правила спит; бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не вем, камо отходит: или во свет, или во тьму, — день судный коегождо явит...»

А пуще того любил государь историйку про курицу-пеструшку, подаренную протопопу еще цыпушкой за то, что отмолил он и уврачевал от слепоты куров боярыни Евдокии Кирилловны, сердобольной невестки лютого воеводы Пашкова. Аввакум в сем деле на бога надеялся, да и сам не оплошал. Куров он и святой водицей прыскал, и ладаном обкуривал, аж руку с кадиллом заломило, после сколотил из лесин новое корытце для пищи — и перестали слепнуть несущки, а тороватая боярыня отблагодарила целителя цыпушкой. «А та птичка одушевлена, божие творение, нас кормила, и сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или рыбки прилучится, и рыбку клевала, а нам против того по два яичка в день давала». Страшен для древлего благочестия был тишайший царь, и для крестьянства, и для посадского люда страшен, хуже царя Ивана, хоть тот *грозен*, а этот *тих*. Но не по нраву он жестоковал — по уставу власти своей. Читая же о доброй курочке, слезами прозрачными плакал.

И, думая сейчас обо всем этом, протопоп вспоминал казавшиеся ему прежде темными и даже глуповатыми рассуждения Епифания, что этой вот курочкой да утицами, да сверчками, вниманием ко всякой твари, всякой малости, населяющей божий мир, отличен он, Аввакум, от всех причастных гусиному перу грамотеев России. По совести. Аввакуму чуть ли не укоризною почудились тогда сии слова, а сейчас, у последнего предела, открылась ему глубокая истина честной похвалы инока.



Данилово велеречие, коему и он, Аввакум, порой поддавался, не впадая, впрочем, в непрочорот, тьму и заумь древних акафистов, воспаряется в такие выси, что неразличимы оттуда мелкие подробности простой жизни. Потому ни цветка, ни пичужки, ни веточки не отыщешь у митрополита Даниила и других отечественных словослагателей. А что за жизнь без цветка, пичужки, веточки? Вот ведь и узники пустозерские в смрадном своем заключении радовались, как малые дети, и клочку синего неба в оконце, и дикой утице, или гусю, или иной какой птице, мелькнувшей в отдала, и месяцу двурогому, и звездочке, и мошке или травинке, взметенной выспрь ветром. А земля из узилища не проглядывалась — больно глубоки были оконницы.

Тринадцать долгих лет! Сколько народу за сей срок отошло! Нету двух месяцев, двух ластовиц сладкоглаголивых, сестер Феодосьи Морозовой и Евдокии Урусовой, замученных в боровской тюрьме, нету Федора-юродивого, принявшего мученическую смерть, нету Неронова, бедного отступника — да не судим он будет, — нету тьмы приверженцев старой веры — редко кто ушел своей смертью, — и вот уже старость подступила, и куда истратилось время? Ведомо куда — на противоборство.

Во все концы Руси летели его грамотки: и в Соловецкую обитель, дабы поддержать ратный дух у скромных иноков, опоясавшихся мечом и потрясших гордую державу царя Алексея, и в скиты, монастыри, в царские остроги, в патриаршие подземелья, к князьям и воеводам, боярам и дворянам, к черносозным крестьянам и посадским людишкам, к игуменам и чернецам, к духовным дочерям милым, ко всем ищущим живота вечного, и к семье многострадальной, и к царевне Ирине Михайловне, любимой царевой сестре, и к скромнейшей Маремьяне Федоровне, жене священника домово́й церкви княгини Анны Милославской. Одних надлежало поддержать, иных наставить на путь истинный, иных укрепить в гонимой вере, а кого и отругать без всякого снисхождения. Как доставалось от него Феодосье Морозовой, любимейшей духовной дщери, когда занеслась боярской спесью перед Федором-юродивым, но и утешить ее в гибели любимого сына он один сумел. А сколько сил и гнева забрала борьба с Федором-соузником, блюющим на святую троицу. И с царями всевластными не прекращался у него крутой разговор. Нет, протопоп, не вышло у тебя разговора с Федором Алексеевичем.

А почему-то надеялся он, что молодой Федор склонит слух к приверженцам истинной веры, от молодых всегда чего-то доброго ждешь. Но, зная, сколь слаб духом и незрел умом этот отпрыск царя Алексея от первого брака и сколь властолюбивы, самоуправны родичи его по матери, Милославские, указал он ему и воеводу твердого да умного, чтобы помог перепластать всех никониан. Был ли рад и утешен князь Юрий Алексеевич Долгорукий, что узрел в нем пустозерский узник верного помощника для расправы с церковной блудней, сие осталось неизвестно, царь протопопу не откликнулся, не в пример покойному отцу.

А ведь не в захожего молодца, в родного отца уродился Федор. Любо ему словес плетение, сам инова псалмы сочиняет. Ни к брашну, ни к вину, ни к девкам, ни к соколиной охоте не влечет молодого царя. Но и к Аввакумовой правде не преклонил он слуха, чуждо, отвратно прямое мужицкое слово выученику блудного байника Симеона Полоцкого.

Так и не достучавшись до государева сердца, зело расвирепел протопоп. На берестяных хартиях изобразил он царския персоны и высокия духовныя предводители с хульными надписями и направил в царственный град Москву приверженцам старой веры. В день светлого богоявления, когда царь Федор с духовенством и свитой шествовал на Иордань, с колокольни Ивана Великого взметнулись голубями в морозное небо подметные свитки. Зело уязвленный лютого яда прелестью сих рисунков, вспомнил наконец-то царь Федор об Аввакуме.

Нет, не благовестом прозвучал пустозерским узникам хриплый, износившийся голос стрелецкого десятника, приказавшего им собираться и выходить.

А какие тут сборы-то? Сидели они в такой грязи и прелой духоте, что и одежда им была без надобности. Один крест на гайтане, от пота черном и почти истлевшем, — вот и весь их наряд. «Срамотники» — ругался десятник и велел кинуть какое-то тряпье. Аввакум так и не понял — ряса не ряса, халат не халат, вроде бы мешок с дырками для головы и рук. А и такая одежда хороша, небось не в палаты царские и не в крестовую к патриарху зовут.

Ну, старец Епифаний, терпеливый сосмрачник мой, тронулись в дорогу! Невелик, недолог путь, и пройти его надо без сраму.

Срам не в нагом грязном теле, как мнится стрелецкому десятнику — нешто узники виноваты, что их так худо соблюдали? — а в слабодушии. Никто не ждет, что выйдут они в шелковых мантиях или парчовых ризах, благоухая амброй, но вся Русь сведает о том, силу или слабость, красоту или гнусь духовную явили страстоносцы, и по ним о всех приверженцах старой веры судить будет.

И шестидесятидвухлетний Аввакум, полтора десятка лет просидевший в смрадном гноище, напрягся каждой мышцей, раздвинулся в каждом суставе, разъялся в позвонках и, весь заонеж, гоголем шагнул мимо посторонившегося стрельца к ветхому порожку.

Он вышел в малый простор тюремного двора, его шатнуло, чуть не опрокинув на мерзлую землю. Будто чем-то мягким, но увесистым шибануло под вздох и в голову. Он едва удержался на худых своих большестопных ногах, расхоженных тысячеверстыми сибирскими дорогами, — так вдарило после спертой и смрадной темницы свежим предвесенним духом. Эта ядреная, морозная, пронзительная струя ворвалась в черный спекшийся рот протопоба и омыла все его застоявшееся нутро. И когда прошло головокружение, угомонились круги и стрелы в очах, стал протопоб чистым, свежим, прохладным — не с лица, конечно, с исподу, — как часть пробуждающегося, мглистого, еще во власти ночи и зимы, но уже ощутившего вей апрельских ветров северного мира. «Вот, тринадцать лет невылазно населяли утопленные в земле срубы, и хоть бы что — молодцы молодцами!» — распространяя на друзей прилив доброй силушки, радостно подумал Аввакум.

Он оглянулся на «молодцов», и опять его шатнуло, затрясло, и мрак хлынул в зрачки. Господи, что же с ними поделалось? А, господи?.. Не верил себе протопоб. Может, извечный враг человеческий порошком каким в глаза сыпанул и скривил, изуродовал ему зрение? Да разве это люди выползли на свет божий? Сухие, темные стрючки, пустая оболочка без следа теплой жизни. Как дряхл, как безнадежно ветх инок Епифаний! Пепельная мертвая кожа, всос щек и рта, голые немигающие глаза — неужто он еще и ослеп? С твердого, как кость, пятнистого черепа свисают длинные тонкие нити серых волос, лезут в глаза, в ноздри, в запавший рот, а Епифаний не замечает, не пытается ни отмахнуть, ни хоть отдусть докучный волос. А замечает ли он хоть что-нибудь округ себя? Или только истомным биением сердца еще принадлежит жизни?

— Богоугодный старец!.. Отче Епифаний!.. Миленький!..

Ничто не тронулось в бескровном лице, и слабой искоркой не пробило зрачков. А ведь казалось, что до последнего дня общались они со старцем. Аввакум делился с ним всем самым сокровенным, совета испрашивал, научения и вроде ответ получал. Одобрял и укреплял его старец. Неужто все это только в воображении Аввакума сотворялось? Выходит, он жил за двоих: за себя и за старца. Ведь старец, бедненький, и словечка вымолвить не может. С чего взял Аввакум, будто вернулась Епифанию речь? С чего наградил его новой рукой, когда из дыры в мешке свешивается плетью беспалаая культипка?

А ведь сколько раз писал и вещал протопоп о явленном господом чуде — отрастании усеченных языков у всей троицы и обрезанных перстов Епифания! Да нет же, было чудо, было, разум сроду не отказывал протопопу, даже в самые горькие минуты. Значит, господу для чего-то надобно отнять у страдальцев дареное, вернуть им первоначальный образ жертв. Может, для того, чтобы на том свете спросили они у собаки Никона: а где наша откромсанная плоть? Бог все с толком и значением делает, и, коли сама вера не сподобливает тебя к открытию истины, лучше не пытаться решать высокие загадки творца слабым своим умишком.

Но что же ухайдакало так Федора? Осанистый, крупный, чреватый дьякон стал ровно уголек — махонький, черный, лишь с маковки пеплом обдутый. Неужто это я тебя сокрушил, науськав стрельцов забрать ересь твою окаянную и в огонь кинуть?..

Тяжко заломило душу Аввакуму. Как ни был он крепок в правоте своей, а знал, что не токмо с Федором, но и многими, многими единоверцами расходится в рассуждении святой троицы. И Епифаний-старец, опора его и посох, сердитую хулу за Федора гнул. И за донос, и за самое толкование божественного предмета. Ох, нет, протопоп, жалеть жaley страдальцев миленьких, но сбить себя с прямого пути не давай. И ради святой троицы не щади ни ближних своих, ни себя самого.

А Лазарь — поп, будто впрямь евангельский Лазарь, только не воскрешенный господом нашим Иисусом Христом, — изжелта-зеленый, трупный и вроде не в понятии. Федор-то — уголек еще теплится, поблескивает живым взглядом из-под черно-седых бровей, а у попа взгляд по-

гас, отрешился, он еще дальше от земной юдоли, нежели инок Епифаний. Что ж, так-то и легче им—до небес полшага осталось.

И все-таки они еще принадлежат жизни, раз дышат, раз в груди стучит, а живые среди живых должны свой чин соблюдать. А ему — предстоять страдальцам. Ну что ж, сполняй последнюю службу, протопоп!

А ничего не хочется, только бы дышать этим апрельским воздухом, только бы чувствовать в гортани, в груди морозную его свежесть, только быть под этим мгlistым небом, процеживающим сквозь хмарную пелену свет восходящего на бесконечный блистающий полярный день солнца.

Земное взыграло в протопопе.

— Эх, щец бы хоть спроворили или гостинчик какой! — неожиданно для самого себя сказал он добрым голосом стрелецкому десятнику.

— Ишь чего захотел! — дернул тот шрамом. — В страстную-то пятницу!

— Так хушь без убоинки, с пустой капусткой.

— Разлакомился!.. Тебе распоп, о божественном думать положено, а не о чреве.

— Что ты понимаешь, воин! — Аввакум усмехнулся тщете всех своих земных желаний, даже таких скромных, как горшочек горячих щец. — Иисус сладчайший тоже не воздухом питался и не акридами, он молочко из титочки сосал, а после хлебец ел и мед, и мясо, и рыбку, и вино пивал за спасение наше. Не читал ты, воин, посланий Аввакума, темен ты и хладен, яко погреб.

— Эх, протопоп, дай мне меч, да поле, да ворога не трусливого, увидал бы, сколь я хладен!

— Значит, и тебе не сладко, стрелец? — усмехнулся Аввакум. — Сочувствую тебе, человек. А все ж с нами ты не поменяешься?

— Не променяюсь, протопоп.

— Лучше измозгнуть заживо, стрелец, чем гореть огнем? — громко засмеялся Аввакум.

— Тебе о том судить, — холодно сказал десятник. — Ты и гнил, ты и...

— Нет, — живо перебил Аввакум. — Не гнил я, даже в смрадной яме сидючи, как ты на вольном воздухе, землей, морем и снегами пахнушем. Я всегда с человеком играл, а слово мое за тыщи верст залетало.

— А гостинчика захотел? — медленно проговорил десятник.

— Ты не глуп, стрелец! — опять засмеялся словно бы чем удивленный Аввакум. После испытанной им нестерпимой жалости к своим союзникам душой его овладела легкость, даже веселость, потому что и смертную эту жалость сложил к небесному престолу, не усумнился в милости господней, не дрогнула в нем вера. — Оттого и захотел гостинчика, что люблю я людей и все от них приемлю.

— Зачем же злоязычествуешь столь усердно?

— Все от той же любви, стрелец. Спасти людей мне хочется.

— А сам-то вот не спасся!

— С чего ты взял? — прищурился Аввакум, и голос его пожестчал. — Я-то как раз спасся. — И отвернулся от стрельца. — Выше голову, братья! — воззвал он к живым теням, призрачно реющим в то наплывающем, то сплывающем тумане. — Небось не покинет нас господь бог. А мужу смерть — покой есть! — Он обернулся к десятнику. — Отведи своих людей, воин, и сам отыдь маленько, дай нам свершить последнее молебствие.

Десятник что-то хмуро бормотнул стрельцам, и они отсунулись к тыну. Сам он остался на месте, и не потому, что ждал худого от узников, но уж больно важным стало для него свершающееся на глазах. Под толстой черепной крышкой тяжело вызрело: я должен все видеть и слышать, люди спросят меня, коли чего запомнят. Именно люди, а не начальство — пустозерский воевода или царский посланец Лешуков. Но если б стали допытываться, какие такие люди, он затруднился бы ответом. Ну, люди-человеки — и местные, и захожие, и те, каких еще доведется увидеть, здесь ли, там ли, и те, каких, может, еще и на свете нету. Десятник не постигал, откуда у него эти мысли и что они значат, и тосковал в угрюмом сердце своем.

— Отыдь, воин! — загремел Аввакум. — Не то брязну ты по зубам, как Николай-угодник Ария-собаку.

Десятник мрачно глянул на крикуна и отступил на шаг. Не драться же с ним?.. Как он сказал: смерть мужу — покой есть? И самый бесстрашный воин не скажет лучше, чем этот похожий на воронье пугало старик.

— ...кости сожженных держат в честном месте, кажение и целование им приносят от страждавших за Христа — избавителя наших душ!.. Праведна и честна наша смерть в нынешнее огнепальное время!..

Вон как утешает!.. Да только кости ваши кинут собакам, грызущим от голода постромки нарт, и не будет вам ни кажения, ни целования... А вот и молиться почали. И, будь я неладен, шевелятся губы у живых мертвецов, шепчут слова молитвы вслед за бесноватым распопом. А этот рыкает — аж до Мезени слышно. Он и не усиливается громким быть, так уж устроен — пастью, глоткой, грудью, чтобы греметь на весь свет. Такой голосина любую битву покроет. И хотя тощей тощего распоп, а нетрудно увидеть его в доспехе бранном, с мечом в хватистой руке. Небось Пересвет и Ослябя были в том же пошибе. Неужто он впрямь не страшится того, что его ждет? Быть не может. Раз щец захотел, о гостинчике вспомнил, значит, все человечье при нем: и страх, и тоска, и ужас. Так отчего не выдаст он себя хоть самой малостью? Нет такой силы в человеке и быть не должно. Значит, тут другое. Он приемлет... Огнепальное время... В глухой ночи лишь пожары да костры далече видны...

Облобызались. Поп Лазарь чуть не упал, когда Аввакум выпустил его из объятий. Десятник сделал знак стрельцам. Те кинулись к осужденным и с обычной в таких случаях усердной грубостью — сейчас вовсе не нужной — принялись ломать им руки за спину.

— Прочь, собаки окаянные! — громынул Аввакум. — Сами дойдем...

Не положено осужденным самим идти — соблазн в таком смирении или такой гордости. Волочить их положено, локти выворачивать, ноги подрубать, взашей толкать, осыпая отборной бранью, и знал десятник, что царские шиши, наблюдающие тайком из-за тына, каждое слово ловят, каждое движение примечают, но, вздохнув крутой грудью, велел стрельцам отпустить попишек.

И повлеклись бедолаги своей мочью к летнику. Шли, будто по воздуху плыли, шажков-то и не заметишь, но, колыхаясь былинками по ветру, как-то скрадывали расстояние между собой и темным срубом. И странный шорох, шепоток с тоненьким призвоном коснулся заросших грубым волосом ушей десятника. Так гуси, улетаая, вызвенивают, вспомнилось ему вдруг.

Это пели осужденные, без слов, недоступных их мертвым ртам, тянули, брусилы что-то невыносимо скорбное, какое-то задушенное стенание, и непонятно, с чего так ликовали черные громадные глазищи яростного вожа их. Опять небось чудо ему грезилось — мол, райскими голо-

сами возносят обреченные немцы хвалу господу богу, а хор ангелов вторит им с горней выси. Глупец, жалкий глупец!..

Слабосильная команда пересыпалась к сруб, и замыкающий хилое шествие Аввакум, раздвинув руки, загнал их в сруб, как хозяйка по вечеру домашнюю птицу в курятник. И до того это было похоже, что десятник слышно гоготнул. И с этим сумрачным смешком представилось ему, что Аввакум тоже перешагнет сейчас порог сруба и он, десятник, больше никогда не увидит и не услышит этого непонятого, одержимого и притягательного человека. И, не думая ни о стрельцах, ни о государевых шишах, повинувшись чему-то важному в себе, важному, как меч, как сеча, десятник пал на колени.

— Благослови, отче!..

И если б Аввакум отказал ему в просимом, он задушил бы, разорвав его собственными руками.

Но спокойно, истово, будто иначе и быть не могло, протопоп благословил звероватого стрелецкого десятника.

И, враз избавленный от внезапно настигшего его смещения и страха, сроду не испытанного ни перед битвой, ни в смертной схватке, ни в луже крови, натекшей из многих ран, повеселевший сверх всякой меры, десятник сказал, выкатив желтое яблоко увечного глаза:

— Ну, пойдем жариться, старик!

— Пойду я, а ты останешься, — почти сострадательно отозвался Аввакум. — Не про твою честь такая кончина. Ты не соришь — истлеешь.

— Я еще поиграю сабелькой, старик! — в том же странном возбуждении, избавлявшем от сострадания к обреченным, хохотнул десятник.

— И не мечтай! — отрезал Аввакум. — Отсюда тебе нету хода. Кто в палачах и в тюремщиках побывал, тому в чистом поле не гулять.

— Тяжело бьешь, старик... — будто рухнув с высоты, прохрипел десятник.

— Не я. Господь бог. — И Аввакум, пригнувшись под притолокой, ступил в сруб.

За ним сыпанули стрельцы, дабы привязать осужденных к столбам. Десятник слышал, как они там топчутся по смолью и бересте. Когда они вышли, вслед им шибануло дымной вонью. Дверь завалили, но была узкая прорубка в стене, сквозь которую десятник мог следить за работой огня.



Сухо, весело, споро горели Лазарь, Епифаний и Федор. Хоть и слаб был костерок — какое топливо на севере? — да помогли мешки-рубахи, пропитанные огнепальной смолкой. Не оставалось в скупых телах ни жира для вытопа, ни влаги, кою выпарить надобно, ни мяса на костях, а сухая пергаментная кожа, обтягивающая скелет, была огню что соломенная кровля. Обуглились, родимые, раньше, чем размычаться успели.

Иное дело Аввакум. Был он моложе союзников и несравнимо с ним крепок составом. Те почти не принимали пищи, так, поклевывали, а протопоп, — хоть и худо — питал свою плоть. Он и Епифаниеву миску опустошал, и гостинчиком, случалось, пользовался. Слали ему от семьи, и от соловецких братьев, и от иных явных и тайных последователей старой веры когда пирожка, когда сальца, когда копчений, солений разных. Худой и тощий — чтобы обрастить такой костяк, горы брашна надобны! — протопоп все же оставался мясным и кровяным, с ним огню нелегко было совладать. Да и рубище на нем не пропитано ускорительным составом. Так приказали...

Протопоп горел с ног, на низком вялом пламени. Он стонал, ревел, закидывал косматую пегую голову с желто обгорелыми от искр кончиками длинных волос. И стрелецкий десятник, как некогда воевода Пашков, царь Алексей и патриархи вселенские — о чем, разумеется, ведать не мог, — томительно ждал, чтоб страдалец запросил пощады. Почему неправая власть так нуждается даже в мнимом изъявлении покорности, мнимом раскаянии тех, кого считает виновными в тяжких против нее, власти, преступлениях? Может потому, что власти нужна не преданность, не союзничество, основанное на единоверии, а только слепое послушание, пусть даже неискреннее, обманное, но полное и безоговорочное, проще — рабье. Тогда власть сознает себя силой. Для десятника покаянный вопль Аввакума означал бы возвращение бранного поля, сабли и бердыша. И когда терявший себя от боли протопоп заходилась волчьим воем, десятнику мерещились седой ковыль, серые гладкие валуны на южном пределе Руси и золотисто вскипающая даль под копытами вражеской конницы. И он приподымался на крепком седле, вбирал в грудь пьянящего, мятой и полынью пахнувшего воздуха, принимал в правую руку тяжесть сабли и посылал коня вперед. Из косо завалившегося глаза на шрам, заросший диким мясом, выкатывалась маленькая холодная слеза и солила уголок за-

пекшегося рта. Но тут в лицо ударило черным смрадным дымом, и был этот дым будто выдох Аввакумова рта.

— Ну же, сдавайся, поп! — не то про себя, не то вслух требовал десятник.

Но Аввакум не сдавался. Али боль его отпустила, али сам поборол муку, али пришло откуда-то остужение, но с дикой силой рванулось из дыма:

— Ужо будете в моих руках, выдавлю сок-то!..

Поник стрелецкий десятник, и перестало ему пахнуть мятой и полынью. И понял он, что отныне лишь этой сладковатой вонью будут смрадить его дни, остатние пустые дни жизни, в которой он все растерял, неведомо где и как: жену, семью, дом, коня, поле и самого себя, да и этого вот корчащегося на костре старика, который один мог дать ему что-то взамен утеряннго. Но кругом были шиши государевы, шиши патриарховы и самые кровожадные — шиши добровольные — навадники, были стрельцы, а среди них тот, кто только и ждал случая, чтобы занять место своего начальника. Как бы низко ты ни стоял, всегда найдется нижестоящий, алчущий заместить тебя, а рубленный в боях воин — он знал это теперь прозревшим и навек съезжившимся сердцем — не обладал мужеством. Он не мог раскидать костер и спасти мученика.

Протопоп Аввакум и думать забыл об этом воине, ничтожном знаке недоброй житейской суеты. Земные образы, пронизавшие его муку и грозную осиянность, когда боль становилась нестерпимой и он будто переносился в иные пределы, эти исполненные света, чистоты и сладостной прохлады образы принадлежали тем, кого он любил после бога сильнее всего: Настасье Марковне, детушкам, боярыне Морозовой и сестре ее Урусовой, Федору-юродивому, Неронову, дочери духовной Маремьяне, старцу Епифанию. Он силился им что-то сказать, хоть повторить некогда говоренное, он не помнил, кто жив из них, кто помер, да это и ничего не значило...

— Ластовица, помощница ко спасению!.. — взывал из черного дыма протопоп. — О вы, скрижали света, жезл Ааронов прозябший... две херувимы одушевленные. Не обижайте Федора... блаженны нищие духом!.. Дочь духовная, не уйдешь от меня ни на небо, ни в бездну!.. Грядет господь грешников мучити, праведников спасти!..

Много еще выкрикивал задыхающийся протопоп, вроде бы бессвязно, но все имело прочную связь в нем самом. И все-таки, многожды думая об уготованном ему конце, рисуя в сильном воображении ждущие его муки,

Аввакум не ждал, что ему будет так больно. А говорили, что смерть на костре не страшнее любой другой казни, даже легче. Человек вроде бы еще жив, и корчится, и даже глас подает, а уж сердце стало угольком и не живет, не болит. Да кто это мог знать?.. Когда же наконец обуглится его сердце? Нет сил терпеть... Господи, неужто ты оставил меня?.. Нет!.. Я все вынесу, только будь со мной!.. Господи, боля твоя!..

Он хотел сказать «воля», но оговорился «боля». Господь принял смиренную его оговорку и послал ему остужение. Опахнуло протопота, рассеяло дым на мгновение, и в тонком золотом лучике, пронизавшем тьму грядущего, узрел он тех, кто через века подхватит его слово и его подвиг. И сразу радостно затосковал о них Аввакум. С теми, кого он любил при жизни, он встретится скоро, с иными — лишь только кончится эта телесная мука и господь примет его освободившуюся душу в свежесть рук своих, с другими — малость позже, когда придет их недалекий черед, но те, что подымут, оберегут и понесут дальше его слово, еще томятся во тьме предбытия, они родятся на свет божий еще ох как не скоро! И пройдут века-века, прежде чем он встретится с ними в раю.

Шиши царевы, шиши патриарховы, доносчики всех мастей, стрельцы, праведники, тайно пробравшиеся к Аввакумову костру, пустозерские жители и ставший сплошным ухом стрелецкий десятник, невесть кем обязанный сохранить всю память об исходе Аввакума, тщетно напрягали слух, трудили мозг, но так и не постигли последних слов, донесшихся из пламени. Мудрейшие царевы советники, думные дьяки, богословы и начетчики, толкователи снов, пророчеств, видений, даже чернокнижники, бывшие запанибрата с преисподней, не смогли перетолмачить последних зовов, заклятий Аввакума, прежде чем крохотная искра, пронизавшая его от пят до груди, обратила в уголек его вещее сердце.

С этого пустозерского пламени возжегся костер великой русской прозы.

Священник астраханской соборной Троицкой церкви Кирилла ТрEDIAKОВский женил старшего сына, певчего Василия, против его воли. Шел молодцу уже двадцать первый год, от избытка зрелых сил кожа на лице лоснилась, из носа ни с того ни с сего кровяшка хлестала, а сочетаться совокуплением брачным с достойной девицей нипочем, дурень, не хотел. В духовенстве рано женятся, ведь, коли не вступил в брак до положения в иерейский сан, быть тебе до конца дней бобылем. Разумеется, отец Кирилла видел своего старшего священником, которому по обычию отойдет его небедный приход. Отец Кирилла полагал, что ждать того недолго, не потому вовсе, что ощущал тленное веяние близкой кончины, просто устал смертельно и плотью и духом, мечтал о постриге и тихом изживании остатних дней в блаженном покое монастырской обители. Отнюдь не скуден был его приход, а большая, многодетная семья о. Кириллы если и не бедствовала, то сроду достатка не ведала. Другой бы поп благоденствовал на его месте — среди прихожан, помимо рыбаков и работной мелюзги, были люди весьма зажиточные: лавочники, владельцы стругов и неводов, средней руки купцы, подъячие, губернские канцеляристы. В попе у всех нужда: то венчание, то крестины, то освящение корабля, лавки или нового дома, то панихида — о. Кирилла не мог на боге наживаться, оттого и заслужил презрительную кличку: «дешевый поп». Хотелось верить, что, унаследовав отцу, молчаливый, затаенный, непонятный нравом первенец Василий будет не столь тороват и выдавит сок из прижимистой паствы. Тогда и вспомнят они «дешевого попа», щепетильного о. Кириллу, которому сейчас, дабы прокормиться с семейством, приходилось огород держать, а также яблоневоый и виноградный сад.

Огород начинался сразу за домом и полого сползал к реке Кутуму, и, хотя мужчины семьи ТрEDIAKОВских владывали там, не щадя живота своего, зареченскую землю пришлось отдать за долг в сорок восемь рублей Осипу Плохому, государева рыбного приказа ловцу. Бог шельму

метит, не зря носил ловец осетров и стерляди поносную фамилию — ободрал, как липку, бедных людей за не больно важный и вполне терпимый при его недостатках долг. Тому уже три года, а семейство о. Кириллы так и не оправилось, тем паче что оставшийся им огород кормил плохо. Засухи донимали. Из года в год, каждое лето пересыхала, трескалась и порошилась земля, и как ни бились о. Кирилла с сыновьями, не могли ее досыта напоить.

Но все же жили, не помирали, ели хлеб, а по праздникам — пироги с рыбой. И если свадьбу старшего сына сыграли на удивление скромно, то не от бедности — вполне по силам было самолюбивому о. Кирилле побогаче учинить праздник, да не лежала душа к щедрости, когда чуть не силком загнал сына под венец. Не хотел жениться, обалдуй, учиться хотел! Мало ему, что десять лет протирал штаны в школе католических монахов-капуцинов, а попал туда, уже грамоте зная, он в Киево-Могилевскую академию наладился и даже, тихоня скрытный, паспорт в губернаторской канцелярии получил. И словечка никому не сказал. Случайно канцелярист Волковойнов, что документ выправлял, на крестинах у судовладельца Фроликова о. Кирилле проговорился. Не то что проговорился, а поздравил с башковитым сыном, столь сильное к наукам тяготение имеющим, — думал, канцелярская душа, что с родительского соизволения тот в Киев отбывает. А разве можно, не спросясь родителей, паспорт выдавать? Сын зело еще юн, не может своим разумом жить. Знать, капуцины, продувные бестии, имели и при вице-губернаторе Кикине сильную руку. Сам-то Василий был до того прост и неловок, что никогда б такого не учинил ...

Кирилла ТрEDIAKОВский вовсе не был врагом образования, в юные годы он и сам почитывал отцов церкви, прикасался к Даниилу велеречию, даже красноглаголивого Квинтилиана открывал, благо владел начатками латыни, но тяжкие семейные заботы рано оторвали его от книг и заставили жить ради хлеба насущного. Не видел он иной судьбы и для своего первенца. Ученость хороша, когда человек знатен и богат, как князь Дмитрий Кантемир, проезжавший с царем Петром через Астрахань в Персиду да и занедуживший здесь, а простому человеку она без пользы, даже во вред, ибо отвлекает от серьезной внешней жизни, набивает голову лишними, отягощающими мыслями, а то и вовсе губит. Слишком много узнавший бедняк беспременно или с круга спивается, или в ересь впадает, или

в крамолу, или из ума выходит. Попадались не раз о. Кирилле такие людишки, что обожравшись неперевариваемой пищей книжной мудрости, превращались в блаженненьких или чумовых. Бывали, конечно, счастливы, хотя бы знаменитый Никон, что из забытой богом Мордовии взлетел на патриарший престол. Так ведь у Никона, помимо великой учености, был еще особый талант к власти, к подавлению слабых человек и уловлению сильных, чего в собственном сыне о. Кирилла никак не просматривал. Но и Никон, до чего уж кряжист и могучен, а и тот плохо кончил. Перемудрил, сердешный, хотел от великого ума и познаний выше головы скакнуть и в заточение угодил. Конечно, при царе Петре простой человек мог на высшую точку взойти не книжной ученостью — для того голландцы и немцы водятся, — а ратной доблестью, или особым дарованием в гражданских делах по части заводов и мануфактур, торговли и ремесел, или счастливым умением влезать без мыла в любую щель, втираться в доверие к власти имущим, что дает человеку самый быстрый и верный успех. Ни к чему перечисленному его бесхитростный и неуклюжий сын расположения не выказывал, был он начетчик, грамотей, книжный червь, и ничего больше. Не светила ему и блистательная судьба попа-пииты — хитролиса Феофана Прокоповича, ставшего столь близко к особе государя императора. Куда там! Стало быть, надлежит ему идти проторенным путем поповского сына и дурость ученую из головы выкинуть.

Прослышав о паспорте, о. Кирилла твердой, привычной к лопате и мотыге рукой вразумил сына. Тот по обыновению и не пытался оправдаться, молча снес наказание, отсморкал кровь, лишь в тускло-голубых глазах прибавилось сонной мути. Никогда не мог понять умевший читать в человеческих глазах о. Кирилла — на исповедях обучился вылавливать истину в темени ускользающих зрачков, — о чем думает его первенец. Гонишь его на огород — книгу в сторону и послушно трусит к грядам; гонишь на виноградник или по иной надобности — та же безропотная покорность, но мнилось о. Кирилле, что внутренним согласием сроду не отвечал ему сын. Не было в нем ни любви к родителям, ни жалости к братьям и сестрам; даже тихой, запуганной, безответной матери не уделил он хоть крохи душевного участия. В великую досаду о. Кирилле был вечный заячий страх его жены, переходивший в болезненный ужас, стоило ей чем-то «не угодить» мужу. А ведь

суровый, резкий, скорый на расправу о. Кирилл не только сроду ее пальцем не тронул (сынов бивал, дочерям косяшками перстов в лоб тыкал, служкам рассыпал затрепанные), но и голоса на нее не повысил. Как почуял в своей невесте, светленькой, беленькой, голубоглазой, до слез умильной, эту необъяснимую душевную робость, так и объял ее, как мехом пушистым, своей добротой. Но знала тихая его жена, что есть в нем и другая душа: крутая, нетерпячая, ожесточенная худой жизнью, и, будто не веря надежности окутавшего ее тепла, вечно тряслась, не согреваясь. Видать, унаследовал Василий что-то от материнского кроткого, невольного и необоримого упрямства. Безмолвно подчинялся он отцовой воле, но правоты его не признавал. Отец Кирилл догадывался, что жена в тайниках души держит сторону сына; будь ее воля, она оставила бы Василия при его пустых и неустанных занятиях. Но тут ее воли не было, и о. Кирилл беспощадно гнал сына то на церковные хоры, то в огород, то в сад, то на пасеку. И всю судьбу Василия решил он единолично, даже сам ему невесту подыскал — дочь сторожа Астраханской губернской канцелярии Фадея Кузьмина — Феодосию.

При невидном своем положении был Фадей Кузьмин человеком довольно зажиточным. Видать, умел он то, чего вовсе не умел о. Кирилл, недаром же говорит народная мудрость, что не место красит человека, а человек — место. Кажись, чего стоит канцелярский сторож перед священником городской соборной церкви? Ан стоит! Фадей отвалил за дочерью такое приданое, что Третьяковским и не снилось. Он хотел и на свадьбу денег дать, но о. Кирилл наотрез отказался: «Свадьбу в нашем доме играем, по нашим средствам. А тебе ведомо, что не за княжича дочь отдаешь».

И странно, все вроде бы по воле о. Кириллы вышло: сын остался дома — при церкви и огороде, учению предел положен, уже и свадьбу назначили, а там само покатится, как по гладкому льду, но тревога и смута терзают душу. Не видел он мысленным взором сына священником и места своего преемником, никак не вырисовывалась приятственная эта картина. Порой ему казалось, что сын и вовсе в бога не верует, а если и верует, то на какой-то свой особый лад. Даже когда он пел в церковном хоре, мутно-голубой взгляд не оживлялся теплой верой, душа его отсутствовала в храме. Это причиняло немалые страдания о. Кирилле, но еще сильнее угнетало его в сыне другое: ти-

хоня, послушный, безответный увалень с круглым невыразительным лицом, помеченным двумя бородавками, и плотным — где только нагулял жирок-то! — телом не был просто затаенным упрямцем, а человеком *одержимым*. Вот что страшило о. Кириллу и заставляло сомневаться в прочности всех своих побед. Потому и свадебное торжество обставил он не по-русски скудно. Да будет ли толк из этого брака, верно ли, что охомутил он Василия, навсегда привязал к клочку нещедрой астраханской земли, где жить и жить Тредиаковским до скончания века, передавая от отца к сыну приход соборной церкви?

Но ведь редко владеет человеком какое-то одно безраздельное чувство, обычно рядом теплится другое, порой прямо противоположное. И в о. Кирилле, вопреки убежденности, коренящейся в большом и горьком душевном опыте, знании людей и смирении перед своей несчастливой звездой, таилась надежда, что все еще образуется и найдется управа на одержимого демоном бесцельного познания поповича.

Такой управой, хотелось верить, станет молодая жена Василия. Отец Кириллы знал Феодосию еще девчонкой — жили по соседству — голенастой, конопатой, сопливой; мелькала она ему и подростком, когда о существовании женского пола вовсе судить невозможно: и в ангела, и в черта равно может вылиться зыбкий комок плоти. После Кузьмины переменили местожительство, Феодосия о. Кирилле более не встречалась, но краем уха он слышал от людей, не вникая в толки, что дочка канцелярского сторожа, войдя в девичий возраст, расцвела редкой тонкой красотой. Однажды на улице о. Кирилле низко поклонилась девушка в пуховом астраханском платке, который она придерживала узкой белой рукой у горла. Отягощенный вечными заботами, о. Кирилла рассеянно кивнул в ответ, но вдруг, повинувшись внутреннему толчку, обернулся и уставился ей вслед, что и для мирянина не больно пристойно, а для духовной особы вовсе дико.

Стройна до хрупкости, гибка станом, легка поступью, не торопливо семенящей, а плавной, летучей, и о. Кирилла пожалел, что не углядел ее черт. Но что-то помнилось — жаром на скулах, будто пронесли мимо самого лица горящую восковую свечечку, — взгляд мимолетно-пристальный ее ярких медовых глаз. «Не дочка ли это сторожа Кузьмина?» — осенило вдруг о. Кириллу, и странная печаль сдвинула сердце.



Она самая и оказалась. О. Кирилла сразу признал ее, когда года через два явился в дом Кузьминых. Конечно, она изменилась: сохранив деликатность сложения, уже не казалась хрупкой, непрочной, была в ней какая-то тонкая и ловкая сила. «Такую не задуешь, как свечечку, — с удовольствием подумал о. Кирилла. — Крепенькая! ..» Чувствовалось, что узкая белая рука ее с длинными перстами ухватиста к любому предмету, будет ли то игла, печной рогач или мужний ворот. А личико на образ просится, такая чистота и строгость нежных черт, вот только взгляд медовых, золотистых глаз совсем земной: веселый, горячий, ласковый.

И поугрюмел о. Кирилла: с какой стати пойдет краса писаная Феодосия за его обалдуя, что ни наружностью, ни обхождением не взял, о богатстве же и говорить не придется. Фадей Кузьмин заранее предупредил через разговорную женщину,сланную к нему на предмет прощупывания почвы, что породниться с семейством о. Кириллы почтет за честь, но дочь неволить не станет. Это объяснило о. Кирилле, почему Феодосия, завидная невеста, подзадержалась в девках. Конечно, к ней сватались, иначе быть не могло, но, зная, не по сердцу были ей женихи. Девушки, известно, разборчивы и, коли родительская воля не поуждает, готовы весь век выбирать и кобениться. Но чем может привлечь Феодосию вечный школяр, заучившийся до одури бедный попович? Правда, был его Василий своего рода местной достопримечательностью — его отметил сам царь Петр, когда останавливался в Астрахани. Любящий собственноручно вникать в каждую малость, потребную, как ему мнилось, для русской пользы, Петр Алексеевич не только облазил все верфи, коптильни, солеварни, складские помещения, но и пожелал увидеть юных латынщиков. Изо всех них царь удостоил вниманием одного лишь Василия. Заломив ему на лоб русый чуб, Петр долго вглядывался в мутно-голубые серьезные терпеливые глаза юноши и, толкнув его в лоб широкой дланью, произнес то ли в похвалу, то ли сожалеюще: «Вечный труженик!»

Никто не понял, что имел в виду царь-человекознавец, и о. Кирилла тоже не понимал: добро или беду сулит сыну царево предсказание. Труженик — вроде бы хорошо, худо, коли бездельник, а «вечный» звучит приговором, значит, не будет ему отдохновения от трудов праведных, не вкусит он заслуженного покоя на склоне лет. Но это уже о дру-

гом, как-никак, а царева отметина легла на его сына. Правда, мало вероятия, чтобы двусмысленный знак царского внимания мог расположить к Василию незанятое сердце Феодосии. А впрочем, кто знает! Вон князь Кантемир, отставший от царского обоза по причине болезни, заинтересовался трудолюбивым юношей и велел привести к своему одру. Между свергнутым господарем молдавским и бурсаком состоялась долгая беседа, и, хотя князь никакого места Василию при своей особе не дал, тот сдружился с его домашним секретарем Иваном Ильинским, человеком в годах, большой учености и немалого веса. Может, и впрямь что-то было в нелепом Ваське?..

Похоже, что было, — к великому удивлению и радости о. Кириллы, красавица Феодосия сразу ответила согласием на брак с его первенцем. «Я Васю еще мальчиком помню. Тихий, задумчивый. Сроду с ребяташками не дрался и не играл. Ни на кого не был похож и вроде таким остался». То была сущая правда.

Маленький, он от мамки ни на шаг, а как грамоте успел, так книжками от всего мира отгородился. Нехристианской злостью распаялся о. Кирилла, видя, каким рохлей, тюфяком, бабой растет его первенец. В нем не было ничего мальчишеского. И постоять за себя он вовсе не умел. В школе католических монахов дети были как дети, зубрежка не мешала им возиться, драться, гонять голубей, купаться, рыбалить, а позже баловаться вином и табаком. Ни в чем таком сроду не принял участия Василий. Если его задевали, отходил в сторону, обиженно сопя, на тумак ежился, а получив по сопатке, задирали лицо кверху и терпеливо ждал, пока уймется кровь. А ведь не заморыш: широк в груди и крестце, с большими руками, окрепшими в огородной работе. «Чего ты сдачи не дашь? — вопреки евангельскому поучению о правой и левой щеке, донимал сына о. Кирилла. — Та же пареш». — «Я не такой пареш», — тихо звучало в ответ. «А какой?..»

Сын приоткрылся много позже, уже юношей. Однажды в присутствии о. Кириллы он заспорил с однокашником о смысле какого-то стиха Феофана Прокоповича. Предмет спора не интересовал о. Кириллу, но поразило упорство, с каким сын отстаивал свое мнение. Под его сокрушительным напором противник, добродушный лохмач, быстро растерял все позиции и мечтал лишь о почетном отступлении. Но, не щадя самолюбия друга, Василий топтал его ногами, требуя полной капитуляции. В нем не ощу-

шалось ни торжества, ни злорадства, но то, что он отстаивал, было для него важнее и дороже всех дружб на свете. Без колебаний мог он пожертвовать единственно близким человеком ради нескольких рифмованных строчек, пропади они пропадом! Вот тогда-то нашлось у о. Кириллы еще одно слово для сына кроме «одержимости» — «избранность». Люди живут по случаю и обстоятельствам, по обычаям и правилам, по указке старших или по выгоде и еще по чувству, а Василий, похоже, находится в ином подчинении, и житейские уставы не властны над его душой.

К чести душевной трезвости о. Кириллы, он недолго задержал сына на горней высоте, куда того вознесло тайное родительское честолюбие, тлеющее под душным навалом нужды и разочарований. Избежав соблазна даже мимолетной надежды, он сразу вернул сыну обычные прозвища: «обалдуй», «недотепа», «балбес», «книжный червь». Но вот на него пахнуло не привычным — густым, едко воньким от рыбы, соли, кож астраханским воздухом, а благоуханным веем ангельских крыл. Освежающий этот ток родился в нечаемом и необъяснимом согласии Феодосии. Знать, был некий свет за широкими плечами сына, если чудесная девушка готова связать с ним свою судьбу.

Все было проще, нежели мнилось о. Кирилле. Наделенная ясным разумом и прямой душой, Феодосия знала, что пришла ее пора, ей надо замуж, если она хочет прожить добрую женскую жизнь. Нет ничего жалостней и ничтожней застарелых дев, а угроза одинокого векования уже нависла над ней. Ей нужны любовь и ласка и самой нужно излить на кого-то свою нежность. Быть только нежной тятенькиной дочкой она уже не может. Но сватавшиеся к ней молодые люди отвращали ее или ранней порчей, написанной на притворно постных рожах, или алчным юношеским вожделением. Нечистота помыслов хорошо уживалась с косноязычием, томительной мозговой ленью, запахом табака и сивухи. Случались среди искателей ее руки и ражие, смекалистые молодцы с хорошо подвешенным языком, но пугала их ранняя самостоятельность и уверенность в себе. Феодосии хотелось подчиняться мужу, все делать для него, ноги мыть и воду пить, но лишь по собственному усмотрению. Лаской и добротой из нее можно веревки вить (так поступал и собственный батюшка), но против малейшего понуждения, нажима ее кроткая и сильная душа мгновенно восставала.

Она с детских лет расположилась к тихому, безответному поповичу. Встречался он ей и в более поздние годы, ничем не испортив впечатлений о себе. Нравилось и его пристрастие к книгам, хотя сама она, зная грамоте, читать не любила. Да и внешность Василия не была ей противна. Конечно, без бородавок лучше, но куда их денешь, коли бог наслал, а так он кожей чист, скроен ладно и крепко, и покоем веет от крутого просторного лба. Она знала, что сможет легко привыкнуть к нему и даже полюбить чистого и задумчивого человека.

Прими сын хоть с каплей благодарности известие о своей женитьбе, и о Кирилле завернул бы такую свадьбу, какой еще не видывали в астраханском духовенстве. Ничего бы не пожалел, дом с участком пустил бы в заклад, а семью — по миру. Но Василий всем своим паскудно-смирненным видом как бы говорил: воля ваша, батюшка, коль прикажете, женюсь хоть на чумичке, хоть на метле. Ишь, гусь! Старик отец высмотрел ему такое диво дивное, чудо чудное, а он рыло воротит. Ну, раз так, то нечего фейерверки жечь. Справим по-бедному. Конечно, всякого брашна наготовили вдосталь, не бывает иначе в русском православном доме, и напитков хватало: Яков, младший брат Василия, столько зелия в себя принял, плясь на новобрачную, что под стол скатился. Его уволокли, и свадьба продолжалась тихим, степенным манером. И все же навсегда запомнился о Кирилле этот скромный праздник как божий подарок, как самое красивое, что было на его веку. И причиной тому — молодая. До того хороша, ангелоподобна была она в белых своих одеяниях, — жаль, что реющую облачком над нежной главой фату сняли после венца, — пленительна каждым небыстрым движением, и так блестели ее золотисто-медовые очи, так доверчиво и нежно приоткрывались в полуулыбке розовые уста, что молодое сердце старого попа плакало от неизъяснимого и печального восторга.

Он все время, еще с церкви, ревниво и недобро наблюдал Василия. И уловил мгновение, когда этот истукан дрогнул, прижмурил свои мутные глаза, будто их ослепило. Невеста коснулась его руки, надевая кольцо, и он в грозной близости увидел ее источающее свет лицо. Но тут же снова впал в сонную одурь, послушно и вяло делал все положенное, а за свадебным столом вел себя так, будто по обязанности замещал кого-то запозднившегося. И когда кричали «горько», он всякий раз оглядывался, ожидая, что

явится тот, чье место он занимал за столом, и получит следуемое ему по праву. Но никто не являлся, и Василий, подавив вздох, деревянно поворачивался к молодой. Она уже ждала, доверчиво и грациозно протягивала сложенные ковшиком ладони, брала в них его лицо и; вытянув губы трубочкой, целовала в краешек рта. Отец Кирилла остро завидовал сыну и клял его на чем свет стоит за холодность.

А Василий не то чтобы оставался холоден к прелестной девушке, возникшей словно из воздуха и нареченной его женой, он просто не верил в свою причастность свершающемуся. Батюшка затеял очередное дело, кажущееся ему выгодным, сколько уже таких дел было: то землицы под сад и бахчу подкупит, чтоб вскорости за полцены спустить, то пай на невод приобретает, подгадав под сезон, когда осетры перестают ловиться, то стащит мукой скопленные гроши какому-нибудь оборотистому коммерсанту, прогоревшему в пух и прах, о чем ведомо всем астраханцам, кроме умного, истинно умного, но безнадежно попутанного горячим, заносчивым нравом о Кириллы. И это его предприятие: женить сына, намертво привязать к Троицкой церкви, огороду и саду, ко всей здешней темной и грустной жизни — тоже прогорит, как все другие прожекты. Ведь должен Василий учиться, должен все узнать и понять про слова. Зачем ему это нужно, Василий никогда не задумывался: зачем дышать, есть, воду пить. Просто без этого человек не мог бы жить. А ему еще одно условие невесть кем наказано: знать все про слова. Это не такая уж редкость: обязанные чему-то люди по всему свету водятся. Они не могут жить просто так: кому надо кистью по холсту или дереву водить, кому над природой вещей думать, кому травы на лекарства собирать, а есть такие, что всю жизнь философский камень ищут, или вечный двигатель ладят, или тшятся человеку крылья приделать, или сохранить для будущего шум своего времени. А лиши их этого, захиреют до полного изничтожения.

К тому же не мог Василий допустить, чтобы Феодосия ему принадлежала, что слова «Муж и жена есть плоть едина» относятся к ним. Неужто пойдет он с ней в спальную комнату, разденется, явив все непотребство своей наготы, ляжет в одну постель и совершит то стыдное и тайное, что нередко являлось ему в бессонице томительными весенними ночами? Об этом и подумать страшно. Не смеет он к ней прикоснуться. Господь не допустит. Верно,

и батюшка предусмотрел в житейских своих расчетах, чтобы не вышло поругания чистой голубице. Потому и не пытался он быть нежным, даже просто внимательным к молодой, хоть и выполнял все по обряду требуемое и даже касался ответно сухими губами горячей глади щеки и живого влажного краешка губ. На протяжении всего застолья держал он душу на леднике.

Лишь раз оттаял Василий, когда приведенный секретарем Ильинским пожилой седовласый господин из свиты князя Кантемира, собирающий по окраинам русской державы обрядовые песни, народные сказания и легенды, попросил разрешения спеть свадебную песню, которую он записал у поморов. Надо думать, что и сюда этот господин забрел в надежде услышать новую песню, но тихо было на свадьбе певчего.

Известно, заметил гость, что все свадебные песни поются хором. Я же исполню эту величальную единственно для ознакомления с обычаями северных народов. И завел приятным, в меру высоким голосом:

Уж как кто у нас в пиру хорош,  
Уж как кто у нас в пиру пригож.  
Как хорош новобрачный князь,  
Новобрачный князь Васильюшко,  
Что Васильюшко Кириллович.  
Его личико — белый снег,  
Его щечки вроде алый цвет,  
Его брови-то черна соболя.

Истинно, персона моего сына, злобился о Кирилла. Что личико, что щечки, что бровки — с него писано. Он понимал, что это общие, от века заложенные в величальную приметы образцового жениха, а не данного человека, но не мог унять раздражения. Тут к певцу пристали, чтобы спел величальную и новобрачной. Он не заставил долго себя упрашивать:

У сизого голубя  
Золотая голова,  
Что ль у сизой у голубки  
Позолоченная,  
Разным шелком, разным шелком  
Перестроченная.  
Кабы это же, братцы,  
Жена была моя,  
Я бы в лете, я бы в лете —  
В золотой катал карете...

О, да!.. Лишь золотая карета по чину ее красоте. Золотая и бриллиантовая!» — стонало в груди о. Кириллы.

— Отец Кирилла, — услышал он испуганно-укоризненный шепот жены, — очнись, родной! Не ты же, кормилец, женишься!

Впервые за их долгую жизнь жена осмелилась подать голос, до еще с укоризною. Одернула, голуба душа, своего грозного повелителя. Хорош он, нечего сказать, если такое бесхитростное существо проникло в его тайные думы. Чем же он себя выдал?.. А может, вовсе не так уж бесхитростна кроткая его спутница и много чего углядывает из своей мышинной норки? А ну, благочинный, возьми себя в руки, а главное — прочь глаза от новобрачной. Спокой и прости мя, господи! Ты же знаешь, не гнусное вожделение, а восторг и печаль владеют моей усохшей, но все еще живой душой. Господь все поймет, а людям, даже близким, разве что объяснишь? И медленно, с усилием он увел взгляд от новобрачной.

А Василий впервые за все свадебное застолье оживился, даже алые розаны расцвели на белом снегу личика. Он о чем-то говорил, похоже, спорил с господином Ильинским и собирателем народных песен. Надо же, чего себе позволяет с важными учеными господами вчерашний школяр, а те не осаживают наглеца, с вниманием, даже интересом слушают. Не больно складно излагает свои мыслишки сын, запинаясь, мычит, подыскивает слова. Уж если полез в серьезную беседу с людьми старше тебя и годами, и положением, то хоть знай, баранья голова, что ты сказать хочешь, и не мямли, не мычи, не вякай, а сыпь горохом. Но снисходительных собеседников Василия, видать, и косноязычие его не сердит, слушают, поигрывая бровями от внимания, важно кивают. Ну-ка, о чем они там гуторят?

— ... который раз подмечаю, — говорил Василий, — в подлом стихотворении куда больше распевности, нежели в виршах самого Феофана Прокоповича.

— Народное стихотворение и есть песенное. В ином роде и не существует, — улыбнулся господин Ильинский.

— А не есть ли всякое стихотворение — песнь? — с удивленным и поглупевшим видом изрек Василий. — Не то, что есть, а быть должно?

— Неужто высокая поэзия в нравоучительном или одическом роде нуждается в пении? — чуть высокомерно заметил господин Ильинский.

— Конечно нет! — смешался Василий. — Я о другом... Вот чувствую, но выразить не умею...

«А не умешь, так не суйся. Сиди и помалкивай!» — гневно прокатилось в о. Кирилле.

— Родимец, — услышал он тихий, как шелест травы, голос жены, — ты бы поласковой на Василия глядел. Волчье у тебя в очах, нехорошо!

Отец Кирилла чуть не плюнул с досады. Что это накатило на нее — мужа одергивать? Откуда такая отвага? Может, в сыне женатом и невестке опору себе зрит, бедная. Да бог с ней. А вот с ним самим что дется, что за бури сотрясают его нутро? Он приложил руку ко лбу, загородился широкой кистью.

... — думается, тут дело в разности методы — рассуждал Василий. — Силлабическая поэзия лишь равные количества слогов в строке требует, а в народной иное благозвучие заложено.

— Сия, с позволения сказать, поэзия нища рифмами, — строго сказал господин Ильинский.

— Ой ли? — вмешался собиратель песен. — И в народной поэзии рифмы наихитрейшие встречаются. Чаше рифмуются концы стихов, но бывают рифмы и в зачине, и в середине, когда делят стих на полстишье.

— Не о том речь! — дерзко встрял Василий. — Что, если благородному силлабическому стихотворению напевность народной поэзии сообщить?

— Вот и попробуй, — добродушно посоветовал гость. — Может, новую методу откроешь.

— Горько! — неожиданно для самого себя грохнул о. Кирилла...

## 2

... Они долго лежали без сна по краям широкой и до смертного ужаса узкой брачной кровати, случайное движение — и враз скатишься в жар чужого страшного тела, в прохладных поначалу, а сейчас горячих влажных простынях, головы тонули в раскаленных подушках. Из приоткрытого оконца тянуло солоноватой свежестью, но остуды не приносило.

Василию хотелось пить, он не привык даже к малым дозам зелия, и пересохший рот саднило; кадушка с квасом и плавающим поверху ковшиком была заботливо поставлена матерью к изголовью с его стороны, но он не решал-



ся рукой шевельнуть. Шершавым языком он облизывал губы и небо, это не приносило облегчения. А голова ясная, хмель улетучился сразу, как только встали из-за стола, и он вдруг понял, что все свершается всерьез и сейчас их отведут в спальню и оставят одних, глаз на глаз в темноте, просквоженной желтым огоньком лампадки и слабым светом звезд с черного, еще не родившего месяца апрельского неба.

— Ну, что же ты? — Шепот разорвал тишину набатным боем.

Василий услышал частое, легкое дыхание Феодосии, услышал комариный гуд и скрежет жука-древоточца, какие-то далекие голоса за окном, мерный скрип плохо закрепленной ставни, таинственный переговор половиц старого дома, где, казалось, ночь напролет кто-то бродит по всем покоем.

— Так и будем лежать? — с мягкой укоризной прошептала Феодосия. — Ведь я жена тебе, Вася. Нас господь бог соединил.

— Чего тебе? — сипло, сквозь пересохшие губы выдавил Василий.

— Вот те раз! — она засмеялась. — Еще спрашивает! Неужто ты такой глупый, не знаешь, зачем люди женятся?

— Я не умею, — пробормотал Василий.

— Милый ты мой! — сказала она певуче. — А разве Адам с Евой умели? Да ведь не зря же господь бог их из рая выгнал. Сумели, значит. Ляжь поближе.

Но Василий не пошевелился, зная наперед, что все это пустое, он не осмелится ее тронуть, а и тронет, так без толку, и от жалкой, подлой слабости своей заплакал. Сперва тихо, зажимая рот рукой, кусая пальцы, чтобы болью телесной прогнать другую боль, а потом громко. Он уткнулся лицом в подушку, спина его тряслась, и он не сразу почувствовал, что Феодосия сама прилегла к нему. Она обнимала его, успокаивала; с неожиданной в ней силой разжала его руки и подолом рубашки утерла ему слезы и даже нос, как мальчишке, высморкала, а потом сняла с себя эту мокрую рубаху и бросила на пол. Она положила его голову к себе на грудь, вдавилась в него, заполнив собой каждую впадину его скрюченного тела, и он ответно стал проникать в нее, дрожа крупной дрожью и вместе успокаиваясь. Вновь вспомнилось: жена и муж есть плоть едина. Теперь он понимал эти слова, ибо уже сам не разли-

чал, где он, где она, где его рука, где ее рука, где его нога, где ее нога. И она сумела скрыть, что ей больно, он только утром, увидев окровавленную простыню, понял, как сильно повредил у нее внутри, а она и виду не показала, стона не издала, зубами не скрипнула, только трудилась ему навстречу, помогая его грубым и неумелым усилиям. И еще он понял утром, что ей уже не больно, а сладко и счастливо, как и ему, она ищет соединения, и они воистину плоть едины.

В эту первую брачную ночь, в боли, крови, с зажатым в груди криком Феодосия во всю свою большую душу полюбила Василия, полюбила той огромной, святой, преданной, самоотверженной и безоглядной любовью, на какую только способна русская женщина.

Она получила, что хотела: чистого, не облюбленного другими, не знавшего чужих прикосновений, чужих губ, свежего и сильного в сохранности своей, целиком и неделимо принадлежащего ей человека. Под утро распелись птицы. Розовым светом облило оконце. Они были смертельно усталы и счастливы.

Их никто не будил до самого вечера. Отец Кирилла запретил тревожить молодых. Он ликовал, разом простил сыну все его дурацкое поведение во время сватовства, венчания и свадьбы, тупую угрюмость, неблагодарность родителю. Ведь тут не было душевного изъяна, никакой порчи, просто еще не проснулась в нем плоть, в оболочке взрослого человека пребывал младенец. Но одна ночь превратила младенца в мужа. Недаром о Кирилла так верил в хрупкую Феодосию, sprыснула она его сына живой водой любви. Теперь небось наладится на серьезную жизнь, навикнет отвечать за жену и будущих детишек. И при мысли о внуках, которые не заставят себя ждать, коль молодая так рьяно взялась за дело, о Кирилла чувствовал, как плавится в груди застарелый твердый ком, давивший на сердце. «Скоро и тебя женю,—пообещал он младшему сыну Якову, — а тебя замуж выдам», —старшей дочери Марье. У него легкая рука на устройство брачных дел, он хорошо и надежно пристроит всех своих детей, и большой дружной семьей они подымутся из нужды. Ну, а кто захочет своим домом жить, милости просим, неволить не станем, и в умалении семейства есть своя прибыль. На радостях о Кирилла, хоть стояла самая горячая пора и в огороде работы не впрокорот, решил не трогать Василия, пусть насладится молодой женой до полного опустошения.

Ну, а ему и Якову придется приналечь. Что и было сделано по одолении малого бунта Якова, пришедшего в ярость, что ему придется вламывать и за старшего брата, пока тот нежится в постели.

Только на четвертый день сподобились молодые посетить согласно обычаю отца молодой, но самолюбивый Фадей не выказал обиды, обрадованный счастливым видом дочери. Феодосия светилась радостью, у нее расцвел рот, расцвели глаза, округлились груди, окреп стан и все тело налилось, хотя питались они с мужем, подобно старцам-пустынникам, водой и акридами, не притрагиваясь к вкусным кушаньям, которые готовила попадья. Иной насыщали голод, ибо поистине: не хлебом единым...

А вернувшись домой, снова уединились, но ненадолго, через день-другой свежий голос молодой зазвенел в горницах. Толково и понятно расспрашивала она женщин дома о хозяйственных делах, отыскивая себе в них место. А Василий свет Кириллович почти не показывался, не мог, видать, расстаться с брачной комнатой. Слушал весенних птиц, мечтал да потягивался, пил холодный сахарный квас с изюмом и нетерпеливо поджидал возвращения жены. Так, во всяком случае, представлялось обитателям попова дома. Да так оно до поры и было. Феодосия проникла в него, расширилась, заполнила собой всю емкость его существа. Ни с кем и никогда не будет ему так счастливо, и чего еще желать бедному человеку? Прост и прям расстилающийся перед ним путь: он станет священником, по примеру отца будет славить господа бога, пестовать людские души, возделывать сад и огород, растить детей. Он обучит их всему, чему сам не успел обучиться, и в назначенный срок покинет этот мир, совершив положенное человеку. Все ли совершив?.. Да, если не ставить себе иных, посторонних целей. Но ведь он-то ставил. Он хотел *знать*, все знать о низании слов в стихотворные строки, ему мерцало что-то новое, русской поэзии неведомое. Неведомое нынче, а завтра, глядишь, и станет ведомым. То ли станет, то ли нет, а уж коли и станет, так не его трудом, а усилием ума и души другого бескорыстного человека. Но ему не хотелось, чтоб этот другой человек сделал его работу, как не хотелось, чтобы другой человек обнимал Феодосию.

Но все это были лишь слова, которые он проборматывал, слоняясь по маленькой спальне под пение птиц и гуд майских жуков, пока Феодосия вникала в хозяйствен-

ную жизнь дома, и горечь их истаявала без следа при одной мысли, что жена скоро вернется и прильнет к его груди. А если уж слишком невольно становилось, он бросался на кровать, зарывался лицом в подушку и вдыхал тонкий запах ее волос с такой жадностью, что заходило сердце.

Однажды, уронив руку с кровати, он нащупал на полу, у стенки, маленькую затрепанную книжку. То ли сам занес ее сюда в далекие отроческие дни, когда искал уединения в большом, набитом людьми и заботами доме, то ли сестры запрятали по баловству. От старой книжки пахло пылью и тленом, ссохшиеся листы пожелтели. Овидий. «Превращения». Когда-то он не расставался с этой книжкой, видя в ней образец мудрости и словесной красоты. Но из книг вырастаешь, как из одежды. Зачем ему дремучее переложение на русский римских стихов, когда он, лучший латинист католической школы, мог наслаждаться музой Овидия в подлиннике, а ровно Катуллом, Горацием, Теренцием... Монах Марк-Антоний, обнаружив в нем редкую память и прилежание, порядком натаскал его в греческом, которому в школе не обучали. Он владел не только древними языками, свободно читал по-итальянски и неплохо по-немецки и по-французски, без последнего вообще невозможно причаститься сегодняшней поэзии. Ныне ее средоточие во Франции, как некогда в Древнем Риме, а в средние века во Флоренции. И, уносясь горячей юношеской мыслью в горние выси, он мечтал пересадить благоуханные цветы французской поэзии на русскую почву. Он и вообще легко воспламенялся от чужого огня. Быстро схватывал чужую мысль и мог не просто передать ее словами родного языка, но и развить, расширить, украсить чем-то своим, что без толчка извне дремлет на дне души. Но сейчас все эти горделивые мысли истаяли дымом. Надо раз и навсегда выкинуть из головы тревожащие имена поэтов и философов, они ни к чему будут попишке-огороднику, примерному мужу и отцу многочисленных чад. Заутрени, обедни, вечерни, престольные праздники, крестины, свадьбы, отпевания, поминания да исповеди — вот предстоящая ему до исхода жизнь, а священное писание — единственно необходимая книга. Не надо обманываться на этот счет, об ученых занятиях себе в усладу и думать забудь, не по плечу они недоучке, умственному недорослю, ему бы еще учиться, напиваться чужой мудростью. Вот какова плата за жаркие сладкие ночи!

Милая, нежная, ласковая Феодосия одним движением белого плеча повергла в прах Гомера и Овидия, Данте и Тассо, Ронсара и Фенелона. Но тленный запах старой книжки пробудил в нем смертную тоску по свергнутым кумирам, прежнюю саднящую жажду все узнать, выговорить свое, пока еще смутное, но чаемое как будущее свершение. Надо бежать, сейчас же бежать, ибо с каждым днем это станет труднее. Кроткая власть Феодосии над ним крепнет с каждым днем, и настанет время, когда он не сможет бежать, и тогда ему конец. Он не создан для тихого счастья медленно и неприметно текущей жизни. Можно долго обманываться, но когда-нибудь он поймет, что променял душу на мягкую постель и остывающее с годами женское тело, и тогда он или руки на себя наложит, или сопьется с круга и станет самым несчастным и ужасным человеком на свете, и людям будет страшно на него глядеть. Он не отказывается от Феодосии, вернее, отказывается лишь на время, когда станет тем, кем стать должен, тогда он вернется за ней. Но странно, этому последнему почему-то не верилось. Он знал, Феодосия будет его ждать, сохранит верность, знал, что не полюбит другую женщину, и столь же твердо знал, что уход его навсегда. Но все это в будущем, за дымкой лет, а сейчас перед ним одно: суметь уйти. Надавав сыну оплеух, о Кирилла не удосуужился отобрать у него паспорт, документ — что вольная, беглеца нельзя схватить по родительскому требованию и силком вернуть домой. Он уйдет в Москву, поступит в Славяно-греко-латинскую академию, по старинке называемую Заиконоспасским училищем. Прежде он метил в Киево-Могилянскую академию, но господин Ильинский считал московское заведение, которое и сам кончил, более подходящим для русского юноши. В Киеве силен ляшский, католический дух, а Москва — оплот православия, сердце России. Да и разыскивать его начнут конечно же в Киеве, куда он раньше собирался, а, не найдя, глядишь, и поостынут.

Вертя в руках полуистлевшую книжицу, Василий обнаружил, что по-деловому прикидывает возможности своего бегства, и понял: решение его бесповоротно. Он лег на кровать, прижался лицом к подушке, хранящей запах волос Феодосии, и тихо, из глубины нутра заплакал.

А потом встал, оделся, ополоснул лицо и ушел в город. Здесь его поступки отличались такой точностью, будто он всю жизнь провел в бегах. Он сразу направился на

пристань, узнал, что в начале июня в Москву отправляется артиллерийская команда в семьдесят человек, до Саратова — водным путем, дальше по сухопутью. На лучшее и рассчитывать нечего — с военными людьми он был в безопасности от гулявших по волжским берегам разбойников. Он быстро сговорился с хмельным, добродушным артиллерийским капитаном, обожавшим просвещение, подмазал тоже хмельного, но грозного каптенармуса, дабы кормил его от солдатского котла, и уже не сомневался, что благополучно достигнет первопрестольной, не сгинув ни от голода, ни от ножа лихого человека...

... Ушел он из дома на рассвете. В мешок сунул лишь две рубашки, чулки, бритву и связку любимых книг. Праздничное платье, шубу и часы позолоченные — свадебный подарок — оставил Феодосии, невелико подспорье, да ведь в семье не пропадешь. Пропасть куда проще ему, но он за себя не боялся. Когда он писал ей прощальную записку, Феодосия почувствовала сквозь сон непривычную пустоту кровати, застонала, потянулась к мужнину месту, но сморилась, не завершив движения — весь день на огороде наравне с мужиками ломалась, и вновь задышала глубиной сна.

Замерший в испуге Василий понял, что она не проснет, дописал записку, наклонился к жене и почувствовал, вместо прежнего тонкого аромата, запах пота и земли. Вот так бы выветрился и аромат их юного чувства, замесившись спертым духом обыденности. Спасительная мысль, а легче не стало. Он не ждал, что ему будет так больно. Словно спицу воткнули в грудь — дышать трудно. Как же сильно связал их медовый, истинно медовый месяц! С этой болью он выбрался в сад, твердя про себя: может, остаться, остаться, пока не поздно!.. Ему почудилось, что скрипнула оконная рама. Сейчас его окликнет, удивленно и доверчиво, родной голос не ждущей от него подлости Феодосии, и тут Василий совершил такой скачок, которому позавидовал бы горный козел. Какая там спица в груди — он перемахнул через ограду, промчался пустынными улицами, скатился под гору и лишь у пристани очухался, поняв, что ему померещилось. Артиллеристы уже грузились на струг, вяло и ненужно перематюкиваясь в тишине зарождающегося божьего дня.

Последние минуты расставания с городом не были горьки Василию. Он спокойно смотрел на струги и рыбацьи баркасы, грудящиеся у пристани, на пакгаузы и скла-

ды, на развешанные для просушки сети, поблескивающие рыбьей чешуей в ячеях, на жирных чаек, кружащихся над нечистой, вонькой водой; не откликнулась душа его крестам и куполам городских церквей, слепяще вспыхнувшим под солнцем, взмывшим в бледное высокое небо голубиным стаям. Думать о Феодосии после умопомрачительного козлиного прыжка было как-то неловко. Порой наплывало грустное лицо матери, он смахивал видение, как слезинку. Не хотелось власти над собой тех, кого он оставлял. Он уже принадлежал Заиконоспасскому училищу, Гомеру, Данту, Фенелону...

### 3

Диковатый по жестокой отваге поступок Василия Тредиаковского, пустившегося в бега прямо из брачной постели, был далеко не редким явлением в тогдашней России. В пору петровских преобразований в бегах находились многие российские юноши. Бежали от двойного гнета непривычной дисциплины и непосильной учебы дворянские сынки из навигационных училищ, куда их загоняли силком, с кровью вырвав из теплого родительского гнезда; бежали чада церковнослужителей и подьячих из духовных школ и академий, не желая в деятельное, практическое время связывать жизнь с религией; бежали от морской и военной службы, от всякого рода научения недоросли разных сословий; бежали от барского произвола и соединялись в лихие шайки, памятуя о славных делах Стеньки Разина, казненного близ лобного места в Москве, но воспетого в песнях, крестьянские сыновья. Но было наряду с этим и другое. Бежал, повторив судьбу Тредиаковского, своего будущего коллеги по академии и заклятого врага, с далекого Севера в то же Заиконоспасское училище упрямый помор, слава и гордость русской науки и всех искусств Михайло Ломоносов. Бежали из теплых семей на муку образования, полуголода, изнуряющих запретов и муштры будущие ученые, первооткрыватели новых земель, поэты, художники, военачальники, флотоводцы, великие сыны России, созидатели ее мощи и славы.

Само собой разумеется, что брошенная жена и родные астраханского беглеца не могли воспринять постигшее их несчастье в широкой исторической перспективе. Феодосия,

опамятававшись от своего провального сна, нашла оставленную мужем записку, поняла, что Василия больше не будет при ней, пронзительно закричала и лишилась чувств. Ей долго терли виски уксусом, но лишь впущенная сквозь стиснутые зубы капля смолистого вещества, добытого свежью из кованого сундучка, вернула бедную женщину к разуму. Казалось, в беспамятстве в ней произошла какая-то работа, помогшая осознанию случившегося: очнувшись она другой — тихой, сосредоточенной, спокойной, будто просветленной. Она и сама не постигала, что с ней произошло. Утратив окружающее и самое себя, она вроде бы продолжала читать и перечитывать записку мужа, пока не запомнила ее наизусть и не проникла в ускользнувший поначалу смысл. «Не от тебя бегу, а от себя такого, каким стал под отцовой рукой. Пока не обрету всех нужных знаний, назад не вернусь. Прости, коли можешь. А искать меня не надо. Будет воля божья, свидимся в свой час. Али сам приду, али вызову тебя к себе. Твой муж Василий».

Твой муж... Он не бросил ее, не оставил, по-прежнему он ее муж перед богом и людьми, только уехал учиться, как другие мужья уходят в море или на войну, на покорение дальних земель или по государеву повелению в чужие страны служить службу России. Василию Кирилловичу никто такого повеления не давал, кроме его собственной души, а это веление не слабше государева. И раз ему это надо, — значит, так должно быть. И нечего убиваться и слезы лить, она должна ждать, держать для мужа его место свято, все устроить так, чтобы по возвращении странника его ждал обжитой дом, уют и достаток. Конечно, ей будет одиноко, особенно по ночам, она так привыкла к его теплу, ласкам, чуть прерывистому дыханию. Но она с этим справится, ведь сильная.

Феодосия так быстро обрела себя, даже повеселела, что домашние диву дались, а Марья, старшая из сестер сбежавшего, укор бросила: «У, бесчувственная» — «Дура ты, — вздохнув, сказала мать. — Она сберечь себя для мужа хочет. — И, перекрестив сноху, добавила: — Так и держи себя, дитятко». — «А вы, маманя, вроде бы ждали, что Васька удерет», — заметил Яков, отличавшийся странной остротой при всей своей недалекости. «Ждать не ждала, но допускала», — тихо отозвалась старушка. «То есть это как ты могла допускать?» — загредел о Кирилла. Оглушенный побегом сына, он впервые отверз уста. Жена



почему-то не испугалась, ответила чуть ли не свысока: «А вот так! Чужой у него глаз был, не тутушный. — «Что ты мелешь, глупая?» — «Ничего не мелю, милостивец, я ж его в себе носила, нутром всего чувствую». — «А молчала зачем!» — выверился о. Кирилл. «Да нешто кто бы поверил! И так в дурах хожу, тут бы и вовсе засрамили. А ты жди, доченька, жди...»

И Феодосия принялась ждать. Ох, нелегкая работа — ждать! Феодосия сразу почуяла это своим прозорливым сердцем. Надо сказать, что прозорлива Феодосия была лишь к себе самой и к людям с чистой и светлой глубиной, там же, где начиналась человечья муть, копоть и мгла, она теряла зоркость. Но про себя самое она все доподлинно знала. Так, она знала, что должна нагрузиться заботами по маковку, чтобы не оставалось сил на тоску и одинокие думы и сон был бы без сновидений. Пусть к возвращению Василия Кирилловича его ждет собственный дом с чистыми, красиво убранными горницами, с полными закромами и набитыми кладовыми. Он увидит, какая она умелая и хозяйственная, не растерялась, не растеклась мутной жижей, как сугроб в марте, а соблюла себя для любимого и место его соблюла. Нельзя ей быть худой, бледной, с маленькими выплаканными глазами, он разбудил в ней цветенье женщины, и да продолжится оно лишь силой ее любящей памяти. Она будет следить за собой, умываться росной влагой, сохраняющей гладкость кожи, есть сытно и сдобно, хоть кусок не лезет в горло, нарядно одеваться по праздникам, это тоже сохраняет молодость женщине. Те три-четыре года, что продлится его учение, должны пойти ей впрок, а не в убыток. Небось Василий Кириллович в Киеве, Москве или Петербурге — куда занесет сердешного? — насмотрится на писаных красавиц, и нельзя, чтобы собственная жена показалась ему чумичкой.

И Феодосия вновь заулыбалась людям, как в пору своего недолгого счастья, вновь стала со всеми приветлива и обходительна. И, пытаясь ободрить приунывших домашних, все твердила: «Да вернется он. Непременно вернется!» На что о. Кирилл только хмыкал и отводил черные зло-печальные глаза, Яков пренебрежительно усмехался, сестры брезгливые рожи корчили, и только старая попадьа чуть слышно шептала: «Верь, доченька, верь!..»

Феодосию огорчало изменившееся отношение о. Кириллы. Прежде она чувствовала, что люба своему грозному свекру, и это радовало. Она любила, когда ее любили.

Но сейчас между ними будто стена выросла. Она не знала за собой вины, уж если искать виновных, то скорее Треди-аковские заслуживали упрека. Им бы заглянуть поглубже в душу своего Васи, прежде чем сватовство затевать. Недозрел он до семейной жизни, куда ему в мужья — школяру недоучившемуся, незачем было его и неволить. Ему бы изучить сперва все науки, утишить зуд познаний, тогда стоило бы и о женитьбе подумать. Но с ним никто не считался, у о. Кириллы были свои расчеты, весьма справедливые и дальновидные, да уж больно далече обратил он взгляд, а что под носом, того не углядел. Матушка углядела, да она голоса в семейных делах лишена. Нет, лучше уж не искать виновных, а сомкнуться душами в общей беде, перетерпеть лихо, и стыд, и молчаливые упреки соседей, и все иные тяготы, но не чувствовала она поддержки ни в ком из домашних, кроме бессловесной матушки, лишь отчуждение и недобротство.

Отец Кирилла куда как твердо определил для себя виновного в позоре, обрушившемся на семью. Этим виновным была Феодосия, в чью силу прелести он слепо поверил и просчитался, как последний дурак. Отец Кирилла отлично понял сказанное женой, он просто комедию ломал, изображая из себя кругом обманутого человека. Он и сам все время нутром чувствовал ненадежность покорной манеры Василия, но не принял никаких мер. А увидев Феодосию, вовсе распустил губы, сразу уверившись: эта охмутаёт Василия, сделает из него мужа, отца, добытчика. И все, что последовало за свадьбой, укрепляло его веру. Он гордился своей прозорливостью, житейским опытом, знанием людей, и в какую же грязную лужу усадил его негодник сын! Отец Кирилла был слишком самолюбив, чтобы признаться в собственном поражении, виновник был сразу найден — Феодосия. Зачем ей медовые глаза, шелк волос, гибкость стана, обволакивающая ласковость голоса и движений, если не сумела присушить к себе Василия, намертво пришить к юбке очумевшего от постельного рая переростка? Значит, ее зримое совершенство — обман, есть в ней какая-то порча, скрытая червоточина, как в ином с виду лакомом, а внутри гнилом плоде. Отец Кирилла презирал Феодосию, как если б знал за ней тайный порок или дурную болезнь. Это брезгливое презрение избавляло его от ненависти. И когда она попросила уступить ей огородной землицы, чтобы поставить там дом и от той же земли кормиться, о. Кирилла не отказал, но потребо-

вал за участок наличными. Феодосия заговорила о рас­срочке: будет расплачиваться каждую осень с урожая. «Этак я помру раньше, чем деньги увижу», — невесело ус­мехнулся о. Кирилла. Феодосия резонно возразила, что раньше вернется Василий Кириллович и произведет пол­ный расчет с отцом или отдаст землю и будет по-старому хозяйствовать сообча. «Никакого Василия Кирилловича мы больше не знаем и знать не хотим. Вернется не вернет­ся — нам дела нет. За землю я с тебя крайнюю цену взял по худобности твоей, мне гончар Прокопий на полста боль­ше дает». Опечалилась Феодосия рассуждением своего све­кра, но от земли не отказалась. Она продала из своего приданного все, без чего могла обходиться: платье вен­чальное, борок земчужный, ленту низану земчугом, монис­ту серебряную с двумя крестами, четыре аршина бархата, юбку луданную, ширинку иконовязную и после малого ду­шевного борения — две старинных книги на латинском языке в переплетах из свиной кожи. Книги и то, что они несут в жизнь, испакостили ее судьбу, и Феодосия относилась к ним с суеверным трепетом. Василий Кириллович не успел сведать об этих книгах, лежащих на дне ее девичьего сундука, а господин Ильинский дал за них такую плату, будто они на китайском шелке напечатаны и в золото оде­ты. Да и не хотелось ей, чтобы в доме были книги, бог с ними, до хорошего не доводят. И пока Василий Кирилло­вич отсутствует, ей без них спокойнее.

Рассчитав с артельными плотниками, во что обойдут­ся строения, Феодосия обнаружила, что денег все равно не хватит, и обратилась к отцу. Нужно ей было — по оплате земля — еще сто один рубль с полтиною, а у батюшки де­ньги водились. Фадей без звука выложил нужную сумму, но потребовал от дочери долговую расписку по всей фор­ме. «Батюшка, родной, зачем вам расписка? — удивилась Феодосия. — Нешто смогу я вам такие деньги отдать? А вернется Василий Кириллович, будем вам долг по возмож­ности выплачивать. Неужто вы мне не верите?» — «Верю, доча. Тебе верю. Да вот к семейству твоему у меня ни в чем доверия нет. Коли муженек твой такую штуку удрал, чего же от них ждатель? Кабы они люди были, нешто стали бы с тебя деньги за землю тягать? Ну, построисься, зем­ля-то по закону все им принадлежит. Но он, вишь, с то­бой, как с посторонней, рядиться вздумал. Ему бы за сына краснеть, ему бы перед тобой глаз не подымать, а он, ас­пид, оглоед!..» «Не надо, батюшка, — устало попросила

Феодосия. — Зачем браниться, грех на душу брать? Поняла я вас. Нужно вам свой интерес соблюсти, коли я раньше вашего преставлюсь». — «Замолчи! Что несурзное несешь? — прикрикнул Фадей, и уголки его запавших глаз налились слезами. — Нешто могут дети раньше родителей уходить? Не приведи господь родное чадо пережить. Другого я опасаясь и тут, верно, хочу свой интерес... да нет, какой там интерес? — прервал он себя зазвеневшим голосом. — Вот это... это... — он постучал кулаком по левой стороне груди, — хочу оградить. Коли ты не выдержишь и за беглым своим кинешься, родня твоя враз все себе заберет. И участок, и строения. Неужто, я по копейке, по грошику медному всю жизнь копил, чтобы сквалыге-попу досталось?»

На это Феодосии нечего было сказать. Лишь душа ее тихо вздохнула. Она едва начала жить, а сколько уже жестокого, низкого и дурного, темного на нее навалилось. Нет, люди вовсе не спешили раскрыться той прелестью, какую она прозревала в них в розовые дни своего девичества.

Заемное письмо было составлено по всей форме, канцелярист Волковойнов подсобил, земля приобретена, и Феодосия начала строиться. С завидной быстротой на ее участке стали изба с сенями, конюшня, погреб с напогребельной плетневой, чигирь с положенными постройками. Участок Феодосия обнесла высокой городьбой, обработала и посадила яблони урожайных сортов и сливовые деревья. Пораженный ее деловой хваткой о Кирилла ощутил невольное уважение к брошенке и раз сказал добродушно: «От своих отгораживаться вроде бы лишнее?» — «И вовсе не лишнее, батюшка», — спокойно ответила Феодосия. За хлопотами она и оглянуться не успела, как минул год со дня бегства ее мужа...

#### 4

... Столь же незаметно промелькнуло это время и для Василия Кирилловича. Он потерял ощущение быстротекущего еще на струге, когда пристроившись на корме за канатами, вновь, после долгой разлуки, раскрыл томик Лукреция Кара. Мимо скользили волжские берега, сперва плоские, как тарелки, вылизанные речными волнами и обдутые ветром до полной голизны, потом зеленые, плавно всхолмленные; небо обливалось алостью утренних и вечерних

зорь, кучерявилось белыми, как кипень, облаками, порой хмурилось тучами и опорожнялось грозowymi ливнями или мелкими, просквоженными солнцем грибными дождями, — тогда Василий Кириллович прикрывался рогожкой и продолжал читать, а уж если совсем заливало, спускался в смрадный трюм. Дождь утихал, небо перепоясывалось радугой, но, равнодушный к красе внешнего мира, Василий Кириллович все трудил глаза над книгой, пока не потухал последний луч заката и ночь опрокидывала в темную реку звезды и полный месяц. Тогда он ложился на теплые доски палубы, мешочек под голову, сворачивался калачиком и сразу засыпал. О Феодосии он старался не думать, что ему удавалось: днем перед глазами была книга, ночью его быстро смаривало. Но стоило не уберечься, и острая спица враз прокалывала грудь, в глазах закипали слезы.

Ни с солдатами, ни с младшими офицерами он не сошелся, хотя они относились к нему ласково, как к богом обиженному. Капитану же было не до него. Он пил водку и ласкал непонятно как случившуюся на струге смуглую, раскосую девицу, а на стоянках гулял с нею по берегу. Все это ничуть не занимало Василия Кирилловича, как и прочая человечья суета, перегорающая в себе самой и не становящаяся достоянием вечности, какую дарит и жизненному явлению, и мысли, и чувству печатный станок, а в старину — каллиграфический почерк прилежных переписчиков.

В Саратове команда оставила струг и двинулась к первопрестольной пехтурой, нестроевым шагом, с частыми бивуаками и кострами. Василий Кириллович приспособился читать на ходу и вовсе не тяготился переходами, уделяя степной, а после лесной России столь же мало внимания, как и величайшей русской реке. К концу пути, когда впереди вызолотились главы московских сорока сороков, Василий Кириллович обнаружил, что спутница артиллерийского капитана разительно изменилась: из раскосой худой смуглянки превратилась в дебелую девицу с голубыми озерами на круглом сдобном лице и гладкими, цвета просяной соломы волосами. Поразмыслив над этим чудом, он понял смущенным разумом, что ветреник-капитан обзавелся другой зазнобой, надо же, до чего просто это делается!

Москва ошеломила молодого провинциала многолюдством, шумом, движением, оглушительным колокольным буйством. Здесь глаз не теряй и ухо держи остро, чуть за-

зеваешься — и тебя потопчет бесшабашный всадник, или под карету угодишь, или двинет оглоблей возка ошалелый деревенщина, привезший в город соленые огурцы, квашеную капусту, моченые яблоки.

Смятенный вид старой столицы усугублялся тем, что здесь все время где-то горело. Да это неудивительно: город был почти сплошь деревянный, строения стояли скудно и как попало, на улицах что-то пекли, жарили, прохожие мужики палили трубки, рассыпая жар, — полное раздолье огню. Василий Кириллович панически боялся пожаров, хотя сроду большого пожара вблизи не наблюдал. Но в книгах ему не раз попадались картинные описания опустошительных и московских, и всяких иных пожаров, а печатное слово имело над ним неограниченную власть. И астраханский вольнодумец стал тихонько молиться, чтобы Москва не сгорела, пока он не завершит курса наук и Славяно-греко-латинской академии.

Путь туда Василий Кириллович отыскал без труда. Об академии, правда, прохожие люди не слыхивали, но Заиконоспасскую церковь знали все, ибо находилась она в самом бойком месте Китай-города, возле Красной площади.

Василий Кириллович добрался быстро, но у ворот вдруг оробел, разом лишившись уверенности, что его знаний достаточно для поступления в столь высокое учебное заведение. И чтобы успокоиться и вернуть веру в себя, решил маленько побродить по Китай-городу.

Ноги будто сами понесли его сквозь густую толпу на крепкий запах торговых рядов. Его толкали в спину и с боков, чуть не сбивали с ног — народ в Москве был нетерпеливый, быстрый и бесцеремонный. Вскоре он понял, что увернуться от толчков и тычков нельзя, спасение в одном — стать таким же неудобным для окружающих пешеходов. Он подпернул повыше мешочек, напряжился, растопырился, чуть наклонился вперед, дабы не опрокинуться от слишком резкого столкновения, и пошел колотиться о всех встречных и поперечных. Ругань, вопли, угрозы, удивленно-обиженные и уважительные взгляды, и дивное дело: ему стало куда легче продвигаться в толпе. И ведь не могли же подшибленные им люди передать другим: остерегайтесь этого астраханского — спуска не дает, а меж тем вокруг него образовалась некая почтительная пустота. Неужто толпа умеет сообщаться без помощи слов, как насекомые гудом, жужжанием, и этим насекомым языком разносить сведения?

Довольный маленькой победой, Василий Кириллович бодро продолжал свой путь, и с каждым шагом, приближавшим его к торговым рядам, сладко смердящим жареным маслом, печеным тестом, рубцами и рыбой, все сильнее сосало под ложечкой. Он уже поел утром весьма плотно, про запас, из солдатского котла и обязан был продержаться на этой пище до следующего дня, деньжонок у него — кот наплакал. Во избежание соблазнов, Василий Кириллович повернул от торговых рядов в какой-то проулок, где у распахнутых дверей маленькой церковки толпились страхолюдные нищие. Лишь на соборных фресках, изображавших преисподнюю, виделись Василию Кирилловичу такие смазливые, гадкие хари, как у этих церковных побирушек, калик, юродов. Испуганный, он далеко стороной обошел нищую братию и за невысокой оградой увидел бревенчатое здание в облаках пара. Он понял, что это баня, когда из парилки выскочила голая женщина, мясно-красная, будто с нее живьем содрали кожу, схватила бадейку с водой и опорожнила на себя. Эти действия сопровождались улюлюканьем и веселыми выкриками облепивших изгородь молодых парней. Женщина разобрала мокрые волосы на два крыла, отбросила с лица, показала парням язык, непристойно растопырилась и, покачивая ягодицами, ушла в баню.

Василий Кириллович оторопел. Он знал, что в зимнюю пору ошалевшие любители парилки кидаются для остуди в снег, но ведь сейчас лето: кадушку с холодной водой можно и в мыльне держать — и женщинам нет нужды показывать свою стыдобу обложившим баню насмешникам. Значит, все делалось нарочно, непотребства ради, и вовсе не какими-нибудь пропащими девками, а почтенными горожанками, пришедшими чистоту навести. Много небывальщин ходило в Астрахани о старой и новой столицах, но такого Василий Кириллович и вообразить себе не мог. Стыдливость его была уязвлена. Сам красный, как из парилки, кинулся он прочь от бани, и тут кто-то сильно дернул его сзади за мешок.

Василий Кириллович обернулся. Рослый малый с перебитым носом, в шапке как воронье гнездо, тянул из горла мешка застрявшую руку.

— Ты чего? — вытаращился на него ТрEDIAKовский.

— А ты чего? — дерзко спросил малый. — Выпучил буркалы, деревенщина! Тут тебе не Свинячьи выселки.

— Какие еще Свинячьи выселки? Я из Астрахани.

Парень освободил руку.

— У вас в Астрахани все дураки? Или каждый первый?

— Иди себе, — пробурчал Василий Кириллович, удивляясь нахальству малого, который пытался его обокрасть среди бела дня и еще издевается.

— А что там у тебя в мешке-то? — полюбопытствовал малый.

— Книги.

— Дорогие?

— Для меня дорогие, я по ним учусь...

— Так ты бурсак! — догадался малый, в голосе звучало презрение. — А я-то думал! Роба у тебя надутая, будто чего стоишь. Ладно, катись отседова, бурсак — холодные уши, не вводи людей понапрасну в грех.

Василий Кириллович уже смекнул, что с этим говоруну лучше не связываться, и был рад унести ноги. Прогулка по Москве не дала ожидаемого удовольствия. Наверное, позже, когда он устроится, обживется, заведет знакомства среди старожилов, город откроется ему с иной стороны. Москва на диво богата храмами, дворцами знати, купеческими палатами, есть и сады для гуляний, и всякие увеселения, и книжные лавки, но к Москве надо подход знать, а ему такого знания не дано. И он зашагал назад к Славяно-греко-латинской академии.

Учебное заведение, столь пышно названное, помещалось в старом флигеле Заиконоспасского монастыря, стоявшего за иконным рядом на Никольской улице, в Китай-городе. Стоило шагнуть за старые, осыпающиеся, поросшие травой и березками монастырские стены, как разом отсекался докучный московский шум, словно монастырь стоял не на самом бойком месте города, а в чистом поле или в лесу. Сонная тишина, запах тлена, близкий запах старых книг, наполнили душу Третьяковского блаженным покоем, он поверил этому месту, поверил, что ему тут будет хорошо. И не вовсе заблуждался.

Его без труда приняли в училище, сочтя хорошо подготовленным, зачислили в средний класс словесных наук. Была лишь одна загвоздка, впрочем, серьезная: его не взяли на казенное иждивение, он должен был сам себя содержать. Но и с этим устроилось. Ему подсобили найти уроки за харчи и малую плату, а также угол для проживания у чистой старушки. Чего еще надо? Он достал свои книги, очинил гусиные перья, купил на копейку сальных свечек.



На первом же занятии в классе он услышал: «Великий слепец Гомер был самым зрячим среди людей», — и в умилении всхлипнул...

5

... Первый год ожидания дался Феодосии довольно легко. Не худо начался и следующий, когда приобреталось рухлишко, обставлялся дом, обретая жилой, уютный вид. Но исподволь зрела тоска. Правда, невиданно щедрый урожай яблок и особенно слив (у старого садовода о Кириллы отродясь такого изобилия не бывало) обрадовал — не корыстью, а чувством своих сил. Но когда загудели осенние ветры, неся сперва пыль и песок, а потом сухую снежную крупу, тошнехонько стало в нарядном пустом доме. И золовки, которых она заманивала к себе индийским чаем, сливянкой и вареньем из китайских яблочек, не могли скрасить ее одиночества. С остальными ТрEDIAковскими связи не было. Отец Кирилла так и не простил ей своего разочарования, а матушка, явив несвойственную строптивость в день пропажи сына, искупала свой жалкий бунт раболепием перед мужем. Что же касается Якова, то после неудачного ночного посещения, когда, выдавив оконную раму, он проник в ее спальню, но был с позором изгнан, даже тени его не мелькало поблизости. Подруг Феодосия растеряла, с отцом виделась редко, что-то отгородило их друг от друга, и образ сбежавшего мужа, украшенный и вознесенный ее тоской, все настойчивей являлся и в дневные часы: вдруг замрет тятка в руках, зависнет подъятый колун и взгляд проваливается в пустоту, и особенно страшно — ночью, тогда она втискивала подушку в груди, забирала меж ног одеяло и выла от тоски и тянущей муки в сухом, горячем теле.

Третий год стал и вовсе невыносимым. Тоска и грусть все чаще сменялись ожесточением против беглого мужа. Сколько же можно учиться? Иные вон дома по псалтырю обучались, едва читать-писать умеют, счет по пальцам ведут, а в большие люди вышли, громадными делами ворочают, и караваны их судов бороздят Волгу и Каспий; другие, натасканные в захудалых семинариях, ныне протоиереями в собственных домах с чадами и домочадцами в великом довольстве обретаются. На кого же Василий Кириллович замыслил обучиться? На главного царева советника, на канцлера, может на самого царя? — недобро взблес-

кивала она глазами сквозь слезный наплыв. Это все дурь одна, нельзя так сразу на самого главного обучиться. Надо хоть кем-то стать, а после добирать знания, и не только из книжек, а от самой жизни, от людей, от своего действия среди них. А что, если он ни на кого не учится, а просто так, для самого себя, чтобы больше всех знать? Тогда ему целой жизни не хватит. Слава богу, что ни в какой академии не станут всю жизнь ученика держать. Любому научению срок положен, каков только этот срок и станет ли у нее сил выдержать?..

Она заметила с некоторых пор какую-то перемену вокруг себя, другой стал воздух. Будто кончился некий искуc, и астраханские обыватели дружно вспомнили о соломенной вдове. Раньше к ней никто не заходил, кроме золовок, дурак Яков не в счет, а сейчас что ни день заскакивала то одна, то другая бойкая бабенка и начинала расписывать великие достоинства либо купца второй гильдии, ядреного супруга хворой жены, многие годы не встающей с постели, либо подьячего-вдовца с самыми серьезными намерениями: хушь под венец, коли можно старый брак похерить, хушь по сердечному согласию с письменными гарантиями. Другие астраханские кавалеры, не прибегая к помощи разговорных женщин, появлялись сами то в огороде, то в палисаде, один и вовсе ночным часом в спальное оконце стучался, да так терпеливо, что у Феодосии в голове помутилось.

В поведении сограждан был свой смысл и своя глубина. Безотчетно, не сговариваясь, они изменили отношение к замужней вдове. Раньше ее горю кланялись, ее верность сгинувшему мужу уважали, но прошли годы, беглец не подавал признаков жизни, и негласный суд почел Феодосию, молодую, сильную, самостоятельную женщину, свободной от всяких обязательств. Ее словно приглашали вернуться назад в жизнь.

Она и сама все чаще задумывалась над двусмысленностью своего положения. Муж гуляет невесть где, может, давно уже другую завел, а не завел, так минутного утешения на городских улицах предостаточно. А вернее всего, что давно уж покинул он белый свет, долго ли очокуриться в чужом месте бедному и незащищенному человеку? И нету никакого толка в ее жертве. Ради кого вести ей монашеский образ жизни, губить молодость, которой не вернуть?

В жаркой потной работе в саду и на огороде, в бесконечном крутеже неженских дел она вся подсушилась, потемнела, будто продубилась, и стала не похожа на себя прежнюю ни лицом, ни статью, ни повадкой. Эта новая ее, сухая, темная и яркая, не русская, а какая-то цыганская красота поражала сильнее прежней — светлой, лазоревой. Ее не солнцем обожгло, загар зимой сходит, она по-змеиному сменила кожу. Ровно и гладко залитое ореховой смуглотой цыганское ведьминское лицо дышало жаром, осязаемым на расстоянии. Но душа в ней осталась прежняя: верная, нежная, любящая, и повернуть ее на измену Феодосия не могла. Мягкая сердцевина Феодосьиной натуры была скрыта от окружающих: редко-редко отчужденная строгость уже не медовых, а почти черных глаз теплела в скрытой, не трогающей лиловатых губ улыбке.

Новая странная красота Феодосии кружила головы и стару и младу. А неприступность ее одобряли лишь немногие праведные люди старого пошиба, большинство обывателей злобилось. Никому не нужная стойкость раздражала как вызов общечеловечьей слабости. Но людские пересуды, осуждающие взгляды, брошенные вдогон ядовитые словечки ничуть не задевали Феодосию. Она не обижалась на плохих людей, считая их пребывание в божьем мире случайностью, и твердо верила, что в назначенный час вместо них придут прекрасные, добрые, нежные люди и останутся навсегда.

Но от домогающихся ее внимания, число которых грозно росло, надо было защититься. Феодосия завела огромного угольно-черного пса. Пес никогда не лаял, он рычал страшным, начинающимся в глубине его громадного тела рыком, который, нарастая, заполнял слюнным клеко-том горло и с яростным подвывом вырывался из пасти. Нередко за этим следовал прыжок и дикий вопль насмерть перепуганного человека. Феодосия почему-то думала, что испугом все и кончается. Но однажды, выглянув наружу, она увидела, как пес пережевывал кусок свежей убоины, окровенившей ему морду, и яросто выковыривал лапой из пасти ошметки синей ткани. А вскоре до нее дошел слух, что старший прокуроров сын в схватке со свирепым туром лишился части бедра. Путем несложных сопоставлений Феодосия поняла, какое животное нанесло столь тяжкое увечье отважному молодцу.

Видать, это поняли и другие жители города, астра-

ханцы — народ смекалистый, и черного стража отравили. Но это случилось уже перед самым отъездом Феодосии.

Она узнала, что Василий Кириллович жив, здоров и учится в Москве, в Славяно-латинской академии, и решила ехать к нему вопреки запрету, ведь и всякий запрет с годами утрачивает силу. К тому же ей сказали, что Василий Кириллович люто бедствует, и она отбросила последние сомнения. Эти вести привез бывший соученик Василия Кирилловича по училищу капуцинов, сопровождавший в Москву астраханского архиерея. Он столкнулся с Василием Кирилловичем на улице и не признал поначалу, до того тот обхудал и оборвался. А признав, повел отощавшего земляка в австерию, где Василий Кириллович умял пять порций рубцов. «И как в него вошло? — недоумевал однокашник. — Худ, как шкелет, живот к позвоночнику присох...»

У Феодосии сердце разорвалось на части, когда она представила себе голодного, тощего оборванца, уминающего вонючие трактирные рубцы. Сгоряча она решила продать дом и все деньги пустить на откорм Василия Кирилловича, но вовремя одумалась. Может, измученный московским бедованием, Василий Кириллович захочет отогреться в домашнем тепле, близ родных людей? Она слустила остатки своего приданого, зашила деньги в нижнюю юбку и, сговорившись с купцами, шедшими в Москву с товарами, вскоре отбыла...

## 6

... Третьяковский узнал о предстоящем приезде жены, сидя в австении с одним из своих учеников, шляхетским сыном Новичковым, которого с недавних пор готовил к поступлению в Навигационное училище, что помещалось в знаменитой башне «мага и чародея» Брюсса, сиречь Сухаревой. Рослый, рыжий детина, чье представление о водной стихии исчерпывалось Патриаршими, Чистыми и Останкинскими прудами да грязноватыми московскими речками, грезил морем, пенными волнами, парусами, мачтами, реями и пуще того — крепким ромом, который моряки поглощают в недоступных сухопутному смертному количествах. Обо всем этом он прочел по складам в единственной книге, имеющейся в отцовской библиотеке, за тисненными золотом корешками остальных хранились бутылки с отечественными и заморскими винами. Приученный с детства

к горячительным напиткам, он рано открыл для себя отцово книгохранилище. Но однажды, сняв с полки тяжелый том, обещавший знакомство с неведомым нектаром, он к удивлению своему вместо доброй бутылки обнаружил печатные страницы и множество гравюр с кораблями. Он и читать приспособился самоучкой по этой книге и навсегда пленился морем. Но, лишенный способностей к арифметике — даже простого счета не знал, уже дважды проваливался в морском училище при всей снисходительности задобренных его родителем профессоров. Нанятый за харчи, старое платье и несколько медяков, Василий Кириллович должен был вдолбить в живой, но ленивый, не способный к малейшему усилию ум юного шляхтича начатки точных наук.

Василий Кириллович, некогда обучавшийся у превосходного математика Тимофеева, был исполнен знаний, но не умел эти знания вложить в рассеянную память ученика. Он был лишен учительской жилки и без нужды усложнял любой вопрос. Будущий моряк не уважал своего учителя, но жалел за худобу и голодный блеск глаз и, случалось, водил Василия Кирилловича в австерию, где тот наслаждался рубцами под кружку пенистого пива, а щедрый хозяин — ромом, дарившим его ощущением морской качки, а иногда и морской болезни. Очумевший от голодухи и двух глотков хмельного пива, обычно молчаливый, Василий Кириллович становился говорлив и напропалую хвастался своими академическими успехами. Недавно ему разрешили присутствовать на диспутах, где старшие ученики блистали искусством диалектики, и он гордился этим до чрезвычайности. Новичкова удивляло и смешило, что его наставник придает столь большое значение пустейшим богословским спорам, в которых не рождается никакой истины, каждый утверждает свое, даже не помышляя в чем-либо убедить противника. Но Третьяковский упивался оказанной ему честью, и неглупый Новичков обнаружил, что скромный, не от мира сего латинист, таскавший кафтан с продранными локтями и настолько истлевшие в шагу панталоны, что оторопь брала, не разбиравшийся в титулах, чинах и рангах, обладает изрядным тщеславием.

Сам себя Василий Кириллович трактовал выше, признавая за собой немалую толику литературного честолюбия. Он писал стихи и пьесы, мечтал, чтобы его творения были ведомы россиянам, и твердо верил, что рано или поздно так оно и будет.

Вечно голодный, но умеющий не думать о еде, согревающийся только летом, лишенный каких-либо радостей, кроме духовных, Василий Кириллович был счастлив каждый день, каждый час, каждую минуту своей подвижнической жизни, ибо занимался любимым делом. И вдруг в эту нищую, обобранную во всем, чем прекрасна молодость, в эту замечательную, наполненную, устремленную к великим целям жизнь вторглось страшное: едет Феодосия.

Об этом сообщил случившийся в австении дальний родственник вице-губернатора Кикина, ездивший в Астрахань в надежде на теплое местечко при дядюшке, но не приглянувшийся суровому старику. Едва увидев красный нос племяша, Кикин распорядился выписать ему подорожную на обратный путь. Племянник потопил неудачу в вине, которым его щедро потчевали младые астраханские дворяне, узнал все ненужные ему местные новости и покинул обманувший его надежды город с двухпудовой кадешкой свежепосоленной зернистой икры. В Москве он продолжал завивать горе веревочкой, забрел в австерию возле Китайской горы, встретил дружка Новичкова, подсел к его столу, был представлен тощему латинисту, услышал фамилию «ТрEDIAKовский» и тут же выложил из праздной и цепкой памяти новость о брошенной астраханской красавице, пустившейся на розыски мужа.

ТрEDIAKовский поперхнулся рубцами и неверным голосом спросил, когда и с кем отправилась Феодосия в путь. Почувствовав, что новость не только не обрадовала мужа красавицы, напротив, повергла в смятение, племянник Кикин по обычаю человеческой подлости изобразил дело так, будто Феодосия вот-вот прибудет в Москву с купеческим обозом, если уже не поджидает мужа у ворот Заиконоспасского монастыря. Отравив в незнакомом человеке всю кровь и найдя в том некоторое утешение — как-никак астраханцу вмазал, — племянник Кикина отвалил из австении.

Новичков искренне не понимал отчаяния своего наставника. «Вам бы радоваться. Гляньте на себя, на кого вы похожи. Жена приведет вас в божеский вид. Она, видать, женщина решительная». — «В том-то и беда, — уныло сказал ТрEDIAKовский. — Поручит она мое здание. А мне еще столько узнать надо!» — «А для чего?» — «Ясно, не для чинов, — угрюмо прозвучало в ответ. — Надо, и баста!» — «Вот и у меня так, — задумчиво проговорил Новичков. — Все пристают: зачем тебе море, ты же его

сроду не видал. А я почему знаю зачем? Надо. Иначе жизни нет». — «А поступить в мореходное — кишка тонка! — съязвил Третьяковский. — Здоровенный парень — четыре правила не осилишь». — «Я о море говорю, — без обиды отвел упрек Новичков. — А у вас красивая жена?» — спросил он странно. «Красивая!.. — И Третьяковский вдруг вспомнил Феодосию, всю как есть. — В том-то и беда... Красивая и добрая. Я от нее спящей сбежал, иначе не сумел бы. А другой раз мне подавно не уйти. Человек не чурка. Охолодал я, оголодал. Нет, не сладить мне с ней. Она вся на любовь наострена, на любовь ко мне... не скаль зубы-то! (Новичков и не думал улыбаться, лицо его было серьезно и задумчиво). Да не во мне дело, а в самой любви. Она любовь любит, а думает, что меня. Но пойдешь объясни ей!..» — Третьяковский и сам не знал, почему он так разоткровенничался с этим грубым и мечтательным недорослем. «Море, море!..» — пробормотал Новичков. «Заладил!..» — не понял и немного обиделся Третьяковский. «У каждого свое море, — тихо сказал Новичков. — И страшно его потерять, страшнее ничего нет». — «Правда твоя... А ты умнее, чем я думал, — удивился Третьяковский. — Ты вообще умный. Попомни мое слово — быть тебе адмиралом».

Василий Кириллович оказался провидцем. Новичков так и не попав в Навигационное училище, уедет в Петербург, поступит на корабль простым матросом, скрыв свое дворянское происхождение, пройдет весь ад матросской службы с линьками и зуботычинами, издевательствами и тухлой водой, дослужится до офицерского чина, избородит моря и океаны и кончит жизнь контр-адмиралом.

«Похоже, я могу вам помочь, — сказал Новичков, морщась, как от кислого. — Подлость это, конечно, гнуснейшая подлость перед женщиной, но я ее не знаю. А узнаю, так, может, на ваш след наведу или сам вас за шиворот к ней приволоку. Но я ее не знаю. А вас знаю. И слышу ваше море. На неделе сродственники наши Бурнашевы отправляют меньшого сына в Голландию корабельному мастерству обучаться». — «Неужто по смерти царя Петра дворяне еще слушаются его указов?» — удивился Третьяковский. «Нет, — презрительно дернул плечом Новичков. — Рады-радехоньки к старому свинячеству вернуться. Правда, не все, хотя отнюдь не из послушания «державной тени», — вспомнил он поэтическое выражение

ТрEDIAKовского. — У Бурнашевых старший сын тоже там обучался и в тузы вышел. Сейчас в Англии фрегаты строят. Богач. Они надеются, что и младшему фортуна улыбнется. Он сопляк, плакса, при маменькином подоле вырос, но гаденыш безвредный. С ним едет дядька. Я уговорю их, что одного дядьки неграмотного мало. Не потянет в науках Митяйка Бурнашев. Вы язык-то голландский знаете?» — «Выучу — невелика хитрость. Он с немецким схож». — «Отменно! Будете тянуть корабельщика. Он тупец вроде меня, но без моря. — Новичков скупко улыбнулся. — Бурнашевы зело бережливы, но угол и стол получите». — «Если за этим дело стало... да я воздухом одним сыт буду...» — Лицо ТрEDIAKовского смялось от подступивших к горлу слез...

Через два дня ТрEDIAKовский катил в карете вместе с заплаканным отпрыском Бурнашевых и его сизоликим, благоухающим романеей дядькой. На Московских улицах и даже по миновании заставы, когда вокруг развернулись подмосковные поля, березняки, ельники, Василий Кириллович ежился от страха, ему все мерещилась посланная Феодосией погоня. Вот-вот наскочут вооруженные всадники, схватят под уздцы бурнашевских лошадей, распахнут дверцы кареты и сунут ему в нос бумагу с кровавыми сургучными печатями — повеление от священного синода или генерального прокурора вернуться к законной жене. Но никто их не остановил, кроме караульных, охраняющих западный край русской державы. Путники предъявили свои паспорта и беспрепятственно двинулись в чужие пределы.

Весь долгий путь через Великия и Белья России, лясскую землю и немецкие княжества юный Бурнашев проливал безутешные слезы. Поразительно, что жадная до всяких впечатлений юность могла оставаться столь безразличной к мелькающей за окнами кареты чужой пестрой жизни, к дворцам, замкам, крепостям, церквям, костелам, кирхам, мостам, садам, к красивым городам с нарядными людьми, наполняющими тишину мироздания звуками незнакомой — то певучей, то шипящей, то лающей речи. До чего уж непристаен к окружающему был самоуглубленный ТрEDIAKовский, но и тот забывал о своих заботах, откладывал прочь любимые книги и часами неотрывно смотрел в окошко. А Бурнашев знай себе хныкал, не в силах вырваться из домашнего закута с мамкиным баловством, ласковой девичьей, с пуховой периной после жирного обе-



да, с отцовым кнастером, тайно раскуриваемым в людской. Он оживлялся лишь во время трапез, когда дядька с заговорщицким видом открывал очередную квадратную бутылку. Удивляло, что безбородый юноша столь привержен к вину, которое быстро заплетало ему язык в косу, затуманивало глаза и погружало в долгий, беспокойный, с бормотом и горестными вскриками сон. Василий Кириллович, хоть и раздражался, благоразумно помалкивал. С него и собственных забот было достаточно.

7

... А мог он вовсе не тревожиться и не бежать из Москвы — Феодосия попала в руки атамана Кирьяка, промышлявшего разбоем на нижней Волге.

Случилось это так. Из Астрахани купеческий караван отплыл погожим утром, под сулящий удачу и радость благовест колоколов. Шли ровно и ходко, держа в парусах тугой юго-западный ветер. Феодосия сроду не плавала по реке, даже в лодке, она наслаждалась путешествием, открывающимися окрест видами бескрайних, плоских земель, песчаных, поросших колючим кустарником и нежными блеклыми цветами островов, всеми малыми подробностями речной жизни. Ей нравились ее хозяева: степенные, пожилые купцы, относившиеся к спутнице сочувственно, но без обидной жалости, приглашавшие к обеду со стерляжьей ухой, свежей икрой, рыбными пирогами и солониной. Нравилась корабельная команда: веселые, по-кошачьи ловкие, дочерна загорелые парни. Все было любо Феодосии до умиления, и верилось, что отыщет она мужа и навсегда воссоединится с ним.

Но уже в Саратове путников подстерегала беда. Здесь они должны были пересечь на подводы и в сопровождении небольшого конвоя наезженным трактом двинуться в Москву, но им не дали сойти на берег. В Астрахани началась чума, известие о которой успело их опередить. Тщетно пытались купцы сговориться с пристанским начальством, сулили щедрую мзду, те и слышать ни о чем не хотели. Добиться встречи с городскими властями, авось окажутся поговорчивей, тоже не удалось, видать, отменно строги были распоряжения насчет приезжих из пораженного страшной заразой города, если не сработал самый верный ключ, отмыкающий на Руси все двери: взятка.

Делать было нечего: отвалили от Саратова и пошли дальше вверх по реке. В Вольске, от которого шла проезжая дорога к Московскому тракту, пристали. Никто не препятствовал высадке. До Саратова страшная новость стрелой домчалась, а до этого заштатного городишки еще не доползла. Единственно, что удивило местных людей, на кой ляд понадобилось купцам так удлинять и затруднять себе путь — из Саратова ближе, да и дорога лучше. Но самый почтенный из купцов, седобородый и черноглазый Емельян Исаев, похожий повадкой на боярина, а не на торгового гостя, важно пояснил, что на саратовском тракте «балуют», что звучало вполне правдоподобно по тем тревожным временам, наступившим после смерти царя Петра. Правда, случившийся при разговоре вольский перевозчик заметил, что балуют, и весьма шибко, как раз в их местах, на него накинулись с бранью и угрозами и прогнали прочь. Местным деловым людям появление богатых астраханских купцов было что богов гостинец. Купцам требовались подводы, лошади и мужики для охраны, на оплату не скупилась, ибо проволочка была им куда накладнее.

А что бы им послушать пьяненького перевозчика! Небось многим вспомнились его слова в глухом Труновском лесу, когда первые звезды проклюнули по-дневному голубое легкое небо над кронами старых рослых деревьев и острый свист распорол тишину, грянул выстрел, пыхнув оранжевым пламенем, и дымная селитряная вонь заглушила горьковатый запах леса. Мгновенно, будто того и ждала, рассеялась, сгнула охрана. Темноликие бородатые мужики выскочили из-за деревьев и стали валить наземь не помышлявших о сопротивлении возчиков и сбрасывать с возов товары.

Феодосия сидела в задней телеге и наблюдала происходящее, словно представление в ярмарочном балагане. Страшное представление. Она видела, как взвел курок pistols отважный Емельян Исаев, но выстрелить не успел, порубленный поперек головы саблей огромного лохматого детины в кумачевой рубахе; как порубил тот же детина павшего на колени дряхлого, с голым скопческим лицом купца Чурикова, как был застрелен из мушкета богобоязненный рыбак Муханов, первый в Астрахани жертвовател на святые храмы. А потом лохматый разбойник заметил ее, сдернул с воза, обдав острым, лисьим запахом. Совсем близко она увидела его взболтанные, тухлые

глаза и потеряла сознание. Много позже, очнувшись в темной горенке, на деревянной лавке, приткнутой в угол, под слабо мерцающей лампадкой, узнала Феодосия от хозяйки избы, сухонькой быстроглазой старушки, что вызволил ее из лап лохматого разбойника атаман Кирьяк. «Счастье твое, девонька, что успел Кирьяк в лицо тебе глянуть, — говорила старуха певучим голосом сказительницы, — и пленился тобой. Нельзя к Семушке подступать, когда он распалимшись. Не то что старшóго, родную мать прикончит. Ужасной лютости человек. Другие мужики убивают по крайней надобности, Кирьяк, хоть дюжее всех, только в схватке, а Семушка наслаждается, кровь спуская. Кирьяк, как тур, здоровый и, как ласка, верткий, а крепко ему от Семушки досталось, покамест его скрутил. Сейчас весь перевязанный в соседней избе лежит». — «А Семушка?» — зачем-то спросила Феодосия. «Успокоился, водку глушит на радостях, что богатую добычу взяли». — «И ему ничего не будет?» — «А что ему может быть? Он в своем праве. Мог тебя себе взять, мог срубить — вольному воля. Это Кирьяк, девушка, против обычая пошел». — «Я не девушка, а мужняя жена», — поправила Феодосия. «Была, — холодно сказала старуха. — Муженек твой в лесу остался». — «Да что ты, бабушка, там старцы полегли, а у меня муж молодой, в Москве живет». — «Вон что! — удивилась старуха. — Значит, ты не купечская жена? Наши купцов не больно жалуют». — «Я сторожева дочь, а муж — семинарист, — сообщила о себе Феодосия. — Бабушка, а куда меня привезли?» — «В избу, нешто не видишь? А изба посередь деревеньки стоит. А деревенька — посередь России. Махонькая такая деревенька, пять домов. Мóром весь народ извело, сюда ни баре, ни власти носа не кажут, вот наши и отдыхают от трудов своих». Феодосию удивило, что старуха говорит о разбойниках-душегубах, как о самых обычных мужиках, можно подумать, что они с кошовицы вернулись, а не с лютого дела. «Бабушка, скажи, милая, коли я не купеческая, а самого простого роду, отпустят меня отсюда?» — «Это, милка, не мне знать», — поджала губы старуха...

...Василий Кириллович поздно вечером шел по «веселому» кварталу, как любовно его называли моряки, а вслед за ними, но презрительно, и городские обыватели припорто-

вую часть города. Здесь чуть не в каждом доме располагалась австрия, здесь обитали доступные — только не для пустого кошелька Василия Кирилловича — нестерпимой красоты девицы, сдавались комнаты и углы на ночь, на час, гремела допозна музыка, и гирляндами висели разноцветные фонарики, отражаясь в темной мусорной воде каналов, обсаженных толстоствольными кургузыми ивами. Василий Кириллович редко захаживал сюда как по отсутствию вкуса к подобного рода увеселениям, так и по отсутствию денег, зато не вылезал его питомец, совсем отбившийся от рук. Василий Кириллович уже не пытался вытаскивать будущего кораблестроителя из питейных заведений и от девок, до это и не входило в его обязанности. А дядька, сам приверженный к вину сверх меры, считал, что барчук ведет себя как и подобает русской дворянской юности. «Успеет еще головку перетрудить, пусть дитя тешется, покада кровь играет и волос кольцами вьется. Наши шляхтичи от роду к тому приучены, а вон какую державу собрали. У нас в любой губернии десять Голландий поместится, хушь эти буи голландские примерного поведения и всю арихимику наскрозь знают». Против этого нечего было возразить, да и что ему до молодого жеребчика? Но была в характере Василия Кирилловича назойливая любовь к порядку, отдающая педантизмом, да и жаль ему было времени, без толка и смысла утекающего меж пальцев молодого человека. В Голландии можно было купить любую книгу, хоть французскую, хоть английскую, хоть немецкую, все, что сочинители не могли или опасались издать в собственной стране, беспрепятственно издавалось в Голландии, иногда под вымышленным именем. Нигде в Европе не было такой свободы, как в этой стране, свергнувшей испанское владычество и ненавидящей всякое насилие над человеческой личностью, угнетение мысли и духа.

И все же Василий Кириллович не испытывал полного удовлетворения от здешней жизни, и отнюдь не по причине юного Бурнашева. Здесь по-настоящему хорошо было практикам: кораблестроителям, механикам, плотникам, мореходам, негодьянтам, всякого рода предпринимателям и ученым точного знания. Духовным средоточием Европы оставался Париж. Оттуда шло все, чем вознесен человеческий дух: философские мысли, торжественные, строгие, игривые и пленительные поэтические образы, новые строительные литературные системы.

Василий Кириллович тихо брел вдоль канала, глядя, как ложатся на расцветенную фонариками воду узкие листья ив и, подгоняемые ветром, лодочками плывут к морю; из дверей австерий ударяла музыка, слышался женский смех, хрипая ругань, хмельные песни, и грустно делалось от безнадежной чуждости этой жизни. Он и сам не знал, что его сюда привело, во всяком случае, не беспокойство за юного Бурнашева. Василий Кириллович плохо знал город, не доверял ему, а в поздние часы так и побаивался: слишком много грубой матросни, возбужденной разноязычной речи, пьяных бородатых рож, татуированной кожи, бесстыдных, назойливых нищих и страшноватых в своем бесцеремонном напоре слепцов, казалось, лишь они одни точно знают свою цель.

Но сейчас тут было непривычно пустынно: порок и веселие не любят осени и с первым дуновением холодного ветра прячутся под крыши, к огню очага, над которым подогревается ячменное пиво.

Рассеянный взгляд Василия Кирилловича обнаружил, что у него две тени. Одна, постоянная, сильно вытянутая, бежала справа, простираясь через каменную мостовую, заворачивалась на стены домов; слабая и нечеткая, она была рождена полной луной. Другая, более плотная, темная и короткая, скользила слева, она возникала за его спиной, равнялась с ним, выбегала вперед, и тут ее как слизывало, затем она вновь оказывалась сзади. Эту тень создавали фонари. Вдруг он увидел еще одну тень — тоже слева, в стороне канала, но эта тень не обгоняла его, а держалась чуть позади, узенькая, маленькая, будто и не его вовсе. Но вот он ее потерял, верно, то была тень другого человека, который отстал или свернул к решетке канала, но деликатная тень возникла снова, и он с ужасом понял, что это тень женщины. Феодосия выследила его, да это и нетрудно, ведь он раззвонил по всей академии, что отправляется с Бурнашевым в Голландию. Почему-то он был уверен, дурак несчастный, что Феодосия не отважится ехать за ним в чужие края. Как будто существуют препятствия для ее цепкой любви. И вот она его настигла. Боже, какой прекрасной показалась ему здешняя жизнь, и он еще смел жаловаться! Теперь этой жизни конец, им тут не прокормиться вдвоем. Значит, назад, в Москву, или того хуже — в Астрахань... И, уже желая приблизить мгновение, страшное, как смерть, Третьяковский резко обернулся, и взгляд его рухнул в пустоту. Маленькая тень, будто свернувшись

в клубочек, лежала у его ног, то была его собственная — третья тень, наверное, от освещенных окон верхних этажей. Спасибо, господи, ты опять помиловал меня! И все же это следует считать предостережением. Феодосия может нагряться в любой день, спасение только в бегстве. И на другой день он бежал с краюхой хлеба и десятком книг в заплечном мешочке...

Если бы Василий Кириллович лучше представлял, какое ему предстоит путешествие, он, возможно, остался бы в Голландии, несмотря на весь риск быть настигнутым женой. Пускаясь в свой многодневный путь без гроша медного в кармане, он утешал себя мыслью, что мир не без добрых людей, авось просуществует Христа ради. Но, едва покинув пределы Голландии, он оказался в опустошенной бесконечными войнами стране. Нищета горестной Фландрии едва ли не превосходила разор незаможных российских деревень в пору неурожая, но русская нищета добра и милосердна, для путника даже в самой бедной крестьянской семье всегда найдется кусок хлеба, миска тюри, крапивных шей или мятой картошки с луком, ну, хоть кваском дадут нутро ополоснуть, от здешних людей этого не дождешься: угрюмые, ожесточившиеся, они или молча отворачивались, или злобно гнали прочь. Не то что в дом, в сарай на ночь не пускали. Возможно, они были снисходительнее к собственным нищим, но побирушка-иноземец приводил их в ярость. Они так натерпелись от испанских, французских солдат, немецких и швейцарских наемников, что каждый чужестранец представлялся им лютым врагом.

Василий Кириллович жрал траву, кислые ягоды, гниловатые лесные орехи, какие-то грибы, вытрушивал зерно из оставшихся на полях колосьев; он продал камзол, кафтан, потом шляпу, заменив ее пиратским платком, расстался с обручальным кольцом и нательным крестиком, сменил туфли с пряжками на деревянные сабо, но вырученные деньги лишь частично расходовал на еду, большей частью расплачивался за проезд на попутных телегах, бричках, фурах. Лучше перетерпеть голод, да скорее добраться. Он не заметил, как въехали во Францию. Внешне ничего не изменилось: тот же разор, погорелье, те же угрюмые лица и нищета. Ближе к Парижу картина изменилась: меньше стало военных, целее города и села, приветливей народ. Но Василий Кириллович, утративший доверие к братьям в человечестве, обходился своей немочью.

Однажды утром слуги русского посла князя Куракина обнаружили у порога посольского дома живые мощи: чудовищно исхудалый, черный от солнца и грязи, обросший бородой человек спал, положив голову на каменный порог. Когда его растолкали, он зашевелился, задергался, хотел встать, но не смог, из пересохшего рта вырывались жалобные звуки, в которых с трудом угадывалась русская речь. Его подняли, отнесли в дом, отмыли в чане, накормили, заставили выпить большую рюмку водки с солью и перцем. Сам князь Куракин пожелал его видеть. Оборванца под руки отвели к послу. Он упал кучей тряпья к ногам вельможи, назвал себя и попросил не гнать прочь.

Князь Куракин был настолько знатен, богат и силен при дворе, что признавал себе равными лишь немногих избранных, ведущих род от варяжских князей, к тому же сохранивших состояние. Остальные, без различия титулов, званий, чинов, занимаемого положения, зачислялись во «всякую сволочь», в чем сказывался своеобразный демократизм князя: разорившийся представитель древнего рода Оболенских, петровская «знать», богач-купчина, мастеровой или цирюльник были равны перед его презрением. Но среди «всякой сволочи» князь выделял людей одаренных, знающих и чудаковатых. Зашелец — проницательный дипломат понял сразу — совмещал в себе все эти качества: несмотря на молодость, то был зело образованный, думающий человек с божьей искрой, к тому же чудаковатый. Судьба Третьяковского была решена. Ему не только оказали приют, дали одежду и установили содержание, князь снизошел до обсуждения с ним его ученых занятий, посоветовал, какие лекции стоит послушать в Сорбонне и у каких профессоров, кого из «мэтров» надо избегать — схоласты, педанты; ослиные уши, какие посмотреть спектакли в «Комеди франсез» и у итальянцев, с какими достопримечательностями познакомиться. Князь разрешил Третьяковскому неограниченно пользоваться своей уникальной библиотекой, Василий Кириллович не выдержал, заплакал и хотел поцеловать князю руку, но тот не позволил...

...Остаток лета, всю осень и зиму Феодосия недужила. То металась в жару, не узнавая своей хозяйки, не помня, где она и что с ней, то, оплывая от слабости, сидела у

окошка, глядевшего на скучную околицу с огромной лужей, задернувшейся после первых заморозков сахарным ледком, потом промерзшей до земли и тускло исчерна позеленевшей и наконец скрывшейся, как и все в просторе, под толстым снегом. Бабушка Акулина говорила, что такой снежной зимы сроду не бывало в здешних краях. Болезнь замечательно скрадывает время. Феодосия, переходившая от забытья к призрачной полуяви, не замечала, как летят дни, недели, месяцы. Придя окончательно в память, она стала привыкать к своей новой слабости, училась ходить, держать ложку, глотать какую-то жидкую пищу, пить горькие травяные отвары и удерживать их в себе. Когда же повеяло весной, она стала крепнуть ото дня ко дню, даже Акулина удивлялась, до чего быстро наливалось силой совсем было отошедшее в иные пределы существо.

Теперь Феодосии казалось, что болезнь она сама себе надумала, чтобы не умереть от горя и разочарования. В душу запали слова Акулины «Кирьяк в лицо тебе заглянул». Она хорошо понимала, что это значит: прельстившись ею, Кирьяк пошел против устава шайки, отнял добычу у товарища и поплатился за это кровью. Тем он как бы обрел права на нее. Кирьяк тоже долго отлеживался, гноилась, не заживала рана. С перевязанной рукой заходил к ним в избу, молча смотрел на нее. Его угрюмое заросшее лицо с небольшими светло-серыми пытливыми глазами почему-то не пугало. Он что-то говорил Акулине вполголоса и уходил. Больше никто в избе не появлялся, видать, Кирьяк запретил. Только дюжая баба, не переступавшая порога горницы, приносила время от времени дрова, муку в мешках, свиное сало да свежую убоинку.

А разбойников Феодосия наблюдала в окошко. И странно ей было, что она, под стать бабке Акулине, уже не могла относиться к ним как к душегубам-кровохлебам, несмотря на все виденное в лесу. Она знала, кровь лакома одному Семушке, другие никакой себе радости в убийстве не находят. Это были обычные деревенские мужики, придавленные вечной заботой, непосильным трудом, страхом перед завтрашним днем. Разбойничья жизнь мало походила на ту, что изображалась в песнях. Там — отважные схватки, золото, жемчуг, драгоценные камни да соболя, прекрасные девы, влюбляющиеся без памяти в забубенных молодцов. А здесь — тащись что ни день, в дождь, ветер, пронизывающий холод, когда зуб на зуб не попадает и не



удержать ружья в окоченевших, с распухшими суставами руках, в засаду, заранее зная, что ничего там не высидишь, кроме боли в груди и пояснице. Удача с купеческим обозом была единственной за все лето. Осенью маленько поправили дела за счет бегущих от чумы богатых астраханцев, но большинство шло водным путем на Самару и выше. Кирьяк похвалялся, что весной он захватит суда и пойдет озоровать по Волге, как приснопамятный Степан Тимофеевич. Конечно, то было пустое бахвальство, сил у Кирьяка не хватало, потому и действовали в захолустье, а не на добычливом московско-саратовском тракте, где преуспевали другие шайки. В начале зимы на свежей санной дороге захватили крестьянский обоз, везший оброк барину в Борисоглебск, да невелика разжива: битая птица, мороженая телечья туша, с десятков поросят, бочки с соленьями и моченьями, тощий кошелек денег.

В то смятенное время разбой на Руси достиг степеней чрезвычайных. Насылаемые изредка слабые правительственные отряды особого рвення не проявляли. Тем более что и разбойники не лезли на рожон, сразу скрывались в лесах, позволяя командиру карателей послать начальству победную реляцию: шайка рассеяна, порядок восстановлен. Отряд с барабанным боем тащился обратно, пыля пересохшей землей, а разбойники, покинув укрытия, опять подвигались к проезжим дорогам.

Хотя злата и соболей в отряде Кирьяка не выдывали, но концы с концами сводили, и семейные разбойники — почти вся шайка была из местных — отсылали либо сами отвозили домой кое-какое вспомоществование. Разбой был чем-то вроде отхожего промысла: как в иных деревнях мужики, взамен хлебопашества, занимаются извозом, плотничают или катают валенки, прислуживают в трактирах или банях, торгуют на городских рынках сбитнем или пирогами с собачиной, так здешние крестьяне уходили со своих неродящих, сухих, обдутых горячим ветром полей на разбойный промысел. Было тут немало и людей обиженных. У Кирьяка барин молодую жену насильничал, она руки на себя наложила. Кирьяк того барина задушил, а сам в лес подался. У Богуна, правой руки атамана, с барыней счет вышел. По ее приказу его подвешивали голого на конюшне и секли вожжами, а барыня смотрела, кивая головой, будто отсчитывала удары, после начинала стонать и корчиться, только не от жалости, а от какой-то внутренней сласти. Богун в свой черед подвесил нагую ба-

рыню к той же стрехе и отодрал вожжами так, что кожа с нее, как со змеи, лоскутьями сползла. Другие мужики ударились в бегство от меньших обид, от разора, голода, были и погорельцы и, конечно, сбившиеся с пути, Макары, не помнящие родства, вроде Семушки. Иные мужики на пахоту, сенокос уходили в свои деревни подсобить родителям или женам, но бóльшая часть держалась прочно стаей.

Отболев, Феодосия почти вернула себе тот бодрый покой, какой ею владел некогда в Астрахани. Да, ей не удалось достигнуть мужа с первой попытки, человек предполагает, а господь бог располагает. Положен ей новый иску́с, но она выдержит, сдюжит и отыщет своего ненаглядного. Она потеряла много времени, лишилась скромных гостинцев, которые везла мужу, денег, — видать, Акулина нащупала в юбке и выпорола оттуда, но стала немного ближе к цели. Теперь у нее задача: вырваться от разбойников. Кто знает, какие ей еще предстоят испытания, какие выпадут беды, страхи, искушения, тягости, она должна все одолеть, где терпением взять, где отвагой, где хитростью — птицей пролететь, зверем порскнуть, рыбой скользнуть, змеей проползти, а до Москвы добраться.

Значит, надо держать себя в руках, приглядываться, прислушиваться и побольше пытаться словоохотливую Акулину, чтобы вызнать все нужное для побега.

Вскоре Феодосия с досадой обнаружила, что речистая бабушка ровным счетом ни в чем не проговаривается. Она прямо-таки засыпала Феодосию всякими сведениями о разбойниках, об их характерах, повадках, жизненных обстоятельствах, об удачных и неудачных набегах на барские усадьбы, о стычках с солдатами, о разных лихих и лютых делах, но все это происходило в какой-то смутной дали и смутном времени, будто за краем земли при царе Горохе. Как ни подъезжала к старухе Феодосия, она так и не смогла из нее вытянуть, где находится их деревенька, какие сюда и отсюда дороги ведут, в какой стороне осталась Волга, есть ли поблизости городишко или крупный поселок. Старуха, не отводя незабудковых, чистых, как у младенца, глаз, начинала плести несусветную чушь, и Феодосия запирала в себе слух. Добрая бабушка Акулина была настоящая рабейничья ведьма: умная, хитрющая и неумолимая, ее жги — не проговорится.

Феодосии казалось, что бабушка Акулина исподтишка присматривает за каждым ее шагом. Она решила ее испы-

тать. Разбойники были на деле, немногие обитавшие в деревне женщины возились в огородах, бабушка Акулина перебирала картошку в подполе, когда Феодосия, откинув шеколду, впервые вышла на улицу. Никого, только куры бродят. Феодосия миновала околицу и двинулась по большаку, обходя огромные, кишмя кишевшие головастиками весенние лужи. Ее отвыкшие от ходьбы ноги крепили с каждым шагом, чистый полевой воздух распахивал грудь. Феодосия оглянулась, никто за ней не следил. Даже настырная Акулина не всполошилась. Едва ли она доверяла пленнице, скорее рассчитывала на ее слабость. Феодосия не стала злоупотреблять терпением своей стражницы и вернулась домой.

— Как хорошо в поле-то! — сказала она Акулине.

— Одевайся потепше, — заботливо посоветовала та. — Не ровен час опять свалишься, Кирьяк мне голову скусит.

Бабушка частенько подчеркивала и свою особую ответственность за Феодосию, и попечение атамана Кирьяка. Феодосия холодела, догадываясь о смысле этих намеков, но сейчас в ней проснулась злость. «И хорошо бы скусил!» — «Так-то ты меня благодаришь? — слезливо завела старуха. — Я ли тебя не выхаживала, ночей не спала!..» — «Тоже мне благодетельница!.. И не лезь ты со своим Кирьяком». — «Это почему же? Он мужик правильный, справедливый...» — «Лыцарь с большой дороги», — перебила Феодосия. «Не шути так, деушка, Кирьяк добрый, добрый, а осерчает — беда». — «Вот то-то и оно! И хватит меня девушкой звать, сколько раз говорила. Я мужняя жена». Акулина отвернулась, проворчав что-то скверное, Феодосии послышалось: «Кирьяк тебя живо от брачных уз ослобонит».

Теперь она каждый день совершала все более дальние прогулки, приучая себя к долгой, быстрой ходьбе. И когда бабушка Акулина как-то отлучилась со двора, Феодосия сунула под кофту шматок сала, ржаную лепешку и припустила по знакомой дороге.

Версты через две или чуть поболее дорога свернула в лес, что было на руку Феодосии, теперь ее не углядеть из деревни. Дорога не была ни наезженной, ни нахоженной, и все же сквозь гривку весенней травы отчетливо проступали тележные колени, значит, дорога куда-то вела, ею пользовались. Феодосия вспомнила про разбойников: что, если она столкнется с возвращающейся шайкой? Но как ни бес-

шумно передвигаются лесные люди, у них подводы, лошади, всякое снаряжение, она услышит их загодя и юркнет в чашу. Лес был тих и спокоен, и бдительные его стражи—сойки не жили под солнцем свое яркое оперение. Перепархивали с сухим стрекозьим шорохом мелкие птички, дятел ожесточенно долбил березу, взбалтывая свой бедный мозг в маленькой красной голове, грустно и редко, будто не доверяя самой себе, куковала кукушка. Феодосия не отважилась спросить кукушку, сколько лет ей осталось жить, голос птицы был затухающе слаб, а ей надо было жить долго-долго, чтобы наверстать все потерянные для любви годы со своим единственным.

Чем дальше углублялась она в густеющий лес, тем становилось жарче и душнее. Но из-под старых деревьев, приютивших густую тень, надавало сыроватой прохладой. Кисленько пахли ландыши. Обок с дороги желтели одуванчики и синели стройные живучки. Феодосии захотелось сплести венок, даже кончики пальцев защекотало, так не терпелось им коснуться тонких тел цветов. Она едва одолела искушение: надо засветло добраться до какой-нибудь деревни, ночевать в лесу страшно и холодно, опять лихоманка скрутит. Дорога уверенно тянула через лес, порой огибая какую-то мокрую балку или овражек, курящийся белым черемуховым дымом, и вышла к неглубокому, довольно широкому ручью в низких, поросших лезвистой травой берегах. Феодосия поглядела за ручей на толстые бурые мхи, сквозь которые пробивались хвощи, и не увидела дороги. Поразмыслив и погадав, она пошла влево вдоль воды и вскоре обнаружила дорогу, петляющую по берегу и постепенно отклоняющуюся от ручья. Феодосия озадачилась — дорога вроде бы поворачивалась вспять. Да нет, тут нарочно понапутано, чтобы сбить с толка чужака, по злему умыслу, а хоть бы и ненароком забредшего в заповедный край лесной вольницы.

Она пошла по четко обозначившимся колеям и уже в сумерках, натерпевшись страха, оказалась на краю поляны, прямо против деревни, странно тихой и безлюдной, вроде бы брошенной. А хоть бы и так! Она переночует в первом попавшемся доме, а утром пойдет дальше. Тут она увидела у крыльца крайней избы старушечью фигуру. Феодосия поспешила туда, и противная слабость в коленях чуть не повергла ее наземь.

— Набегалась? — ворчливо сказала бабушка Акулина.  
— Иди вечерять-то, второй раз самовар грею.

Теперь Феодосия поняла, почему ее не стерегут и позволяют ходить где заблагорассудится. И все-таки дорога, настоящая дорога, которая выводит из этой западни, где-то должна быть. Ведь не по воздуху уходила и возвращалась шайка, да и прежние насельники деревни как-то общались с миром. Может, надо было пойти по ручью в другую сторону или перейти его вброд и там, на толстом мшанике, отыскать вмятины от тележных колес. Все дороги куда-то ведут, значит, и эта дорога, как бы ни запутывали ее ленту боящиеся преследования люди, имеет настоящее направление, надо только суметь распутать узлы. Сразу ничего не дается, но сегодня она стала чуть ближе к избавлению. А главное, ей нечего таиться, Акулина настолько уверена, что отсюда не уйти, что предоставляет ей полную свободу.

И на другой день Феодосия на глазах Акулины снова пустилась в путь. Все было по-вчерашнему: сойки, дятел, мелкие пичужки, кукушки, только одуванчики успели превратиться в пушистые шары. Достигнув ручья, она пошла в другом направлении, продираясь сквозь таволгу и цветущую крапиву. Шла она долго, острекалась, устала и хотела уже повернуть назад и тут увидела на другом берегу ручья, на песчаном заливе полнящиеся водой колесные следы. Разувшись, она перебралась на тот берег по обжигающе студеной воде, растерла замлевшие ноги, натянула сапожки, но сажень через пятьдесят пришлось опять разуваться — перед ней оказалась вода. Был ли это тот же ручей, петляющий заячьей цепочкой, или другой — понять нельзя. Дальше дорога пошла сухой, прямой, как стрела, просекой, по которой во всю длину простерся солнечный луч. В его перехвате тусклое оперение сновавших над просекой дроздов загоралось фазаньими красками, и как будто лопались серебристые шарики, это вспыхивала в луче светлая роговица летучих жучков. И Феодосию обьял этот луч, она поплыла по его клубящемуся лесной пылью сиянию и приплыла прямо на зады деревни. У плетня поджидала бабушка Акулина.

— Набегалась? — добродушно спросила старушка. — А я тебе кулеш молочный сварила.

Не кричать, не плакать, не валиться наземь, внушала себе Феодосия. Я стала еще ближе к Василию, ближе на эту проклятую обманную дорогу, которой мне все равно было не миновать. И может, их тут много, таких дорог, но одна все-таки окажется настоящей и выведет меня на

волю. Завтра я опять пойду... Но завтра у нее не оказалось, ночью явился человек от Кирьяка и велел всем уходить в лес. Приближался карательный отряд.

Как ни ослабила смерть Петра государственный аппарат, пущенные им колеса все-таки вертелись, и власть себя охраняла. Бессильная во всем другом, она не вовсе разучилась преследовать и карать. Уходящие лесом разбойничьи женки, а равно и Феодосия с Акулиной видели в разрывах чащи черный недвижимый дым, шапкой накрывший спаленную карателями деревеньку.

## 10

Началась лесная жизнь, в шалашах и землянках. Разбойники пробавлялись легким, неопасным делом: обирали астраханских мародеров. Чума продолжала свирепствовать, уничтожая целые семьи, и опустевшие дома подвергались разграблению как местными, так и пришлыми людьми, которые в надежде на поживу отважно проникали в зараженный город и уходили с немалой добычей. Им никто не препятствовал, власти давно покинули Астрахань.

«Небось и мой дом разграбили, — без всякого сожаления думала Феодосия. — Да что там осталось: ложки, поварешки, постели, кое-какая одежда». Странно, ей на ум не приходило, что чума могла лишить ее не только имущества, но и близких людей, родного батюшки. Нет, в ее сознании все они оставались целы и невредимы. Ей не хотелось обременять душу никакой лишней заботой, никакой тревогой и болью, отвлекающей от мыслей о муже, с которым она должна соединиться. В роковой недостижимости Василия Кирилловича ее любовь к нему не то чтобы усилилась, сильнее нельзя любить, но обрела черты восторженного поклонения. Даже бегство его вызывало восхищение. Он бежал не из корысти и выгоды, а себе во вред и тягость, единственно ради знания. Кто еще на это способен? Все лишь о хлебе насущном думают, о богатстве и всякой земной сладости. Он необыкновенный, великий человек, недаром же остановил на нем взгляд царь Петр.

Она думала о занятиях Василия Кирилловича и жале-ла, что не вникла в них глубже. Почему он был пристрастен к рифмованным строчкам, которые складывались в песню, но песней не были? Он называл их стихами. А зачем говорить в рифму да еще нараспев, коли ты не собира-

ешься ни петь, ни причитать, ни славословить царя небесного или земного человека? Простой речью, какой в разговоре пользуются, можно все проще и ясней выразить. Она не понимала этого и мучилась. Однажды, тоскуя свыше мочи о Василии Кирилловиче, утирая набегающие на глаза слезы и томя себя невыносимыми мыслями о худобе, скудости одинокой жизни мужа близ московской науки, Феодосия проговорила вслух такое, чего и внутри у нее не было, словно вычитала начертанное в воздухе:

Уж я встречусь с тобой, милый, родненький,  
Накормлю тебя сладко, слобненько.  
Напитаю твою плоть нищую  
Самой вкусной и сытной пищею.

Ей стало чудно, радостно и чего-то стыдно, и она вычитала в дрожащей пустоте лесного воздуха другие, лишь ей зримые письма:

Сердце бедное плачет, надеется,  
Что любовью снова согреется,  
Что забудется мука мученическая,  
И ты счастье обучишь еще меня.

Феодосия несомненно была поэтом, и поэтом лучше Третьяковского, но она так и не узнала, что ее устами говорит вечность. Оказывается, рифмующимися строчками можно нежнее, задушевнее сказать о своем чувстве, нежели простой разговорной речью, и это облегчает душу лучше слез. Когда Акулина вошла в шалаш, она проговорила:

Тяжело холодать,  
Тяжело голодать,  
Но тяжелее того  
Друга милого ждать,  
Ждать и не дожидаться.

— Свят, свят! — перекрестилась испуганная Акулина, решив, что Феодосия произнесла какую-то ворожбу.

Уловив испуг бабушки, не боявшейся ни людского, ни божьего суда, ни государевых застенков, Феодосия поняла, что Акулина верит лишь в силы преисподней, и принялась травить старуху. Стихи слагались, играючи, они плескались возле сердца, и надо было только сморгнуть с глаз окружающую мельтешню и вычитать в небесной книге звонкие строки о чем хочешь: о любви, тоске, облаках,

ветре, поползне, снующим по раките вниз головой, даже о противной Акулине. Как-то раз, уставившись ей в лицо неподвижным взглядом, Феодосия проговорила загробным голосом:

Наточу я ножик повострей  
И добуду Акулининых кровей,  
Требуху старой ведьме нарушу,  
В ад кромешный засуну душу.

С громким всхлипом Акулина выбежала из шалаша и вернулась с Кирьяком.

— Зачем бабушку пугаешь? — спросил он хмуро.

— Вольно пугаться старой дуре! — свободно отозвалась Феодосия, она ненавидела старуху и не желала этого скрывать. — Я стихи говорю.

— Какие еще стихи?

— Ну, песни вроде... Только их не поют, а говорят.

— А ну скажи.

И Феодосия сказала, только не про Акулину, а про свое сердце.

— За что же ты его так любишь? — глухо спросил Кирьяк.

— А как же не любить? Он мой родненький, единственный. Другого не было и не будет.

— Это уж как бог решит.

— Бог уже решил. Небось нас в церкви венчали.

— Как же бог разрешил ему бежать? — зло усмехнулся Кирьяк.

— Батяка его, священник, мечтал приход ему передать. А он не хотел в попы, учиться хотел.

— Что в попы не пошел — одобряю. А зачем женатому мужику учиться?

— Дурачок ты, Кирьяк, — почти ласково сказала Феодосия. — Учатся, чтобы все знать. Как мир божий устроен, какое в нем каждой твари назначение. А когда узнаешь, все умные книги прочтешь, доберешься до высшего смысла.

— И твой доберется? — недочерчиво и все с той же угрюмой насмешкой проговорил Кирьяк.

— Мой-то как раз доберется! — с торжеством сказала Феодосия. — Он упрямый.

— Черта лысого он доберется! — грохнул Кирьяк. — Вот кто есть самый распоследний дурандай, так это твой мужик. Высший смысл рядом был, а ему — звонки бубны за горами.



— Болтаешь пустое, — вздохнула Феодосия, уже понявшая, что разговор склоняется к тому, чего ей так хотелось избежать, и ведь казалось, дуре жалкой, пронесет грозу стороной, а не пронесло.

— В тебе этот смысл, Феодосия, только в тебе! — горячим, искренним голосом заговорил Кирьяк. — Кабы ты моей была, неужто мог бы я тебя кинуть? Да за все сокровища...

— Пошел ты со своими сокровищами! — нарочито грубо оборвала его Феодосия, надеясь погасить разгорающийся костер. — Только и знаете — о сокровищах. Василий Кириллович на нищую жизнь пошел, а не за сокровищами. Для него все ваши сокровища — тьфу! — Она плюнула и растерла ногой.

— А ты можешь быть злой, — удивился Кирьяк.

— Могу. Для себя не могу, для него могу. Убить могу, глаза выцарапать, искалечить, все могу, так и знай, Кирьяк. И себя убить могу, — добавила спокойно.

— А зачем умней умного быть? — помолчав, сказал Кирьяк. — Был у нас мужик в деревне, все божественные книжки читал. Умнел ото дня ко дню, покуда не обернулся в круглого дурака.

— Чего с тобой говорить. Все равно не поймешь. Ты хоть читать-то умеешь?

— Умею... маленько, по псалтырю. И счет знаю.

— Вон ты какой ученый! — улыбнулась Феодосия.

— Скажи-ка... энтэ еще раз. Про сердце.

И Феодосия сказала:

Сердце бедное плачет, надеется,  
Что любовью снова согреется,  
Что забудется мука мученическая,  
И ты счастьем обучишь еще меня.

— Да... — вздохнул Кирьяк. — Кабы ты меня любила... — Он примолк, будто испугавшись своей мысли, потом тихо, задушевно договорил: — Я бы учиться пошел...

Феодосия не отозвалась, наивность Кирьяка ничуть не умилила ее. Женский инстинкт подсказывал ей, что Кирьяк, смелый на лесных дорогах и в обращении с сообщниками, не любящий, но и не боящийся крови, нерешителен с женщинами. Он обожал свою покойную опозоренную жену, был верен ее памяти, а хмельная близость с гулящими девками ничего для него не значила. К ней у него было на-

стоящее чувство, потому и робел, но сегодня он переступил трудный для себя и опасный для нее рубеж. Теперь дело пойдет в открытую. Из леса бежать еще труднее, чем из деревни, там была хоть какая-то надежда отыскать дорогу: тайные разбойничьи тропы вовсе не проглядывались, а идти наугад — или заплутаешься в чаще, или зверь растерзает.

Она стала наблюдать за разбойниками, за их уходами и приходами, но ничего не могла высмотреть, густой плотный мшаник не хранил следов. Теперь она при каждой встрече просила Кирьяка отпустить ее с миром.

— Об этом и думать забудь, — мрачно отвечал Кирьяк.

— Зачем я тебе? Я же знаю, чего тебе нужно, да ведь не могу я тебя полюбить, не могу. И не будь я мужней женой, все равно бы не смогла. От тебя кровью пахнет, Кирьяк, а меня с нее мутит.

— Степан Тимофеевич поболе моего душ загубил, а его шемаханская царевна любила, — мечтательно говорил Кирьяк.

— Да какой из тебя Разин! Тоже сравнил.

— А вот брошу в Волгу — поймешь, какой, — так же мечтательно звучал хриплый голос.

— В Козье болото, — усмехнулась Феодосия. — Где тут Волга-то? — А сама надеялась, что он сгоряча проговорится и откроет их местоположение.

— Я уйду на Волгу, — грезил наяву Кирьяк. — Посажу людей на струги, тебе под ноги ковер персидский кину. Ох и погуляем мы!..

— Тешь себя сказочками, Кирьяк, а меня уволь. Не люб ты мне. И чем дольше меня продержишь, тем ненавистнее станешь.

— Ну, это мы еще посмотрим, — бледнел Кирьяк смуглым лицом.

— Ты же не захочешь, как тот барин...

— Молчи! — орал Кирьяк, и в мучительном этом крике Феодосия черпала уверенность в своей безопасности.

Феодосии только казалось, что она понимает людей. Она и в самом деле могла долго проследивать душевный путь человека, но догадка давалась ей лишь в случае возобладания добрых начал. Она и в дурных, нечистых играх, столь чуждых ее натуре, могла многое ухватить, проявляя порой редкую проницательность, какое-то непо-

стижимое чутье к тому, что отсутствовало в ее опыте, но все это до известного предела; там, где человеческая злоба, порочность или просто разнузданность начинали гулять без помех, Феодосия становилась наивной, как малый ребенок. Ей казалось, что своей искренностью она обезоруживает Кирьяка. Если б он просто хотел ее взять, то мог давно совершить это бесчеловечное дело. Она долго была все равно что без разума, любой мог надругаться над ее бессильным, не способным к сопротивлению телом, и она даже не знала б об этом. Но Кирьяку, видать, иное нужно. А может, его останавливает память о своей обещенной жене? Нет, он хотел ответного чувства, хотел, чтобы все по согласию и, дико сказать, по закону у них было. Однажды сильно хмельной он бормотал о «лесном попе», который может разрешить ее от брачных уз и опутать с ним, Кирьяком. И она не боялась говорить ему о своем отвращении, допуская, что Кирьяк может в бешенстве ударить, даже ножом пырнуть, но хотя бы из гордости удержится от насилия. Скорее, устав от этой борьбы, унижений, неудовлетворенной страсти, прогонит ее прочь.

Кирьяк приходил разный: добрый, на что-то надеющийся, чаще злой, ожесточенный, бывал и задумчивым, пришибленным странной загадкой жизни, что брошенная мужем молодая, красивая, к тому же беззащитная женщина может так упорно противиться власти, способной раздавить ее, как козявку. Он ненавидел и уважал в ней эту странную силу. Его ничуть не задевали насмешки товарищей за спиной. Наверное, Кирьяк потому и был атаманом, что плевал на мнение окружающих. Их бабьи пересуды были так ничтожны перед его болью, что он не пытался заткнуть им грязные рты. Перетянутая струна рвется. Порвалась и атаманова струна.

Крепко напившись, Кирьяк пришел в шалаш к спящей Феодосии. Он откинул одеяло, задрал рубашку на женщине и рухнул на нее своим тяжелым телом. Он делал все молча, с грубой простотой, словно у них так всегда заведено было.

Феодосия проснулась от придавившей ее тяжести и духоты. В первое мгновение ничего не поняла, и тут будто расплавленный свинец влился ей меж бедер и, чтобы не умереть, она прозрела в какой-то иной вселенной и узнала своего единственного. Он услышал ее тоску, ее зов через тысячи верст, вернулся, разыскал в глухом лесу и сразу

одарил своей любовью, по которой так изболелось ее тело. Неизъяснимое наслаждение охватило Феодосию, никогда еще не открывалась она так любимому!

— Милый, родной! — выжимала она со стоном сквозь стиснутые, скрежещущие зубы. — Счастье-то какое!..

Кирьяк, знавший, как сильна разъяренная, защищающая свою честь женщина, даже в пьяной решительности не забыл сунуть нож за голенище. Он ждал ярости, проклятий, слез, борьбы, но то, что произошло, было выше его понимания. И к неожиданному, ошеломляющему счастью прикипела слеза. Опустошенный, без чувств, без желаний, без мыслей скатился он с женщины, издававшей тихие стоны, выполз из шалаша и забылся мертвым сном.

А утром, опамятававшись, умылся ключевой водой, расчесал волосы и бороду, надел синюю сатиновую рубашку, взял золотую цепочку, нитку жемчуга и явился в шалаш к уже проснувшейся, но не встававшей, бледной, большеглазой и странно далекой, дальше самых далеких звезд, возлюбленной.

— Бери! — сказал он, уронив цепочку и жемчуг ей на грудь. — Знаю, ты не того стоишь. Но дай срок. Как царица будешь у меня ходить, краса моя ненаглядная.

— Что с тобой, Кирьяк? — слабым, надтреснутым голосом спросила Феодосия и брезгливо отбросила драгоценности. — Зачем ты мне даришь?

— А кому же дарить? Одна ты у меня. Не отвергай. Нет такого золота, чтоб заплатить за твою любовь. У самого царя сокровищ не хватит. Прими как дань сердца.

— О чем ты, Кирьяк? — Она мучительно напрягла свой гладкий лоб, собирая его в складку. — Ты напился с утра?

— Нет, голуба моя. Каюсь, был я вчера выпимши. Для куража хватил. Веришь ли, к такой махонькой подступиться трусил. Знал бы, что ты сжалишься надо мной...

— Не скалюсь, не мечтай...

— Да ты что? — низкий голос атамана грубо осип. — Заспала, что ли? Был же я с тобой.

Она внимательно, будто что-то соображая, смотрела на него.

— Наговариваешь на себя, Кирьяк, — произнесла спокойно и вроде бы сожалеюще. — Кругом ты в грязи и крови, а в этом грехе неповинен. Это барин твою жену снасильничал, а ты на себя чужое берешь. С водки умом повредился.

Кровь втиснулась в глаза Кирьяку с такой силой, что он прижал их пальцами, боясь, что лопнут.

— Жену не трожь, — сказал глухо. — К чему ее приплетать? Барин похоть свою тешил, а я за тебя все царства отдам.

— Какие царства? — брезгливо усмехнулась Феодосия. — Нет у тебя ничего, кроме цепки ворованной. Ты голь пережатая. Из тебя и разбойника настоящего не вышло. Ты воришка и робкий убивец. Нету у тебя талана. Ни в чем. Ну, что ты меня держишь, скажи на милость? — Голос смягчился, звучал почти сострадательно. — Все равно мы тебя обманули. Нашел меня любимый, мы с ним всю ночь миловались, пока ты пьяный дрых. И будет у нас ребенок, весь в отца, крепенький, беленький, с бородавочками вот тут и вот тут, — Феодосия притронулась мизинцем к щеке и верхней губе.

— Что ты несешь? — с болью сказал Кирьяк. — Какой муж, какие бородавки? Мне ты открылась, мне!

Феодосия высокомерно рассмеялась.

— Видишь? — в руке у нее блеснул нож, знать, выпавший у него из-за голенища. — Только подступись, по зенкам полосну. А коли подмогу кликнешь, зарежусь.

«Она рехнулась! — ожгло Кирьяка. — Эх, несчастная!.. И пошто бабенку сгубил?.. А что было делать? Ее спасение — мне гибель. Так сошлось. Не человеческим, да и не божьим промыслом. Жалко ее до смерти, и себя жалко. Нешто мог я подумать? Ну, поревет, не без того, ну, рожу мне расцарапает, волосья оборвет, ну, схватится за гужи и остынет помалу. Ведь не девка. Неужто из-за такого дела жизни решаться? А эта не такая. Эта как моя... До чего же, однако, она своего уroda бородавчатого любит! — С какой-то восторженной завистью подумал Кирьяк. — А он, гнида поповская, на книжки ее променял. Не вышло тебе счастья, Кирьяк, только душеньку чистую погубил. Вот уж кто истинно несчастный, так это ты...»

Кирьяк крикнул Акулину и велел собирать Феодосию. Он хотел дать ей денег, она взяла ровно столько, сколько у нее пропало. Казалось, Феодосию подменили, она ослепла к окружающим, к атаману, замечала одну лишь Акулину, обращалась с ней высокомерно, будто та была ее служанкой. Наставленная атаманом, старуха не огрызалась, покорно приговаривая: «Да, матушка-барыня». «Слушаю, сударыня-барыня». Акулина сменила тон, когда они покинули становище. Теперь она покрикивала на Феодо-

сию, понукала идти быстрее или ругалась, если та слишком убыстряла шаг: «Чего несешься как оглашенная? Я небось не молодка. Успеешь к своему чучелу!» Феодосия не отзывалась, вроде и не слышала, и шла, как ей шлось. Когда же добрались до пристани, Акулина опять съежилась и заюлила. Феодосия оставалась такой же отрешенной и не откликнулась известию, добытому Акулиной, что чума в Астрахани, почитай, кончилась и оставившие город жители потянулись назад. Но, похоже, слова эти достигли ее, и она сделала какие-то выводы. Вечером, когда сбившая ноги в кровь Акулина вернулась на постоянный двор, где они остановились, и сообщила, что в Москву никто не едет ни водой ни сушей и надо плыть до Саратова, Феодосия сказала тяжелым, низким голосом: «Какая Москва? Какой Саратов? Домой поеду». Это оказалось куда как просто: на другое утро Акулина пристроила ее на струг с астраханскими беженцами. На прощание Акулина вдруг расчувствовалась: «Прости, девонька, если что не так вышло!» — «Бог простит», — пробормотала Феодосия и, пошатываясь, двинулась по сходням на струг.

Феодосия не помнила, как добралась до Астрахани, как очутилась дома. Странная болезнь, начавшаяся в ней после ночи, когда явился Василий Кириллович, опрокинула ее без памяти на голые доски кровати. Она вспомнила себя лишь на другое утро. Ужасное жжение палило ее внутри: оно начиналось в животе, поднималось вверх, заполняя грудь, сердце будто плавилось, обожженная гортань судорожно сжималась, хотела вытолкнуть что-то мешающее, мерзкое, во рту лопался ком едучей горечи. И воды никто не подаст, думала Феодосия, но пить ей не хотелось. И вообще ничего не хотелось, даже чтобы жжение прошло.

Появилась золовка Марья с ребетенком, Феодосия ей не обрадовалась. Тихонько плача, Марья рассказала, что все родные померли от чумы один за другим, кроме о. Кириллы, который ушел в монастырь и принял постриг под именем Климента. Феодосия промолчала. Равнодушно выслушала она, что ее батюшка тоже спасся. Она спросила лишь: «От Василия ничего не было?» — «Откуда же быть? — плаксиво молвила Марья. — Мы же тут как отрезанные. Может сейчас чего будет». — «Нет, — сказала Феодосия, — не будет. — Помолчала, сжав сухие, потрескавшиеся губы. — Знаешь, Марья, уходи лучше, вдруг у меня чума». — «Чума саму себя пожрала, — сказала Марья, разучившаяся бояться. — Кончилась ее власть». —

«Вот меня еще сожрет и кончится», — с провидческой уверенностью произнесла Феодосия. После Марья говорила: накликала. Чума, и впрямь иссякшая, набралась силы, чтобы унести бедную жизнь Феодосии.

Господь облегчил ей кончину. Когда тьма отступала, Феодосия опять наполнялась своей любовью и совсем не мучилась страхом смерти. Она и знала и не знала, что умирает. Одно в ней было твердо: не может она умереть, не свидевшись с любимым. Хоть в последний ее час, к последнему дыханию явится он из своей дали. А коли так, она не умрет, не может умереть, когда он рядом. Она возьмет его за руку, и нету у смерти силы порвать такой сцеп. Она не знала, когда умерла. Да и умерла ли она, вся излившись в любовь и веру, что остались на земле питать всеобщее человеческое сердце.

## 11

Отец Кирилла, он же иеромонах Климент, прослышал о возвращении снохи и собрался идти к ней, но известие о смерти Феодосии, присланное в монастырь дочерью Марьей, удержало его на месте. Из всей его большой семьи продолжала жить лишь эта всегда далекая ему дочь да внучек, которого он не успел полюбить. Почему бог не прибрал его вместе с теми, кто был ему дорог на земле? Он стар, изношен, ни на что не годен. Быть может, он должен искупить какое-то зло, какую-то несправедливость, свершенную им по неведению, ибо сознательно дурных поступков о. Кирилла за собой не помнил. Он не был праведником, но всегда старался жить по чести и правде, никого не обманул, не обобрал, не осиротил, не оговорил. Напрягался для семьи и людям служил по мере сил, не корыствуя и не лукавя. Но бог лучше знает, виновен или невиновен слабый земной человек, и в нужный час призывает к ответу.

В неожиданном возвращении Феодосии, которую он в мыслях давно не числил в живых, увидел о. Кирилла божий знак. Вот его грех перед господом. Ему и его семейству доверилась юная чистая душа, и как же дурно, небрежно, жестоко они с нею обошлись! Ему вменяется искупить семейную вину перед Феодосией. Он почувствовал желание жить, странную силу в старом, изжитом теле, затосковал по тяжелой, потной работе и заботах о другом человеке. Но господь бог прибрал Феодосию, лишив его благодати искупления и загадав новую мучительную загад-

ку, которую о Кирилла и не пытался разгадать. Ему не для чего стало жить. Он лег на жесткое свое ложе и поручил душу богу. Умирая, он думал о том, что с его уходом навсегда исчезнет на Руси и вскоре сотрется в памяти людей фамилия ТрEDIAKовский. Марья носит мужнее имя, о других же ТрEDIAKовских он сроду не слыхивал. Хорошая, звучная фамилия, ее носили служители церкви, городские и сельские священники, сопровождавшие челоВeков от рождения до смерти, а были попы ТрEDIAKовские, что и ратное поле ведали, благословляя воинство на сечу с татарвой, степняками и ляхами. Отныне русские люди будут управляться во всех своих делах без ТрEDIAKовских. О блудном сыне старик не вспомнил, давно похоронив самую память о нем. И с этими горестными мыслями отошел...

## 12

Меж тем, далекий от кромешных российских скорбей, Василий Кириллович окрепшей, раздавшейся грудью дышал и не мог надышаться бодрящим парижским воздухом. Во всей долгой и тяжелой, наполненной непосильными трудами и неравной борьбой жизни этого первого русского интеллигента, безмерно щедрой на все дурное: недобротство и непризнание, насмешки и злобные издевательства, унижения и даже побои — в жизни, скупой лишь на удачу, тепло и отдохновение, в этой мученической жизни был один широкий голубой просвет: парижские дни под надежной рукой русского посла. И после внезапной смерти князя Куракина его покровительство продолжало осенять ТрEDIAKовского.

Василий Кириллович изменился внешне почти до неузнаваемости: исчез костлявый оборванец, появился вальяжный молодой щеголь с гладким, румяным лицом, которое не портили две запечатанные мушками бородавки, с живым и приметливым к окружающему взглядом. Да, теперь Василий Кириллович не был постоянно погружен в самого себя, он научился видеть мир и находить себе место в его круговерти. Да и как можно было остаться слепым и равнодушным к Парижу, Елисейским полям, сенским берегам, где цвели каштаны и продавались божественного тленного запаха старинные книги, к собору Парижской богородицы с печальными химерами, к Лувру и Пале-Роялю, благоухающим садам, где гуляли прелестные женщины с наряд-



ными детьми, к старым, источающим волнующий холод камням Сорбонны, средоточию разума. Василий Кириллович, вечный пленник аскетической державы духа, познал радость материальных благ: изысканной еды на севрском фарфоре, тонких вин в хрустальных бокалах, он был допущен к барскому столу, хотя и помещался на нижнем его конце.

Князь Куракин был одним из первых щеголей своего времени, Василий Кириллович донашивал его кафтаны, камзолы, жилеты, которые князь и надевал-то считанное число раз, а какая-нибудь капля бургонского или дырка от трубочного табака, тщательно заштопанная, в счет не шли, равно доставались ему княжеские панталоны, плащи, чулки, туфли с серебряными пряжками и шляпы, которым могли позавидовать франты с Елисейских полей. Словом, он был сыт, пит, разодет, ухожен, голубоглазая Мари стирала и гладила ему рубашки, ах, как она гладила!..

В карманах Василия Кирилловича позванивала мелочь, но он не мотовал и тратился лишь на театральные билеты, на галерку и книжки, что так упоительно дешевы у сенских книготорговцев. Сам сиятельный князь, а позже его преемник искали беседы с редкостно начитанным, памятьным — ходячая энциклопедия, — интересно и хоть коряво порой, да по-своему мыслящим студиозусом, обогнавшим иных профессоров Сорбонны, которую он все еще старательно посещал, дабы совершенствоваться во французском и древних языках.

Он упоенно работал. Перевел книгу Поля Тальмана «Путешествие на остров любви», более шести десятков лет чаровавшую взыскательных французских читателей, писал собственные стихи как на русском, так и на французском, ставшем для него родным языком. Он упивался строгой системой Буало, восхищался блестящим стилем, обаятельным цинизмом и смелым безбожием Вольтера, окончательно расшатавшим его и без того слабую религиозность. Французское вольномыслие и нравственная свобода благотворительно повлияли на дремучую душу астраханского виршеплета. Он презирал церковнославянское велеречие, выпростал плечи из-под вериг тяжелой дидактики и всей душой поверил, что поэт волен петь иные, светлые начала бытия. Его смутные юношеские прозрения, что простой народ в своих песнях ближе к истинной поэзии, нежели признанные служители тяжеловесной отечественной музыки

во главе с самим Феофаном Прокоповичем, стали той убежденностью, которая приводит к открытиям. Конечно, понадобились Россия и время, чтобы угадки, наития, озарения, кропотливый умственный поиск вылились в стройную систему, но начало было положено.

В эту счастливую, полезную и чуть-чуть пошловатую пору своей жизни Василий Кириллович окончательно забыл Феодосию, забыл ее любовь и свою боль о ней. Не просто забыл, а отринул, как и все прошлое. Он жил лишь настоящим, наивно полагая, что вся последующая жизнь будет освещена тем же солнцем, ему невдомек было, что это всего лишь краткая передышка перед бесконечной российской Голгофой. Счастливый своей обрезавшейся памятью и безмятежной верой в будущее, он растворялся в сиюминутности, озаренной победительным образом блистательной арцухини Бурбонской.

Да, Василий Кириллович переживал страстное увлечение. Первая красавица двора пленила его сердце. Он **должно** не догадывался об этом, но галантная французская поэзия открыла ему глаза. Когда рухнули убогие бурсацкие представления о возвышенных нравоучительных целях поэзии, служащей якобы к прославлению великих мира сего и к назиданию малых сих, когда открылось, что истинная поэзия — это разговор о любви и не поэт тот, кто не влюблен, он с восторгом обнаружил, что не обделен этим первым наиважнейшим признаком поэта. Да, втайне даже от собственного сердца он без памяти влюблен в юную львицу парижского высшего общества, живую легенду, черноглазую арцухиню Бурбонскую. Да, между ними пролегалась бездна, но любовь крылата, пусть его избранница знатна, богата, избалована вниманием первых галантов Франции и всей Европы, ничто не может помешать любви поэта. Дерзкий, неутомимый, он не уставал ласкать предмет своей страсти блеклым взором славянских глаз, покрывать ее ангельский лик тысячами воображаемых поцелуев.

У них были общие вкусы. Оба поклонялись Мельпомене, и каждый вечер, в положенный час Василий Кириллович встречал портшез своей избранницы у ступеней лестницы «Комеди франсез». Поскольку красавица не догадывалась о пожаре, который зажгла в душе чужестранца, да и вообще не подозревала о его существовании, Василий Кириллович мог не особенно скрываться и в толпе зевак, нищих и мазуриков, постоянно осаждавших возле театра знатных господ, пробираться к самым носилкам, вдыхать пья-

нящий аромат духов, внимать серебристому смеху и чуть хрипловатому детскому голосу. Ему вспомнилась крылатая фраза мушкетера — поэта Сирано де Бержерака: для влюбленного всякая рана смертельна, ибо он состоит из сплошного сердца.

Но, к счастью, это оказалось поэтическим преувеличением, иначе Василий Кириллович окончил бы дни на мостовой перед знаменитым театром и не одарил бы русскую литературу силлабо-тоническим способом слагать стихи, многими учеными трудами, собственными творениями и переводами. Как часто мы недооцениваем людскую наблюдательность, как мало знаем о том интересе, какой вызывает у совсем посторонних людей наша скромная персона. Но когда, прокладывая дорогу портшезу арцухини, молодой смуглолицый носильщик нашел кулаком физиономию отнюдь не лезшего вперед Василия Кирилловича, бедный поэт мог бы поклясться, что тот сделал это нарочно. Он высмотрел фигуру Василия Кирилловича в многоликой человеческой протери, ежевечерне осаждавшей носилки арцухини, и что-то смекнул про себя, уже не возревновал ли дерзкий раб свою госпожу к молодому иностранцу? А что, если и вельможная дама его приметила?.. Но думать об этом не хотелось, мысль, куда бы ни повернула, сразу упиралась в тупик. Довольно того, чтобы манящий образ водил его рукой, сжимающей перо, когда он предает бумаге свои поэтические грезы.

У Василия Кирилловича был слабый нос, кровь продолжала сочиться, когда он занял свое место на галерке; отсюда, если перегнуться, можно увидеть далеко внизу обнаженный локоть и нежные холмы персей сидящей в ложе арцухини Бурбонской. Он дал себе слово — не покончить с безумствами, — это было выше его сил, — обуздать себя настолько, чтоб не попадаться под быструю мускулистую руку злобного носильщика. Это слово Василий Кириллович сдержал. Теперь он топтался на почтительном расстоянии от портшеза и бдительно следил за всеми перемещениями своего врага. Больше он впросак не попадался и спокойно изнемогал от любви, сообщавшей все новые краски его поэтическим опытам в галантном галльском роде..

Тредиаковский уступал в поэтическом даровании и просто в умении слагать стихи и Ломоносову и Сумарокову, но в нем одном из всех его современников звучала щемящая лирическая нота. И эта нота прорывалась сквозь всю нескладицу тяжеловесных виршей, чистая, грудная, за-

душевная, — то в стихах о Париже, то в песенке о кораблике, уходящем в плавание, то в стоне о далекой родине, то, вовсе неожиданно, в какой-либо заумно-безобразной рифмованной чуши. Этот нелепый поэт не был весь съеден дидактикой, хотя и удивительно быстро излечился на родине от французского легкомыслия и поэтической безответственности, в нем под всеми слоями назидательности, педантизма, ханжества, верноподданической лести сохранялся живой родничок. И оттуда мог бы забить Кастальский ключ. Он подносил к губам флейту, душа его искала выход в элегии, но заглушал сам себя барабанным одическим боем. Он не узнал своей музыки и слепо прошел мимо. А ведь она была возле его сердца, сама поэзия, сама любовь. Ах, бросить бы ему арцукинью Бурбонскую, заодно и прачку Мари, так хорошо умевшую гладить, и весь галантный, литературный, театральный, ученый Париж, уже давший ему все, что мог дать, да и вернуться в Астрахань, припасть к измученной груди Феодосии, хоть последней слезой ее омыть, и русская поэзия получила бы первого лирика. Знать, не судьба была. А своего лирического поэта Россия получила в должный час...

В истории этой нет ни правых, ни виноватых. Каждый остался верен своей правде, своему назначению: Феодосия, обреченная любить и только любить, и Третьяковский, предназначенный дать отечественному стихосложению новую систему и проложить дорогу русскому классицизму. Он принес в жертву невесть кем поставленной перед ним цели и любовь Феодосии, и собственное самолюбие, достоинство, честь; его топтали вельможи и дворцовые холуи, язвительный монарший смех выдавал головой на поругание злейшим врагам, но он, подобно Феодосии, не отступил. Велико было мужество этого слабого и незащищенного человека. На его раны сыпали соль, и ни одна рука не протянулась утереть черный пот вечного труженика.

Поистине, литература — это храм на крови.

— Трость! — стараясь придать голосу внушительность, потребовал Третьяковский.

— Не ходи родимый, не ходи, кормилец! — завела жена, скидывая пальцем мелкие слезки, то и дело выбегавшие с уголков бледно-голубых глаз.

С того памятного люто-студеного февральского дня, когда принесли его домой на шинельке, ободранного, хуже сидоровой козы, ее слезный мешок принимался источать влагу от любого беспокойства, от самой пустой малости. Она плакала почти беспрерывно, сама того не замечая.

— Должен пойти!.. — сказал он строго.

Но какая твердость не размякнет в столь влажном климате? Василий Кириллович был непреклонен и грозен лишь за письменным столом, сжимая в перстах гусяное перо, в прочей жизни из него разве что ленивый веревочек не вил. Вот и сейчас он сразу свел на нет силу своего убежденного решения.

— Ну как же я не пойду?.. Все пойдут, а я не пойду. Ну-ко заметят?..

— Да хоть бы!.. Тебе-то что?..

— Как же так?.. А коли нароку в том узрят? К бунтовщику сочувствие?..

— Василий Кириллович, отец!.. — Она даже оборвала свой нескончаемый беззвучный плач. — Очнись! Ну кому же такая дурость может впасть? Сколько ты от него мук принял, чуть жизни не лишился!..

— Что мне муки? Тело зарастет, а вот иное уязвление..

— Гниет спинка-то... — И опять тонкий палец забегал возле разляпого переносья.

— Заживет! — бодро сказал Третьяковский. — Бурсацкая шкура крепкая. А пойти я должен! И не страху ради пред ушаковскими шишами, — вопреки горделивым словам голос его понизился до шепота, хотя чужих в доме не было, — а только себя самого ради.

Вовсе того не желая, жена разбередила его раны. Не те, что упорно не хотели заживляться на спине, а иные, незримые, в самом сердце.

— Василий Кириллович, государь, неужто в тебе отомщевательное засвербило?

— Не мщения, а справедливости я жаждал! — торжественно сказал ТрEDIAKОВСКИЙ. — И сбылось по-моему. Он меня лютой казнью казнил, смертью убить хотел, а я жив есмь, в силе ума своего и всех чувств, и богом отпущенных мне дарований. А он повержен и сокрушен и ныне всенародно и позорно от жизни отвержен будет.

— Эх же ты со своей обидой носишься! — сказала она осудительно.

Ей-то самой его обида куда сильнее болела, да не хотелось, чтобы он на казнь Волынского шел, боязно чего-то было, и она силилась отвести мужа от мстительных помыслов, но только сильнее разжигала костер.

Он вовсе не был горяч, задиричив или просто неосмотрителен, какой там! Разве что в молодости, когда полземли шагами измерил, ищущи долю себе по душе. А ей он достался уже поломанный, научившийся гнуть спину. Да и как не гнуться сыну астраханского попишки, допущенному ко двору, в академию? Кто он есть и кто округ? Князья, графы, бароны, да шляхта, да иноземцы заносчивые, коим и титулы звучные ни к чему, и без того сильны. Но было у Василия Кирилловича одно, сводившее на нет его скромность, смирение и всяческое самоуничтожение. Коли он чего за столом своим надумал и бумаге доверил, того держался нерушимо и, защищая плод духа своего, забывал о собственном худородстве и мнил себя ровней с кем угодно. Мог и самому Шумахеру, первому лицу в академии, неудовольствие причинить, мог и архиереев, и вельмож в ярость вогнать. Марья Филипповна догадывалась, что и сейчас столкнулась с чем-то, уходящим в недоступную ей глубину его покладистой в домашнем бытстве природы. Прежде, когда меньше знала его, думала: мягок, да вздорен, брыклив. Нет, тут другое. Недавно подлеты прохожего на Мойке грабили. Он им все без звука отдал: платье дорогое, деньги, перстни с алмазами, а образка грошового, медного, позлащенного отдать не захотел. Стражники отбили его чуть живого, полунагого, окровавленного, а в кулаке образок зажат. У Василия Кирилловича таким образом словеса были, особенно те, что в виршевое согласие приведены. Это можно было бы счесть дуростью, порчей, безумством, да ведь от словес тех все семейство кормится. И нет другого занятия у Василия Кирилловича, не размахивает он кадиллом, как его родитель, не хрипнет от крика на военном

плацу, не назидает юношество, не строит дворцов и храмов, не ведет торговлишки, не знает с ремеслами. Ни железа, ни глины, ни камня не касались его мягкие, слабые, полные руки. Одно только гусиное перышко сжимать ловки. Строчит, строчит, сердешный, и с тех листов перепачканных исходят его семье и пропитание, и одежда, и тепло очага, и даже всякое баловство деткам. Может, и нужны его упрямство и заносчивость, когда дело тех словес касается, не Марье Филипповне, едва грамоте обученной, о том судить да рядить. И уж подавно не могла она сыскать разумного объяснения нынешнему заскоку.

Укор жены задел ТрEDIAKовского. Он напыжился крупным, мясистым лицом своим, набухли и полиловели толстые жилы на висках, но не от гнева или обиды — от бессилия растолковать ей, что те побои жестокие, то поношение великое нанесено не безродному попову сыну, мелкочинному секретаришке при академии, а первому пииту младой русской поэзии. В нем музы и сам Фебус-Аполлин уязвлены и оплеваны были. Да ведь не объяснишь такое доброй и недалекой Марье Филипповне. Сколько раз пытался он растолковать ей про Фебуса-Аполаина, а она светлого бога искусств языческому Яриле уподобляет и сердится, что православного священника отпрыск идолищу кадит. И выходит, что Марья Филипповна в ту же дуду дует, что и кидавшиеся на него церковники.

ТрEDIAKовский сказал значительно:

— В суровые вины Волынскому вчинили, что зверовал надо мною в приемной герцога Курляндского.

— Господи! — охнула Марья Филипповна. — Неужто мало, что он государыню скovyрнуть хотел?

— Мало не мало, а вчинили, — пробормотал ТрEDIAKовский, и лицо его налилось кровью.

В другое время пронизательная — при всей своей недалекости — Марья Филипповна сразу вранье разгадала бы. Но сейчас отнесла пламень румянца за счет развороченной в душе мужа скверны. ТрEDIAKовскому же было стыдно. Как и все люди его времени, причастные дворцовой жизни, он не только умел хладнокровно врать, но лишь тем и занимался, переступая высокий порог, и почитал это не грехом вовсе, а «политикой». Но дома, перед женой врать не умел, не хотел, да и толку не было, раз она его сразу на чистую воду выводила. Кажись, впервой солгал удачно, но испытывал не радость, а стыд и огорчение: коли такую чистую и пронизательную душу обманывать можно, значит, правда сама себя сроду не оборонит.

Наврал же он всего-то вот столечко! Волинскому и впрямь был в вину указан, в ряд с иными, тягчайшими преступлениями, скандал, учиненный в приемной всеильного Бирона, но имя Тредиаковского при сем не упоминалось. Неважно, кого он наземь поверг и ногами топтал с громкими криками и поношениями, важно лишь, что оказал тем самым неуважение фавориту Анны Иоанновны. А писалось это в одну строку с государственной изменой. Свой респект герцог Курляндский ставил вровень с потрясением монаршего трона.

— Держи палку-то!.. Василий Кириллович, где ты, родной?.. Вернись!.. — услышал он будто издалека.

В руку ему тыкалось что-то твердое. Он почувствовал гладкое теплое дерево, затем прохладно-шершавый металл — палисандровая трость с серебряным набалдашником, привезенная им из Франции. Василий Кириллович взял трость и с шутовой напыщенностью изрек на библейский лад:

— И даде в руку ему посох!..

Вслед за тем провалился в то февральское утро, когда невиданный в Петербурге мороз гнал дымы столбом в высокое синее небо, камешками падали замерзающие на лету воробьи в сухо искрящийся снег и расписанная диковинными пейзажами, призолоченная наледь окон не давала проглянуть улицу и двор. В ту пору важным переживанием была охвачена его душа...

## 2

В академию пришло письмо из Фрейберга от обучающегося там горному делу академию ученика Михайлы Ломоносова. Был о нем Василий Кириллович и допрежь того много наслышан, ибо жадничал ко всем слухам о сем молодом человеке, повторяющем его собственную судьбу. Когда-то астраханский попovich, не удовлетворенный обучением у католических священников, невесть почему оказавшихся в устье Волги, — лишь разожгли, но не утолили жажду к словесным наукам святые отцы, — бросил отчий дом, старых родителей, молодую жену и бежал тайком в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, а проще — в Заиконоспасское училище. А через восемь лет после него с другого края русской земли, из-под Архангельска, славного морской торговлей, прибрел в белокаменную помор, рыбацкий сын Ломоносов и в то же училище определился. И дальше сходно у них пошло. Томимый тягой к знанию,



Третьяковский через два года покинул бурсу и подался сперва в землю Голландскую, а оттуда в Париж, куда прибрел пешком со сбитыми в кровь ногами и животом, прилипшим к хребту. И если б не князь Куракин, русский посол во Франции, пожалевший жадного к знаниям юношу и приютивший в своем богатом доме, был бы тут конец странствиям Василия Кирилловича, Ломоносов оказался терпеливее, да и времена изменились. По окончании Заиконоспасского училища он был определен в университет при Санкт-Петербургской академии наук и оттуда, явив недюжинные способности, отправлен в немецкий город Марбург для усовершенствования в науках. Здесь он обнаружил приверженность, опять-таки роднившую его с Третьяковским, к стихотворчеству и размышлению над способами сложения российских стихов. Занятия сии он продолжил и во Фрейберге.

Люди, бывавшие за границей, много рассказывали о его сильной и гордой упряжке, удивительной в человеке столь низкого происхождения, — ни от кого не стерпит насмешки или слова грубого, — о многих его талантах и глубоких познаниях в самых разных науках. Все это приятно было Василию Кирилловичу, но жгучий и недобрый интерес к помору возник у него недавно, когда в адрес академии пришло послание от Ломоносова, содержащее «Оду на взятие Хотина» с присовокуплением к сему рассуждения о способе слагать стихи. И тут весьма неожиданно обнаружился дерзкий, даже грубый вызов ему, Третьяковскому, первому стихотворцу российскому и отцу нового тонического стихосложения. Вызов был и в самом поэтическом произведении, созданном будто вопреки прославленной оде Василия Кирилловича «О сдаче города Гданска», но куда искуснее. Сие неудивительно; свою торжественную оду Василий Кириллович сочинял по старому силлабическому канону, ибо не пришел еще к тому, что всего три года спустя открылось его окрепшему и широко раскинувшемуся разуму.

Тогда-то и осенило Василия Кирилловича, что башня русского силлабического стихосложения, чей фундамент — Симеон Полоцкий, верхушка — Феофан Прокопович, а островершек — Третьяковский, обречена на слом. Силлабический способ полагает в стихе некоторое известное число слогов и согласие слогов последних, но это еще не есть стихи, а зарифмованная проза. Прямой же стих имеет *меру стоп* с падением, приятным слуху, от чего стих поется

и тем от спотыкливой прозы разнится. Сию распевность выслушал он в народном русском стихосложении и потрясенной душой прозрел высшую истину.

Надо сказать, что у иных поэтов, включая самого Василия Кирилловича, в коротком стихе иногда появлялось тоническое начало — ритм, но не по расчету, а как бы неволью. Впрочем, короткие стишки Василий Кириллович серьезной поэзией не почитал, его заботил героический стих: тринадцатисложный «российский эксаметр» и одиннадцатисложный — «российский пентаметр», кои единственно годны для изображения предметов возвышенных.

Мир не без добрых людей. Нашлись злопыхатели, обвинившие Василия Кирилловича в том, что он просто пересадил на русскую почву французское стихосложение. Спокойно, без запальчивости, ибо знал свою правду, отвечив сим малоумным хулителям Тредиаковский, указав на первоисточник своего открытия: «...поистине всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела. Даром, что слог ее весьма не красный, от неискусства слагающих; но сладчайшее, приятнейшее и правильнейшее разнообразных ее стоп, нежели иногда греческих и латинских, падение подало мне непогрешительное руководство к введению в новый мой эксаметр и пентаметр оных выше объявленных двухсложных тонических стоп. Подлинно, почти все знания, при стихе употребляемые, занял я у французской версификации; но самое дело у самой нашей природной, наидревнейшей оной простых людей поэзии... Я французской версификации должен мешком, а старинной российской поэзии всеми тысячью рублями...»

Видимо, хорошо проштудировал Ломоносов в свободные от горнорудного дела часы работу Василия Кирилловича, но в рассуждении, коим снабдил звонкую свою оду, и словом не обмолвился о создателе нового русского стихосложения. И все, что касалось технического способа, от себя подал, будто собственное открытие. Но это от пренебрежения, а не из желания присвоить чужое. Его саркастические замечания, насмешки и уязвления откровенно метили в академию секретаря. Расходился же он с Василием Кирилловичем во многом. Прежде всего, Ломоносов распространял новый способ на все размеры, а не только

на эксаметр и пентаметр, коим вообще отказывал в главенствующем значении. Но что особенно задело, даже ранило Василия Кирилловича, он решительно превозносил иамбический размер над хореем. Можно подумать, будто он вообще открыл иамб для русской поэзии, а между тем Василий Кириллович в своем «Способе» тоже о иамбе говорил, хотя примеры выбирал только с хореем.

Ломоносов швырнул ему перчатку из далекого Фрейберга и угодил метко — прямо в лицо не ждущему нападения противнику. Тредиаковский ведать не ведал, чем навлек на себя гнев даровитого помора. Пути их не пересекались, они никогда не виделись и счетов между собой не имели. Но дерзкий вызов Василий Кириллович принял сразу и с той яростью, какую от века русские сочинители в свои споры и несогласия вкладывали. На русском Парнасе приличный сроду не ведали, как и тихого, вразумительного разговора. Здесь уста сразу кровавой пеной вскипают, здесь бьют наотмашь и только под дых. А благодушеествовать Василию Кирилловичу не с чего было. Страшнее рассуждений смелых, спесивых и для него уязвительных была сама ода, написанная ненавистным, тайно влекущим и не дающимся ямбом. Поверх всех своих пристрастий, самолюбия и гордости Тредиаковский не мог не чувствовать красоты, силы и звучности этой оды. Перед собой можно признаться, что такого звонкого и распевного стиха не знала русская поэзия. И пусть хоть архангеловы трубы возвестят о твоей правде, сию сладкозвучность им не заглушить. Никому и дела не станет, что ты первый указал способ к стихосложению, коль не смог в живом слове своего превосходства доказать. И посему, да останется под спудом ломоносовская ода, покамест он сам из Фрейберга не явится и собственноручно о судьбе ее озаботится. Академии секретарь в том ему не помощник, напротив, сделает все, дабы ода сия в типографию академическую не попала.

Но это еще не главная забота. Надо послать горных дел ученику сильный и хлесткий ответ, пусть на всю жизнь запомнит, кто первый, а кто второй. Но отповедь отповедью, а стоит крепко подумать — нет ли и чего разумного в ломоносовских уязвлениях. Трехсложный размер — дактило-хореический стих?.. Похоже, тут Ломоносов его поймал. Но за ямб мы еще поборемся. И неумно утверждать, будто стопа, называемая ямб, сама собой имеет благородство и потому ею высокая материя поется,

а хорей нежен и сладок и лишь для элегического стихотворения годен. Никакая стопа сама по себе не имеет ни нежности, ни благородства, все зависит только от изображения, которое стихотворец в сочинении своем употребляет. И хореем способно восславлять и бранный труд, и победупоение. Тут мы прижмем хвост ретивому помору.

Внезапная мысль обожгла ТрEDIAKовского. А что, если переписать оду «О сдаче города Гданска», родившуюся в глуби силлабического стихосложения, по тоническому способу, хорейческой стопой?

Кое трезвое мое пианство  
Слово дает к славной причине?  
Чистое Парнаса убранство,  
Музы! Не вас ли увижу ныне?

А ежели так —

Кое странное пианство  
К пению мой глас бодрит!  
Вы парнасское убранство,  
Музы! Ум не вас ли зрят?

Эким же бодрым, звонким, цокотливым становится стих! Ну, берегись, помор, еще поглядим, кто кого. Ты быстр, дерзок и заносчив, я вязок, сердит и упрям... Снова горы работы выросли перед Василием Кирилловичем, но чего-чего, а работы он не боялся. Недаром же царь Петр, при посещении астраханского латинского училища, выделил среди представлявшихся ему учеников скромного обликом поповича и сказал о нем: «Вечный труженик!»

Как в воду глядел великий государь! Вся жизнь Василия Кирилловича — непрерывный, сплошной, без усталости труд. В парижских стихах своих — писанных по-русски и по-французски — любил он изображать себя жуиром, мотыльком, порхающим с цветка на цветок, а цветы те — нежные али галантные утехы. На деле же и в блистательной Лютении позволял он себе отвлечений немного больше, чем в душно-вонькой Астрахани под присмотром родителей и католических наставников. Здесь за ним присматривали Буало-Депрео, Корнель, Вольтер, Фенелон, над коими он денно и ночью корпел, славная поэзия французская, коей он упивался, собственный усидчивый и плодovitый дар. Соблазнами галантной столицы были для трудолюбивого русского мужичка не прелести доступных Цирцей, а библиотеки и лотки уличных книгопродавцев на Сенской набережной, прокопченная галерея «Комеди франсез», где давали Расина и Мольера.

...В то далекое утро, охваченный зудом нового труда, азартом и нетерпением битвы, Василий Кириллович засучивал рукава, разминал пальцы, чтобы вклеваться в гусиное перо и не выпускать его до глубокой полночи. И тут появился кадет...

Кадет как кадет, среднего роста, сухопарый, округлое надраенное морозом лицо в юношеских угрях, а голос уже табашный, водочный — сиплый, с хрипотцой и отхарком. И этим несвежим голосом кадет изрек, что Академии наук секретаря ТрEDIAKовского немедля требуют в Кабинет ее императорского величества. Если бы ядро чугунное, каленое, в окно, взвенов, влетело, не был бы Василий Кириллович столь ошеломлен, испуган и огорошен. Ноги его подкосились, и он кулем рухнул в кресло. Вызов в Кабинет означал что-то грозное, ужасное, хуже немилости и опалы. Отсюда мог быть только один путь — в Тайную канцелярию к страшному Ушакову, а там дыба, крючья и казнь лютая. За что?.. За что?.. В чем он виноват? Живет в неустанных трудах, в угождении сильным, ни помыслом, ни жестом не посягая на их власть. Ратоборствует лишь со словесами. Никому никакого ущерба не чинит. Да разве можно с ними что наперед знать? Разве угадаешь, что им померещится, — до того подозрительны, до того к славе своей ревнивы, что ровно из ничего обиду себе добывают. Как в той арабской сказке, которую он по-французски в Париже читывал. Ел персики некий купец и косточки прочь отбрасывал. Вдруг перед ним джинн, зело громаден и зело разъярен. «Сей час я тебя жизни лишу!» — «За какую провинность, великий джинн?» — пал на колени купец. «А ты сына моего убил». — «Да тут, окромя моего осла, никого не было». — «Глупец, сын мой незрим для очес людских, он округ тебя витал, а ты его персиковой косточкой пришиб...»

### 3

Прогневал джинна в свое время и Василий Кириллович. И хоть оправданий у него поболее купцовых оказалось: не ел он вовсе персиков, стало быть, и косточек не кидал, а вышел из передраги со сломанной хребтиной, пусть его и пальцем не тронули. Был тогда Василий Кириллович прям, в себе уверен, в мыслях независим и смел. Привык он в заграничные свои дни под доброй рукой князя Куракина зело свободно себя чувствовать и, в Россию вернувшись, не менее сильного покровителя обрел в лице главы

православной церкви Феофана Прокоповича, сподвижника Петра, пииты изрядного, просвещенного ума человека. И когда архимандрит Платон Малиновский возлютовал на него за пересказ Таллемановой «Езды в остров любви» и развратителем русской молодежи обозвал, то Василий Кириллович из-за крепкого плеча Феофана масляный кукиш ему сунул. Не менее яростно накидывались российские тартюфы и на его любовные песни. Малиновский прямо угрожал «пролить еретическую кровь» того, кто «атейский дух из Франции вывез». Да не пролил, а сам стараниями Феофана Прокоповича в Сибирь заслан был.

Зело угодивший придворным «Островом любви», Василий Кириллович был введен в узкий круг сестры императрицы великой княгини Екатерины, а уж ею поручен вниманию самой монархини. При торжественном въезде Анны Иоанновны в Петербург, куда она через два года после воцарения из любой ее сердцу Москвы перебралась, не кто иной, как Третьяковский, встречал государыню речью похвальной и приличествующими случаю стихами, за что сподобился великой милости — допущению к ручке императрицы. А уж место в Академии наук и должность секретаря сами собой с того целования возникли.

Громадное невозделанное поле простерлось перед Василием Кирилловичем, и он, поплевав на ладони, принялся то поле вспахивать. Немало было им сделано и для усовершенствования русского языка, его грамматики и синтаксиса, великое множество стихов, песен, торжественных од, хвалебных гимнов сочинено и несметь поэтических упражнений академических немцев на русский язык перетолмачено, уж и «Новый краткий способ к сложению российских стихов» свет увидел, когда нежданно-негаданно с ясного неба ударил гром. Вызвали Василия Кирилловича в Тайную канцелярию. А уж лучше к наизлобнейшему джину в лапы, чем в пыточный застенок Андрюшки Ушакова. И хоть не ведал он за собой никакой вины: ни большой, ни малой, а чувствовал дурноту и очес помутнение, перешагивая порог страшного дома.

А перед лицом ушаковского помощника его и вовсе чуть не стошнило. Была у того какая-то кожная болезнь, поразившая уши и горбину хищно изогнутого носа. Переносье лоснилось каленой краснотой, а большие вялые уши лохматились неопрятными серыми шелушинами. И видать, чесалась эта лохматура, потому что без усталости скреб он уши пальцами, тер ладонями, соря на столешницу кожными об-

дирками. И так ушел в свое занятие, что внимания не обратил на студенисто колыхающуюся от страха фигуру Третьяковского. Когда сора накопилось достаточно, помощник сгреб его в кучку, ссыпал в правую ладонь, как делают иные с хлебными крошками, и опорожнил горстку за плечо.

Все дело выеденного яйца не стоило. Его песнь на коронацию Анны, написанную еще в Гамбурге и начинающуюся словами: «Да здравствует днесь императрикс Анна», нашли в списках у нерехтинского дьячка Савелия и костромского попа Васильева. Кому-то померещилась хула на государыню в обращении «императрикс». Обоих любителей словесности доставили в Петербург, где им учинили допрос с пристрастием, но так и не доискались до поносного смысла непривычного титула. Дрожа и заикаясь, Третьяковский объяснил, что назвал императрицу на латинский лад не в умаление, а ради возвышения ее священного сана. «Нешто российскую императрицу возвышает чужеземное величанье?» — с неожиданной остротой спросил шелудяк, сдирая бахрому с ушей. «Сей титул носили победоносный Юлий и божественный Август», — пролепетал Третьяковский и вдруг лишился голоса. Откуда-то снизу, будто из-под самых ног, донесся задушевный стон, оскольз железа о железо, затем мягкий, глухой удар. «Там пыточная!» — стукнуло в голову, и Василия Кирилловича неудержимо потянуло пасть на колени и во всем покаяться. Он не сделал этого лишь потому, что не осенило его смятенный ум, в чем бы принести покаяние.

— Все соришь, гнида? — послышался сочный, с раскатцем, мужской голос.

Шелудяк поспешно стряхнул со стола ушные очистки и вытянулся. Был он низенек, худ, но чреват, будто беременная баба.

Рослый, с потными волосами, налипшими на высокий смуглый лоб, в расстегнутом кафтане, Андрей Ушаков размашисто оседлал скамью. «Да он сам пытается!» — догадался, омертвев, Третьяковский. Но случается так на последнем пределе, за которым гибель, без смерти смерть, что очумевший от ужаса человек вдруг находит единственно нужные, спасительные слова. И Третьяковский, то и дело лишаясь дыхания, но вполне вразумительно объяснил правителю Тайной канцелярии, что стихи его, переданные князем Куракиным господину Бирону, удостоились лестной похвалы всемилостивейшей императрицы.

— Императрицы, вишь, а не императрикса, — поймал его Ушаков, но ссылка на Бирона сделала свое дело, голос прозвучал почти милостиво. — А пишешь ты бойчее, нежели говоришь. А потому ступай и отпиши все в подробности до сего случая касаемое. — И, пожалев бедного стихотворца, добавил: — А посла катись нах-хаузе, как говорят в вашей Российской академии.

И, довольный своей шуткой, хохотнуть изволил. И Тредиаковский издал какой-то мышинный писк, означавший почтительный смешок, кстати, вполне искренний, — уж он-то довольно натерпелся от иноземного засилия в академии. Срамотно сказать, но в Российской академии на всех корфов и шумахеров не было до сих пор ни одного русского профессора!

Этим счастливым писком и завершилось жуткое приключение Василия Кирилловича, но вышел он из тайной канцелярии совсем иным человеком, чем вошел под ее мрачные своды. Исчез парижский петиметр из российских бурсаков, вольнодумец Феофанова круга, беспечный певец любви, самоуверенный ученый, научивший россов слагать стихи, остался верноподданный, сиречь раб.

Конечно, отдышавшись дома, он постарался собрать себя нацельно и даже перед самим собой делал вид, будто ничего не произошло. Вернее, так: случилось некое малое недоразумение, подтвердившее его совершенную перед тронем чистоту. Раз уж ты переступил порог ведомости Андрея Ушакова, то хорошо, коли тебя оттуда живым вынесут, распрекрасно, коли сам на карачках выползешь, а чтобы своими ногами выйти, очищенным от всех подозрений, как сподобился Василий Кириллович, такого, почитай, и не бывало. Там ведь не одно, так другое найдут, не найдут — пришьют. Раз уж попал к ним в руки, добром не отпустят. А его отпустили, и сие означает, что прошел он великую проверку и являет собой наичистейшего, наинадежнейшего, наипрозрачнейшего, наибелейшего подданного русского престола.

Но почему-то эти спасительные мысли плохо помогали самочувствию Василия Кирилловича. Наружно он пыжился, выкатывал грудь, но внутри съезжился, согнулся. И вот что странно: неужели окружающие наделены такой зоркостью, чтобы заглядывать под шкурку? Или они нюхом чуют, что с тобой неладно, что стал ты робче, слабей, пугливей, хоть и тщательно скрываешь происшедшую перемену? Василию Кирилловичу стало казаться, что к нему



переменились. Он подмечал косые взгляды, усмешки, его слуха достигали глумливые и глупые замечания насчет его внешности, бородавки на щеке, стихов, манеры выражаться. Не только надменный Бирон, который с людьми обращался, как с лошадьми, и лишь с лошадьми но-человечески, или властный, грубый Волынский, но и мелкая придворная сошка, обшлага его кафтана не стоящая, и глупые шалуны камер-юнкеры стали небрежничать, даже нагличать с ним. Может, все это и прежде бывало — смешки, грубости, небрежение, — нешто в привычку чванной, надутой и невежественной знати, будто сошедшей на дворцовый паркет из Кантемировых сатир, общество поэта, чье значение и достоинство не в предках или вотчинах, не в титулах и чинах, а в чистой сфере духа? Они даже не понимали толком, кто он есть и почему на равное со всеми обращение претендует. Придворный — не придворный, лекарь — не лекарь, шут — не шут, но государыня балует, к ручке своей допускает, табакерки с алмазами дарит, значит, приходится терпеть. Ведь терпишь и худшее — приставания и гнусные выходки бесчисленных, вконец обнаглевших дураков и карлов императрицы. Конечно, иной раз не удержишься и смажешь по гнусной харе или горбу, да тут же откупишься, чтоб государыне не пожаловались. Со стихослагателем такого, конечно, не требуется, он себя смирно ведет, покамест вслух читать не заставят. Тут он весь растопырится, как кречет на заре, напыжится да как пойдет завывать во всю мочь без малейшего стеснения, словно не во дворце, а в хлеву. Но государыне то любо, значит, помалкивай. Сейчас при всех безызытно европейских дворах виршеплеты заведены. Ничего не попишешь — мода. Но поставить лишний раз на место тучного, рассеянного и самоуверенного пииту тоже не помешает. Может, и даже неверное, так оно и раньше случалось, но, безразличный к пене придворной жизни, Василий Кириллович просто внимания не обращал на титулованное хамство. Он был выше этого. Насмешки и дерзости отскакивали от него, как горох от стены. А сейчас он стал до болезненности чуток и раним. Он оробел, съезжился, ощутил опасность внешнего мира, которым раньше пренебрегал, веря в свою защищенность, и люди каким-то образом проведали о его ущербе и мгновенно разнуздались.

Ему казалось порой, что он подмечает на лицах придворных ту особую, брезгливую гримасу, какой отзывались они

на разные доуки шутейного сброда Анны Иоанновны, и это пугало его до сжатия сердца и холодного пота. Русская знать, известно, привержена дуракам, но придворных шутов и шутих все ненавидели дружно за их развязность, наглость, склонность к доносительству, а более всего за то, что их слишком любила монархиня...

#### 4

Высокая, тучная, мужеподобная дочь слабоумного царя Ивана Алексеевича таила в грубых чертах своих странное сходство с великим дядей, корень коего видать в царе Алексее Михайловиче. Эта схожесть мало кем подмечалась в силу глубочайшего внутреннего различия между дядей и племянницей. Пустая, ленивая, незначительная, угрюмая и при этом помешанная на развлечениях, Анна меньше всего заботилась о сохранении Петрова наследства. Ей было наплевать на Россию, которую она оставила в ранней юности, выданная замуж за герцога Курляндии, не знала своей родины, да и знать не желала. У нее была одна страсть — конюший Бирон, с которым она сошлась после смерти мужа. Склонная к единобрачию и верности, но бессильная сделать Бирона хотя бы тайным мужем — он был женат, Анна осыпала его бесчисленными милостями. Он стал оберкамергером ее двора, в 1737 году получил Курляндское герцогство, а заодно и всю Россию, которой бывший конюший распоряжался куда бесцеремоннее собственной вотчины.

Намаявшись скукой, бедностью, интригами ничтожного Курляндского двора, Анна Иоанновна, выйдя на широкий российский простор, превратила свою жизнь в сплошное увеселение, в нескончаемый праздник. Бирон, не занимавший никаких государственных постов, показывался на этих балах в атласном кафтане небесного цвета, так идущем к его серо-голубым холодным глазам, при орденах и ленте, весь в сверкании драгоценных камней, окруженный угодливостью и лестью, рослый, красивый, надменный, он купался в лучах своего величия, и Анна Иоанновна была счастлива. Но каждый бал, даже «нескончаемый», рано или поздно все-таки кончается. Бирона уводили прочь дела и заботы будней: семья — ревнивая Анна со странным смирением признавала права этой ненужной, мешающей семье и даже подружилась с Биронихой; конюшни — шталмейстер Бирон был по нутру просто конюх, обожав-

ший лошадей, запах стойла и навоза. То была единственная бескорыстная страсть временщика, и тучная, неуклюжая Анна, сделав над собой великое усилие, научилась превосходно ездить верхом. И герцог уже не мог помешать ей заглядывать в конюшни и сопровождать его в дальних верховых прогулках. От государыни после этого крепко пахло конским потом, и, прискучивший ее липкой привязанностью, Бирон испытывал прилив нежности. Но была у него еще и такая жизнь, куда русская императрица не могла вступить, даже если б и пожелала. И когда Бирон делал собственную политику: строил козни, плел сети, учинял заговоры противу русских людей, их достатка, земли, прав, Анна оставалась одна, и свинцовая тяжесть одиночества наваливалась ей на грудь. Мучительное это чувство, ведомое всем Романовым, начиная с первого, Михаила, возросло у Анны до размеров душевного недуга в загоне тухлого Курляндского двора. Неспособная в дикой мозговой лени ни к государственным делам, ни к чтению, ни к серьезной беседе, она находила спасение лишь в шутах. В их возне, ссорах, драках, визготне, сплетническом тараторе рассеивалась ее угрюмость, она отвлекалась от тяжелых мыслей о близящейся старости и вечном нездоровье.

Причудлив, жутковат, даже грозен был шутейный штат императрицы. И хоть русские баре известные до шутов охотники, — рядом с богом обиженным, хуже черепахи изуродованным каждый зело умным и пригожим себя зрит, — но царицыных дураков все боялись и ненавидели. Среди обычных шутов в пестрых костюмах — одна штанина красная, другая синяя, полосатая, колпак с бубенчиками или шапка с ослиными ушами, в руке погремушка с горохом, всевозможных уродцев — горбунов, гномов, колченогих, косоглазых, ласторуких, самовароподобных, бляющих, мычащих, кукарекующих, пузыри пускающих, слова путного молвить не умеющих, — попадались ражие молодцы чужеземного происхождения, скрывающие под шутовским нарядом острый ум, ядовитую злость, отвагу и литые мускулы наемных убийц. Предерзкие художества, кои они творили, пользуясь своей безнаказанностью, озадачивали даже выдавших виды придворных, из них выделялись португалец Лакоста и смуглый итальянец, чье благозвучное имя Пьетро Мира не случайно переделали в Педриллу. Темные пронзительные глаза этих авантюристов, прикрывшихся скоморочьим колпаком, повергали при-

дворных в смятение. Рядом с ними иной вельможа не только не полагал себя умнее и выше, а дрожал от страха, как бы с этими шутами местом не поменяться. А что?.. Были среди богом обиженных и людьми униженных выходцы из самой родовитой знати. Так, под кличкой Кваснина ходил в шутах князь из стариннейшего, знатнейшего рода Голицыных. Опала, плаха, изгнание были в привычку этой беспокойной фамилии, но в шутах и квасниках никто еще не состоял. Некогда юный князь Голицын, посланный с поручением к папе римскому, в угождение наместнику бога на земле принял католицкую веру, за что и был в шуты определен. Конечно, не блистал умом князь Голицын, но и не умнее его люди исполняли и придворную, и посольскую, и военную, и какую хошь службу, он же гостей квасом обносил. Его ущерб состоял в одном: он всегда хотел угождать окружающим, делать людям приятное, и уж вовсе не способен был кому-либо противустоять. Он угадал желание святого отца и вернулся домой католиком. Нельзя сказать, что Голицын-Кваснин особо страдал в своей новой службе, ибо доставлять людям всевозможные удовольствия, радостно подчиняться, потворствовать чужой воле было всегдашним стремлением его природы. Таким уж создал его господь. А все-таки жутковато иной раз становилось при виде того, как другие шуты князя-боярина валтузят. Да, был у Анны старый счет с домом Голицыных, пытавшихся урезать ее власть.

А князь Волконский, тоже принявший католицкую веру и угодивший в шуты? В нем и вовсе никаких вывихов не наблюдалось, и в свою позорную должность угодил отнюдь не за измену православию, а по мстительности Анны Иоанновны, возревновавшей к его красавице жене. Лишь раз пресыщенный, равнодушный к женщинам Бирон смягчил льдистый блеск своих глаз, узрев юный, статный облик княгини Волконской, и недалекий добряк ее муж был, аки гусь, посажен в плетеную корзинку у покоев императрицы.

Если люди родовитые не чувствовали себя защищенными от колпака с бубенчиками и гусиной плетушки, то что же должен был испытывать придворный пиит, коего тоже для развлечений употребляли, словно горбатенького и ушастьенького швейцарца по кличке Магистр, искусно пиликавшего на скрипочке с одной струной?

У шутов была премерзкая манера замешивать, «зангрывать» в свою возню разных почтенных особ, так что иной

раз не отличишь, кто шут, а кто не шут. Исключение составлял один Бирон. Но даже сам грозный кабинет-министр Волынский нередко подвергался их наскокам. Крепкий, как кленовый свиль, сановник — происходил из мелкой астраханской шляхты, хотя и числил в предках воеводу Боброка Волынского и начинал рядовым солдатом — сразу пускал в ход кулаки, и шуты с воплями разбегались. Но такую самозащиту не каждый позволить себе мог — шуты были первыми доносчиками при императрице и фаворите и могли замарать так, что не отмоешься.

Бирон, любивший лошадь как богово совершенство, натурально не мог испытывать к шутам ничего, кроме брезгливости. Он и вообще-то людей ни в что не ставил, а тут какие-то людские ошметки. Но ему угодно было их наущничество и то, что в его отсутствие императрица ими утешалась. Это было куда лучше, чем если б иной утешитель выискался, ну хоть бы наглый, ловкий и ядреный Волынский.

С шутами приходилось считаться, но, боже упаси, чтоб они это почуяли! И бедный Василий Кириллович, потерявший всякий кураж после визита в тайную канцелярию, изо всех сил напрягался, чтобы оборонить свое скромное достоинство от вельмож и наипаче от шутов. У него вроде болезни стало — страх в шута превратиться. И всякий раз, возвращаясь из дворца в свой бедный дом, он с трепетом спрашивал себя: не случилось ли чего такого, что его ниже допустимого уронило, не сломилась ли его фортуна от академии к шутейной команде? И хотя чуткие, как собаки, к чужому страху шуты что-то про него смекнули и обнахальничали против прежнего, шапки с ослиными ушами все же не решались натянуть на крупную голову первого русского стихотворца. Может, тянулось за ним покровительство князя Куракина, числившегося в близких людях герцогу Курляндскому? Это его спасало, это и едва не погубило...

## 5

Пока Третьяковский бестолково и растерянно собирался, теряя то очки, то кошелек, то пуговицу с кафтана, кадет сосредоточенно и угрюмо ковырял в носу длинным бледным пальцем, не стесняясь присутствием ни самого академика секретаря, ни его жены. Кадет явно не штудировал «Юности честного зеркала», где прямо указано: «чистить перстом нос возбраняется». Третьяковский, пережив первый испуг, несколько овладел собой и решил, что Кабинет

ее величества еще не Тайная канцелярия, там не пытаются, не вздергивают на дыбу, а повод для вызова может оказаться самый ничтожный: навет академического коллеги или жалоба церковников, что куда хуже, но в последнее время он их не задевал, а старое быльем поросло. Конечно, ничего нельзя знать наперед, коли имеешь дело с властью, но и отчаиваться рано. Вышел же он невредим от самого Андрея Ушакова. И, приободрившись, хотел сделать внушение кадету, дабы не сорил из носу на чистый пол в присутствии почтенных особ, но тут ему под дых ударило сходство нарочитого свинства кадета с тошными действиями ушаковского шелудяки. Что это — случайное совпадение, или людям гнусных занятий вообще свойственно манкировать приличиями, или подготовка жертвы к лишению прав человека? Худо, худо, ох худо!.. И Третьяковский оставил выговор при себе.

— Скоро там? — сипло спросил кадет и отхаркнул через плечо, доказав тем самым некоторое знакомство с наставлением шляхетскому юношеству.

— Скоро!.. Уже иду!.. — жалким голосом отозвался Василий Кириллович, беспомощно топчась перед женой, пришивавшей ему пуговицу..

Когда они вышли на улицу, синее небо, крепкий, кусачий мороз, каленый, бодрящий, заставили Василия Кирилловича особенно горько ощутить обрушившуюся на него беду. Хрустело под ногами, колкий воздух хорошо студил грудь, искрились опушенные деревья и крыши под толстым снегом, плотные прямые дымы казались столбами, поддерживающими небесный свод, столько радости было в мироздании, в сияющем божьем дне, что невмоготу стало измученному сердцу Василия Кирилловича, и он потянулся за сочувствием к другой душе, к угрюмому паршивцу кадету, есть же и на нем хоть слабый свет человека. Задыхаясь от быстрого шага и пресекающего дыхание мороза, Третьяковский пожаловался на немилостивую судьбу. Живешь и мухи не обидев, токмо о славе государыни печешься, никаких сил ради пользы российской не жалеешь, а вместо благодарности в Кабинет ее величества волокут.

— В какой еще Кабинет? — прохрипел кадет, не глядя на Третьяковского. — Тебя к кабинет-министру Волынскому доставить велено.

Третьяковский аж вспотел на лютom морозе. Мгновенно колючий иней вырос на бровях, над верхней губой, затянул волосатые ноздри. Он остановился, достал фуляр, выс-

моркался, утер лицо. Эх же он ослышался! Конечно, и вызов к кабинет-министру ничего доброго не сулит, гордый и грубый Волынский не больно его жалует, а все же — какое сравнение с тем, что ему от страха померещилось! Волынский в большой силе, да ведь он человек, и есть другие люди — защитят. Сама матушка-государыня не даст в обиду своего певца, коли он супротив нее не виноват. Но хорош этот кадетишка — прогугнил что-то себе под нос, заместо того чтобы толком сказать, и в такой испуг вогнал.

Заметив, что Третьяковский остановился, кадет остановился тоже. Он, видать, сильно продрог в шинелишке, подбитой ветром, и торопился в тепло. Но Василий Кириллович не собирался потакать бесцеремонному мальчишке. Он был человек тучный, с одышкой, придворный поэт, секретарь Российской академии, муж ученый и трудами своими славу снискавший, нечего ему воробышком лететь по прихоти капризного вельможи. Он не спеша приблизился к кадету и сделал тому строгое внушение.

— Негоже, сударь мой, так с почтенными людьми обходиться. Ты горло от кнастера не прочистил, хрипишь невесть что, а мне вон какие ужасы померещились. Таким объявлением человека можно вскоре жизни лишить или, по крайней мере, в беспмятство привести.

Кадет пробормотал какую-то грубость, вроде посоветовал уши прочистить. Василий Кириллович, преисполняясь все большего достоинства по мере того, как росло и ширилось ликующее чувство освобождения, сурово заметил кадету, что уши у него в полном порядке, он слышит не токмо все земные голоса и звуки, но и музыку сфер, а вот иным недорослям не мешало бы помнить правила приличий, предписывающие освобождать нюхало от табака и соплей с помощью фуляра, а не указательного перста. Кадет по-волчьи зыркнул глазами, уткнул подбородок в воротник и быстро зашагал вперед.

## 6

По мере их продвижения к дворцу в природе происходили какие-то перемены. Небо утратило чистоту, замутилось, по забелевшей голубизне проносились быстрые тощие облака, солнце за ними стало круглой золотой монетой, на которую можно взирать без рези в глазах. Чуть приметно потянуло ветерком с залива. Мороз не умерился,

но похоже, что в ближайшее время он пойдет на убыль. Вблизи дворца от Невы ударило по глазам ледяным пламенем. Аж слезы вышиб пронзительно-ледяной сверк. Василий Кириллович защитился рукавицей от блистающих лезвий. Это стал меж недостроенным Зимним дворцом и Адмиралтейством ледяной дом, измышленный усердием Волынского для развлечения недужащей императрицы. С тех пор как Анна занемогла — лекари не умели назвать болезни, обглодавшей ее, как собака кость, — Волынский изощрялся в устройстве потех, одна причудливей другой. Государыня хоть и опала телом, почернела с лица, ставшего вовсе мужским, с притемью под носом и на подбородке, а порядка жизни не меняла, даже еще жаднее цеплялась за удовольствия. Но сейчас гораздый на выдумки Волынский превзошел самого себя. Поговаривали, правда, что задумка принадлежала Бирону. Раздраженный успехами Волынского, он надоумил государыню потребовать невозможного: статочное ли дело дворец из льда возвесть! Но Волынский доказал, что нет для него невозможного в угождении государыне.

В краткий срок, отпущенный завистливой злобой фаворита, отыскал и доставил в Петербург с разных концов страны редких искусников. Лед брали с Невы, нарезали кирпичами и складывали стены по всем законам строительного дела, используя для крепежа невскую воду. Так, шаг за шагом, возвели по чертежам даровитого зодчего, задушевного друга кабинет-министра Еропкина дворец — восемь саженой длины, две с половиной ширины, три высоты. И вот оно, хрустальное чудо с колоннами и шпием, с крыльцом и окнами, с ледяными светильниками перед парадным входом, где в чашах будет гореть нефть, — чудесный, хрупкий, недолговечный памятник мимолетного монаршего каприза, жутковатый символ пустой растраты народных сил, мастерства, выдумки, таланта, пышный, сверкающий и бессмысленный, как и все это царствование. И как это в духе Волынского! От него, младшего птенца гнезда Петрова, ждали свершений великих, дел громких, к вящей славе России служащих. Но, кроме подписания выгодного Исфаганского торгового договора с Персией, что еще во дни Петра было, прославил он себя лишь крутым губернаторством в Астрахани и Казани, участием в австро-русско-турецком конгрессе в Немирове, приведшем к заключению Белградского мира с Турцией, по которому Россия за здорово живешь лишилась всех своих завоеваний,



русской кровью окупленных. А допрежь того Волынский приложил руку к другому громкому делу — возглавил суд над Дмитрием Михайловичем Голицыным, вознамерившимся поставить над волей монаршей Верховный совет из старых бояр с подменой новой знати. Престарелый князь отправился умирать в Шлиссельбургскую крепость, а Волынский стал бы первым человеком при государыне, кабы не Бирон.

Дойдя в своих мыслях до князя Голицына, Василий Кириллович ощутил внутри себя какое-то неудобство вроде щемления. Он постарался выкинуть это из головы, вернуться к широкому размышлению о судьбе даровитого выкорыща эпохи преобразований, который в нынешнее ничтожное время строил и украшал лишь собственное гнездо, но щемливое беспокойство не проходило и наконец навело на след. К роду Голицыных принадлежал жалчайший из шутов — Квасник, которого в апофеозе празднеств, посвященных ледяному дому, должны обвенчать с распутной и злой шутихой Бужениновой, прозванной так в честь любимого блюда Анны Иоанновны. Случайно ли вновь повязалось имя Волынского с одним из Голицыных или то был выбор самого кабинет-министра, не изболевшего ненависть к славному и несчастному роду, пред коим он, Волынский, куда б ни забрался, все равно хам и выскочка; то ли ему казалось, что нынешним малым злодейством он как бы подтверждал справедливость большого прежнего, когда подвел под топор старого «верховника», — сподобился тот каземата, взамен плахи, лишь милосердием государыни. Поди разберись в чашобе такой дремучей души, как у Артемия Волынского!

Для него, Василия Кирилловича, тут заключалась своя каверза: несколько дней назад бросил ему Волынский вскользь, через плечо: сочини вирши на сию свадьбу. «Я виршей не пишу!» — гордо отвечивал (про себя) Третьяковский, отвесив поклон. Но потом крепко озадачился — всерьез или в насмешку сие распоряжение? Не было ничего страшнее и ненавистнее для Василия Кирилловича быть запутанным в шутовские дела. Волынский не любил его, даром что земляки, ибо числил ошибочно — по князю Куракину — за Бироновым подворьем. Невдомек министру было, сколь натерпелся академии секретарь от наглости чужеземцев, опирающихся на Бирона. Да и сам фаворит не прѣпускал случая унижить, высмеять, поставить в глупое положение Василия Кирилловича. Он боялся, но и прези-

рал от всей души невежественного, чванного, брезгливого ко всему русскому курляндца. Но не о том сейчас забота. Ломоносовский выпад напрочь вышиб из памяти Третьяковского поручение Волынского. И хорошо, что вышиб. Иначе по слабости душевной и привычке подчиняться сильным мира сего — чем не Голицын-Квасник? — накал бы он свадебную песнь шутам и осрамился бы в собственных глазах и перед потомством. Ему ли, императрикс и Россию поющему, шутов величать!.. А если б Ломоносову сие предложили?.. Вспомнились слова младшего Салтыкова, встречавшегося с Ломоносовым в Фрейберге: «Меня подмывало обломать трость об этого наглеца, но не решался, такой и убить может!». Он, Третьяковский, никого не может убить, но постоять за честь русской поэзии может, и, если Волынский впрямь ради шутовского величания его вызвал, он скажет ему — смиренно, но твердо — о своих заслугах перед российской словесностью. «Не буду писать, и все тут!» — решил Василий Кириллович, приосаниваясь...

7

— Где вирши? — спросил Волынский, едва Третьяковский переступил порог кабинета.

— Нету, — упавшим голосом сказал поэт.

— Как это «нету»? Завтра свадьба.

— Негоже пииту скоморошествовать, — довольно твердо произнес Третьяковский, и крепкая, упрямая скула молодого помора проплыла перед ним.

Волынский медленно поднял тяжелую голову. Его немалое, но еще красивое лицо было помято, желтые взболтанные глаза глядели сумрачно и нездорово. Он всегда много пил, но прежде сон смывал с него следы попойки, и после разгульной ночи с девками и тройками он выглядел свежим, нетерпеливо бодрым, а ныне, постарев, погрузнев и озаботившись, тащил собой в день дурноту и тяжесть похмелья.

Волынский поднялся, вышел из-за стола, в движениях его не было прежней сухой легкости.

— Ты астраханский? — спросил он скучным голосом.

Третьяковский чуть отсунул лицо от его сивушного дыхания.

— Как же, — сказал он с насильственной улыбкой, — Ваш земляк.

— Земляк, значит... — Волынский прикрыл глаза, будто что-то соображая, его тонкие веки чуть трепетали, сверкнул очистившимся, светлой ярости взглядом и что было силы ударил ТрEDIAKовского в зубы.

Голова ТрEDIAKовского дернулась, хрустнул шейный позвонок. Он попятился, и новый страшный удар расквасил ему нос. Хлынула кровь — и залила перед кафтана. Почему-то первая мысль Василия Кирилловича была об этом кафтане: как будет браниться и сокрушаться Марья Филипповна, корпя над засохшими, несмываемыми пятнами, а уж потом безобразие и подлость случившегося заломили ему душу.

— За что?.. — проговорил он гнусаво сквозь кровь, забившую нос, и слезы налили ему уголки глаз. — Да как вы можете так?..

— Земляк, говоришь? — повторил Волынский, словно было что-то усугубляющее вину ТрEDIAKовского в этом обстоятельстве, и огрел его по уху.

ТрEDIAKовский трясущимися руками извлек из кармана фуляр и приложил к лицу.

— Он ругался на вас, зачем вызвали, — прохрипел кадет.

— Нешто посмел бы я... — ТрEDIAKовский отнял от лица пропитанный кровью платок. — Совести у тебя нету.

— Ругался! — мстительно подтвердил кадет. — Чего, мол, такую важную персону по пустякам тревожат. Кабы еще государыне занадобился, а тут всякое пыжало от дел отрывает.

— Побойся бога! — только и молвил ТрEDIAKовский.

Волынский остро глянул на кадета.

— Дай-кошь ему по соплям. Неохота руки марать. А ну!.. — и кабинет-министр крепко ткнул кадета кулаком меж лопаток, видать за «пыжало», придуманное, как он сразу догадался, злобной фантазией кадета.

Тому не нужно было говорить дважды. Как ни закрывался и ни увертывался Василий Кириллович, твердые кулаки находили незащищенное место. Видать, в отцовской деревне этот недоросль зело преуспевал в кулачной потехе. Заплыли глаза, уши стали как оладьи, кровь текла из носа, изо рта слабого плотью кабинетного мужа. Отступая, Василий Кириллович споткнулся на ковре и упал. Кадет ударил его сапогом в живот.

— Хватит! — сказал Волынский прежним скучным голосом. — Ковер запачкает... А ты, сволочь, чтоб к завтраму были вирши. Не то раздавлю. Пошел вон!

И Третьяковский пошел. Он пошел, как был, в порванном, испачканном платье, с разбитым, окровавленным лицом во дворец Бирона принести жалобу на кабинет-министра. Он не ждал серьезной кары для Волынского, слишком высоко тот стоял, но и нескольких суровых слов императрицы, сказанных публично сиятельному живорезу, было бы достаточно. Придворные увидят, что никому не дозволено подымать руку на поэта-ученого. Ждал Василий Кириллович и для себя сочувственной ласки: хоть перстень какой должны ему в утешение пожаловать.

В приемной у фаворита было по обыкновениюлюдно, и, хотя появление избитого и окровавленного поэта произвело впечатление, пустить его вперед никому на ум не вшло. Третьяковский занял очередь и стал рассказывать случившемся тут знакомому гвардейскому капитану о претерпленном надругательстве. Он так увлекся живописанием своих страстей, что не заметил, как в приемную вошел кабинет-министр Волынский в сопровождении давешнего кадета и жердилы-приказного. Нехорошую тишину, воцарившуюся в прихожей, он принял за повышенное внимание к своему рассказу.

— Ты здесь, гнида? — хмурый голос Волынского оборвал ему сердце. — Витийствуешь?.. Жаловаться пришел?..

Волынский наотмашь ударил его в грудь. Василий Кириллович повалился на гвардейского капитана, тот посторонился, и поэт рухнул на пол. По знаку Волынского кадет и приказный подхватили его под мышки, вытащили на улицу, кинули в возок и куда-то помчали...

Потом уже Василий Кириллович сведал, что на шум из кабинета выглянул Бирон, и увидев разъяренного Волынского, сказал гнусаво, что было у него признаком подавленного гнева:

— Что тут происходит? Опять вы?.. Здесь вам не конюшня.

— Конюшня — это по твоей части, — дерзко ответил Волынский. — А коли я наглого слугу проучаю, то сие никого не касается.

— Слуг вы у себя дома наказывайте, — побледнел Бирон. — Я слышал голос академии секретаря Третьяковского. Он к холопам вашим не принадлежит.

— А это мы сейчас увидим!.. — в бешенстве вскричал Волынский, выбежал из приемной, вскочил на лошадь и прибыл в караулку в одно время с возком.

И началось такое безобразие, какого нигде, кроме святой Руси, не увидишь. Когда-то в Париже Третьяковский слышал, что оскорбленные Вольтером вельможи подсылали к нему наемных головорезов, чтоб избить палками, а некий французский маршал, высмеянный Мольером, при встрече обнял драматурга, прижал к груди и поцарапал ему лицо орденами. Но эти поступки, о которых говорилось с отвращением и гневом, казались невинными шалостями по сравнению с тем, что учинил над русским поэтом русский вельможа. Он велел содрать с Третьяковского кафтан и рубашку и лупцевал его палкой по голой спине, пока тот сознания не лишился. Ушат холодной воды привел его в чувство. Волинский снова принялся за дело и свирепствовал до плеча онемения. После этого Третьяковского передали в руки солдат, и экзекуция возобновилась по строгому воинскому уставу. Поэта распластали на холодном захарканном полу караулки, один воин сел ему на голову, другой на ноги, а третий отмерил пятьсот палок. Третьяковский снова обмер и снова был возвращен в сознание ледяным окатом. Ненасытный Волинский приказал дать ему еще тридцать палок. Полуживой от боли, унижения, обрыва всех внутренних сцепов, собирающих человека в личность, Третьяковский каким-то образом запомнил палочные порции и впоследствии точно назвал их в своей жалобе Академии наук.

Он долго не постигал лютости Волинского, необъяснимой цепкости, с какой первый сановник государства, обремененный многими делами и заботами, впился в слабого, беззащитного человека, отважившегося на свой жалкий бунт. Лишь когда стало известно о «заговоре» Волинского, кое-что приоткрылось Василию Кирилловичу.

## 8

Предвидя скорую кончину Анны и регентство Бирона, Волинский разработал проект «О направлении государственных дел». Еще творя суд над князем Голицыным, он серьезно задумался над попыткой верховников ограничить царскую власть советом государственных мужей. Крепко запали ему в душу слова, коими старый князь отпел свое дело: «Пир был готов, но званые оказались недостойными его; я знаю, что паду жертвой неудачи этого дела; так и быть, пострадаю за отечество, мне уж и без того остается немного жить, но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего».

Не тех, кого следовало, позвал на пир Голицын, за то и поплатился. Шляхетство боялось власти верховников, полагая, что с ними вернется засилие старинных боярских родов, уничтоженное Петром. Анна Иоанновна не своей решимостью разорвала подписанные ею голицынские кондиции, а по настоянию гвардейских офицеров и дворян. Молодое русское дворянство, добровольно надевшее на себя ярмо, получило в благодарность бироновщину и слезами горючими поплатилось — прав был старый князь! — за свою преданность престолу. Волынский полагал, что ныне шляхетство вполне созрело, дабы создать из себя сильный представительный орган для обуздания самодержавия и свержения Бирона.

И Волынский начал плести свою сеть: искать и вербовать сторонников, прощупывать гвардию, одновременно всячески улещивая большую, капризную и ненасытную к развлечениям государыню. Его вкус к помпезным зрелищам, коих он довольно нагляделся в Персии, размах и богатое воображение помогали заворачивать такую карусель, какой не видывал пресыщенный двор. Бирон вздумал подставить ему ножку затеей с ледяным домом, но все шло к тому, чтобы еще более возвысить Волынского во мнении императрицы. Сейчас Волынский страшился не зависти, злобы или ревности Бирона, а лишь проницательности, которой этот спесивый и вроде бы туповатый курляндец обладал с избытком. Все мелкие и даже крупные каверзы герцога не были опасны Волынскому, он знал, как прогнать нахмурь с потемневшего чела государыни, вызвать улыбку на запавших устах. Другое дело, если герцог пронохает о «Проекте» и прочих расчетах Волынского, тогда ему несдобровать. И участь князя Голицына завидной покажется оступившемуся честолюбцу. Жестокость временщика могла сравниться лишь с его алчностью.

Волынский следил за каждым своим шагом, словом, жестом, следил, чтобы его поведение ничем не отличалось от всегдашнего. Упаси боже, чтобы Бирон и его клеветы заметили, что он осторожничают, затаился, стал рассчитывать свои поступки, он, знаменитый своей необузданностью и удалой ширью истинно русской природы. И он заставлял себя пить, кутить, якшаться с непотребными женщинами, хотя ему было совсем не до того, совершать продуманно опрометчивые поступки.

Ледяное празднество было задумано с невиданным размахом. Триумфальные шествия победоносного Петра рав-

но и ошеломляющие выходы всепитейшего собора должны были поблкнуть перед великолепием карнавала Во-лынского. Он хотел надолго ослепить и оглушить государыню, чтобы на спокойе двинуть вперед свое дело. Бедного российского поэта, как былинку, как палый листик, засосало в вихрь государственных страстей, не на жизнь, а на смерть, борющихся властолюбий. Он думал, что скромно отстаивает собственное достоинство, а может, и достоинство тех, кто придет вслед за ним на ниву отечественной словесности, а сам, того не желая, сунулся под колесо разогнавшейся во весь дух телеги кабинет-министра.

Волынский просыпался по утрам с тревожной мыслью: не ударила ли оттепель. Тогда все пропало — потекут, оплывут сложенные с таким искусством ледяные стены, в мутную лужу превратится хрустальное диво. Но окна сверкали морозной росписью, красноречиво свидетельствуя, что зима прочно сковала столицу. Волынский вздыхал облегченно и тут же начинал беспокоиться о другом: вдруг посреди шествия понесет непривычная к городскому обиходу оленья упряжка плосколицых насельников северных окраин государства Российского, или вспугнутся огнями, фейерверковыми вспышками, ринутся на толпу индийские слоны, или какая другая непредвиденная поруха испортит плавное течение праздника. А тут не олень с тяжело колышущейся гривой, не слон с могучими бивнями, а гнида, мелочь, землячок астраханский, словоблуд, шут без колпака поперек сунулся. Нужны Волынскому его паршивые вирши — это государыня пожелала, чтобы было прочитано стихотворное приветствие брачующимся шутам, — питала она странное пристрастие к стихоплетству. И уж если такая тля осмеливается прекословить, заместо того чтобы с благодарностью руки лизать, то сколь же трудно будет поднять людей на большое дело, подчинить их себе, привести к победе и, возглавив новый, силу и власть имеющий Сенат, набив шляхетству рот разными привилегиями, стать при наследнике Анны подлинным властителем России. К той же великой цели стремился некогда и Александр Данилович Меншиков, да проворонил юного Петра II и в березовскую ссылку, в курную избу угодил вместе с красавицами дочерями. Волынский так не обмишулится. Но известно, что большие предприятия нередко гибнут из-за мелочей. Потому и расправился он беспощадно с ничтожным Третьяковским. К тому же в мозгу мелькнуло: уж не Бирон ли подбил стихотворца к неповиновению? Что, если ушлый курляндец прощупать его хотел? Человек, замысливший

большое тайное дело, не станет по-пустому шум подымать. И Волынский нарочно разуздался в Бироновском доме. Ко всему еще он окончательно уверился, что Третьяковский — с подворья ненавистного временщика. Кабы Волынскому не было что таить, он, верно, не стал бы учинять скандал в покоях щекотливого фаворита, но в данном случае такое вот откровенное, простодушное, неосмотрительное хамство хорошо маскировало серьезные намерения. В караулке же он от души дал себе волю. Этот противник самодержавной власти, устроитель российского парламента, не терпел и малейшего противодействия своей воле...

9

Избитого, мокрого, окровавленного Третьяковского заперли на ночь в караулке, чтобы он сочинял веселую свадебную песнь. Лязгнув засов, Третьяковский остался один. Под потолком уютилось маленькое окошечко, за которым мерцала белесая от снега ночь. Но Третьяковскому казалось, что прошла целая жизнь между светлым утром, когда он почувствовал в себе благородную ломоносовскую упрямку, и ночным опаматованием в мерзлой луже посреди караулки. Он постарел на целую жизнь за этот день. О каком достоинстве, какой чести можно думать, когда живешь под властью рукосуев, палочников, душегубов? Что для них заслуги, ученость, слава — награда терпеливому труду, это же заплочных дел мастера под личиной вельмож!

Но не стоит трудить этим душу. Его искус не кончился, чаша не испита до дна. Как еще распорядится им завтра Волынский, какую роль отведет на ледово-шутовской свадьбе? Может, вовсе в шуты зачислит? Неужели допустит матушка-государыня?.. Третьяковский тяжело вздохнул. Разве можно положиться на кого из этих великих, всяк своему нраву служит, а маленький человек для них что муха, прихлопнут и не заметят. Но он должен завтра прочесть стихи, иначе не видать ему ни дома, ни жены, ни детушек. А ему ничего не надо, только бы увидеть их. Пусть шутом, пусть кем угодно, ползком или на карачках, только бы добраться до их родного тепла. Вспомнив о семье, Третьяковский заплакал. Он плакал, выползая из мерзкой лужи, подымаясь на ватные ноги, устраиваясь на лавке, приткнутой к стене. Лечь он не мог, так болела



ободранная спина. Он скорчился в уголке, найдя наименее мучительное положение для разбитого тела, руками упираясь в лавку, виском прижавшись к холодной стене. Ну же, стихоплет, сочиняй веселые стихи во славу Голицына-Квасина и красавицы Бужениновой! До чего ж вдохновительный для твоего таланта предмет! Брак, узы Гименея... А твоя Марья Филипповна нешто лучше себе долю выбрала, пойдя за сочинителя, чем шутиха Буженинова? Что она думает сейчас, сидя одинешенька в бедной их берложке, без вести от него, не зная, вернется домой кормилец или навсегда сгинет как случилось со многими людьми всякого звания в это душегубное время. Не Квасник с Бужениновой дураки, истинные дураки они с Марьей Филипповной, что задумали пожениться, детей завести, жить как положено людям. И он сказал вслух своим разбитым ртом, обращаясь не к царским дуракам, а к себе самому и своей половине: «Здравствуйте, женившись, дурак и дурака!» И будто прорвало — потекли злые, непристойные, издевательские строчки. Шутейного, ядреного, похабного, забористого захотели — получайте песнь свадебную с солью, с перцем, с собачьим сердцем, с матюшками, с подлостью всяческой, пусть и государыня послушает, и весь ее блестящий, гнилой с исподу двор. Третьяковский не жалких дураков срамил, он бил по всем, и в первую голову по себе самому, по своему унижению безмерному, по сытым мордам придворной черни, тешащейся гадкими забавами, по вельможам — скифам и самой скифской царице. Стихи были оскорбительны для слуха, безобразны, разнузданы...

И он угодил Волынскому. Выслушав утром свадебную песнь, министр расхохотался и повторил вслух особо понравившиеся строчки:

Не жить они станут, но зоблют сахар,  
А как устанет, то будет другой пахарь...

— Можешь ведь, коли захочешь! — сказал он милостиво. — Только голос у тебя гнусный и вид непотребный, будто ты всю ночь с солдатами бражничал, дрался и блевал.

Разговор происходил в покоях Волынского, куда доставили Василия Кирилловича. Министр хлопнул в ладоши и велел принести Третьяковскому горячего молока с медом для прочистки горла, большую чару водки для общей бодрости и машкерадный костюм.

Последним Василий Кириллович не слишком огорчился, заметив на диване другой машкерадный костюм, пышный,

яркий, отделанный жемчугами и драгоценными камнями, видать, предназначенный самому Волынскому. Следовательно, тут нет намерения выставить его шутком. Более огорчительным оказалось, что читать песню придется в маске, к тому же носатой. Лицо Василия Кирилловича было так обработано, что все усилия искусного цирюльника, пустившего в ход примочки, мази, пшеничную муку мельчайшего помола, не могли скрыть следов побоев. Опечалился Василий Кириллович, когда напялили на него глухую черную бархатную маску с толстым изогнутом клювом, как у заморской птицы-попугая, оставлявшую для обозрения лишь бледные губы и мясистый запудренный подбородок.

Может, от огорчения, что все-таки привели его в шутовской вид, может, от слабости и дурноты, — он ничего не ел целые сутки, только ожег наутро крепкой водкой, — прочитал он на празднике свою песнь без обычного воодушевления, тихо, тускло, жалостно. Белый подбородок дрожал, кривились разбитые губы, он горбился от боли в спине и ежил плечи и со своим попугайским носом был впрямь похож на старую больную птицу. Слух о расправе над ним успел распространиться во дворце, и любому из расфранченных придворных очень легко было представить себя на его месте, и это тоже не способствовало шумному успеху. К тому же государыня, вопреки обыкновению, не выразила удовольствия, даже не улыбнулась, а сидевший справа от нее Бирон сердито хмурился. Он уже нажаловался императрице на грубость Волынского, и Анна Иоановна наказывала кабинет-министра своей холодностью.

Обернулось же все это против Третьяковского. Разозленный Волынский велел отправить его назад в караулку и повторить наказание. Но несчастному поэту было уже все равно. Он решил про себя, что не выйдет живым из переделки, и поручил душу господу. После первой дюжины палок он потерял сознание, и подвыпившие в честь карнавала, благодушно настроенные солдаты оставили его в покое.

Очнулся он от холода и колтыханий, его куда-то несли по морозцу на шинельке. Был он в том же машкерадном костюме, только накрытый шубейкой, с маской на лице. Картонный нос отвалился, как у больного дурной болезнью.

— Куда вы меня несете? — спросил он солдат-носильщиков. — На кладбище?

— Домой, куда же еще! — ответили ему...

За минувшие часы произошел крутой поворот в настроении императрицы. Сколько ни напрягалась она гневом в угоду фавориту, но не могла устоять перед чудесами, порожденными щедрой фантазией кабинет-министра. Поистине ошеломляющее было шествие насельников бескрайнего государства Российского — полтораста разноплеменных пар в ярких народных костюмах поочередно радовали взор. Они мчались на оленьих, собачьих и козьих упряжках, скакали на конях, трусили на ослах, колыхались на верблюжьих горбах, медленно влеклись на упрямых волах и даже на откормленных свиньях. Поистине такое увидишь только в России, разве хоть одно другое государство собрало под своей крышей столько разных народностей? Тут были и самоеды, и остяки, и зыряне, и финны, и татары, и башкиры, и калмыки, и киргизы, и малороссияне, и белорусы. Ну, а сами россы нешто на одно лицо! Щеголеватые, ражие ярославцы, стройные, гордые новгородцы, быстрые, жильные московиты, кряжистые задумчивые рязанцы, да всех не перечесать! И уж на что равнодушна была к своей родине государыня Анна Иоанновна, но и в ней шевельнулось чувство удивленной гордости за обильную и могучую страну, коей призвана она управлять. Невообразимо уморителен — животики надорвешь — был обряд венчания, соединивший дурака Квасника с дурой Бужениновой, а сами молодые имели вид до того пакостный и ничтожный, что давно недужившая Анна приободрилась, выиграла, осушила кубок сладкого, густого греческого вина с пряностями и совсем развеселилась, не обращая внимания на кислую физиономию фаворита. Волынский был допущен к ручке, удостоен весьма лестных слов и понял, что выиграл кампанию. Под уклон праздника он вспомнил о Третьяковском и велел его отпустить, а коли идти не сможет, отнести домой.

Вот и отправился Василий Кириллович в обратный путь, как знатный французский барин, на носилках, правда, носилки те были из солдатской шинелишки, а несли не вышколенные слуги, а полупьяные солдаты, то и дело пре-  
вельно ронявшие его на мерзлую землю.

Когда вышли к Неве, Василий Кириллович увидел в мятущемся, но уже замученном пламени нефтяных светильников и смоляных факелов что-то огромное, бесформенное, безобразное — то был оплавливающийся в потеплевшем воздухе ледяной дворец. В непрочном, тающем чертоге, насмешливом даре императрицы Голицыну-Кваснику, ос-

тавались лишь брошенные всеми пьяненькие новобрачные. Теплый ток воздуха с залива не дал несчастным шутам замерзнуть до смерти.

Дома, едва придя в себя, Василий Кириллович попросил письменные принадлежности. Поминутно мутясь сознанием, он принялся писать завещание. За годы изнурительного неустанныго труда поэт-ученый не нажил ни палат каменных, ни угодий, никакой соби. А берложка их и рухлишко и так семье останутся, кто посягнет на жалкое имущество бедняка? Дадут и нищенское вспомоществование, он в этом не сомневался, а Марья Филипповна, женщина хотя и младая годами, но умная, оборотистая и во всем умелая, не даст погибнуть их детям, вытянет и в обучение определит. Не пропадут! В России люди как трава растут, без заботы, без солнца и тепла, а все равно вытягиваются из тощей почвы одним лишь упорством — жить, жить, жить вопреки всему. Так отчего ж не стать на ноги и ихним детям при такой разумной, твердой сердцем матери?

Но было у Василия Кирилловича одно сокровище, о нем-то и болела душа в эти последние, как он полагал, часы, — его библиотека. Он начал собирать книги — печатные и рукописные — еще отроком в Астрахани. И сундучок с бумажным сокровищем таскал за собой повсюду: в Москву, в Амстердам, в Париж. Из столицы Франции он уже не мог сам перевезти книги, столько скопилось, их отправил ему вослед в Петербург князь Куракин, благодетель.

Редкие рукописи — собственоручные послания отцов православной церкви и раскольниковы грамоты, среди них самим протопопом Аввакумом и соизнниками его писанные, соседствовали с французскими романами, поэмами, сборниками гривуазных стихов, частично приобретенными на Сенской набережной, частично полученными в дар от того же Куракина и от парижских друзей, среди коих было немало сочинителей. У него были полный Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, Буало, сочинения Малерба, Фенелона, Баркляя, шестнадцатитомная «Римская история» Роллена, его же «Древняя история», Кривьерова «История об императорах»; были у него книги английских, итальянских, немецких, голландских, испанских, португальских прозаиков и поэтов, греческие и латинские грамматики, жизнеописания

великих воинов, государственных мужей, служителей духа, оды Горация и любовные песни Катуллы, множество сочинений по философии, медицине, языкознанию, теологии, астрологии и, конечно, вся русская поэзия от виршей князя Хворостинина и творений Сильвестра Медведева, Федора Поликарпова, Кариона Истомина в русле церковно-дидактической традиции до острых сатир князя Антиоха Кантемира, а равно записи народных песен, комедий, сказок, раешников, жития святых мучеников и редкие издания Евангелия... Неумная жадность к познанию, распиравшая Василия Кирилловича, выразилась в этой богатейшей книжнице. Он тратил на книги каждую лишнюю копейку, не стеснялся и выпрашивать их, и вымогать, а при случае, не видя в том греха, и присваивать, где плохо лежит. Ежели умеючи действовать, то библиотека — золотое дно. Но откуда у Марьи Филипповны такому умению взяться? Разбазарит она даром, за бесценок, все эти сокровища. Тут Василий Кириллович малость себя обманывал, оглупляя смекалистую Марью Филипповну. Но при слезной жалости к семье, оставляемой без всяких средств, он еще горше печаловался сердцем о деле своей жизни, немалой частью ко-его была и эта любовно, самоотверженно собранная библиотека. Сохранности ради бесценных рукописей и книг, завещал он самое дорогое Академии наук. Он любил семью, ненавидел шумахеров и корфов, но над всеми его чувствами возвышалась пламенная страсть к науке, просвещению, словесности, стихотворчеству.

Коснеющим языком наказал он Марье Филипповне вручить завешание сразу после его кончины профессору Шумахеру. Марья Филипповна всплакнула, заверила: «Все сделаю, болезный мой!» — и сунула сложенную вчетверо бумагу за пазуху. После в светелке, малость владея грамотой, она сведала последнюю волю умирающего, снова всплакнула, обозвала его «иродом» и спрятала завешание за образа, решив вовсе уничтожить, коли муж не раздумает помирать. Сама она твердо верила в его выздоровление. Она отпаивала страдальца целебным отваром, а на спину ему клала примочки из травяного настоя. Во дни девичества Марью Филипповну называли колдуньей: от ее трав, высушенных, растертых в порошок, запаренных, перемешанных с разными специями, любую хворость как рукой снимало. Правда, нелегко было собирать нужные травы в болотистых скудных окрестностях Петербурга, все же и здесь ее составы знатно помогали страждущим.

И Василий Кириллович вскоре опамятовался настолько, что стал писать зело крепкий ответ Ломоносову, это дело он почитал наиважнейшим, и, лишь отправив его, составил обстоятельную жалобу на Волынского, которую, как и письмо к Ломоносову, адресовал Академии наук для дальнейшего употребления. Он не верил, что академия даст ход его жалобе, — хоть и сильны были немцы при Бироне, а против кабинет-министра, в фаворе пребывающего, пойти не посмеют. Конечно, избиение, коему он подвергся, уязвляет честь академии, но вместе с тем спесивые чужеземцы не допускали мысли, чтобы и с ними могли поступить сходным образом. А на русскую шкуру им наплевать. Но Василию Кирилловичу важно было послать жалобу — пусть знают все и сам гордый Волынский — слух-то все равно пойдет, — что не смирился он с насилием и не задушил в себе протестующего голоса. Он бессилен защитить свою плоть от здоровенных рукосуев и солдатни, но душу его не убили. Какие-то новые, странные силы пробудились в кротком человеке, он знал теперь, что бы с ним ни делали, как бы ни изгалялись, в шута все равно не превратят. Он стал даже тверже, чем во все годы, следовавшие за вызовом в Тайную канцелярию. И Марья Филипповна, ознакомившись с новыми посланиями мужа, не стала подвергать их участи завещания, а передала по назначению. Она удивлялась и не сочувствовала дерзости Василия Кирилловича, который, дыша паром изо рта, осмеливается спорить и жаловаться, но уважала эту непонятную силу в нем и не хотела ей перечесть.

Однако академия рассудила по-своему, и оба послания остались без движения. В отношении жалобы на Волынского никаких объяснений не требовалось, а на послании к Ломоносову было наложено такое заключение: «Сего учеными спорами наполненного письма для пресечения долгих, бесполезных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж за почту денег напрасно не терять...»

## 11

Тредиаковский стал жить дальше. Он долго болел и отсидивался дома. Много читал, работал. Спина упорно не хотела заживать. Только подсохнет, станешь рубашку слергивать, опять замокли ранки. И все же с каждым месяцем гнойнички уменьшались, затягивались, целебный

бальзам хоть и медленно, но оказывал заживляющее действие. Васильи Кириллович стал выходить, вернулся к исполнению своих обязанностей в академии и при дворе. Но внутри у него не заживало. Врожденная отходчивость, поэтическая безмятежность, доверчивость, не вовсе оставившие его после ушаковского застенка, исчезли без следа. Характер его изменился, он стал колоч, скрытен, зол, и хотя по-прежнему гнулся перед высокостоящими, но и они смутно чуяли, что этот смиренник может выпустить яд, и не спешили задевать его. Даже шуты, народ весьма понятливый, не посягали на Тредиаковского. А в темных, глубоких и умных глазах Педриллы он подмечал что-то похожее на сочувствие с примесью чуть ли не уважения.

Не радовала Василия Кирилловича происшедшая в нем перемена. Он не был ни злым, ни твердым, ни кусачим; по природе своей добрый и мягкий, он хотел любить людей. Если не любишь людей, то зачем и писать для них? Нынешняя ожесточенность лишала его даже той малой внутренней свободы, какой он обладал раньше. Эта его свобода покоилась на убеждении, что, как бы плохо ни обращались с ним порой, он все же приятен людям со своей неленивой музой. Что там ни говори, а поэзия протачивала ходы к душам людей даже при азиатском дворе Анны Иоанновны. Люди привыкали к стихам и начинали чувствовать потребность в них. Пусть не все, пусть немногие, но что-то сдвинулось. Василий Кириллович тяжело переживал нынешнюю свою отчужденность. Но вскоре все померкло перед ошеломляющим известием, что всесильный кабинет-министр изобличен в государственной измене, взят под стражу и отдан в руки Ушакова.

В народе об этом говорили всякое и, как обычно, наибольшую веру давали дичайшим слухам: Бирон застал его с государыней — и та в угоду первому любовнику пожертвовала вторым; Волынский намеревался русский трон опрокинуть и себя над Россией поставить. Эти слухи, подобно древним легендам, в искаженных образах отражали некую подлинность, ведь и Змей Горыныч скрывал исторического половецкого хана. Так в народных толках преобразались намерения Волынского ограничить царскую власть Сенатом, свернуть шею Бирону и стать первым мужем в государстве.

При дворе же царило мертвенное молчание. Испуг сковал все уста. На пострадавшего от злодея-изменника Тредиаковского поглядывали с почтением...

Но в потоке людей, спешащих к месту казни, Василия Кирилловича не узнавали и потому толкали пребольно. Впрочем, он почти не замечал этих уязвлений плоти, погруженный в мысли о причудливой судьбе своего супостата.

Он слишком хорошо знал бывшего кабинет-министра, чтобы верить в его вольнолюбие. Но коль Бирону светило регентство, у Волынского не оставалось выбора. Рассчитал он все широко и смело, да только Россия не Англия и не Швеция, и российское шляхетство не готово соответствовать замыслам Волынского. А Бирона час когда-нибудь пробьет, вдруг понял Василий Кириллович, только случится это на русский лад, по-домашнему, кулаками полупьяных гвардейцев. Дворянство же вовсе не так уж глупо и косно, просто никому не хочется ставить над собой Волынского вместо Бирона. Хрен редьки не слаще. Он вспомнил, как, исторгая водочный перегар, российский Кромвель месил ему лицо кулаками, и ноги сами прибавили шагу.

До чего же охоч простой люд до кровавых зрелищ! Пожалуй, и на ледяную потеху так не валили, как на законное смертоубийство. Конечно, сие представление позабористее. Там морозили, да недоморозили в апофеозе географического праздника двух шутов, а здесь обезглавят одну из первых фигур в государстве. Петербург не избалован подобными зрелищами, не то что старая столица, матушка-Москва, одной казнью стрельцов навек насытившаяся. Да и нет у людей сочувствия тому, кто вознесся над всеми аки солнце, перед кем шапки ломали, пресмыкались, на колени падали, кто сшибал и давил их своими пьяными тройками, кто волен был над их достоинством, свободой и животом. Справедливо, наверное, и все же Тредиаковскому стало как-то не по себе, что он замешан в эту потную, душную, гадкоррадную шушваль, исторгающую тяжкий смрад под палаящим июльским солнцем. Вернуться?.. Нет, он должен глянуть в лицо своему истязателю, должен стать близ лобного места живой, здоровый, годный к труду и радости, а тот, кто терзал, топтал, смертью убить его хотел, а в нем то большее, что божьим даром называется и дается одному за многих и ради многих, примет позорный конец. Это перст божий. Каждому воздастся по делам его. Василий Кириллович почувствовал, что своя обида, своя месть истаивают в его душе, очищающейся от злого, себялюбивого, мелкого. На черном торжестве возмездия он будет служить не своей обиде, а всем униженным, затравленным, битым, замученным словотворцам.



Он оттолкнул какого-то малого в кожаном фартуке, остро воняющем рыбой, отстранил тощего мастерового, растопырил локти, покрепче сжал трость и напористо устремился через запруженную народом площадь к плахе.

Удивляло обилие женщин. Попадались среди них и совсем юные, с кожей нежной, как персик, с влажными телячьими глазами, светившимися испугом и радостным ожиданием. Иные небось тайком от старших сюда продрали. Бедна новизной и развлечением русская жизнь, даже в столице. А если б эту жадность, этот интерес, горящий в молодых глупых глазах, на доброе и разумное обратить?

— Ведут!.. — стоном прокатилось над площадью.

Деревянная подвысь заполнилась людьми: гвардейцы, солдаты, палач в красной рубахе, его подручные, приказные. И все это множество роилось вокруг старого человека со связанными за спиной руками. Третьяковский протер глаза, несколько раз моргнул, как от пыли. Нельзя было поверить, что этот худой, согбенный старик в грязном, расстегнутом на впалой груди кафтане и есть Волынский. Ему было чуть за пятьдесят, но сейчас, без парика, седой, с маленькой, острой головой, с небритым всосом щек и заваленным ртом — зубы ему выбили, — он выглядел на все семьдесят. Да, крепко поработали над ним пыточных дел умельцы! Поразило Третьяковского, что в темных и по-прежнему пытливых глазах Волынского не было одури от испытанных мук, ни ожесточения, ни злобы, а какое-то странное, мягкое любопытство. И, притянутый этим светом, Василий Кириллович рванулся вперед, разъяв сцеп плотно сбитых тел, и оказался у самого эшафота...

## 12

Волынский прошел через сущий ад, и, если б его даже помиловали, это лишь ненадолго оттянуло бы мучительный конец. Он был весь размолот внутри и не мог жить. Он с самого начала знал, что обречен, и ни признание истинной или придуманной вины, ни чистосердечное или куда более убедительное фальшивое раскаяние, ни самое низкое предательство, ни даже заступничество государыни не могли спасти его от смерти. Бирону нужна была такая вот, устрашающая публичная казнь, чтобы парализовать всех недовольных перед объявлением его регентом. Волынский сразу смирился со своей участью и лишь молил в душе, чтобы скорее пришел конец. Когда же услышал при-

говор, то испытал не ужас, а великое облегчение. И с этим пошел на казнь. В его искаленном теле оставалось достаточно жизни, чтобы обрадоваться свежему воздуху и свету после смрада и темени подземелья. Оказывается, дышать полной грудью и видеть солнце — уже счастье. Поздно же ему это открылось!.. Мешала лишь толпа, и Волынский пожалел, что его не прикончили тихо, в каком-нибудь укромном месте, где не было бы никого, кроме исполнителей приговора. Но сетовать на это бессмысленно, и он спокойно, даже благожелательно рассматривал человеческую несметь, удивляясь, что ни на одном лице, мужском или женском, молодом или старом, не было и тени сострадания. А ведь он не сделал ничего плохого этим людям, не соприкасался с ними, за что же им его ненавидеть? Впрочем, ненависти, может, и нету, а лишь равнодушие с примесью злорадства: хвалился, мол, хвалился — да под стол и завалился! А разве мог он чего другого ждать? Конечно, нет! Между ним и этими слетевшимися на казнь, как воронье на падаль, петербургскими людишками зияла пропасть.

Если же глянуть поверх голов дальше, за цепь солдат, где грудилась в шелку, атласе и бархате вся курляндская шайка с прихлебателями — сам-то, поди, в карете сгорючился! — то даже оторопь берет, что твой исход кому-то столь радостен. Странно подумать, что был ты ребенком, и матушка на коленях тебя качала, называла «золотцем», и «теленочком», и не было для нее ничего дороже на свете. Сейчас, матушка, вашего теленочка палач заживо раздает.

Остальные придворные держались сзади. Неохота им было с осужденным глазами встречаться. Еще пожалеет шляхетство, что отдало его на растерзание. Впрочем, нет у него теперь ни в чем уверенности. Не уловишь разумом кривых и темных путей истории. Лучше не смотреть туда, ну их всех к богу!..

Обегая взглядом толпу, Волынский вдруг остушился о знакомые черты: высокий лоб, мясистые щеки, бородавка, вытаращенные голубые глаза. Надо же, и этот притащился! Ну что ж, распотешь свою душеньку, битый стихоплет, надутая пустышка. Волынский отвернулся, но что-то заставило его еще раз оглянуться на Третьяковского. Господи!.. Из мертвячьей коловерти, бездушной несметы на него смотрело человеческое лицо, исполненное жалости и сострадания. Бедный дурачок, даже ненавидеть по-настоящему не умеет. И он улыбнулся Третьяковскому.

Казалось, тот начал что-то быстро, быстро жевать, его челюсти, рот, заушины, даже скулы и брови ходуном заходили. Да он плачет... Добрый человек! — осенило Волынского, и сердце его засочилось. Он был близок к тому, чтобы понять на своем исходе что-то очень большое и важное, к чему никогда не подступала его жестокая и целенаправленная душа. Но ему не дали. По знаку палача подручные накинулись на него сзади и стали сдирать кафтан, причиняя мучительную, лишнюю боль. Он не увидел, как рванулся к плахе Тредиаковский, что-то крича перекосенным ртом, как испуганно раздалась толпа и кто-то схватил поэта, заломил ему руки и потащил прочь...

13

Эти страшные минуты остались смутными в памяти Тредиаковского. Он хорошо помнил появление Волынского на плахе, согбенного, старого, с маленькой острой головой, и как мгновенно обесценилась в его душе вера в право возмездия. Был несчастный, истерзанный, страдающий человек, остальное не стояло и полупшки. Он всем нутром понимал Волынского. Если уж он, черная кость, многожды колоченный бурсак, так переживал свое унижение, то каково этому гордому, властному, привыкшему повелевать человеку? Страшнее побоев и пыток было для Волынского злостное торжество врагов, презрение тех, кто еще вчера перед ним пресмыкался. Но, сострадая ему, истерзанному, ему, униженному, ему, поверженному, Василий Кириллович думал о Волынском как о живом. Лишь когда палачи опрокинули Волынского, в сердце и в мозг ударило: да ведь его убьют!..

И вот тут память изменила Тредиаковскому. Кажется, он закричал, но что? — он не помнил, кажется, рванулся вперед — зачем? — он не знал. В его поступке не было ни разума, ни смысла, а доплатиться он мог свободой, даже жизнью, но ни о чем этом не думал смешной поэт, никем не узнанный, не угаданный Предтеча, в чьем безотчетном порыве родился жест великой русской литературы — к страждущему...

14

Тредиаковский обрел память вместе со страхом, что его схватили и тащат в Тайную канцелярию. Впрочем, страх

почти тут же сменился равнодушием — будь что будет, а равнодушие — раздражением, что опять над ним куражится чужая воля. Он уперся, забарахтался и вырвался из цепких рук.

Перед ним был молодой человек лет двадцати пяти с тонким и мужественным лицом. Резкий, прямой нос, загорелые скулы, темный пушок над красивым, чуть улыбающимся ртом. Даже при великом испуге его нельзя было счесть за ушаковского приспешника, а Василий Кириллович устал бояться.

— Кто вы такой? — сказал он сердито. — Я вас не знаю.

— Но я знаю того, кто подарил России «Остров любви», — с улыбкой сказал молодой человек.

— Что вам от меня надо? — все так же сердито спросил Третьяковский.

— Ничего. Просто мне не хотелось, чтобы вас забрали. «Слово и дело», любезный Василий Кириллович, говорится и по меньшему поводу, чем сочувствие государственному преступнику.

— Да вам-то какая забота?

— «Начну на флейте стихи печальны, зря на Россию чрез страны дальны!» — тихим, музыкальным голосом прочел молодой человек. — Я много лет был в обучении на чужбине и все твердил ваши прекрасные строки.

— Ломоносов! — вскричал Третьяковский, пораженный внезапной догадкой.

Молодой человек рассмеялся.

— Я никому носов не ломал. Даже в трактире. Не любитель.

— Прости, юноша, — смущенно сказал Василий Кириллович. — Я принял тебя за одного студюоза, проходящего обучение по горному делу в Фрейберге и зело поэзии приверженного.

— Я обучался мореходству в Амстердаме, — сказал молодой человек. — Стихов же слагать не умею, хотя помню множество, и не только русских. Но, долго от родины отлученный, я в русских стихах слаще всего в тоске моей утешался. «Россия мати, свет мой безмерный!..» Как же скукаешь там по родине, как молишься на нее, а вернешься — и об одном только думаешь: скорее бы ноги унести.

— Не навестишь ли ты меня, благородный юноша? — спросил растроганный Третьяковский.

Тот покачал головой.

— Благодарствую. Мне надо еще родителей проведать, а завтра уже в плавание. «Канат рвется, якорь бьется, знать, кораблик понесется».

— Милый юноша, — чуть не со слезами сказал Третьяковский, — дай бог тебе во всем удачи. Кабы ты только знал, сколь утешна моему сердцу встреча с тобой. Вижу, не зря все муки и бдения, отзывается в чьих-то душах мое слово. Если случится быть в Париже, поклонись от меня сему граду:

Красное место! Драгой берег Сенский  
Тебя не лучше поля Элисейски...

И молодой человек подхватил:

Всех радостей дом и сладка покоя,  
Где ни зимня нет, ни летнего зноя...

и, низко поклонившись Третьяковскому, скрылся в проулке.

Василию Кирилловичу стало одиноко и грустно. В памяти всплыла улыбка Волынского, которому не с кем было обменяться прощальным взглядом перед смертью. Как же пустынно человеку в мире! Лишь поэзия разрывает тенета одиночества. Стихи подарили ему дружбу этого юноши-морехода. Ах, пока есть на свете нежный хорей и притягательный, неуловимый ямб, стоит жить! И Третьяковский бодро зашагал к своему дому.

Он велел подать себе фрак. Старого слугу Фридриха это не удивило: уже перевалило за полдень, а г-н тайный советник Гёте, случалось, надевал фрак и к завтраку, когда что-то внутри него требовало торжественности. При этом он вовсе не ждал, что домашние последуют его примеру и облекутся в парадные одежды. Его щегольской, странный и строгий вид являл резкий контраст с утренней небрежностью и покойной советницы, которой после ежевечерних танцев до упаду и обильных возлияний было не до туалетов — дай бог как-нибудь натянуть капот на жирные тела, и сына Августа, франта, но только не спросонок, когда голова трещит с похмелья, и пребывающей в рассеянном утомлении от балов и поклонников невестки Оттилии, и ее вздорной, всегда прибранной сестры — бедняжка слегка повредила голову, уроненная в вальсе нерасторопным кавалером. Г-н тайный советник, вовсе не строивший из себя аскета — он много и со вкусом ел, любил общество и ежедневно осушал две-три бутылки рейнского вина, — как бы противопоставлял свою подтянутость, порядок внутри себя распаду близких людей. А может, хотел вдохнуть в них бодрость, уверенность: мол, продолжайте в том же духе, дорогие, я крепок, я на посту. Относясь с удивительной снисходительностью к людским слабостям, он не делал исключения и для родственников, прощая им все заблуждения, ошибки, даже пороки.

Старый Фридрих так долго находился при Гёте, что в конце концов научился думать. Он и сам не мог сказать, как проникла в него эта зараза, но вместо прежних вялых видений, обрывков каких-то воспоминаний, всплывающих со дна памяти, которые он не пытался ни продлить, ни сочетать с другими, дабы получить цельную, законченную картину смутных образов, вдруг возникающих из тумана и вновь поглощаемых им, ныне под черепной крышкой свершалась непрерывная работа, причинявшая немалое утомление, но вроде бы и удовольствие, когда в результате крайнего напряжения он приходил к каким-то выводам.

Фридрих не отдавал себе отчета, зачем ему это нужно, — чуждый лакейским сплетням, малообщительный, он все свои наблюдения, соображения и умозаключения хранил про себя, но, если бы даже захотел сейчас, не смог бы остановить беспокойного, изнурительного шевеления в голове. И, положив руку на сердце, едва ли б согласился вернуться к прежнему умственному сну, дарившему невозмутимое спокойствие. Наблюдать за г-ном тайным советником было интересно, а еще интереснее — разгадывать загадки его величаво-ровного со стороны, на деле же весьма странного и непредсказуемого поведения.

Казалось бы, свет не видывал лучшего семьянина, чем г-н Гёте, столь внимательного, снисходительного, заботливого, готового — при всей загруженности государственными делами — вникать в каждую мелочь домашней жизни, если это могло помочь его ныне покойной жене или новой хозяйке г-же Оттилии, равно и столь деликатного, когда его вмешательство не требовалось. Фридрих, впрочем, сомневался, можно ли считать Оттилию, на редкость безразличную к дому, мужу и семье, новой хозяйкой, скорее уж на это звание претендовала ее сестра — до того как ее уронили на скользком паркете. И во дни Христины, которую тайный советник, спасая свое изнемогшее в скорби сердце, даже не проводил до места успокоения, и в нынешнее междуцарствие он охотно погружался в хозяйственную жизнь дома, пустейшая кухонная забота казалась ему стоящей внимания, и при этом мог без подготовки и предупреждения разом все бросить и уехать надолго в Иену, где у него было холостяцкое убежище, или на курорт. Он, правда, и оттуда не оставлял советами брошенное семейство, но коли собственное присутствие не способствовало поддержанию порядка в располагающемся доме, то уж подавно бессильными оказывались наставления издалека.

После смерти жены г-н Гёте стал проводить по полгода в Карлсбаде, куда уезжал еще до открытия летнего сезона, а возвращался осенью, в последнее же время сменил карлсбадскую клубящуюся испарениями целебных источников скалистую щель на плоский, как лепешка, Мариенбад — не из-за лечебных свойств этого преимущественно женского курорта, а ради темных глаз юной Ульрики Левецов, дочери энергичной дамы, которую он некогда дарил своим вниманием. Наверное, в ту далекую пору, думал Фридрих, эта дама занимала более высокое положение в обществе, а сейчас, будучи владелицей большого и мрачно-

го дома, содержала гостиницу, служившую, как болтали злые языки, и для скоротечных свиданий.

Вспомнив о г-же Левецов в этот солнечный мариенбадский полдень, когда г-н тайный советник потребовал фрак, Фридрих привычно присовокупил к ней недавно узнанное от гостей хозяина и пленившее его выражение: «следы былой красоты». Слова эти околдовали развившийся ум Фридриха; приглядываясь к гуляющим по нарядным улицам модного курорта удрученным женскими болезнями дамам, Фридрих отыскивал в их чертах следы былой красоты. И он научился угадывать даже самые слабые, занесенные прахом лет и недугов знаки минувшей прелести на увядших лицах. Но на просторном и чистом лице г-жи Левецов следы эти были столь очевидны и щедры, что Фридрих искренне недоумевал: зачем его господин хлопочет, точно шмель, над нераспустившимся цветком — над девятнадцатилетней Ульрикой, когда к его услугам чуть пожухший, но еще пышный и яркий бутон — старшая Левецов? В конце концов, г-н тайный советник, первый министр Великого герцогства Веймарского, далеко не юноша...

Фридриха огорчало, что язык того светского круга, в котором преимущественно вращался, обслуживая друзей и гостей хозяина, остается ему зачастую непонятен. Ускользало одно единственное слово, а с ним терялся весь смысл. Фридрих налег на справочники и толковые словари, которые брал из хозяйской библиотеки. Они расширяли кругозор, обогащали множеством ненужных сведений, но чаще лишь сгущали туман. Фридрих прослышал, что в пору своего увлечения старшей Левецов г-н тайный советник называл ее Пандорой. И прозвище сохранилось по сию пору. Обратившись к энциклопедическому словарю, Фридрих выяснил, что Пандора — имя женщины, созданной Гешефтом (так ошибочно прочиталось имя Гефест) и наделенной наряду со множеством достоинств и редкой красотой, хитростью, любопытством и коварством. Ее послали на землю, чтобы погубить род людской, снабдив ящиком, наполненным всякой мерзостью. В словаре не было объяснено, знала ли Пандора о своем предназначении и о содержимом ящика. И почему его открыла — из неумного бабьего любопытства или по сознательной злобе. Так или иначе, она выпустила наружу всю нечисть, а на дне осталась лишь обманчивая надежда. Что имел в виду г-н тайный советник, назвав г-жу Левецов — в пору своего



увлечения — Пандорой, осталось неясным: то ли ее избильные прелести, то ли тайное криводушие, то ли готовность дамы выпустить в мир омерзительных чудищ. Нынешнее сближение его господина с семейством Левецов тревожило лакея Фридриха.

И сейчас, в последний раз обмахивая метелочкой из черных страусовых перьев тугую гладкость фрака, прекрасно сидящего на крепкой фигуре хозяина, Фридрих изо всех сил напрягался мыслью, чтобы постигнуть то новое, что исподволь вызрело в размеренной мериенбадской жизни и достигло критической точки сегодня, когда г-н Гёте после визита к нему герцога Веймарского Карла-Августа, которого, пользуясь старой дружбой, принимал по-домашнему, хотя величал даже с глазу на глаз «ваше королевское высочество», потребовал подать весь парадный доспех.

Он придирчиво осмотрел черную пару, атласный жилет, рубашку и шейный платок, велел убрать звезды и усыпанный алмазами орден на шелковой ленте, глазами показав на несколько седых волосинок, приставших к воротнику, и с обычной неторопливой энергией принялся одеваться. Помогая своему господину, Фридрих жадно следил за ним, но тайный советник ничем себя не выдал: движения его сохраняли обычную механическую четкость, он сразу попадал в штанины и рукава, садился, когда надо, и, когда надо, вставал, гибкое тело безотчетно облегчало работу слуги. Но что-то необычайное все-таки было... О да, блеск, «лихорадочный блеск», вспомнил Фридрих подходящее выражение, темных, глубоких глаз г-на тайного советника.

Поразительно, что семидесятичетырехлетний старик сохранил такие живые, горячие, черно-сверкающие глаза. Впрочем, г-н Гёте и вообще замечательно сохранился. Ему даже вино шло на благо, нежно поддурмянив чистую кожу мясистого, но ничуть не обрюзгшего лица с крупным, решительным носом и тронутым лишь над бровями долгой тугой морщиной высоким, крутым лбом, слегка потеснившим к темени плотные белые волосы, красиво выьющиеся на висках и затылке. Прямая спина, неторопливый твердый шаг, гордый постав головы придавали ему величавость.

Но сегодня г-н тайный советник не просто выглядел молодо, он и впрямь был молод и сам чувствовал в себе эту молодость. Он напрягал икры, что было заметно

сквозь тонкоплотную ткань панталон, поводил плечами, выпячивал грудь, его переполняла жажда движения. Но выйти из дома он почему-то не мог. Наверное, кого-то или чего-то ждал. Он ненавидел пустой расход времени, того мешкания, до которого столь охочи все несобравные люди, особенно женщины. Человек уже давно собрался, а все не может сделать решительного шага, мнется, мельтешит, шарит по карманам, хлопает ящиками бюро, открывает и закрывает дверцы шкафа, но он ничего не ищет, просто страшится переменить обстановку. Нет, г-н тайный советник Гёте всегда знал, чего хочет, и находил кратчайший путь к цели. Если он собирался из дома, то был готов к выходу в ту же секунду, когда заканчивал сборы, никогда ничего не терял, не забывал, хотя делал сотни дел, держал в памяти весь предстоящий день, наполненный работой, диктовкой секретарю произведений изящной словесности, научных трудов, деловых бумаг, распоряжений, встречами с разными людьми, официальными и светскими визитами, прогулками — пешком и на коне — и бог весть еще чем. День г-на Гёте был неизмеримо насыщенней и словно бы длиннее для любого другого человека. Вынужденный прервать диктовку, порой не на минуты, а на часы, он продолжал с того самого места, на котором остановился, хоть с полуфразы. Фридрих изо всех сил старался сделать свой ум таким же цепким и ясным, но, хотя забот у него было куда меньше, ничего из этого не вышло. Стоило одному делу наложиться на другое, и Фридрих настолько терялся, что забывал оба дела.

Г-н тайный советник конечно же и сейчас не испытывал колебаний и сомнений в отношении того, что ему делать дальше, он просто ждал. Нетерпеливо ждал какого-то известия, чтобы начать действовать, но известие запаздывало, и это нарушало его спокойствие. Сама собой тугая, медленная, но не сбивчивая мысль Фридриха связала нетерпение хозяина с той переменной в его жизни, которая с некоторых пор стала казаться неизбежной.

Когда умерла старая хозяйка, Фридрих мог бы кошелек, набитый талерами, поставить на заклад против кружки пива, что г-н тайный советник навсегда останется вдовцом. И вовсе не потому, что он так пламенно и верно любил жену, с которой прожил почти тридцать лет. Конечно, ее смерть явилась для него тяжелым ударом, он даже изволил пролить слезу, впрочем, слеза была тем единственным напутствием, которым он провожал в небытие

самых близких людей: жену, баронессу фон Штейн, г-на Шиллера... Не было случая, чтобы он хоть взгляд бросил на дорогие, но уже заострившиеся черты. То ли г-н тайный советник хотел сохранить живой образ усопшего, то ли боялся смерти, то ли слишком презирал ее. Возможно, он считал, что там, где начинается держава смерти, кончаются его солнечные владения, и прекращал всякие отношения с теми, кто предпочел госпожу Смерть его обшеству.

Отдав дань извинительной слабости, омыв — и смыв — слезой дорогой образ, г-н тайный советник возвращался к делу жизни с особой энергией, словно бы освеженный и помолодевший. Что касается покойной советницы, то задолго до ее кончины он предоставил и себе и ей полную свободу: ей — веселиться, танцевать до упаду и кутить в обществе бравых офицеров (шампанское пенилось вокруг г-жи Гёте, как пена морская вокруг Афродиты), себе же оставил уединенный труд, государственные заботы, встречи с замечательными людьми, красное вино и летом — восторженный щебет молодых женщин.

После смерти жены г-н Гёте словно принял на себя оброненную ношу усопшей, обрел вкус к балам, пикникам, повесничанию и долговому уединению с юными красавицами. Казалось бы, что может быть лучше такой жизни, дающей все радости и почти ничего не требующей взамен, но с некоторых пор рассеянный свет его внимания собрался, как в фокусе, на юной Ульрике Левецов. Это не было похоже на другие, быстро проходившие увлечения. Крепко запала в душу Фридриха фраза, оброненная как-то г-ном Гёте за семейным обедом, когда несдержанный, всегда раздраженный Август в очередной раз сцепился с откровенно презирающей его Оттилией: «Вся беда в том, что наш состав неполон». Занятые своей ссорой, молодые люди пропустили слова главы семьи мимо ушей, они и вообще не баловали его почтительностью, а может, сочли бессильной жалобой вдового старика, лишь повредившаяся в уме сестрица Оттилии метнула в его сторону короткий злобный взгляд. А им стоило бы прислушаться, ибо г-н тайный советник впервые — и сознательно — проговорился о своих намерениях.

Смущало Фридриха лишь одно: наивность этого заявления, — неужели великий ум может настолько заблуждаться в своих близких? Появление новой тайной советницы внесет такой же мир и лад в смятенную жизнь дома,

как содержимое ящика мифической Пандоры. И даже обманчивой надежды не останется. Конечно, Август и Оттилия объединятся в ненависти к новой «мамочке», ущемляющей их наследственные права, но едва ли об этом мечтает г-н Гёте.

Ныне Фридрих склонен был фразу, услышанную за столом и оставленную без внимания молодым поколением, связать с лучезарно-беспокойным обликом г-на тайного советника. Не должно ли сегодня решиться то, что сделает полным «семейный состав», принесет мир и покой дому, — «кошмар и ужас», твердо определил будущее своего хозяина научившийся мыслить Фридрих. Для себя лично он не ждал перемен, ибо принадлежал к тому священному и неприкосновенному обиходу г-на тайного советника, который был исключен из домашних потрясений. И все-таки ему было не по себе...

Ну а как же иначе? Ведь не было у Фридриха другой жизни, кроме той, что уже несчитанные годы незаметно день за днем проходила в доме г-на тайного советника Гёте. Бывает, что слуги, при всем своем зависимом положении, не только влияют на домашние и прочие дела хозяина, но и направляют их, — поведение советника полиции Брунера в семье и на службе целиком зависит от того, с какой ноги встал и как обходил его красноносый лакей Михель, брюзга и пьяница, с которым хозяин не расстался бы за все блага мира. Фридрих не пользовался влиянием на своего хозяина, и никто другой не пользовался: г-н тайный советник умел закрывать глаза на домашние безобразия, но не плясал под чужую дудку. Фридриху достаточно было наблюдать и делать выводы — совершенно бескорыстно, ибо он и так имел все необходимое для душевного довольства: четкий круг необременительных обязанностей, сносное жалованье, независимость, обеспеченную подчинением лишь одному человеку, добрый стол с хозяйским вином, крепкий табак, опрятную постель, хорошее платье и достаточно свободного времени, чтобы посидеть в погребке и перекинуться шуткой с какой-нибудь Кеттхен или Лизхен. Будучи лишь немногим моложе хозяина, Фридрих, подобно ему, не держал двери на запоре. Он знал, что г-н тайный советник неисповедимыми путями — доверительных разговоров меж господином и слугой не велось — осведомлен о его галантных похождениях и относится к ним с одобрением. Г-ну Гёте было по душе всякое проявление жизненной силы, но омерзителен, как бы

ни скрывал он свои чувства, пьяный, грубый разврат Августа.

Фридрих желал счастья своему господину, но неужели тот действительно верит, что избалованная девочка поможет обуздать бешеного Августа и своенравную Оттилию? Эта мысль так озаботила Фридриха, что он перестал обмахивать венчиком плечи г-на тайного советника и замер с поднятой рукой, сжимающей букет из облезлых страусовых перьев.

— Я разрешаю вам обратиться ко мне с вопросом, Фриц, — с улыбкой — не губ, а глаз — сказал г-н тайный советник.

— С каким вопросом, ваше превосходительство?

— Не лукавьте. Вас давно томит вопрос: уж не хочет ли барин жениться?

Взгляд Гёте вдруг отдалился, затуманился и вовсе покинул остекленевшие глаза. Непостижимым образом Фридрих угадал выпадение своего господина из данности, вслед за тем с легкой дурнотой ощутил, что и его затягивает, заверчивает странная, не из яви воронка и брезжит что-то не имеющее ни образа, ни подобия, из какого-то чужого обихода, с чужими запахами, чужим воздухом, чужой заботой, он понял, что это барин затащил его туда, где ему вовсе незачем быть, и тоска сдавила сердце.

А Гёте не в первый раз пережив мгновенное погружение в стихию иного времени, иного бытия, предстоящего ему, видимо, после износа этой жизни и этого образа, опять как и во всех прежних случаях, кроме одного-единственного, относящегося не к будущему, а к прошлому, где он оказался могучим туром, зазывно трубящим в золотистой лесной просеке, тщетно пытался ухватить тот сдвиг, из которого возникла странная, не свойственная ему фраза. Снова ничего не получилось, он уловил лишь, что *там* была не Германия, может, и вообще не Европа, но и экзотикой не повеяло, самое же поразительное, что рядом с ним по-прежнему находился Фриц, другой, как и он стал другим, — новая ипостась Фрица. Неужели возможно такое вот спаренное перевоплощение?... По чести, он предпочел бы, чтобы не Фриц, при всех его несомненных достоинствах, сопутствовал ему в новом существовании... Ах, если бы договорить, доспорить с Шиллером!.. А увидеть вновь юную Фридерiku, доверчивую, трогательную Фридерiku, которую он так внезапно бросил, не воспользовавшись плодами победы, спасая себя от нее, а ее —

от себя, — почему в молодые годы им владела неодолимая страсть к разрывам? Наверное, то было безотчетное, самосохраняющее чувство: кто-то в нем, более умный, нежели он сам, знал, что чудо жизни даровано ему не для того, чтобы изойти томлением и восторгом у женской юбки. Но как они были прелестны! И Фридерика, навек запечатлевшаяся в нем тонкой болью, и нежная Шарлотта Буфф, ставшая г-жой Кестнер и тем подарившая ему и веку «Вертера», и страстная, смелая Лили, так бурно любившая, готовая бежать с ним в Америку, и стойкая, гордая, измучившая его больше всех женщин, вместе взятых, прежде чем подарить своей близостью (неудивительно, что перетянутая струна вскоре лопнула), баронесса фон Штейн, и обреченная пленять всех, кто неосмотрительно приближался к ней, Минна Херцлиб — сам Эрот придумал эту фамилию, — и даровитая, таящая пламень под личиной холодного прекраснодушия Марианна Виллемер, с которой он вновь стал Вертером, правда, умудренным годами и застрахованным от поражения. Но все самое нежное, трепетное и одухотворяющее сосредоточилось в его последней любовнице Ульрике Левецов, нет, все же не любовнице, хотя были и поцелуи и объятия, такие пылкие! — а ведь ей всего девятнадцать, это он, седовласый, разбудил невинное создание для чувственной любви. Да будет с ним лишь она, одна она, во всех последующих превращениях, его душенька, его богиня, которую он вскоре назовет женой перед небом и людьми.

Гёте не сомневался в чувстве девушки, да и не было такого, чтобы его страсть не вызвала ответной страсти. Даже Шарлотта Буфф, кладезь немецких добродетелей, невеста честного Кестнера, олицетворение долга, порядочности, житейной трезвости и расчета, потеряла на миг голову, ясную и озабоченную голову, спокойно и прямо сидевшую на крепких плечах юной хозяйюшки большого дома овдовевшего отца, и так ответила ему на воровской поцелуй, что сладостный его яд обернулся выстрелом Вертера.

И все-таки тогда он потерпел поражение. Впрочем, он сам отступился от Шарлотты — из дружеской преданности к Кестнеру, так это выглядело, на деле — все из той же самозащиты, ведь, разрушив их помолвку, он брал на себя обязательства, которых втайне страшился, как и всю жизнь страшился официального закрепления связи: он и на брак с Христиной решился после восемнадцати лет совместной

жизни, когда погасла страсть и вошел в возраст сын-бастард. А сейчас он открыто и радостно готовился к таинству брака, призванного увенчать его последнюю и самую большую любовь. Правда, последняя любовь всегда казалась ему самой большой, то было заблуждение незрелости, но в семьдесят четыре года человек не обманывается в своих чувствах. Благодетельная природа сотворила для него великое чудо, воскресив его сердце, наделив второй молодостью, не только душевной, но и физической. «У нас будут дети! — думал он горделиво. — И я уже не упущу их, как упустил бедного Августа».

В Ульрике с ее тугими локонами, удлиненными, широко расставленными глазами, глядевшими то с детским доверчивым удивлением, то с пронизательностью мудрой, хотя еще не осознавшей себя души, таинственно сочеталась наивная непосредственность с той глубокой женственностью, что важнее опыта и ума. Без этого дара женский ум даже высшего качества сух, бесплоден и несносен. Вечно женственное обладает бессознательной способностью проникать в скрытую суть вещей и явлений, перед его интуитивной силой пасует просвещенный, систематический ум мужчины.

В Ульрике поражала отзывчивость — на мысль, слово, чувство, прикосновение. Ее все захватывало: минералогия, ботаника, зоология, физика, химия, лингвистика, история; никому и никогда не излагал Гёте с таким удовольствием и уверенностью, что его поймут, свою теорию цвета, как этой девятнадцатилетней девочке; а как обрадовала и воодушевила ее идея о прарастении, над которой все издевались, — видимо, тут что-то соответствовало ее жажде цельности и художественной завершенности мироздания; музыка и стихи слезили ей уголки широко расставленных глаз, а когда Гёте прикасался губами к ее ароматной головке, она вздрагивала, прижимаясь к нему легким телом, сжимала отвороты его сюртука и полуоткрытым, прерывисто дышащим ртом искала его губы. Если б он меньше любил Ульрику, то сделал бы своей, но зачем ему ворованное наслаждение, раз они скоро свяжут судьбы?

Никогда, даже в расцвете лет, Гёте не пользовался таким успехом у женщин, как в пору, которую люди слабодушные и невыносливые считают угасанием, хотя, быть может, только тут человеческая личность находит свое окончательное воплощение. И потому разница в возрасте ничуть

не смущала Гёте — он был уверен в себе и в Ульрике, и если попросил великого герцога Веймарского быть его сватом, то единственно из легкого недоверия к г-же Левецов. Конечно, Пандора была его другом весьма нежным, она знает ему цену и, надо полагать, осведомлена о чувствах своей дочери, но кто поймет этих мамаш! Может, у нее на примете другой претендент, не уступающий Гёте ни богатством, ни положением, но обладающий — в глазах глупцов — преимуществом молодости; нельзя исключить и чисто бабьего расчета: Пандоре может взбрести в голову, что бывшему возлюбленному уместнее взять в жены ее, коли уж приспичило жениться, а Ульрику получить в дочери — с бюргерской точки зрения это куда естественней; наконец, она может возревновать к дочери или просто не поверить в окончательную серьезность намерений «старого ловеласа», каким считает его курортное общество, или же посчитать молодой блажью склонность дочери к седому поэту. Короче, нужна гарантия серьезности, чистоты и достоинства его намерений. Державный сват явится достаточно веским поручителем.

Старый бурш, как называл Карла-Августа умный и насмешливый Меттерних, был одним из самых взбалмошных, распущенных и непутевых немецких князей; любивший пуще души охоту, вино, баб и войну, он к старости не только остепенился, но удивительным образом преуспел во всех своих непродуманных начинаниях. Ввязавшись в войну с Наполеоном, испытав жестокое поражение, позорное бегство, потерю всех земель, он в конце концов оказался в стане победителей, а его заштатные владения расширились и стали Великим герцогством; сочетая распутство с многолетней влюбленностью в красивую, но малоодаренную и вздорную актрису Ягеман, он, овдовев, женился на ней и возвел на великокняжеский трон; проведя полжизни на кабаньей и оленьей охоте, беспощадно вытаптывая крестьянские поля, он вдруг дал своей стране конституцию и привлек к управлению третье сословие; то ссорясь, то мирясь с Гёте, сместив его в угоду Ягеман с поста директора театра, он сумел намертво привязать «величайшего немца» к Веймару, превратив свою крошечную столицу в духовный центр Европы, место всесветного паломничества, и, наконец, не только сохранил при своей особе многолетнего друга-врага, но даже оказался его доверенным лицом в самом деликатном деле. Что это — набор случайностей, стечение обстоятельств, колдовство, влияние



тайных сил или характер? Наверное, тут намешано всего понемногу, но в одном не откажешь Карлу-Августу, — в отличие от всех немецких князей он способен быть не мелким.

Гёте хотелось так думать сейчас. Чем крупнее казался ему Карл-Август, тем сильнее вера, что посольство его удастся. А разве может оно не удастся? Неужели Пандора не поймет всех выгод этого брака — и сейчас, и особенно в будущем?

Благообразное лицо Фридриха, исполненное почтительного внимания, напомнило ему, что так и не получил ответа на свой шутливо-странный вопрос.

— Я, кажется, спросил вас о чем-то, Фриц?

— Не смею беспокоить ваше превосходительство своим недостойным любопытством, — с политической уклончивостью, достойной Меттерниха, отозвался Фридрих.

— Напрасно, Фриц. Вы живете в моем доме, и вас не могут не интересоваться предстоящие перемены. Так вот, друг мой, ваш господин женится.

— Разрешите принести свои поздравления, ваше превосходительство.

— Спасибо, Фриц. Я уверен, что вы сами давно обо всем догадались. Вы тонкая бестия, Фриц.

— Премного благодарен, ваше превосходительство, — поклонился слуга.

Своеобразный демократизм Гёте состоял в том, что он относился с интересом к каждому человеку и уважением — к каждому труженику, если тот знал свое дело (Фридрих был образцовым слугой), но как только эти люди собирались вместе для любого действия: протеста, защиты своих прав, тем более восстания, участия в каком-то выборном органе или даже для выражения верноподданнических чувств, — как тут же становились для Гёте толпой, и он со смаком повторял изречение Аристотеля: «Толпа достойна умереть прежде, чем она родилась». Было вне сомнений, что Фриц никогда не сольется с толпой, презирая ее своим лакейским сердцем едва ли не сильнее, чем его господин — бюргерским, и Гёте испытывал к нему ту полноту доверия, которая позволила говорить о вещах интимных. А сейчас он как никогда нуждался в собеседнике, чтобы заговорить растущую тревогу, поскольку Карл-Август задерживался.

К сожалению, Фридрих был слишком вышколенным слугой и слишком осторожным человеком, чтобы позво-

лить втянуть себя в чересчур доверительный разговор, о котором хозяин рано или поздно пожалеет. Гёте сердила лакейская хитрость Фридриха, хотя он понимал, что ничего иного нельзя ждать от человека, всю жизнь находящегося в услужении. Было бы дико, если б Фридрих вспыхнул вдруг захлебной откровенностью своего тезки Шиллера или рассыпался в доверительно сентиментальных сарказмах Гердера.

— Жизнь нашего дома изменится, Фриц, сильно изменится! — Гёте распахнул свои огромные пламенные глаза, словно пораженный величием предстоящих перемен, но не поколебал каменной невозмутимости лакея. — Молодость войдет в наш дом, Фриц! — неискренним — от раздражения — тоном продолжал Гёте. — Нам обоим придется помолодеть.

— Ваше превосходительство и так хоть куда! — отважился Фридрих на уместную, как ему подумалось, фамильярность. — А мне поздновато.

— Что вы мелете? — вскинулся Гёте. — Вы же моложе меня на шесть лет.

— Не равняйте себя с другими людьми, ваше превосходительство. У вас другой счет времени.

— Что это значит, Фриц? — серьезно спросил Гёте, пораженный замечанием лакея, которое не могло родиться в его черепной коробке.

Фридрих и сам почувствовал, что высказал нечто сверх своего разума, но, доверясь странной несущей силе, продолжал, не вдумываясь в смысл произносимых слов, входивших в него словно из нездешнего бытия:

— Вы каждый день проживаете целую жизнь, ваше превосходительство, но время не имеет над вами той власти, что над другими людьми. Для вас у него иная длительность. Вы не старше меня на шесть лет, а моложе на четверть века. Время — не абсолютная категория, ваше превосходительство.

«Этот шельмец обставит меня в каком-то очередном воплощении», — с досадой подумал Гёте.

— Как можете вы все это знать, Фриц? Где вы набрались такой премудрости?

«А и верно, где? — удивился Фридрих. — Черт его знает, что лезет в башку! Надо подтянуться. Не хватало еще слуге наставлять господина. Такого господина!.. Это плохо кончится. Но и господин тайный советник хорош — зачем принуждать подневольного человека к неподобаю-

шим рассуждениям?» У каждого свои обязанности, его, Фридриха, дело — чистить платье и убирать в комнатах, а для умных разговоров есть господин Эккерман. Хорошо бы улизнуть. Иначе попытка доверием до добра не доведет.

Фридрих так и не понял, откуда явилось спасение. Но взгляд пламенных глаз, ставший вдруг нестерпимым, словно ему открылось нечто, недоступное зрению простого смертного, соскользнул с его скромной особы, унесся высь и потерялся там, а широкая белая кисть Гёте дважды сделала нетерпеливый и недвусмысленный жест, означавший: пошел вон!

Фридрих поспешно ретировался, благословляя неведомого избавителя, но и чуть досадуя на старческие причуды своего господина, прежде за ним не наблюдававшиеся.

А Гёте видел Ульрику. Видел так ошеломляюще ясно и материально, что на мгновение ему почудилось, будто он может коснуться ее рукой и ощутить тепло округлой щеки и розовой просвечивающей мочки. Он видел черные точки в кобальтовых радужках, ямку в уголке губ, приютившую горошину темной родинки; двойная нитка кораллов обвивала стройную шею и убегала за обшитый кружевами корсаж. Жаркое легкое девичье дыхание чуть вздымало и опускало шелковую ткань на груди, и он застонал, потому что благодать облика его любимой стала болью. Как мог он сравнить ее с другими, кто промелькнул прежде в его жизни, точно с этой его любовью могли сравниться все прежние бедные влюбленности. Да, всего лишь влюбленности, потому что любил он впервые. Наверное, так и должно быть с тем, кого природа лишь насыщала и совершенствовала с годами, ничего не отнимая, кроме заблуждений, и укрепляя в главном — творческой силе и даре любви.

— Его королевское высочество!.. — голос Фридриха, грубо ворвавшись в очаровательную тишину, будто подавился самим собой, — знать, принц оттоякнул слугу от двери.

— Я никудышный сват, — вскричав Карл-Август. — Напрасно вы доверились мне.

Гёте поглядел на красное лицо старого кутилы и борзятника с узкогубым брезгливым ртом, так не соответствующим жизнерадостному настрою своего владельца, с цепкими, очень неглупыми глазками и не понял смысла сказанного.

— Простите, ваше королевское высочество...

— Ох, старина, хоть бы в такую минуту — без китайских церемоний! — с досадой сказал Карл-Август.

Его раздражал принятый Гёте с некоторых пор обычай величать его этим пышным титулом; мнимая почтительность скрывала дерзость, ибо устанавливала между ними дистанцию, которую герцог не признавал, стремясь вернуться к прежней короткости, но старый упрямец неизменно отталкивал его от себя.

— Слушаюсь, ваше королевское высочество...

— Несносный старик! — в сердцах сказал Карл-Август. — Так получайте: вам отказали.

— Что это значит? — отшатнулся Гёте.

Герцог посмотрел на задрожавший рот, на смятение, охватившее величавое еще миг назад, прекрасное лицо, и впервые по-человечески пожалел Гёте.

— Пандора открыла свой ящик... Правда, сделано это было весьма деликатно, не придерешься, но гады выпущены на волю. А если без иносказаний — мне объяснили, что Ульрика слишком молода и сама не знает своего сердца. Ей нужно время, много времени, чтобы разобраться в собственных чувствах.

— Но Ульрика?.. — Почему не спросили ее?

Карл-Август колебался. Он думал, что Гёте примет отказ с большим мужеством и гордостью и не захочет знать подробностей этой, в общем-то, унижительной истории. Он отошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу и услышал первые такты «Турецкого марша» Моцарта.

— Я не знаю, — он говорил, стоя спиной к Гёте, — было ли у них отрепетировано заранее или старая Левецов решилась на экспромт. Конечно, на экспромт, хорошо подготовленный. Ваше предложение не явилось для нее неожиданностью, она ждала его. Смутила лишь фигура свата. Но отдадим должное Пандоре — она быстро овладела собой и сама позвала Ульрику.

— И Ульрика?..

— Сказала, что всегда относилась к вам только как к отцу.

— Но это неправда!..

— Ах, старина! Вы же сами знаете, каким влиянием пользуется Пандора на свою дочь. Ульрика — мягкий воск... Если б мать захотела, Ульрика сразу поняла бы, что ее привязывает к вам совсем не дочернее чувство. Но у матери другие планы, и бедная девочка всерьез поверила,

что дарила вам лишь детские поцелуи. Ульрика совсем не бунтарка, ее очарование — в готовности принять любую форму. Этим она вас и прельстила. Но авторитет матери выше. Поймите это и смиритесь. Господи, да что, на ней свет клином сошелся? Кругом столько красоток!..

Гёте не отвечал, и Карл-Август, незаметно для себя перешедший на игривый тон, бодро обернулся, но то, что он увидел, потрясло его крепкую солдатскую натуру. Вместо величавого вельможи перед ним был согбенный старик с пергаментной кожей обвисшего лица и потухшим взором.

— Боже мой!.. Что с вами? — вскричал пораженный Карл-Август. — Нельзя же разваливаться из-за юбочки! Да будьте мужчиной, черт побери! Вы испытаны в страстях, как оперная дива, возьмите себя в руки!..

Гёте молчал.

«Похитить Ульрику и обвенчать их тайно! — пронеслось в голове старого бурша. — А хрычовку мать припугнуть, чтобы не подымала шума. Да не пойдет на это наш поэт. А жаль!..»

— Может, тряхнем стариной? — предложил Карл-Август. — Помните, как мы повесничали в старое доброе время? Плюнем на этот тухлый Мариенбад и махнем в Вену. Инкогнито.

— Вы очень добры, ваше королевское высочество, — послышался тихий, но уже окрепший голос. — Примите мою глубочайшую благодарность, а также искренние извинения, что я обременил вас столь неловкой просьбой, но я должен сам объясниться с Ульрикой.

«Он будет жить! — восхитился Карл-Август. — Это железный старик!»

... Весемь дней осаждал Гёте Ульрику Левецов, и лучше не было бы этих восьми дней в его жизни. Он оставил попытки говорить языком страсти, ибо Ульрика тут же превращалась в обиженного несмышлениша. Он укротил чувство и положился на разум. Бесплодное и мучительное занятие: подавляя крик боли и страсти, доказывать девятнадцатилетней девушке языком железной логики полезность и даже необходимость брака с семидесятичетырехлетним стариком. Изощряясь в казуистике, он вбивал в хорошенькую смекалистую головку мысль о тщете, безнадежности сопротивления избирательному сродству, так открыто заявившему о себе в их случае. Потраченного им ума, вдохновения и волевого набора хватило бы, чтобы

закончить вторую часть «Фауста», растянувшегося на всю его жизнь, но великое, изощреннейшее витийство разбивалось о глухое упорство девушки, не желающей покидать страну, название которой *юность*.

Впрочем, Гёте казалось, что Ульрикой правит не внутреннее веление, а посторонняя сила, которую можно одолеть, ибо неодолимо лишь то, что вне рассудка, вне разума. Пророк Моисей говорил, что ему ведомо все, кроме одного — что происходит в голове сумасшедшего, поэтому тут кончается его власть. Сфера чистой эмоции сродни безумию, она непостижима и неуправляема, но Ульрикой, как он думал, двигала чужая воля. Он отнюдь не преуменьшал влияния Пандоры; у нее были преимущества места — всегда рядом с дочерью, — пола и крови. Перед всем этим оказывается бессилён ум. Ну, а сила личности, а гениальность?.. И он стал гениален, отдав этой девочке больше, чем всему «Западно-восточному дивану», но не продвинулся ни на шаг, хотя чувствовал порой, как загорается ее отзывчивая душа. Что-то намертво развело их. Что?.. Нет смысла ломать голову. Пандора могла выпустить из своего ящика таких гадюк, что и думать о них противно. Но зачем это нужно Пандоре? Быть может, она боится, что необузданный Август и далеко не кроткая Оттилия разрушат помолвку или сделают жизнь его молодой жены невыносимой? Такая тревога оправданна. Но почему бы ей не сказать ему об этом? Он бы ответил прямо: я возьму в руки кнут и усмирю их. Я никогда этого не делал, но сделаю ради Ульрики. Может, объясниться с Пандорой, развеять ее материнское беспокойство, дать какие-то гарантии? Этого не принимала душа. Получить Ульрику в результате сговора? Да будь дело только в его семейных сложностях, практичная г-жа Левецов давно бы навела разговор на волнующие ее обстоятельства, но она и не подумала этого сделать. Нет, она просто не хочет его для своей дочери, и все тут! Осилить ее можно было бы лишь с помощью Ульрики, но ту словно подменили. Неуловимая, недоступная и оттого лишь более желанная, она утратила свою горячность и непосредственность, стала рассудительной, осторожной, контролировала каждое слово, каждый жест. Даже позволяя порой увлечь себя мыслью, образом, полетом воображения, она все время оставалась начеку. Когда же ему изменяла выдержка и он не мог сдержать гневной боли, она остужала его чужими, заученными словами:

— Не надо сердиться. Будьте моим добрым, мудрым другом.

И он отступился, поняв, что ему не пробиться к маленькому, сжавшемуся в тугой комок сердцу...

Прощаясь с Ульрикой перед отъездом — карета ожидала его у дверей, — Гёте заметил промельк смятения в кобальтовых, с черными крапинками глазах: пусть на мгновение, но тайная душа ее проговорилась о чем-то таком, чего не знало дневное сознание девушки. И в недобром прозрении он сказал:

— Если б вы были только красивы, только очаровательны и по-женски умны, Ульрика!.. Я был бы спокоен за ваше будущее. Но вы слишком значительны и слишком глубоки для обычной женской доли. Вы еще сами не понимаете этого, но когда поймете, будет слишком поздно. Вы обрекаете себя на безбрачие, бедное дитя мое. Нет ничего грустнее бесплодной смоковницы. Прощайте, мы никогда больше не увидимся.

Ульрике было грустно расставаться с Гёте; до чего же нелепа жизнь, если нельзя сохранить его в качестве друга, собеседника, наставника, нет, главное, в качестве друга, очень, очень близкого друга! — ей так нравилось целовать темные огненные глаза, заставляющие забывать о его годах, но прощальная угроза задела женскую гордость, и, хотя у нее хватило вкуса, такта и снисхождения промолчать, даже потупить с печальной покорностью: мол, что поделаешь, раз такова моя участь, — в душе она посмеялась над пророчеством Гёте, не знавшего ни о смуглом кудрявом сыне соседа-аптекаря, ни о байроническом гофрате из Дрездена, с которым она познакомилась на последнем балу, дав из-за него отставку стройному, элегантному геттингенскому студенту...

Чуть приоткрыв занавеску Ульрика смотрела, как старый рослый лакей Фридрих тяжело подсаживал в карету своего будто обезножившего господина.

— Бедный, бедный дедушка!.. — вздохнула Ульрика, рассмеялась и вдруг заплакала...

... Трясущийся на козлах рядом с кучером Фридрих с тоской поглядывал на корчмы, трактиры и гостиницы, то и дело мелькавшие по сторонам дороги. Курортный край был насыщен первоклассными заведениями, где усталый путник мог утолить жажду и голод, дать отдых истомлен-

ным членам. Они находились в пути уже более семи часов, а Гёте и не думал дергать за шнурок, конец которого был привязан к мизинцу Фридриха.

Конечно, любовный голод вытесняет мысли о пище телесной, и г-н тайный советник в своем теперешнем-состоянии не вспомнит о грубой материи жизни до самого Веймара. Но Фридрих не был ни влюблен, ни отвергнут, в животе у него урчало, глотку саднило, а голова упрямо клонилась к груди, но голод и жажда отгоняли спасительный сон. Не знал сердечных ран и кучер, но этот здоровяк с каленым лицом настолько привык к дорожным лишениям, что в нем не найдешь союзника. Надо полагать, что и ехавший сзади в двухместной карете секретарь тоже не понес любовного поражения, но разве осмелится он потревожить высокий покой или скорбное томление г-на тайного советника! Оставалась одна надежда на малорослых лошадок с лоснящимися крупами. Крепенькие и резвые, но порядком забалованные, они привыкли к бережному отношению и недвусмысленно выражали свою обиду, то и дело сбиваясь с ходкой рыси на фальшивую трусцу, и кучеру приходилось покрикивать на них и даже взмахивать кнутом. Это ненадолго помогало, но, когда он по-настоящему пустит его в дело, лошадки наверняка взбунтуются.

Фридрих вообразил себя лошадью, уже восьмой час идущей в упряжке, взявшей с натугой множество подъемов, круто осаживавшей на спусках, отчего хомут налезает на уши, он ощутил напряжение в паху и подмышках, лому в крестце, услышал, как екает в брюхе селезенка и как зудит кожа, накусанная слепнями, чешутся глаза, облепленные мелкими мушками, — проклятые твари норовили выпить зрак, и Фридрих сгонял их, хлопая жесткими ресницами; ягодицы ему натерла шлея, он ерзал, чтобы утишить резь; огромный, шершавый, заочневший язык не помещался в пересохшем зеве, и он свесил его наружу через нижнюю губу... Тут кучер, видать, дернул вожжу. Фридрих, послушный конь, хотел взять вправо и чуть не свалился с козел. Он очнулся и обнаружил, что его дергают за мизинец. Они тащились мимо старой гостиницы с потемневшей от времени черепичной крышей, замшелыми деревянными стенами и черными кирпичными трубами, исходившими сытым дымом.

— Стой! — гаркнул Фридрих и на ходу соскочил с козел. Он оступился, подвернув ногу; прихрамывая, заковылял к карете, но тут дверца распахнулась и г-н тайный



советник молодо прыгнул на землю, не дожидаясь, когда Фридрих опустит ступеньку. Из второй кареты уже спешил секретарь, на его узком бледном лице Фридрих увидел отражение собственной ошеломленности. Только с г-ном Гёте возможны подобные превращения: его плоть обладала куда большей пластичностью, нежели у доктора Фауста, с которым он так долго возится, тому понадобилось заключить сделку с нечистым, чтобы вернуть молодость, и бесконечно долгие годы, чтобы вновь ее изжить, — г-н тайный советник в течение одного дня мог стать дряхлым старцем и вновь возродиться юным, подобно фениксу, из пламени внутренних сил.

Бодрый, свежий, словно не испытывавший крушения надежд, не похоронивший любви и не намаившийся более семи часов в тряской карете без пищи и питья, он быстро зашагал к гостинице, на ходу отдавая распоряжения:

— Устройте нам вкусный ужин, Фриц. На закуску двадцать устриц. Проследите, чтобы подали свежайшие. И холодный мозельвейн. — Затем секретарю: — Вы взяли свои письменные принадлежности?.. Отлично! Мы пройдем в гостиную и кое-что запишем. Фриц, велите подать туда по кружке светлого. И сухих вяленых рыбок.

Позже, когда Фридрих пришел доложить, что ужин подан, секретарь читал своим мелодичным голосом, так нравившимся г-ну Гёте, только что записанные под диктовку стихи, сочиненные, как понял слуга, в карете. Вот почему они так долго не делали привала.

.....  
Там у ворот она меня встречала  
И по ступенькам шатким в дом вводила.  
Невинным поцелуем провожала,  
Вдруг кинувшись вдогон, иной дарила.  
И образ тот в движенье, в смене вечной  
Огнем начертан в глубине сердечной...

Фридрих не любил стихов, но тут пожалел, что не слышал начала.

— Любопытно, — сказал Гёте секретарю, у которого подозрительно поблескивали глаза. — Возраст все-таки чего-то стоит. В юности понадобился «Вертер», чтобы уцелеть, сейчас обошлось одним стихотворением.

... Ульрика Левецов прожила очень долгую жизнь. Она дотянула до нашего века. По свидетельству современников разных поколений, она до седых волос сохраняла тонкую юную красоту, и даже в глубокой старости лицо

ее удивляло трогательной миловидностью. Пророчество Гёте сбылось — она так никогда и не вышла замуж; на могильной плите почти столетней старухи было выбито: «Фрейлейн Левецов». В женихах не было недостатка, иным удалось затронуть ее сердце, другим — разум, понимавший, что пора наконец сделать выбор и зажечь естественной и полноценной женской жизнью. Но что-то всякий раз мешало, останавливало у последней черты. Быть может, память о старике с огненными глазами, но кто это знает?

Пушкин проснулся мгновенно и таким свежим, будто не было одури семичасового сна. И сразу почувствовал свое худое, крепко стянутое в суставах, горячее тело. Он спал голый, под одной лишь простыней, да и та неизменно сбивалась комом в ногах, а утра последних майских дней слюдили приморозком распахнутое окошко, и все же кожа была так сухо-горяча, будто ее нажарило летнее солнце. И до чего же приятно водить прохладными ладонями по мускулам груди и узким бедрам, остужая тело и согревая руки, и знать, что это ты, твоя суть, которой ты хозяин и верный слуга.

Он вскочил резко, упруго и бесшумно, как хищный зверь, окунул полотенце в ведро с водой, стоявшее в тумбочке ночного столика, и обтерся с головы до ног. Натягивая панталоны, носки и рубашку, он прислушался к тишине спящего лица.

За перегородкой крепко спал уравновешенный, спокойный Пушин, он просыпался на том же боку, на каком и засыпал, но снились ему неизменно — по собственному признанию — нагие девы; тихо дремал Дельви́г, днем он пребывал в полусне, ночью — в полуяви; беспокойно и шумно — с возгласами, бормотаньем и всхлипами — спал Кюхельбекер; образцово спал аккуратный Корф и барственно, с носовыми руладами — сиятельный Горчаков. Каждый спал, как умел, по устройству своему, привычке и жизненному положению, но сейчас важно было другое: как обошелся Морфей с дядькой Леонтием.

Дядька спал всегда по-разному, и порой казалось, что он — вольно или невольно — пародирует сон воспитанников. То он дремал вполглаза в Дельви́говом пошибе, то выл, вскрикивал, рыдал и хохотал почище самого Кюхли, то был сдержан, как Модест Корф, то разливался самоуверенной княжеской трубой. Это зависело от того, сколько и чего было выпито на протяжении дня — крепость и качество напитков по-разному окрашивали его сон. Сейчас Леонтия не было слышно, но в каком образе он пребывал: безопасном или чутком — сказать трудно...

В последнее мгновение Пушкин все же чуть не остался дома, и, конечно, не из страха перед дядькой. Он случайно глянул на конторку с оглодками перьев и черноизмаранным листом бумаги — незаконченный ноэль, который он обещал прочесть вечером друзьям своим — гусарам. Но образ ждущей, обмирающей от страха, трепещущей Натальи пересилил.

Держа башмаки в руках, Пушкин осторожно отворил дверь. Его комната была крайней по коридору и находилась рядом с каморкой дядьки. Дверь туда была открыта. Леонтий спал непробудным сном. Значит, нагрузился предостаточно отечественной сивухой — лишь ей удавалось так вот, намертво, укладывая крепкого к выпивке дядьку.

Пушкин обулся и бесшумно направился к двери в другом конце коридора. Несмотря на ранний час, многие лицеисты не спали. Кто-то молился — монотонно и упрямо, кто-то напевал сквозь зубы, видимо бреясь, кто-то бормотал стихи. И рифмованные строчки, как всегда, приманили Пушкина. В каждом молодом стихослагателе он чувствовал брата, даже в гладеньком и чем-то гаденьком Олосеньке Илличевском, даже в кривляке Яковлеве, хотя его поэтические опыты были случайны и ничтожны, не говоря уже о близком всей кровью, одаренном, пусть и чертовски ленивом Дельвиге или благородном безумце и добряке Кюхле.

Пушкин верил: когда господь еще качал колыбель новорожденного человечества, люди говорили стихами — это проще, красивей и более соответствует высокой, неуниженной сути человека, нежели спотыкливая проза. Лишь когда человек окончательно отвернулся от неба и утратил свободу духа, он перестал петь свои мысли и чувства и забормотал презренной прозой. Еще в Гомеровы времена речь людей была ритмически оперена, хотя гекзаметр являет собой первое движение в сторону прозы. Адам и Ева до грехопадения разговаривали четырехстопным ямбом, самым легким, воздушным из всех размеров. С тех пор люди мучительно продираются друг к другу сквозь корявую, затрудненную прозу, ничем не помогающую говорящему и слушающему — ни ладом, ни полетом, облегчающими схват нужного слова, ни ритмом, строящим речь. Но придет время, и люди опять заговорят стихами, и то будет возвращение изначальной гармонии.

Наверное, память о праречи человечества и заставляет

юные, послушные естественным велениям души выражать себя через поэзию. Вот и Олосенька, зная, услышал тайный зов. Пушкин сдержал шаг возле его двери и прикоснулся слухом к журчанию ручейкового гладкозвучия. Но слово «древо» в описании отнюдь не библейского, а чащобного, прелого, мохового русского леса мгновенно обозлило его (неужели, живя посреди царскосельских садов, Илличевский так и не научился различать деревья?), а дикий глагол «вопить» заставил по-обезьяньи вздернуть верхнюю губу и отскочить прочь.

Он оказался против комнаты самого незадачливого и непризнанного из лицейских поэтов — Кюхля. В отличие от других воспитанников, Пушкин не чувствовал отвращения к корявой музе Вильгельма, хотя с присущей ему внушаемостью нередко поддавался соблазну злоязычия и отпуска в адрес доверчивого и влюбленного в него друга «вицы», выделявшиеся среди поверхностного лицейского острословия не только своим ядом, но и способностью намертво западать в память. И бедный Кюхля претерпел от понимающего его и даже по-своему ценящего Пушкина куда больше уязвлений, нежели от всех остальных остряков-недоброжелателей.

Со всегдашним чуть досадливым сожалением прислушивался Пушкин к тяжеловесным виршам — Кюхля словно камни ворочал. Казалось, надо особенно расстараться, чтобы из несмети слов выбрать самое неуклюжее, угловатое, не терпящее никакого соседства. Как же должен он любить поэзию, если способен на подобный сизифовой безнадежности труд!

Если б мне слова и созвучия давались с такой мукой, я бросил бы поэзию. Каждое стихотворение, когда оно отделилось от автора, — это что-то живое, несущее бремя собственного существования. А Кюхля знай себе плодит уродов. Какое мужественное, бесстрашное и стойкое сердце! Его обвиняют в подражании Клопштоку. Но разве у нас нет отечественных бардов, не уступающих немецкому поэту непроворотом громоподобных словес? На каком страшном, дремучем языке писали не только замордованный всеми Третьяковский, но и такие властители дум, как Сумароков, Петров, Озеров и даже великий Державин, чья колоссальная художественная сила продиралась сквозь трясины и бурелом чудовищных слов. А разве нынешние лучше? Один напыщенный и темный, как могила, Ширинский-Шихматов чего стоит?..

Кюхля глух, как тетерев. Может, и другие российские пииты туги на ухо и не слышат живой народной речи? Вот упоительный Батюшков и Жуковский, чье вдохновение вспыхивает особенно ярко от чужого огня, вовсе не глухи, но они не затрагивают так сердце ревнителя русской поэзии, как дряхлый Державин или допотопный Озеров. А что, если люди просто не узнают поэзии, когда она выражается не высокопарным языком богов, под стать торжественной зауми древних акафистов, а живой человеческой речью?

Беда в том, что литература пошла за Данииловым риторическим велеречьем, за этим сладкоголосым последователем древнего плетения словес и подражателем Екклесиаста, а не за житейщиной пламенного протопopa Аввакума, впоенного здоровой мужицкой речью. Митрополит Даниил обнаруживал свою растерянность перед словом в самой неспособности к отбору, он бессильно громоздил совпадающие понятия: «также клеветещи, осуждаещи, облыгаещи, насмехаещи, укоряещи, досаждаещи...» Так и льется звон-пустозвон, а где смысл, точность, простота, прикосновенность к человеческой душе? То ли дело Аввакум! Вон как обращался к несчастной боярыне Морозовой, потерявшей сына: «И тебе уже неково чотками стегать, не на ково поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке неково погладить, помнишь ли, как бывало?» Ведь, слеза точит, когда повторяешь эти безыскусственные слова.

Ах, господи, стоит ли терять на это время, когда Наталья ждет не дождется в своей каморке! Ждет, а сердечко колотится все сильнее, ведь рядом, через стену, — ее хозяйка, фрейлина Волконская. Эта костлявая коза беспокойна и зломнительна. Ей вечно мерещатся привидения, духи, разбойники и насильники. Но вместо того чтобы запереться покрепче, она в развевающемся капоте выскакивает из спальни навстречу воображаемой опасности в тщетной надежде, что померещившийся ей шум обернется не призраком, а вполне телесным уланом, юным пажом или хотя бы дворцовым истопником.

Пушкин еще раз оглядел длинный коридор, серые двери пронумерованных комнат, где на узких железных кроватях спали юные князья и бароны, отпрыски помещиков и служилых дворян, будущие чиновники, воины, мореходы, поэты, бунтовщики — каждый уже прозревал свой путь, члены незабвенного лицейского братства, и неожиданно для самого себя сказал вслух, хоть и негромко:

— Спи́те, дети!.. Бог да хранит вас!..

И выскользнул за дверь.

Можно было пройти через двор, сунув «тринкгельд» в привычную ладонь швейцара, но Пушкин решил воспользоваться внутренним переходом — через арку и хоры дворцовой церкви. Правда, в темноте там немудрено и шею свернуть, зато меньше риску быть замеченным!

Ему повезло. Двери послушно и бесшумно поддавались легкому нажиму пальцев. В арке с выбитыми стеклами узких окон его хорошо и крепко прохватило студию утренника — снаружи травы и цветы были в седой припушке. Вскоре иней растает и выпарится туманом, а зелень станет зеленой и яркой. Прежде чем нырнуть в густую, пряную, ладанную темь церкви, он посунулся грудью к пустой оконной раме и принес Наталье свежесть подмороженного майского утра.

Пушкин слышал, как испуганно колотилось и обмирало в ней сердце. Он ласкал ее, успокаивал, говорил, что он с ней и не даст в обиду. Хотя что он мог, недоросль, лицеист, которого лишь недавно освободили от унижительного хождения в паре? Пусть только покусятся на его милую! У него острые зубы и когти, крепкие кулаки и дар неоглядной ярости. Но ведь никто не посягает на нее, не мешает их уединению и счастью, и прочь злые мысли!

— Тише, Александр Сергеич, ну, тише же! — молила Наталья. — Ох, Сашенька, погубите вы меня!..

— Почему ты плачешь? — спросил Пушкин. — Перестань! Дай я вытру твои глаза. Ну что ты, глупая?

— Не знаю, — низким от слез голосом сказала Наталья. — Не сердитесь. Я сама не знаю, чего плачу. Хорошо мне с вами, вот и плачу.

— Мы всегда будем любить друг друга, — сказал Пушкин, веря своим словам.

— Да будет вам! — Наташа рассмеялась странным и отчужденным смехом.

Неприятен был этот взрослый смех, отбрасывавший его в детство. Наташа словно враз стала старше, она знала то, чего не знал он, прочно, сознательно и коротко жила данностью. Это было грустно, обидно и скучно. И еще скучнее стало, когда Наташа невесть в какой связи, а может, и вовсе без всякой связи, принялась рассказывать о своей подруге Маше, актрисе на выходах домового театра графа Толстого, и обмолвилась, что она «тяжела» от графского племянника, улана. Было жалко девушку, Пуш-

кин смутно помнил круглое лицо, наивно приоткрытый рот и ореховые глаза, но к жалости примешалось раздражение.

— Тяжела — гадость! Улан ее обрюхатил, — сказал он резко.

— Фу, Александр Сергеевич, ну и язычок у вас! Мы простые и то говорим «тяжела», а вам приличнее выражаться «беременна».

— Брюхата! — вскричал Пушкин. — Неужели ты сама не слышишь? «Брюхата» — полно и кругло, «беременна» — блекот какой-то! А «тяжела» — вовсе мертвечина.

— Ну ладно! — сердито сказала Наташа. — По мне, как ни называйте...

Пушкин резко отстранился.

— Куда же вы? — жалобно спросила Наталья.

— Пора... — сказал Пушкин, чем-то смутно озабоченный. Нет, не бедою Маши и улана, а чем-то другим, возникшим раньше, а сейчас зашевелившимся на дне души, не обретая отчетливого образа.

— Погодите!.. — сказала Наташа и выскользнула из комнаты.

Движения Пушкина были медленны, затрудненны, хотя он и не отдавал себе в том отчета. Ему нужно было поймать какую-то реющую возле виска, тревожную мысль, но это никак не удавалось. Ну и бог с ней! Важная мысль сама всплывает рано или поздно, а неважная — пропади пропадом.

Он вышел в коридор — непроглядно темный после солнечной комнаты Натальи. Вытянув вперед руки, он двинулся к выходу, и тут бесшумным белесым призраком навстречу ему метнулась Наталья. Нежданное виденье ее разом уничтожило возникший было холодок. Пушкин принял ее в свои объятия, ощутил незнакомую худобу под ладонями, в ужасе отстранился, и тут же истерический вопль: «Помогите!» — растерзал тишину дворца. Фрейлина Волконская дождалась своего насильника.

Пушкин стремглав кинулся в долгую тьму коридора, пронизал ее, нигде не споткнувшись, скатился по лестнице и выскочил наружу. Прижимаясь спиной к стене, скользнул под арку и очутился по другую сторону дворца.

Но лишь выбежав в сад, почувствовал он себя в безопасности. Едва ли это приключение сойдет ему с рук. Ей бы помолчать, старой козе, и вкусить от запретного плода, вернее, кочана, доставшегося по ошибке. Небось пере-



положила весь дворец. Теперь пожалуется Елисавете Алексеевне, та — государю, начнется дознание, и, как всегда, подозрение падет на лицеистов. Ему не выкрутиться, да и не умеет он врать.

В парке было сыро солнечно. Чесменская колонна то исчезала, то вычерчивалась в реющем тумане. От пруда тянуло холодом. А высокая лестница Камероновой галереи купалась в солнечных лучах, косо падавших из прозоров меж ветвями старых рослых лип. Не чувствовалось даже слабого ветерка, а листья лип ворочались на черенках, подставляя солнцу то лицо, то рубашку. И уже поблекли пурпурные и лазоревые цветы медуницы, лесного копыльца, значит, всерьез взялась весна.

В стороне Китайской деревни, что за Малым Капризом, щелкал соловей. Да и не просто щелкал, а обучал бою и трелям молодого соловья. Старший был великим мастером, он даже в учебное, замедленное «тех, тех, тех» вкладывал поэзию, а молодой напоминал Илличевского — с легкостью подхватывал любую ноту, выводил любое колленце, но только пусто у него звучало, без тайны и чуда дивного птичьего сердечка, так созвучного сердцу человека. Где творился этот музыкальный урок? Похоже, в сиренях за обиталищем Карамзиных. И сильный полный голос соловья-учителя пронизывал утренний непрочный сон Катерины Андреевны, пошли ей счастья, боже, а мне смирения... Ты предала меня своему умному, образованному, безукоризненному мужу, отдала в его холеные, спокойные руки мое безумное письмо. И он ограничился отеческим внушением с усмешкой почти высокомерной, но лучше бы он вонзил мне нож в сердце. Вы обошлись со мной, как с нашалившим мальчиком. Но я совсем не мальчик. Просто я не умею защищать свое достоинство, зато я умею помнить обиду. Но тебе я все простил, даже свое унижение, а ему не прощу достоинства. Ты ничего не поняла во мне, взрослая женщина. Бог тебе судья. «Быть может, ты восплачешь обо мне!» «Заплачешь», — поправился он. — Нет, «восплачешь», здесь — «восплачешь». Простота поэзии — это не простота прозы...

Он сам не понял, что заставило его мгновенно обернуться и замереть в заслоне толстого ствола. Спасующее движение опередило испуг. Прижавшись щекой к жесткой влажной коре, он с неправдоподобной, словно под лупой, отчетливостью увидел возле Камероновой галереи рослую, закутанную в плащ фигуру императора, треуголку, надви-

нутую на лоб ниже положенного артикулом, но все же не закрывающую бледно-голубых меланхолических и лживых глаз. Белые пухловатые щеки, маленький, надменный, с чуть всосанной нижней губой рот — каждую черточку этого сызмальства знакомого лица разглядел он с зоркостью, дарованной ненавистью.

Пушкин ненавидел Александра всеми фибрами души, ненавидел его двоедушие, позерство, удачливость, глухоту, люто ненавидел этого плац-майора под личиной либерального монарха, сентиментального отцеубийцу и первого лукавца Европы.

Самодержец вел себя странно, он явно хотел остаться неузнанным. Пожалуй, слишком явно. Скрывайся он всерьез, все выглядело бы иначе: можно так закутаться в плащ, что тебя не то что издали, а нос к носу никто не признает, если к тому же заменить примелькавшуюся всем треуголку гусарской фуражкой. Можно, наконец, прятаться за деревьями, а не лезть на свет и не озираться так часто, с таким наигранным, но соблюдающим достоинство смущением. Императору отлично известно, что не только лицеисты, но и дворцовые служители, дежурные офицеры, расквартированные в Царском Селе гусары и уланы ходят в царские сады, как к себе домой, назначая там свидания фрейлинам, актрисам, служанкам, дочкам городских обывателей и даже почтенным супругам их, и весь его условный маскарад гроша медного не стоит, да и не маскируется он вовсе. Во всем лукавец и паяц, он хочет попасться кому-то на глаза и стать героем передаваемой на ушко сплетни, что у галантного императора опять завелась интрижка.

И Пушкин поклялся никому не говорить, что видел Александра в образе любовника, спешащего на свидание. Это будет моей мезьей. Фальшивое видение умрет во мне, и твой оберсплетник врач Вилье не нашепчет тебе о щеко-чущем самолюбие слушке. Кстати, почему в царской семье говорят: «врач пользует»? Откуда такая галантерейщина?! Лечит, лечит, врач лечит, господа, а не пользует! Смутное недовольство, испытанное им у Натали, определилось: в столице государства Российского никто не умеет говорить по-русски — от крепостной горничной до императора, от лицейского стихоплета до первого барда все врут в языке, безжалостно и бепардонно. И все ж язык не умер. Натуральная русская речь, мудро и поспешно обогащаемая общим течением жизни, сохранилась вблизи своих истоков...

Ах, господи, стоит ли трудить всем этим душу в такое чудесное утро!..

Пушкин быстро зашагал, а потом побежал по дорожке вдоль озера, свернул на росную тяжелую траву, забрызгавшую до колен его светлые панталоны, перепрыгнул через скамью и оказался в липовой аллее. Он чуть задержался у Девы, разбившей кувшин, и в который раз подивился изяществу ее горестной позы.

Теперь он мчался по аллее, ведущей к искусственным руинам. Солнечная полоса сменялась тенью, кожа успевала почувствовать прикосновение теплого луча и склепий холод, где застило деревом. Он бежал все быстрее, наслаждаясь ветром у висков и хрустом песка под башмаками и ничуть не боясь, что его обнаружат. На нем была шапка-невидимка, он мог не только носиться по аллеям парка, но и вбежать во дворец, проникнуть в царскую опочивальню и наполнить ночную вазу играющего в блуд императора.

Достигнув опрятных руин, созданных дисциплинированным гением одного из царскосельских зодчих, он повернул назад к пруду, но теперь бежал вдоль аллеи, по траве и желтым цветам. Как быстро менялось все в природе! За немногие минуты трава успела обсохнуть, лишь в манжетках покоились серебристые расплюснутые капли росы, туман рассеялся, и обвитый цепями и стрелами Чесменский столп гордо вознесся над водой, заблеставшей всем зеркалом. И в миг наисильнейшего восторга перед утром и солнцем, перед всем весенним напрягшимся миром и своим причастием чуду жизни Пушкин вдруг ощутил свинцовую усталость. Колени подогнулись, он почти рухнул к сухому изножию развесистого клена.

Случалось, он засыпал легко и быстро, с ощутимым удовольствием погружаясь в сон, но такого блаженства никогда еще не испытывал. Он словно возвращался в защищенность и безответственность своего предбытия. Он был свободен, чист, ничем не обременен, покоен высшим покоем животной безгрешности. Он никогда еще не прятался так хорошо от окружающих и самого себя, как в этот сон посреди разгорающегося царскосельского утра.

Там его и взяли...

Не стражники, не дворцовая прислуга, не первые праздношатающиеся.

Деревья — они были зачинщиками. Они окружили его, шевеля листвою, скрипя сучьями, потрескивая нутром стволов. И он услышал их мольбу: «Назови нас, назо-

ви...» — «Но вы же названы», — удивился он и затосковал во сне. «Не так!.. Не так!.. — мучились деревья. — Наши имена забыты...», «Я вяз, Пушкин, а не дерево» — «А я — клен!..» — «А я — липа!» — «Я — береза!»

Но едва он начал привыкать к грустным и добрым голосам деревьев, как послышался змеиный шип, и малая трава вокруг, обернувшись бескрайним, колышущимся волнами, как и предгрозе, то взблескивающим, то притеняющимся полем, засипела: «И траву не забудь, Пушкин! Я не трава-мурава, я вся разная. А мурава — спорыш!» И зазвенели цветы, зажужжали летучие и ползучие насекомые, и кто-то черный подковылял на широко расставленных ногах и, зыркнув железным зраком, прокартавил: «Я ворон, ворон, а не вран, и я сам по себе, а не вороний муж». И разные морды высовывались из-за деревьев, пилились из травы, нависали с сучьев. Всяк требовал себе настоящего имени, всяк хотел быть назван по существу своему и достоинству, и пруд возжелал из глубины громадного чрева быть поименованным по чину, и сизое облако, и само солнце, и — ради этого на миг посмеркло небо — все ночные светила, а дальше пошло такое, что хоть в голос кричать! «Стойте!.. Пощадите!» Не только живые создания, предметы и явления, но сами обиженные слова долбили в мозг нищенской клюкой, все сущее и подразумеваемое, и называющее суть хотело стать самим собой, воплотиться в точное, не искаженное, не униженное косноязычием или чужеземным налетом слово. И все верили, что ему, спящему мальчику, под силу этот титанический труд.

Он оторнул от себя всю душную навал и вырвался из сна. У него были мокрые глаза. Он вытер их рукавом и вдруг заплакал. Отчего? От провидения судьбы и ноши, ему уготованной? Эта ноша была непосильна его юношеским плечам. Ему хотелось жить, любить Наталью, поклоняться Карамзиной, писать легкие и дерзкие стихи, жалеть старых друзей и восхищаться новыми, побеждать на всех ристалищах, чувствовать в лопатках подъемную силу крыл, а не взваливать на себя грехи всех словообидчиков, не сумевших угадать имена населяющих мироздание. Почему он должен расплачиваться за чужую глухоту? Сблизить слова со смыслом, выловить в хаосе звуков истинные обозначения вещей и явлений, дать литературе живую речь, искаженную непрошеными зашельцами,

церковниками, немецкими профессорами, — разве по плечу такой труд одному человеку?

Он плакал, потому что кончилось детство. Для тех, кто еще томился в душных спальнях на четвертом этаже лицейского здания, для юных честолюбцев, мечтателей, поэтов, умников и простофиль детство продолжалось, он один выделен судьбой. Прежде ему казалось, что детство кончилось, когда он впервые обнял Наталью в тесной ее каморке, но дух его остался волен. На нем не было ответственности, а лишь это и есть взрослость. И что бы он теперь ни делал, как бы ни бесчинствовал, ему не убежать от своей ноши. К трубочному табаку, к искрящемуся шампанскому, к обжигающему пуншу, к сладости женских губ будет примешиваться горечь взятого на себя — когда и перед кем? — обязательства...

...Не только близкие Пушкину люди, но и наблюдавшие его со стороны — в гостиных, на гулянье, в кругу друзей, за пиршественным или карточным столом — подмечали странную особенность поэта вдруг выпадать из окружающего, проваливаться в какую-то угрюмую бездну, куда не достигали голоса живых. И так сделалось с того царскосельского утра, с того вещего сна, когда кудрявый мальчик узнал, кто он и зачем явился.

Уезжая в конце августа 1830 года из Москвы в Болдино, Пушкин отправил Петру Александровичу Плетневу, издателю, поэту и критику, впоследствии ректору Санкт-Петербургского университета, печальнейшее письмо:

«Сейчас еду в Нижний, т. е. в Лукоянов, в село Болдино. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха 30-летнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думая о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери — отседа размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения, — словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает, — а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую

---

\* В Болдине посетителям показывают пушкинскую усадьбу с тщательно обставленным барским домом, конторой, службами, парком. При этом не скрывают, что дом стоял на другом месте и выглядел, скорее всего, иначе, что обстановка собрана по признаку типичности для помещичьего быта средней руки тех давних лет, что парка вообще не было. Но это не мешает тысячам людей благоговейно взирать на приблизительно вычисленный пушкинский мир и чувствовать свое сближение с великой тенью.

Если в мире веско материальном допустимы варианты, тем более дозволены они в сфере духовной. Много неосвещенных углов в болдинском бытии поэта, но со временем, надо думать, все прояснится. Давно уже местным людям было известно имя Февроньи Виляновой, но лишь в последнее время начинает выступать из глубокой тени красивая, рослая девушка, болдинская любовь поэта. У меня нет никаких документальных подтверждений тому, что все было так, как представляется моему воображению, но я твердо убежден (по немногому, ставшему уже известным о Февронье), что связь с этой необычной девушкой не могла остаться нейтральной к самочувствию поэта, к тому поразительному сдвигу в его настроении, который произошел в первые болдинские дни. И я предлагаю свой вариант случившегося, ничуть не менее допустимый, чем материальный вариант пушкинского быта, воплощенный в мемориале «Болдино». (Прим. автора).

сыграем бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню. Бог весть буду ли иметь время заниматься, и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Качановского. Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чорт меня догадал бредить о щастии, как-будто я для него создан. Должно было довольствоваться независимостью».

Со скромной гордостью Плетнев говорил, что был для Пушкина другом, поверенным, издателем и кассиром. Ему посвящен «Евгений Онегин», ни с кем, кроме московского Нащокина, не был Пушкин в зрелые годы так прост, откровенен и доверителен, как с Плетневым. Унылое письмо друга огорчило добрейшего Петра Александровича до слез. У занятого сверх головы литератора мелькнула шальная мысль: бросить все да и махнуть в забытое богом и людьми Болдино. Останавливало одно — Пушкин не терпел непрошенного вмешательства в свои дела, это позволялось — по юношеской памяти — одному Жуковскому. Если надо, Пушкин без обиняков просил своих друзей дать взаймы, защитить от журнальной травли, заступиться перед властями, секундировать на дуэли. Но непрошенного доброхота мог отбрить. Плетнев пребывал в томительной растерянности, когда пришло другое письмо, уже из Болдина, посланное дней через десять после предыдущего:

«...Теперь мрачные мысли мои порассеялись: приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня холера морбус. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще Цензора Щеглова язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я премиленькое письмо: обещает выдти за меня без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву — я приеду не прежде месяца... Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездн верхом, сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы, и стихов»...

Плетнев возликовал: Пушкин доволен, Пушкин спокоен и весел, ему пишется, значит, кончился долгий застой!.. Непонятно лишь, чем вызвана столь внезапная перемена в его настроении. Быть может, его осчастливило «примиленькое письмо» невесты, — готовой обойтись без приданого? Но говорится об этом шутливо, — Пушкин знает, что его избранница не вольна распоряжаться собой. Ему

весело удрать от невесты, он вовсе не спешит на зов: «приеду не прежде месяца». Похоже, и холера ему не холера, это при его-то мнительности! Не трудно вообразить, какую прелесть являет собой затерянная на краю земли глухая разоренная деревушка. Но он радуется, что кругом ни души, что можно до усталости скакать по голой осенней степи. Что ж, остается принять новый образ друга — Пушкин-отшельник, Пушкин-Схимник. Поразительная метаморфоза!..

...От Владимира они взяли направо к Мурому. Прямым было быстрее, но Пушкину не терпелось расстаться с «дорогой в одну сторону», как называли Владимирский тракт, которым, с тех пор как Россия разжилась Сибирью, шли несчастные: осужденные на каторгу, в ссылку и переселенцы. Этой дорогой шли декабристы, шел Пущин — первый друг... И он вздохнул свободнее, когда проклятая Владимирка скрылась из глаз.

Пушкин похвалялся, что проезжает пятьсот верст за двое суток. Как раз столько было от Москвы до Болдина, но дай бог ему доехать за время вдвое больше. Прошли дожди, и дорога, не имевшая водостоков, уподобилась набитому грязью корыту с глиняными стенками. Колеса засасывало по ступицы, старые, костлявые лошаденки, надрываясь, растягивая паха, оскальзываясь стертými подковами, из последних силенок выдирали карету из вязкой глины, — господи, быть русской лошадейю еще страшнее, чем двуногим обитателем богом избранной страны! Пушкина кидало из угла в угол, сбрасывало с сиденья, а по полу елозила, больно придавливая ноги, вместительная шкатулка, обитая черной кожей. В нее он сунул перед отъездом ворох бумаг: черновики, наброски смутных замыслов, разрозненные строки — все, что начинал, бросал или откладывал в последнее, не располагавшее к работе, судорожное время. Манила слабая надежда, что в болдинском уединении на него найдет «дурь», «дрянь», так он называл вдохновение, и хоть какие-то видения обретут завершенную форму.

Случалось, дорога шла на вздым и там крепчала под солнцем и ветром. Ямщик пускал тройку рысцей. Раздражение чуть отступало, он переставал клясть российское бездорожье, алчность будущей тещи, преступную беспечность отца, допустившего разорение болдинской вотчины, и прикивал к окошку. Экая пустота вокруг!.. Леса пропали где-то за Кулебаками, сиротливо сквозили березовые и



осиновые рощицы: редко-редко попадались деревеньки, еще реже — село с церковью и погостом, и хоть бы один прохожий человек!.. И деревни казались необитаемыми, а ведь полевые работы кончены, куда же весь народ подевался? До чего пустынна Россия, как необжиты ее все ширящиеся пространства!..

Дорога пошла под уклон, в низину, и сразу испортилась — грязь, рытвины, ухабы. Пушкин отстаранился от окна. Шкатулка с бумагами вновь заелозила по полу. Он попытался удержать ее своими крепкими ногами завязанного ходока, и какое-то время это удавалось, но потом ему надоело, он поджал ноги. Обретя свободу, шкатулка окончательно разнузданась, она подскакивала под самую крышу кареты. Вышвырнуть вон?.. Жалко, она была верной спутницей в его скитаниях, да и стоит глянуть, что там напихано, прежде чем уничтожить... Почему-то вспомнилось, что Наталия Николаевна равнодушна к стихам. А зачем ей стихи, она сама поэзия. Она ценит в нем не случайный дар, а самую его суть, это лестно, но есть тут какая-то хрупкая неправда. Умный Вяземский говорил о браке первого российского поэта с первой красавицей России, в его словах — глубина. Конечно, достоинство женщины не исчерпывается красотой, а достоинство мужчины — умением рифмовать, но у них особый случай. Она — Мадонна, совершенство, он — поэт, в коем явлен дух России. Он немеет от ее красоты, она зевает над его стихами, а надо бы, чтобы плакала. Если идея, скрытая в словах Вяземского, не воплотится, они будут несчастливы. Наталі еще дитя, ее ум и чувства не развиты, от него зависит... Думать об этом не хотелось. Думать и вообще не хотелось, потому что все нынешние мысли горчили — он переживал неудачную пору. Можно найти утешение в том образе, который он давно лелеял: первый бал. Он входит с молодой женой в бальный зал, трепещущий свет тысяч оплывающих свечей отражается в ее открытых плечах. Все взгляды обращаются к ним. Его некрасивость подчеркнута чистой прелестью ее лица, он кажется еще ниже ростом об руку с высокой женой, но все это ничего не значит, тем больше чести победителю. И как бы ни бесились завистники, как бы ни шипели, ни злобствовали скрытые и явные недоброхоты, все невольно склоняются перед союзом Первого поэта и Первой красавицы. И это будет его реванш...

Еще не померкло в наплывшей мгле сверкание белых плеч Гончаровой, а мысль, неведомыми путями, устре-

милась к угрюмо-важному — к новому бремени, которое он принял на свою шею, согласившись стать помещиком. Иного выхода не было: из литературных доходов ему не извлечь те одиннадцать тысяч, которые загадала будущая теща дочери на приданое, будь оно неладно! Пугала канцелярская волокита, но загвоздка не в ней: рано или поздно он сладит с чернильным племенем, вступит во владение «двухсот душ мужеска пола» и тут же заложит их, да ведь эти крепостные «души» обладают живыми человеческими душами, и теперь он за них в ответе. Тут не помогут волюнолюбивые эскапады бездумной юности. Он — русский дворянин-землевладелец, самой историей поставленный в определенное положение в экономической системе государства Российского. Благополучие помещика и крестьян тесно связаны. Оброк взаимовыгоден помещику и крестьянину, беда в том, что между ними затесался посредник — язва всех поместных отношений, независимо от того, как он называется: управляющий, приказчик, бурмистр или староста. Тяготы Пушкина усугублялись тем, что в болдинских старостах ходил вор Калашников, отец его старой любви Ольги и дедушка курчавого байстрючка с родовыми ганнибальскими чертами. Выгнать «дедушку» не станет духа, значит, надо как-то ограничить его хищническую злодейственность. Калашников разоряет зажиточных мужиков, добрых работников, возлагая на них все поборы и подати, которые должны распределяться между всеми тяглецами. А в пору рекрутского набора ставит в солдаты их сыновей, чтобы содрать выкуп. А ведь рекрутчину можно обратить в регулятор экономической жизни деревни. Сдавать в солдаты надо только бездельников, пьяниц, воров, телесно ущербных, словом, не работников, это очистит деревню, сохранит ее производящие силы и помещает старосте обирать справных мужиков. И тут Пушкин услышал внутри себя дробный издевательский смешок. Опять она?.. С некоторых пор он обнаружил, что в нем поселилась маленькая злая обезьянка. Она может днями, неделями, месяцами не напоминать о себе — и вдруг, в патетическую минуту, в разогреве серьезных размышлений, в подъеме чувств или принятии важнейших решений высунет морщинистую мордку с желтыми острыми зубками и гнусно захихикает. Он негодует, злится, бесится, но это не производит впечатления на ехидную тварь, и кончается тем, что он сам фыркает и обретает свободу — пусть временную — от высоких чувств и размышлений «басом».

В памяти возникла великолепная сцена из шекспировской хроники «Генрих IV», где толстый Фальстаф набирает рекрутов для своего разлюбленного друга принца Галля. Воины Фальстафа носят выразительные клички: Лишай, Бородавка, Мозгляк, Тень! Похоже, он хочет распространить на Болдино метод циничного рыцаря\*.

Можешь скалиться сколько угодно, — сказал Пушкин зубастой насмешнице, — меня не собьешь с толка. Каждому овощу свое время. Нельзя требовать от вчерашнего лицеиста мыслей и чувств зрелого, много изведавшего мужа, и безобразно, если будущий отец семейства сохраняет замашки и образ мыслей легкокрылого юнца. Шестисотлетнее дворянство — не шутка. Пушкины никогда не уклонялись от своего долга ни на бранном поле, ни в совете, ни при дворе, ни в сельских вотчинах... Обезьянка так и зашлась от хохота. Возможно, он немного перегнул: ни отец его, ни дядя отнюдь не обременяли себя заботами о сельских вотчинах. Он призван исправить их упущения. Противно, что все его мысли о браке, семейной жизни с тихими радостями... ну, и с балами иногда, должна же молодая жена ощутить упоение жизни, успех, поклонение, прежде чем дети и дом поглотят ее целиком, — словом, все его скромные мечты о счастье фатально связаны с жуликами управляющими, запашкой, оброком, пьяными, бездельными мужиками, рекрутчиной, закладными, ревизскими сказками, будто он не поэт вовсе, а тот ловкий и дерзкий проходимец, что скупал мертвые души. Прекрасный сюжет, но не для поэзии — для прозы, а это ему покамест не по плечу. Хотя проза давно манит, ох манит, как ни отмахивайся от нее и ни брани «презренной». Если б судьба даровала ему немного покоя, ведь сейчас его за-

---

\* Через несколько лет так оно и станет. Вот список рекрутов, назначенных болдинской экономией в 1833 году:

«Ефим Захаров — течет с ушей

Педышев — рана в ногу

Капралов — желтью болен

Ананьев — палец левой ноги — крючком».

Кроме того, против каждого помечено «вор». Еще двое в списке были чисты от болезней и увечий, но один из них — Сягин — сбежал по дороге в Арзамас от датчика и срылся в лесах.

Вот какие ратники украсили победоносное воинство русского царя. «Помещичьему» периоду жизни Пушкина мы обязаны не только суровыми крепостническими «Мыслями в дороге», но и горестно-упоительной «Историей села Горюхина» и незабвенным образом Ивана Петровича Белкина, подарившего нам пять бессмертных повестей. Как ни корсжит гения — все во благо (*Прим. автора*).

ветная пора, когда вся дурь рвется наружу!.. Да разве отпустит чертова карусель?.. К тому же такой сюжет жалко утеснять в маленькую повесть, а пускаться в даль свободного романа на прозаической ладье — боязно. Покой... покой... Покоя нет, покой нам только снится, — произнес он вслух и подумал, что стоило бы записать, тут пахнет стихами, да поленился — он не был крохобором, и слова забылись. Но не исчезли, они унеслись в пространство волнами безбрежного океана, имя которому эфир; оттуда через много-много лет их выловит чуткое ухо другого поэта и дарует вечную земную жизнь...

Он вернул себе достоинство владельца двухсот душ мужеска пола, когда впереди возник на холме Арзамас лесами строящегося собора. Чем-то Казанский напоминает, — отметилось бегло. В другое время он наверняка бы задержался в старом русском городе, на скрещении важнейших торговых путей, исторических — тож, но сейчас даже не вылез из кареты, когда меняли лошадей. Он уже четвертые сутки находился в пути и не мог медлить.

А на выезде из Арзамаса путь пересекли обозы, тянувшиеся со стороны Нижнего. Оказалось, это Макарьевская ярмарка, удиравшая от холеры, что надвинулась на губернию с низовий Волги. Пушкин вспомнил, что и в Москве ходили слухи о холерной эпидемии, но он не придал им значения. И сейчас не оставалось ничего другого, как махнуть рукой на очередную российскую напасть.

От Арзамаса до Лукоянова, скучного уездного городишки шли хорошо, с ветерком, как любил Пушкин. На последнем же перегоне дорога опять испортилась. К Болдину вел не большак даже, а проселок, тянувшийся по жирному чернозему, последнее могло бы порадовать сердце новоявленного помещика, но ленивые кистеневцы и с этой благословенной земли не собирали достаточно урожая, чтобы уплатить барину положенный оброк. И Пушкин досадовал на жирный тук, превративший дорогу в жидковязкое месиво. Они не катились, а волоклись, плыли, ползли по иссиня-черной грязи. Ко всему из низкой серой тучи безостановочно сочился мелкий дождик, скрывший окрестности, которых, впрочем, и так словно не было. По сторонам ничего не виднелось; ни дерева, ни куста, ни стога сена, только мокрая земля. И так, в сером шепотливом дожде, втащился Пушкин в родовое владение, увидел маленькие, крытые соломой, редко тесом, подслепые избушки, лепившиеся вокруг барской усадьбы, обнесенной зава-

лившимся тыном, и пусто, скучно было на сердце. Вполглаза видел он посыпавшую с крыльца дворню, бородатого старосту Калашникова, мелькнуло бледное лицо Ольги, кажется, она что-то сказала, низко поклонившись, а он пробормотал: «Здравствуй!» На почтительном расстоянии грудились десятка полтора угрюмых мужиков, баб и сопливых ребятишек. Была какая-то неловкая суета, ни во что не обратившаяся; Калашников, смахивая слезы, разевал рот, но слова застревали в бороде и усах, дурманно возник призрак Арины Родионовны — схожая с ней грузностью и крупным лицом ключница. Пушкин поднялся по шатким ступенькам и вошел в дом своих предков. Здесь пахло печами, сыростью от недавно мытых полов, самоваром и сухими травами. Он находился в историческом гнезде Пушкиных, но волнения не чувствовал, было грустно и неловко.

Проснулся он рано. За окнами занимался сумеречный свет непогожего осеннего утра. Шуршал тонкий, редкий, неиссякаемый дождь; так и будет он тихо сеяться весь день на почерневшие соломенные крыши, на жирную грязь, на рано облетевшие деревья, на русые головенки детей, платки баб, гречишники мужиков, на залысую шкуру кляч, на весь этот покорно изнемогающий, забытый богом мир. В воздухе держится влажный белесый кур, застилающий пространство. Из этого кура явятся мокрые, дурно пахнущие староста Михайла и болдинский грамотей, крепостной человек и ходатай по делам Петр Киреев. Первый — для отчета, оправданий и слезливой лжи, второй — в искренней готовности порадеть барину. Не знающий грамоте Михайла будет во всеоружии неопрятных бумаг и ревизских сказок с точным указанием, кому сколько выдано розог за воровство, пьянство, побитие соседа и старухи матери; Петр Киреев небось уже заготовил прошение на высочайшее имя (такова форма) с кудрявыми оборотами, немислимой орфографией и без знаков прегинания, и к этому образцу канцелярского велеречия, взыскующего кистеневских душ, должен будет приложить руку Александр Сергеев сын Пушкин, 10 класса чиновник. Конечно, он не станет разбираться в волшебных ревизских сказках, фальшивых отчетах — все примет на веру, разве что пригрозит Михайле от имени отца лишением доверия, если и впредь будет утаивать и задерживать оброк; не сможет он дочитать до конца бумагу о «введении во владение» и тем заранее отдаст себя в руки своих подчиненных. Впрочем,

о Кирееве он слышан как о честном малом, беда, что русский администратор даже самого мелкого пошиба тяготеет к усложнениям. А блудный тесть — неизбежное зло, тут уж ничего не попишешь. Да бог с ним, авось как-нибудь все уладится. Пусть хоть ненадолго оставят эту прекрасную, дождливую, голую, серую осень с чудными запахами сырых березовых дров, мокрой шерсти и сладкого тления...

Вот так и было, как он представлял себе, без неожиданностей. И виновато-фальшивое искательство Михайлы с промельками дрянной доверительности (тестюшка-дед!), и бодрая готовность поверенного Киреева, и тоска ревизских сказок и списков с добросовестным перечнем всех папок, выданных нарушителям сельской тишины (тут Михайла ничего не врал), и велеречивое прошение, которое он, конечно, подмахнул, не прочитав толком, — образец уездной письменности, где «Птицы и протчие Угодьи» писались с прописной буквы, равно как и чин автора: «прошение в черне сочинил и на бело переписал Крепостной Его человек Петр Александров, сын Киреев». Лишь «человек» шел с маленькой буквы. Впрочем, неожиданность оказалась, ее можно было предвидеть, зная легкомысленный характер Сергея Львовича: вместо того чтобы выделить сыну души цельным имением, не сведущий состояния своих поместий «Чиновник 5 класса Кавалер» отдал ему дворы, разбросанные по всему обширному и беспорядочному Кистеневу. Киреев настоятельно советовал Пушкину ознакомиться на месте с будущими, весьма дробными владениями — новая докука!..

Когда они уже уходили, Пушкин спросил Калашникова, есть ли верховая лошадь. «А как же, барин, небось помним, как вы в Михайловском скакать изволили! — осклабился староста и тут же пустил слезу, намекающую на то, что Пушкин не только скакал по живописным берегам Сороти, но и предавался менее безобидным утехам. — Прикажете подать?» — «Не надо. Я сам. Укажи, где конюшня». Калашников показал. Пушкин натянул сапоги и вышел на заднее крыльцо. Дождь сеялся, как сквозь мелкое сито. За какой-нибудь час его всего измочит до нитки, но не хотелось отступать. Пусть измочит, пусть он схватит простуду, это скрадывает время, задергивает мир туманом жара, и незаметнее минут часы и дни.

Во дворе стоял нерослый, плотно сбитый малый лет семнадцати — на каких харчах он так укрепился? — то ли

дворовой, то ли просто зевака. Сняв драную шапку, он приветствовал барина. «Ты кто такой?» — спросил Пушкин. «А никто,—ответил малый, добродушно улыбаясь.— В карауле ходил. Меня Михеем звать». — «Ну Михей,—сказал Пушкин, ничуть не подозревая, что разговаривает с первым народным пушкинистом, который, все так же добродушно усмехаясь, будет рассказывать людям невообразимого двадцатого века о легендарном для них болдинском барине. — Подсоби-ка оседлать лошадь».

Парень оказался расторопным, усердным и даже хотел посадить Пушкина в седло. Это оскорбило ловкого наездника и демократа, не терпящего угодничества. Но Пушкин удержался от тумака — в движении сытого парня не было низкопоклонства, лишь добрая услужливость младшего старшему. «Не убейся, барин, дорога склизкая», — сказал парень озабоченно. «Я крепок в седле», — и Пушкин тронул коня.

Прогулка не оставила приятного впечатления: опасностей он, правда, избежал, но не в силу своего искусства, а по удивительной робости коня, который слушался повода, лишь когда намерения его и всадника совпадали. А быстрый бег по скользкой грязи его намерениям явно противоречил. Пушкин не признавал хлыста, но тут отломил ветку ивы и стал крепко нахлестывать скакуна. В ответ на каждый удар конь обращал к Пушкину недоумевающее и укоризненное лицо, но шага не прибавлял. «Мужицкая закваска!» — подумал Пушкин и перестал требовать невозможного.

Из всей поездки запомнилась лишь встреча с трудолюбивым селянином в близлежащей рошце. Мужик споро, хватисто и серьезно, как и вообще действуют работающие трезвые крестьяне, когда стараются для самих себя, валил барскую березу. Он поверг ее на глазах подскакавшего всадника и принялся обрубать сучья. Занятия своего порубщик не прекратил и когда Пушкин его окликнул. Оказалось, он слыхом не слыхал о приезде барина. «Нешто б сунулся я в рощу? — истово говорил мужик. — Хотя, вот те крест, ваше благородие, деревцо позарез нужно. Слепнем в темноте, хошь бы лучинку в светлец сунуть!» — «Ради одной лучины ты валишь молодую березу? Ей же полста нету. Вот что, братцы! — сказал Пушкин, словно обращая не к одному лесокраду, а к целой сходке. — Подождали бы, право, рубить. Роцца молодая — настоящий лучинник, вам же на пользу пойдет. — Он улыбнулся. — Так и скажи

мужикам, слышишь?» — «Скажу, барин, все до словечка передам!» — заверил мужик, обрадованный, что сечь за порубку не будут. Но когда Пушкин отъехал, то вновь услышал постук топора, — да ведь не бросать же дерево, коль все равно повалено...

Встреча чепуховая, а разговор даже разумным получился, но почему-то настроение еще ухудшилось. К тому же промок он быстрее, чем ожидал. Грязный, иззябший, промокший до костей, вернулся он домой, велел согреть воды и налить в чан. Он не ждал, что это поможет от простуды, у него с михайловских дней было заведено: после прогулки — горячая ванна. Вода имелась — для стирки грели, и чан нашелся, но распоряжение Пушкина вызвало оторопь. Здесь мылись лишь по большим праздникам, в печи, и только у немногих зажиточных крестьян топилась баня — по-черному. О банном ублаговании его лютого деда Льва Александровича преданий в народной памяти не сохранилось.

Горячая ванна взбодрила, но настроение не улучшила. Простуды тоже как не бывало. Ему предстояло в полной ясности, зверской тоске и раздражении чувств перемогать пустое одиночество...

Другой день его пребывания в Болдине почти ничем не отличался от первого. Все так же лукавил и фальшивил Калашников, озабочивался и бодрился Киреев, старалась мелькнуть бледным смиренным, но в смирении своем требовательным лицом Ольга, сговоренная за лукояновского пьяницу чиновника, ключница певуче и заботливо спрашивала, чем обедать будет? — хотя кроме гречневой каши и картошки, в доме ничего не водилось. От скуки он принялся проглядывать кляузные бумаги, но скоро утомился перечнем однообразных провинностей и еще более однообразных кар; обращало внимание, что кистеневцев наказывали куда чаще и круче, нежели болдинцев, но и провинности их были крупнее. У болдинцев, отлывавшихся приверженностью к горячительным напиткам, дальше дебоша в питейном заведении или в собственном доме не шло, пьяные кистеневцы, оправдывая свое прозвание, пускали в ход кистени, ножи и топоры — проливалась кровь; они были охочи до общественной ржи, барского овса, гречи и конопли, постоянно злоумышляли против чужой собственности и отличались ослаблением патриотического чувства: от рекрутчины уклонялись, сланные в солдаты пускались в бега. Пушкин решил послушаться совета



Киреева и съездить в Кистенево, дабы собственным глазом обозреть будущие владения и оживляющие их фигуры, равно и познакомиться с тамошним наместником, по намекам дворни еще большим выжигой, чем Михайла Кашников.

Пока ему седлали лошадь, подошел давешний малый Михай и спросил со своей добродушной улыбочкой:

— Барин, а зачем в чане полощешься?

— Для здоровья, — усмехнулся Пушкин.

— Вон-на! — подивился Михай и воздел горé доверчивые голубые глаза.

Когда Пушкин, завернув по пути к роднику с на редкость свежей и сладкой водой — кастальскому ключу, увы, не дарившему вдохновения, — прискакал в Кистенево и спросил прохожего старичка, где найти старосту, тот ответил ласково: «У конторе своей, ваше здоровье». Как могло с такой быстротой возникнуть и разлететься по округе прозвище? Можно подумать, что улыбчивый Михай, обув семимильные сапоги, помчался в Кистенево с ошеломляющим сообщением, что барин для здоровья полощется в чане с горячей водой. Но ведь нужно время, чтобы родилось прозвище, и разные люди прокрутили его на языке, опробовали на вкус, лишь тогда, хорошо смоченное слюной, может оно затвердеть и навек присохнуть. Даже в городе, где все быстрее, молва не разносится так стремительно. Без нечистой силы тут явно не обошлось. Прозвище не обидное, но и не уважительное, есть намек на чудаковатость молодого барина. Надо поскорее развеять заблуждение кистеневцев — барин приехал не шутки шутить. Пока он размышлял, как обуздать кистеневцев, пока жевал свою ложь жулик староста, убедив лишь в одном: вникать в путаницу, созданную легкомыслием Сергея Львовича, нет смысла, важно лишь, чтоб шел оброк, а всякое соприкосновение с живым крестьянским обиходом только усугубляет неразбериху, у него угнали лошадь. Об этом восторженно сообщил белобрысый мальчонка, внучек старосты. Лошадь в конце концов отыскалась, вернули ее без выкупа, но Пушкин решил про себя: в Кистенево больше ни ногой.

Еще более огорченный и сбитый с толка неумным охальством замордованных сельских жителей, Пушкин по распогодившейся и сразу сыскавшей где-то багрец и золото, горьковато запахшей осени вернулся домой, принял «оздоровительную» ванну, пообедал щами с гречневой ка-

шей и любимым печеным картофелем и сел к окошку, глядевшему на пустырь за домом.

То была обширная земля, заросшая жесткими высокими травами: таволгой, волчцом с сухими коробочками, набитыми ватой, иван-чаем, от которого остались мертвые метелки на ломких почерневших стеблях. Низкорослый кустарник — больше по краям — тщился вырваться из цепко опутывающих трав и обрести древесное достоинство. Посреди пустоши проглядывала голубым глазком вода заросшего прудишки. Пушкин с раздражением думал о своем деде Льве Александровиче, в котором ценил чистоту русского феодального типа: неверную жену сгноил на соломе в домашнем узилище, а соблазнителя-французика то ли повесил, то ли высек на конюшне: ну, что бы старому бездельнику разбить на пустыре сад? Сидел тут, отверженный от двора Екатерины, с краю пустыря и хоть бы пальцем пошевелил, чтобы сделать свою жизнь наряднее и привлекательней. Понятно, почему забитая жена, презрев страх, кинулась на шею обходительному «мусью». На что уж беспечен и неумел Сергей Львович, а и тот завел в Михайловском прелестный сад. Неужто старому ревнивцу не тошно было глядеть на эту пустоту? Хорошие виды открываются из помещичьего дома: по одну сторону сопревшие соломенные крыши, по другую — бурьян, чертополох и «протчая» сорная растительность. Что стоило насадить яблони, вишни, разбить клумбу, увенчав ее стеклянным шаром, проложить песчаные дорожки и высадить вдоль них табачки, дивно благоухающие по вечерам, вырыть порядочный пруд и напустить туда золотых карасей? Чем он занимался томительно долгими днями? Травил зайцев, стрелял мелкую лесную дичь, обедался, пил горькую, сек дворню и наслаждался мучениями узницы-жены. Славный предок!.. Любопытно, что у Пушкиных и Ганнибалов схожие пороки и схожие добродетели, если легкомыслие, чрезмерную пылкость и склонность к виршеплетству можно считать добродетелями, впрочем, им не откажешь в верности, только не в семейной жизни. И среди Ганнибалов, и среди Пушкиных одни отличались бешеным нравом, другие неправдоподобной беспечностью и тягой к удовольствиям. Неудивительно, что древний русский род и не менее древний — африканский тянулись друг к другу.

Запоздалое осуждение нерасторопности дедушки Льва и отсутствия в нем эстетического чувства не могло изменить пейзажа за окнами. Пушкин решил удовольствоваться

ся тем, что есть, и прогуляться до запримеченной утром левады с молодой липушкой, сохранившей на верхушке несколько темных сердцевидных листиков. Он вышел из дома через черный ход, не спеша пересек пустырь и оказался на пасеке, о существовании которой не подозревал. Десятка три синих домиков стояло с края поля, была и опрятная избушка пасечника, крытая корьем, рядом — колодец, а дальше в земляном увале была вырыта скамья и покрыта дерном. Пушкин подошел к скамье, потрогал рукой — сухо, то ли солнце выпарило влагу, то ли унесли на одежде сидевшие тут люди. Он опустился на мягкий, упругий дерн, наконец-то в колючем здешнем мире оказалось хоть малое удобство. Ни в одном крестьянском дворе Пушкин не видел ульев, похоже, это занятие неведомо болдинцам; во владениях Сергея Львовича пасека тоже не числилась, меда к чаю не подавали. Откуда же взялось это медовое хозяйство, отличающееся не болдинской опрятностью и основательностью?

— Здравствуйте, барин Александр Сергеевич! — слышался молодой грудной женский голос.

Казалось, голос родился в дреме, он прозвучал не извне, а внутри Пушкина. Он провел рукой по глазам, тряхнул кудрями, поднял голову и увидел высокую, статную девушку в крестьянском сарафане, домодельного полотна рубашке и новеньких лычных писаных лапоточках. Обычная деревенская одежда была такой чистой, свежей, яркой, как будто девушка сошла с картины живописца Венецианова. Она казалась ряженой. Округлое доброе румяное лицо, удлиненные карие глаза и тонкие длинные черные брови, которые называют соболиными, — красивая девушка. Даже слишком красивая!.. Какая-то странная неправда была в ее красоте, как и в нарядной одежде. Под платком у нее угадывались уложенные коронкой девичьи косы, и они подсказали Пушкину, что незнакомка вовсе не так юна: по деревенским представлениям, тем паче болдинским, где шестнадцатилетние невесты идут за четырнадцатилетних женихов, она перестарок.

— Здравствуй, — сказал Пушкин. — Ты кто такая?

— Февронья! — девушка засмеялась. — По-нашему — Хавронья.

— Февронья — прекрасное имя, старинное, сказочное. Хавронья — гадость. Любят у нас издеваться над именами: Елена — Алена, Флор — Фрол... А чего ты делаешь, Февронья?

— То же, что и вы, барин, — снова засмеялась девушка, — мечтаю.

Удивляла ее чистая, не деревенская речь, смелость и слабый привкус насмешки — над ним или над собой? А может, это маскарад и она — барышня, не крестьянка? В такой глуши ум за разум зайдет, вот и придумала себе развлечение бойкая помещичья дочка: вырядиться крестьянкой и поморочить голову приезжему из столицы. Неплохой сюжет для повести. Но жизнь не настолько игрива и затейлива. Это простая девушка, живущая или жившая при господах и обучившаяся городской речи.

— Чья ты? — спросил Пушкин.

— Батюшкина, — она шутливо вздохнула. — Никого у меня больше нету. Матушка умерла, а замуж не берут. Вековуха.

Его огорчило, что он угадал ее возраст.

— Я не о том спросил. Чьи вы с батюшкой?..

— Божьи!.. А были вашего дяди Василия Львовича крепостные люди. Батюшка выкупил нас за десять тысяч рублей.

— Твой отец выложил десять тысяч? Ну и ну! Хотел бы я иметь такие деньги.

— А вы попросите, Александр Сергеевич, батюшка вам не откажет.

— Я подумаю, — пробормотал Пушкин. Он не улавливал ее интонаций — была ли тут только наивность с легкой примесью гордости: вон какой у меня отец, может и помещика выручить, или же Февронья вложила в свои слова насмешку над барином с худым карманом?

Великий острослов Пушкин, как никто, умел высмеять, отбрить зарвавшегося собеседника, но вся находчивость покидала его от чужой насмешки, особенно — неожиданной. Потом он придумывал множество блестящих ответов, едких шуток, разящих выпадов, но было поздно. Осадить Пушкина мог человек вовсе недалекий, простодушная женщина, ребенок. Он злился, что не сумел ответить, но девушка стала ему еще интересней. И что она здесь делает, ведь деревенские не прогуливаются в будние дни. Им нужна цель, чтобы идти со двора: по хозяйственной заботе, купаться на реку, в лес по грибы — по ягоды, в рожь или под стог — на свидание. Для всего этого сейчас не время, для меда — тоже.

— Откуда ты взялась? Я не видел, как ты подошла.

— Я из сторожки вышла, — сказала Февронья, глядя ласково и словно бы ободряюще.

— А чего ты там делала?

— Вас поджидала, — и опять не поймешь: насмешничает или всерьез говорит.

— Чья это пасека?

— Отца моего. Вилянова Ивана Степановича.

— Тогда понятно! Значит, я вторгся в чужие владения?

Она улыбнулась.

— Почему ты молчишь?

— А что я должна сказать?.. Вы ведь шутите. Я улыбаюсь вашей шутке.

— Мудреная девушка! — Пушкин тряхнул спутанными кудрями. — А что в сторожке делала?

— Ведь сказала: вас ждала.

— Смелá! Откуда ты знала, что я приду?

— А я и не знала. Просто ждала. Вчера ждала, сегодня, завтра бы опять ждала. Когда-нибудь пришли бы. Куда деваться-то?

— Ну, смелá!.. Неужели я такой старый, что меня и бояться не надо?

— Какой же вы старый? — она говорила серьезно, с желанием, чтобы он поверил. — Девушка к тридцати — перестарок, а мужчина еще молоденький. Волос маленько поредел на макушке, но вы — молодцом и на портрет свой похожи. Мне батюшка из Нижнего привез. Только вы... — она засмеялась, — не серчайте, махонький.

— Думала — гренадер?

— Ага. А вы мне по плечо.

— Не беда! — он побледнел от бешенства и облизал враз пересохшие губы. — Обойдусь без лестницы.

Он стремительно шагнул к ней и крепко обнял, вложив в движение излишнюю силу, она и не думала отстраняться. Он почувствовал, как под руками что-то нежно хрустнуло, и ослабил хватку. Всем большим и теплым телом она приникла к нему, беспомощно навалилась, и пришлось напрячь мускулы, чтобы удержать ее. Он обонял молочный запах чистого тела и полотняной ткани. Пушкину хотелось поцеловать ее в губы, но не дотянуться было. Тогда он стал отступать к дерновой скамейке и вдруг почувствовал сопротивление. Но теперь он верил ей и подчинился. Девушка не просто упиралась — сама влекла его куда-то. К сторожке. У порога Пушкин наклонился, поднял ее, ударом ноги распахнул дверцу и внес в пахнувший душистым сеном сумрак. Он угадал справа лежак, крытый рядом, и осторожно опустил на него Февронию.

Он ждал отпора, девушка была сильной, но ее готовность, неловкая, торопливая покорность отрезвили его. Все это уже было. Издалека наплыло жалкое, испуганное лицо Ольги Калашниковой. Потом Ольга полюбила его, так ему, во всяком случае, казалось, но в первое, страшное для девушки свидание ею двигало лишь тупая подчиненность барину, втемяшенная в слабую голову наказаниями Арины Родионовны. Он не хотел повторения. Не разумом, сама плоть воспротивилась этому.

— Прости, — сказал он хрипло. — Я забылся... Ты красивая, добрая. Дождись своего человека.

— Александр Сергеич, милый друг, — сказала она вразумляюще, как ребенку. — Мне не нужен другой человек. Вы забыли — я же вольная.

Она угадала, что в нем происходит, это говорило о немалом душевном и, наверное, женском опыте. Волна накатила и захлестнула.

Потом Февронья тихо плакала, и он не удержался от ненужного вопроса:

— Почему ты не сказала?

— Зачем?

— Чтоб не плакать.

— Потому и не сказала. Я не честь свою оплакиваю, я — от счастья.

— Странная ты девушка.

— Женщина, — поправила она.

— Ты правда не жалеешь?

— О чем жалеть? Это мечта моя: подарить себя тому, кого полюблю. А я вас загодя полюбила. Вы не жалейте, Александр Сергеич, и ничем себя не упрекайте, не томите. Вы мне счастье дали.

— Что ты — как прощаешься?

— Нет, я не прощаюсь. Будут у нас встречи. Да ведь придется же...

— Придется. Чего мне тебя обманывать? Я — жених.

— Завидую я вашей невесте, Александр Сергеич! — послышалось с лежака.

Пушкин расхохотался. И с этим громким, не циничным, но откровенно признающим свою человечью слабость смехом пришло к нему освобождение, великая, давно забытая легкость, спасавшая его душу во всех тяготах не столь долгой, но бурной жизни. Только сейчас он понял, как тяжело, кромешно, душно жил в последние годы. Духота была во всем: в испрашивании разрешения на каж-

дый, дозволенный любому человеку шаг, в надзоре и слежке голубых мундиров, в вечных подозрениях и приди-рках властей; духота была в сватовстве, на которое он, че-ловек не чиновный, не занимающий никакой должности, обязан был получить согласие царя; духота в отношениях с тещей — алчной угрюмой ханжой, в домогательствах пат-риарха семьи, Дедушки, впившегося в него, как клещ, — хотел загнать казне через Пушкина бронзовую Бабушку — статую Екатерины, отлитую в запоздалом угодничестве на гончаровских заводах, и даже в холодном совершенстве его невесты, замороженной Мадонны, которая когда-нибудь оттает, но только не для него, в сплетнях и пересудах, сопровождающих каждый его шаг, бешеной журналь-ной травле, а главное — в невозможности хоть на время вырваться из этой духоты и глотнуть свежего воздуха. Но самое печальное: он позволил себя затравить, он расчесы-вает ранки журнальных укусов и они не заживают, он ут-ратил тот сосредоточенный покой, в котором перемогалось житейское волнение; нервный, издерганный, легко плачущий, он стал на себя непохож. Но самым не-терпимым был заговор в доме на Никитской: оскорби-тельные нотации тещи, ее полуобещания-полуотказы, завершившиеся согласием, которому не было веры, насто-роженность и отчуждение на прелестном лице той, кото-рой он жертвует душевной свободой, своим единственным достоянием, она не дала ему и тени радости, не подарила и жеста доброты. Так бывает на сцене, когда бестемпера-ментность одного заставляет другого играть за двоих. На театре это изнурительно и докучно, в жизни — доводит до отчаяния. Лишь одного добился он: твердой уверенности, что счастье — не для него. Его сильное тело, обреченное на отшельническое воздержание, стало ему в тягость. Он, привыкший быть радостью для женщин, столкнулся с та-ким пренебрежением, что потерял уверенность в себе, по-рой казалось, что в доме на Никитской проведали о каком-то его тайном ущербе, уродливом изъяне.

А сейчас эта чистая, красивая, сильная девушка, от-давшая себя так щедро и полно, вернула ему веру в свое мужское достоинство, вернула к самому себе. И успокоив-шаяся плоть не докучала больше унижительным скулежем, он вновь был тем Пушкиным, который мог любой женщи-не подарить и забвение, и счастье. Благодарность, неж-ность, плавящее сердце, признательность — до горлово-

го спазма — за ничем не заслуженную жертву слагались в чувство, близкое любви.

— Мы будем с тобой, — сказал он. — Долго будем. Каждый день будем.

— Пока вы не уедете, — тихо договорила она.

В сторожке пасечника, на краю левады занялась болдинская осень.

Плетнев раньше всех оказался сведом, что забил небывалый родник. Но он еще не знал, что первым выплеском из таинственных недр была созданная 8 сентября «Элегия», быть может, вершина пушкинской лирики. В этом стихотворении — «программа» болдинских дней:

Порой опять гармонией упьюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь,  
И может быть — на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

И было то невиданное чудо, которое вот уже полтора столетия не перестает поражать, волновать и томить загадкой всех, кто отзывается поэзии, и тех, кто, не отзываясь, ею ведает. В одухотворенной легкости трех дождливых месяцев обрели форму и завершение наброски, так небрежно брошенные в черную кожаную шкатулку, рождались новые стихи, проза, драматические произведения, критика, первозданными словами оплакивались старые разлуки, возник странный двойник автора — недалекий, смиренный, полуразорившийся помещик Белкин, пересказавший с чужих слов несколько грустных и веселых историй и ставший в поколениях куда реальнее своих современников из плоти и крови, с неутомонного пера стекали эпиграммы, «шалости», капли полемического яда. Победная легкость, овладевшая поэтом, верно, помогла быстро решить кистеневские дела и разобраться в болдинской маете. «Ваше здоровье», сохраняя шуточный тон с мужичками, несколько озадачил их твердым спросом по части повинностей. Даже произнося с церковного амвона проповедь о холере (во исполнение своего помещичьего долга), Пушкин вещал, что погибельная напасть послана мужикам в наказание за нерадение, пьянство и задержку оброка...

Холера меж тем, пощадив Болдино, неудержимо надвигалась на Москву, где в доме на Никитской невеста поджидала жениха. Не боясь холеры для себя, испытывая тот прилив душевной бодрости, которую московский генерал-губернатор Закревский считал главной защитой от за-



разы (граф оказался предтечей чреды российских администраторов, зрячих в социальном оптимизме панацеею от всех бед), Пушкин удобно придумал, что Гончаровы заблаговременно покинули угрожаемую столицу. Когда же убедился в своей ошибке, то заметался в жестоком беспокойстве. Да, он бесился, рвался в Москву, очертя голову расшибался о ближнюю или дальнюю карантинную заставу, возвращался назад и с поражающей легкостью входил в привычную колею с захлебным писанием, скачкой по раскисшим полям, горячей ванной и любовью Февроньи.

Опутанный запретами чуть не всю сознательную жизнь, Пушкин болезненно ощущал ограничение физической свободы — отсюда его непрестанная тяга к дороге, к перемене мест, создававшая дополнительные трения с Бенкендорфом, а стало быть — с державным цензором. Он был искретен в своем стремлении вырваться из карантинного кольца и соединиться с невестой в холерной Москве, но как странны его письма к Наталии Николаевне! За риторикой отчаяния плохо прячется отменное настроение, не отделимое у Пушкина от юмора. Он слишком много и хорошо острит для несчастного, отторгнутого от любимой, допускает небрежности, повторы. Наталия Николаевна не могла читать развеселых писем, которые он строчил своим друзьям одновременно с «отчаянными» письмами к ней, но в ней пробудилась женская пронизательность, позволившая уловить двусмысленность тона нетерпеливого жениха, так философски смирившегося с очередной отсрочкой свидания. Она приревновала его к толстой княгине Голицыной, у которой Пушкин разузнавал о холерных карантинах. Это было единственное женское имя, мелькнувшее в письмах из Болдина, и, за неимением ничего лучшего, Наталия Николаевна обратила ревнивый гнев на неповинную толстуху. Ошибка вполне извинительная, но точность женского чутья в юном существе, угадавшем *суть* происходящего в Болдине, замечательна! Пушкин с завидным достоинством отводил неуместные подозрения.

Одна Февронья ничего не требовала, не просила, не выгадывала — просто любила. И, отдавая себя всю, получала в награду счастье, единственное на всю жизнь.

Февронья Вилянова не могла слышать о другой девушке — немке Ульрике Левецов, жившей в одно время с ней, которую любил и хотел сделать своей женой гений немецкой поэзии Гёте. Ульрике не хватало широты или бес-

шабашности, чтобы пойти навстречу року — она отказала Гёте. В этом она отличалась от бесстрашной русской девушки, в остальном судьбы их поразительно схожи: обе прожили долгую, длиною в век жизнь и умерли незамужними; обе не обмолвились ни словечком о просиявшем в их молодости свете. Ульрика обладала правом выбора — Гёте был ей ровня, у Февроньи такого права не было. Зато она получила в подарок болдинские стулья и увезла их в свой арзамасский дом, а Пушкин занял у отца ее Вилянова десять тысяч рублей, которые не успел отдать за преждевременной смертью. Сергей Львович уплатил долг сына землей. Русская история, как положено, — с угарцем, но она теплее...

Приблизился декабрь, и худо стало в летней, неотапливаемой сторожке, любовники дрожали от пронизывающего ветра, дувшего в щели, от сочившейся сквозь плохо пригнанные тесины снеговой воды. Они согревались друг о дружку, из двух остудий рождался жар. И все росло в душе Пушкина чувство вины и перед той, что обречена на разлуку, и перед той, что ждала его. Уже нельзя было оправдываться карантинном, путь на Москву был свободен. Он простился с Февроньей стихами, обращенными к покойной Ризнич — большой, величественной, как Афина Паллада, к ее челу просился сверкающий шлем воительницы — литература сильна и счастлива сублимацией. И Капальский ключ иссяк.

Живого прощания не было. Пушкин сказал только:

— Я еще приеду...

Февронья не плакала, для этого она была слишком несчастна.

Когда покидали Болдино и тяжелая карета, уже раз обрушившая гнилой мост через Сазанку, опасливо пересчитывала новые бревна, Пушкин спросил себя: куда и зачем он едет? Все было здесь: счастье, любовь, покой, неудержимо льющисся строки. Чего он ищет — ярма, забот, тревоги, самообмана, страшного опамятования? Все известно наперед, но ничего поделать нельзя, он был обречен.

Он говорил:

— Неужели вы хоть один день не можете провести дома?

Она смеялась: «Ах, Дельвиг!..»

— Я вас *прошу* остаться! — Это строго. И умоляюще:  
— Я вас очень прошу!

— Ах, Дельвиг, ну какой ты, право!..

Она что-то делала со своим лицом перед зеркалом, со своим холодным, лживым, прелестным, все еще любимым лицом. Разъединяла булавкой кончики длинных ресниц — ужасная операция, от которой у него шемило позвоночник, длинным ногтем убирала помаду с темной вмятинки в уголке рта, трогала пуховкой подбородок и гладкий лоб, немного загоревший вопреки всем предосторожностям на скудном солнце петербургской окраины, — они опять снимали дачу у Крестовского перевоза, на тихой зеленой Котловской улице.

— Можете вы уделить мне минуту внимания?

— Несносный тиран!.. Я тороплюсь, опаздываю!..

— Куда вы опаздываете?

— Не скажу, тебе это неинтересно!

— Позвольте мне самому судить о том.

— Не судите, да и не судимы будете. — От неуважения она говорила первый пришедший на ум вздор. Сорила словами, не желая сделать ради него даже маленького мозгового усилия.

Внизу послышался шум подъехавшего экипажа и железный осклиз на булыжнике подков осаженных лошадей. Хлопнула входная дверь, и дом наполнился свежим, грудным, самоуверенным и ненавистным голосом Анны Петровны Керн, спрашивающей прислугу, дома ли барыня и можно ли ее видеть.

— Иду!.. Иду!.. — по-дачному бесцеремонно крикнула Софья Михайловна, но при этом осталась на месте и еще старательнее занялась своим лицом.

— А-а!.. — сказал Дельвиг. — Теперь мне действительно неинтересно.

— Вот видишь... — уронила она рассеянно.

О вечная антитеза — поэзия и правда! Анна Петровна Керн, которая в поколениях станет воплощением поэзии, любви и красоты, была для Дельвига просто светской вертихвосткой («Блудница Вавилонская» — называл ее полухитливо Пушкин), помогавшей совращению его жены.

И все же, Дельвиг, признайся: утро любви было прекрасно!.. Да, ибо он сумел крепко закрыть глаза на то, что до него юная Софья Михайловна уже пережила бурный роман с неким Гурьевым и еще более пылкую любовь с Петром Каховским, будущим декабристом. Они замыслили бегство, но Софья Михайловна вдруг охладела к Пьеру Каховскому. И вовремя... Отец ее, Салтыков, галломан и «якобинец» — сочувствовал жирондистам, — известный в «Арзамасе» как «почетный гусь Михаил», напуганный темпераментом юной дочери, поторопился принять предложение небогатого и нечиновного Дельвига. Софья Михайловна была заинтересована и взволнована переменой судьбы, и Дельвиг наивно принимал это за ответное чувство.

Молодые поселились на Большой Миллионной в доме Эбелинга, и в холодном, чопорном Петербурге появился теплый угол, привлекавший Пушкина, Одоевского, Плетнева, Яковлева, позже Глинку и гостей столицы: Баратынского, Веневитинова, Вяземского. Молодое очарование и тонкая музыкальность хозяйки, ум, талант и доброта хозяйина превратили скромный дом Дельвигов в настоящий литературный салон без пошлости, жеманства и претенциозности других столичных салонов. Да, то был истинный уют муз, ставший настолько необходимым многим достойным и одаренным людям, что Дельвигам пришлось упорядочить свои сборища, придав им форму постоянных литературно-музыкальных сред и воскресений. Дельвиг был счастлив — начали сбываться взлелеянные с юности мечты об идиллическом, безмятежном, овеянном тонкой духовностью бытии об руку с любимой.

Когда пошли трещинами и пятнами белые своды семейной обители? Он и сам затруднился бы сказать. Похоже, с появлением Анны Петровны, вскоре поселившейся для удобства общения в одном с ними доме. Возможно, дело сделалось и до нее, и, познакомившись с Софьей Михайловной, опытная, сметливая «дама Керна» сразу поняла, что обрела верную подругу и сообщницу в своей вызывающе смелой женской жизни.

Все же — так уж он был устроен — Дельвигу и сей-

час хотелось лишь одного: опять начать верить жене, взвалив ее грехи на красивую, стройную и выносливую шею Анны Петровны. Одно ласковое слово, одна уступка — никакого раскаяния, оно может лишь все усложнить, — и он забудет о своей ревности, муках, поздних ожиданиях, едких слезах, туманивших очки. Он был способен на большее, нежели прощение, мог выбросить из памяти сердца и памяти рассудка — по очаровательной и наивной классификации Батюшкова — все, что отравляло ему жизнь последних лет. Похоже, Софью Михайловну ничуть не занимали его душевные построения. У другого человека подобная непробиваемость могла идти просто от глупости, неразвитости. Но Софью Михайловну в глупости не обвинишь, ее поверхностный женский ум отличался и тонкостью и остротой. Она любила общество, стихи, музыку и сама превосходно играла на фортепиано, была чувствительна, сострадала чужому горю, умилялась над животными. Но когда феи осыпали новорожденную Софи своими дарами, осыпали щедро, не скупясь ни на красоту, ни на таланты, ни на удачу, к младенческой колыбели не пришла лишь одна фея, та, которая увенчивает добродетелью, — скучная, красноносая, добрая фея морали. Но если отбросить шутки сквозь слезы, то несомненно: в пору, когда закладывается и строится человеческая личность, Софье Михайловне просто забыли объяснить некие общеизвестные и общепринятые правила. В бредовом доме Салтыкова такое вполне возможно. И бедняжка не знает, что в мире существуют определенные нравственные нормы. Мэнон Леско славного аббата Прево — вот ее тип! Женственность, очарование, нежность, безмерная прелесть — и никаких моральных запретов. Если она стала сейчас холодна, уклончива и неприятна, то лишь потому, что ее раз за разом загоняли в угол. А так ничего зловещего, никакой дьяволиады — убийство с улыбкой на устах, безвинное убийство. Она знать не знает, что от этого умирают, и никогда не поверит, что ее удовольствия могут быть смертельными для другого человека. Пока она не научилась отмалчиваться, ускользать, ее большие ласково-невинные глаза смотрели на разгневанного мужа с кротким, обезоруживающим удивлением. «Ну, что тут такого, господа?!» — читалось в них. К ней не подступиться ни с какой стороны. И все-таки он сделал еще попытку.

— Малышка все время кричит, когда тебя нет.

— Чепуха! — сказала она резко. — Разве она понимает, здесь я или ушла?

— Может, у Даши не хватает молока? Она же кормит своего.

— Если у кормилицы нет своего, откуда взяться молоку? — усмехнулась Софья Михайловна, выщипывая крошечными щипчиками волоски на переносье. — Ты думал, я сама буду кормить?

— А почему бы и нет? Я считаю, каждая мать должна сама кормить свое дитя.

— Прекрасное правило домостроая!! Вот бы и женился на Даше.

Она говорила просто так, отталкивая звуковые волны, насылаемые на нее мужем. Его соображения и чувства ничуть ее не занимали. Важно было лишь то, что ждало ее впереди. И тяга была столь велика, сокрушительна, необорима, что он мог бы на коленях молить ее остаться, рыдать, заламывать руки, грозить оружием, стрелять, наконец, — все тщетно. Пока в ней жива кровь, она все равно будет стремиться туда, раненая поползет, как собака с перебитым хребтом. То было явление природы, а не слабой человеческой сути.

— Можете вы раз в жизни исполнить мою прихоть? — сказал он измученным голосом.

— Какую еще, Дельвиг?

— «Еще»! Можно подумать, что я постоянно обременяю вас своими просьбами. Оставайтесь дома.

— Глупенький Дельвиг!.. — Последний быстрый взгляд в зеркало, и вот она уже метнулась к двери, обдав его теплой волной.

— Когда ты будешь? — спросил он вдогон.

— Буду, милый, буду... Куда я денусь?.. Всегда буду с тобой... до гробовой доски... — Голос ее затух, затем всплеснулся, когда она увидела Керн, и дамы приветствовали друг дружку восторженными междометиями. Но вот замер их птичий щебет, натужно скрипнула пролетка, и цокнули копыта лошадей. Все!..

А ведь это счастье — так стремиться куда-то! И пусть в апофеозе безудержного порыва — пошлый франт, или раздушенный камер-юнкер, или гусар, пропахший табаком и жженкой, — правы французы: важно хмельное вино, а не бутылка. И в ключья все приличия, обязательства, в ключья сердце человека, которому ты клялась в любви, с которым стояла перед аналогом...

Дельвиг прошел в маленький кабинет, притемненный парусиновыми маркизами. Тяжелое, жаркое, не свойствен-

ное Петербургу солнце ломило сквозь плотную ткань, над письменным столом то набухало, то сокращалось пыльное светлое облачко. Он достал из ящика стола недавно написанное стихотворение: «За что, за что, ты отравила неисцелимо жизнь мою». Ему казалось, что грубая обнаженность только что разыгравшейся сцены заставит его переписать последнюю строфу, обесценивающую жгучую горечь целого, но тешившую душу каким-то отрицательным проявлением силы. Он вдруг поверил, что может вырваться из рокового круга, очерченного его деликатностью и нечитанием с собой, если, отбросив все приличия, закричит в голос, завоюет так, что небу станет жарко, глядишь, и повернется, заскрежетав, ржавая ось его судьбы. Он перечел стихотворение, последнюю строфу вслух:

И много-ль жертв мне нужно было?  
Будь непорочна, я просил.  
Чтоб вечно я душой унылой  
Тебя без ропота любил.

И понял, что никогда не перепишет этих слов мольбы и смирения, ибо неоткуда взять ему иных чувств. Пусть он не большой поэт, но всегда оставался в стихах самим собой.

Тут внутри у него произошел некий прочерк, и он задумался о человеке, которым прежде ничуть не интересовался. О генерале Керне, одном из героев Отечественной войны. Когда Керн подымал свои полки в атаку, если только он вообще подымал полки — Дельвиг не знал, в каком роде войск служил генерал, — где-то в усадьбе тихо расцветала прелестная девочка с огромными глазами. Затаяв дыхание, она слушала по вечерам рассказы взрослых о злодее Буонапарте, о героизме русских воинов, и, засыпая, по-детски мечтала о герое, увенчанном лаврами победы. Девочка стала прекрасной девушкой, и увенчанный лаврами герой предложил ей руку и сердце и свое незапятнанное, овеянное славой имя. Все это легко приняла очаровательная Аннет и стала госпожой Керн, как-то разом отлившись в победительной стати даму. И столь же быстро украсила чело мужа развесистыми рогами, в многочисленных отростках которых потерялся увядший лавровый веночек. И пал духом бесстрашный воин. С любезной, почти зайскивающей улыбкой он пожимал руки шалопаюм, открыто волочившимся за его женой, играл в карты с ее любовниками, почему-то всегда проигрывая, стал притчей во языцех светской черни, мгновенно забывшей о его за-

слугах. И — о великая сила литературы! — воспетая дивными стихами Пушкина, Анна Петровна бесстрашно глядела в загадочное лицо вечности, ничуть не заботясь пересудами окружающих. А человек, славно послуживший Отчизне в трудную годину, стыдливо потуплял взор, будто знал за собой что-то дурное. Генерал Керн все же нашел в себе силы уйти от унижения, дав жене развод. Сам он отступил в тень, где не видать стало позорной его короны, и спас лицо. Но любил ли он по-настоящему Анну Петровну или же в нем затронуты были лишь второстепенные чувства — самолюбие, тщеславие, гордость? Было ли его отречение смертной мукой или просто умным ходом опытного в житейских бурях человека? И разве Дельвигу лицо надо спасти? Сердце. Ведь он любит Софью Михайловну. Он любил ее на заре, когда видел в ней кладезь достоинств, и едва ли не сильнее любит сейчас, когда все достоинства оказались мнимыми: неверная жена, равнодушная мать, плохой друг.

В чем же тогда ценность и святость любви? В том, что она делает с тобой самим. Когда чужая жизнь становится важнее и дороже собственной, человек подымается над своей малостью, ограниченностью, освобождается от низкой земной тяжести. Все это высоко и прекрасно, но к его случаю отношения не имеет. Прославленное поэтами чувство не только не подняло его, напротив — втоптало в грязь.

Послышались странные, скрипучие звуки. Дельвиг вздрогнул, он никак не мог привыкнуть к сухому, старческому голосу, рождающемуся в нежной гортани его полуторамесячной доченьки Лизы. Каким образом мягкое вещество, составляющее нутро младенца, может исторгать такую ржавь? Да и больно ей поди! Опять небось нянька заснула?..

Он спустился вниз и вошел в детскую, остро пахнущую младенцем. Окна были плотно затворены. Как будто можно простудиться при такой жаре. Да и хорошо ли ребенку дышать спертým воздухом? Надо бы с врачом посоветоваться, сам он не посмеет отменить распоряжений Софьи Михайловны. Молодая нянька с красным заспанным лицом старательно трясла Лизу и «приутькивала» фальшивым, набитым зевотой голосом.

— Опять ты спишь, Мотя?.. Ведь сколько раз говорили...

— Спишь, спишь... Это кто спит-то? Вечно напрас-



лину возводите! — Мотя сразу взяла самую высокую ноту. Он заметил, что она не называет его «барин». Как и все в доме: горничная, кухарка, кормилица — эта новенькая Мотя полагала барыней лишь Софью Михайловну.

— Кормилица еще не приходила? — спросил Дельвиг, глядя на крошечное обезьянье личико своей дочери с кисло зажмуренными глазками и мучаясь безысходной жалостью к этому уже заброшенному существу.

— Нешто сами не видите? — вовсе дерзко отозвалась Мотя. — Придет, когда надо, — добавила снисходительно по юной доброте.

Дельвиг постоял еще, неловко повернулся и вышел. Полутемный кабинет, прогретый солнцем сквозь маркизы, подарил ему ощущение свежести. Он взял гранки «Литературной газеты» и вернул запах детской — типографский набор всегда отдавал мочой. Прилег на диван и стал протирать фуляром запотевшие очки. Гранки сползли на пол, он не заметил этого... Я мог бы посвятить себя дочери, родилась внутри него торжественная фраза. Но что это значит?.. Заходил бы каждые четверть часа в детскую, натываясь на грубость этой или другой Моти, задавал бы праздные вопросы и, надышавшись спертым воздухом, показывал няньке свою сутулую и невесть почему виноватую спину. Я мог бы следить за форточкой, чтобы ее держали открытой, за кормлением... Но, вспомнив громадную сизую грудь с лиловым расплывшимся соском, почувствовал дурноту и скорее перенесся на несколько лет вперед, когда Лизонька будет обходиться без услуг кормилицы. Сладко, до слез сладко помечтать о союзе двух обиженных: грустно-доброго, еще не старого отца и умненькой, много постигшей своим детским сердцем дочери. К чему только тешить себя несбыточной идиллией? Дочь непременно станет союзницей матери, и, как бы ни напрягался грустно-добрый, еще не старый отец, ему не предотвратить женского заговора. Он слишком вял, толст и безрадостен, чтобы завладеть помыслами дочери. А мать красива, молода, победительна и маняща эфирным своим холодком. Отец-герой из него никак не выйдет, а только такому отцу по силам отторгнуть дочь от матери. Девочка очень рано поймет, на чьей стороне сила и удача, и, если у нее окажется доброе сердце, она удержится с домашним парией на той грани, где снисходительная жалость еще не переходит в открытое презрение. Если же она пойдет душою в мать, тогда держись, барон!.. Нынешняя жизнь покажется тебе раем...

Он вздохнул, водрузил очки на широкое переносье, подобрал с пола гранки и не удержал в руках. Их выхватило порывом сквозняка, взметнуло бумажными голубями к потолку, и в распахнутую дверь ворвался Пушкин. Дельвиг не слышал, как он подъехал, вошел, не притворив за собой уличной двери, избежал по скрипучей лестнице, но Пушкин, живой и несомненный, скалящий белые зубы, и был перед ним, и весь кабинет, весь дом, вся окрестность, все мироздание заполнились Пушкиным.

При встрече и расставании они целовали друг другу руки. Этот обычай у них остался с юности, и Дельвигу всегда приятно было прикоснуться губами к мускулистой, хорошо пахнувшей руке Пушкина и ответное прикосновение сухих, горячих пушкинских губ.

Пушкин был бодр, упруг и чуточку беспокоен. Последнее Дельвиг отнес за счет предстоящих тому перемен. В мае состоялась его помолвка с Наталией Гончаровой, и сейчас он должен был ехать в Москву для окончательного устройства разных дел, в том числе и самых досадительных — денежных.

— Могу ли я засвидетельствовать свое почтение баронессе? — с нарочитой чопорностью сказал Пушкин.

— Увы!.. — Дельвиг развел руками.

Но он вовсе не чувствовал сейчас горечи, столько доброго и радостного поднял в его душе неожиданный приезд Пушкина. Он не сомневался, что Пушкин появится перед долгим исчезновением — еще и в родовое Болдино собирался, — но не ждал сегодня, к тому же днем. Пушкин всего лишь месяц назад вернулся из Москвы, бывал у Дельвигов чуть ли не каждый вечер, принося свежие новости о революционных событиях в Европе, потом вдруг исчез, и вскоре пронесся слух о новом его отъезде. И как славно, что он нагрнул, будто свежим ветром продуло старый дом.

Дельвигом овладело то счастливо-бесшабашное настроение, что придает особый вкус самым обыденным разговорам, самым простым движениям. Они со вкусом поговорили о политике, со вкусом обменялись литературными новостями и сплетнями, со вкусом помянули нескольких добрых друзей, со вкусом пили ломящий зубы хлебный квас — после долгих и тщетных взываний к прислуге Дельвиг сам спустился в погреб, набив шишку на лбу и оплеснув ноги налитой всклень коричневой жидкостью, — со вкусом цитировали наизусть статью Греча в «Северной пчеле», и Пушкин блестяще импровизировал ответ.

Дельвиг не уловил, когда спал его короткий подъем и привычная в последнее время тоска вновь навалилась на сердце. Но он бодрился, громко смеялся, заинтересованно переспрашивал, даже хлопал себя по коленке — развязность, вовсе ему не присущая, лишь бы Пушкин не догадался о его омраченности. Но разве введешь в заблуждение человека столь пронизательного? Ведь Пушкин не слова слышит, не жесты видит, а то, что ими прикрыто, всеми нервами чувствует исходящее от собеседника электричество. Речь его все так же играла и пенилась, так же красиво мелькали узкие смуглые руки, словно выписывая в воздухе фигуры словесных пассажей, но взгляд становился сосредоточенней, сузились, поугрюмили зрачки, он вдруг оборвал себя на полуслове и хмуро, в упор:

— Что с тобой, Дельвиг? Ты нездоров?

— А разве я был когда-нибудь здоров? — меланхолически отозвался Дельвиг. — Мне всегда что-то мешало внутри. Помнишь, в лицее я не бегал, не боролся, не играл в мяч...

— Ты обращался к врачам?

Дельвиг пожал плечами.

— Что они понимают?

— Ты просто киснешь. Забрался в такую даль и даже на улицу не выходишь. Пишешь хотя бы?.. Есть что-нибудь новенькое?

— Так, кое-что...

— Читай, душа моя! Хочу твоих стихов! — с жадностью сказал Пушкин и протонародным жестом потер руки.

Дельвига всегда трогала и чуть удивляла горячность Пушкина к стихам друзей. Тут не было и тени притворства, он от души радовался их скромным удачам, не скупился на похвалы, и устные и письменные, и на справедливую критику, что подтверждало серьезность его отношения, проблески же чего-то большего, чем средний талант, приводили его в восторг. Ему нужны были эти стихи, не только Жуковского или Баратынского, но и князя Вяземского, и Языкова, и его, Дельвига, и поэтов вовсе слабых. И вдруг Дельвига осенила простая разгадка этого феномена. Пушкин больше всего на свете любит стихи, но в отличие от них всех лишен возможности читать... Пушкина.

— Не стану я читать, — подумав, сказал Дельвиг. — Все незаконченное.

— Ну вот! Опять лень-матушка?

— Ах, оставь ты эту лень! — вдруг рассердился Дельвиг. — Я вожусь с проклятой газетой, проворачиваю груды рукописей, редактирую, отвечаю на письма... Лень! В лицее мы все хвастались своей ленью, воспевали ее в стихах, но ко мне одному прилепилось клеймо ленивца. А я читал тогда больше вас всех и первым стал печататься. Я туп к иностранным языкам, но с помощью бедного Кюхли одолел немецкий...

— Трудолобивый Дельвиг!

— Да, трудолобивый! — Дельвиг потянулся за гранками, но не завершил движения. — Эта ваша газета! Я даже не печатаюсь в ней. Несу вахту дружбы бессменную... А стихи всегда рождались у меня трудно, медленно. Я вышиваю долго, как слониха. Но труд низания слов все время идет во мне.

Многие люди заблуждаются относительно Дельвига, считая его куда более простым, очевидным и покладистым, нежели он был на самом деле. Дельвиг не позволял заглядывать в себя посторонним, но Пушкин-то знал, что есть омуты в тихой речке. С Дельвигом творилось сейчас что-то неладное, но он тайлся, и Пушкин рассчитывал, что непривычная вспышка озарит потемки. Этого не случилось, Дельвиг разом выдохся, как проколотый пузырь, и безнадежно махнул рукой.

— И все-таки надо писать, — сказал Пушкин. — Ничего другого не остается.

— А зачем? — уныло спросил Дельвиг. — Чтобы подбрасывать дрова в печь недоброжелательства и злобы? Бестужев-Рюмин вон объявил, что поэта Дельвига вообще не существует: половина написана Пушкиным, другая — Баратынским.

— А разве это так плохо? — лукаво сказал Пушкин. — Я бы не обижался, если бы мои стихи приписали певцу Эдды и даже Пушкину.

— Я и не обижаюсь, — сказал Дельвиг кротко, не улыбувшись шутке. — Но все-таки забавно!

«Забавно» было любимым словечком Дельвига-лицеиста, и душа Пушкина поплыла к царскосельским аллеям и куртинам, где мальчик с сонными медвежьими глазами бормотал стихи и, вдруг загораясь, громоздил небылицы или тихо удивлялся незаслуженным обидам: «Забавно!» Ни в ком так чисто не сохранился лицейский дух, как в Дельвиге, пожалуй, еще в Мише Яковлеве. Но

в Яковлеве, пока он не садился к роялю, переливалось и звенело лишь лицейское дурачество, от Дельвига же веяло поэзией и грустью тех давних лет.

— Надо мной любят потешаться друзья, женщины, — словно издалека звучал тусклый голос Дельвига, — я уже не говорю о журнальной братии. Опять, как в добрые лицейские дни: «Это стихи? Хи-хи-хи!» «Вестник Европы» додумался, а «Северная пчела» радостно подхватила поросший визг.

— Ну а «Царскосельский альманах» посвящает тебе свои страницы, — мягко сказал Пушкин. Его не оставляло чувство, что Дельвиг уходит от настоящего разговора и вместо тяжкого, но облегчающего признания хочет просто выжалобиться, выплакаться, как деревенская баба, а тут любой повод хорош. — Там твой литографированный портрет — честь, которую оказывают немногим.

— Господь с тобой, Александр!.. Неужто ты думаешь, для меня это важно!

— Ну, так скажи сам, что для тебя важно, почему ты уныл и печален, как дева над разбитым кувшином. Мы уже не так приближены друг к другу, как прежде, чтобы я сам мог догадаться. У меня и от собственных дел голова кругом, я должен быть счастливейшим из смертных, а во мне неуверенность, тревога...

Пронзительный, гибельный вопль, донесшийся из детской, сбросил Дельвига с дивана. Он опрометью кинулся вниз. Ничего особенного — просто Лизонька перекочевала из колыбели на руки запозднившейся кормилицы. Наверное, все-таки ей причинили боль, иначе чего бы так кричать?

— Экая вы неловкая, Даша! — укоризненно сказал Дельвиг, с испугом отводя глаза от чудовищной сизой массы, исторгнутой кормилицей из корсажа. — Вечно ребенок у вас кричит.

— Есть хочет, вот и кричит, — равнодушно отозвалась Даша и воткнула личико младенца в страшное месиво.

Дельвига передернуло. Он хотел кинуться на спасение дочери, но вместо нового отчаянного крика послышалось умиротворенное чавканье. Он вздохнул и вышел.

Вернувшись в кабинет, он поразился перемене, происшедшей в Пушкине.

Обычно смугловатое лицо его казалось гипсовой маской в раме темных волос и бакенбард. И жутковато на этой белизне горели желтые, глаза тигра. Он стоял возле

письменного стола, полуотвернувшись от него, в неловкой, насильственной позе, как человек, не завершивший движения. Да он и не завершил отскока от стола, опереженный быстрым и неслышным возвращением Дельвига. Его тело было вывернуто штопором, правая нога полусогнута, левая касалась пола носком узкого сапога. Медленно, будто освобождаясь от пут, Пушкин завершил телесное усилие, отторгся от стола, на котором лежал листок со стихами, адресованными Софье Михайловне. Не было никакой бестактности в том, что Пушкин их прочел, не прочел даже, а разом вобрал в себя — он обладал способностью мгновенного схвата стихов, — не было тут ни малейшей нескромности, ни нарушения дружеского доверия, так у них велось исстари — читать друг у друга открыто лежащее на столе, не спрашивая разрешения. Да к тому же Дельвиг обмолвился, что есть новенькое... Бестактность совершена Дельвигом, оставившим эти стихи на столе и вынудившим Пушкина к стыдному, да еще и не состоявшемуся бегству.

Дельвиг увидел, что Пушкин дрожит. Это не отнесешь за счет даже самого горячего дружеского участия. Так может отдаваться на поверхности лишь бушевание собственных глубин. Но Пушкин, слава создателю, не знает жалких и унижительных терзаний. Он любит и любим и будет так же талантливо счастлив в браке, как и в поэзии. Но отчего же?.. Неужели он вообразил себя на его месте? Когда-то он представил, что его обманывает далекая возлюбленная, и, бессильный выговорить в словах свою ярость, захлебнулся многоточиями, судорожно онемев от бешенства и жажды мести:

Не правда ль: ты одна... ты плачешь — я спокоен;

.....

Но если .....

«Господи! — взмолился Дельвиг. — Избави Пушкина от мук. Я сырой, слабый человек, размокну, растекусь, да как-нибудь выдержу, а и не выдержу — беда невелика, уйду тихо, неприметно и только облегчу других своим уходом. А с ним не так. Страшен, губителен будет его гнев, для него самого губителен. Он твой лучший подарок людям, господи, защити и помилуй Пушкина! Нельзя испытывать такими страстями его душу. Дай ему покой и радость и безмятежное семейное счастье. Пронеси чашу свою мимо него, господи!..»

— Ого!.. — фыркнул Пушкин, глянув на часы.

«Он презирает меня, — подумал Дельвиг. — И виноваты стихи. Он и так все знал, а если и не все, то многое, но отдаленно, холодным разумом, а сейчас — стихами — это проникло в него. И он не может простить мужчине того, что представляется ему позорной слабостью. Но я же не ты, Пушкин! — улыбнулся он своим внутренним лицом, в то время как зримое лицо его оставалось тихо-печальным. — Во мне не шумит африканская кровь и темные страсти твоих предков, убивавших неверных жен, я мягкий, лимфатический человек со слабым сердцем, нетвердой рукой, подслепыми глазами. И я не увижу своего противника, если выйду к барьеру, и стану смешон. Меня убьют сперва смехом, потом пулей. Помнишь, в молодые годы я вызвал Булгарина, думая, что бывший солдат и офицер обрадуется возможности перейти от словесной брани к бранному делу. Но он отказался от поединка, заявив, что пролил в своей жизни больше крови, нежели я чернил. Трусу аплодировали за ловкий ответ, а надо мной посмеялись. Булгарин просто пачкун, и повод для дуэли был ничтожный, но создавать фарсу, когда трещит сердце!.. Нет!.. Ты сказал обо мне: «В очках и с лирой золотой». Таков я есть, таким уйду. Попасть из кухенрейтерского пистолета я могу лишь в собственную грудь, и, наверное, давно бы сделал это, если б не стихи. Там их не будет, Пушкин! В раю не нужна литература, и музыка небес не заменит мне земных песен, твоих песен, Пушкин!..»

Он исподтишка, но пронзительно глянул на Пушкина. Дельвиг недаром среди всех знавших его считался умным человеком. Но он был куда умнее, нежели то мнилось окружающим, и, пожалуй, лишь Пушкин и Кюхельбекер знали истинную цену спокойному, охватистому и пронзительному уму своего друга. И сейчас Дельвиг понимал все, что происходило в Пушкине, как если б слышал его голос. «Надо драться! — клокотало в том. — Мне известно все, чем может оправдываться застарелая леность духа, не подвигшая тебя ни на один поступок, кроме этой злосчастной женитьбы. Да и твой ли это поступок? Скорее всего взбалмошный Салтыков окрутил тебя с дочерью, чей пылкий нрав ему осточертел. Но ты взял ее, накрыл, как плащом, своим именем, так и неси за нее ответ на всех путях ее — правых и неправых. Никто не смеет думать, что она виновата перед тобой. И потому дерись, дерись хоть с целым светом!.. Я знаю, Дельвиг, что не трусость мешает тебе совершить единственно достойный мужчины поступок, но это не извиняет тебя в моих глазах».

И Дельвиг ответил, не разжимая губ: «Спасибо хоть на этом, Пушкин. Тучи сгущаются над нашим литературным детищем, и мне вскоре понадобится все мужество, чтоб держать ответ перед взбешенными властями. Поверь, я не подведу тебя, как не подвел бы и у барьера, если б верил, что поединок — спасение».

*Пушкин.* Да, спасение! Ты спасешь свою честь!

*Дельвиг.* Честь? А что такое честь? Неужели то самовлюбленное, мелкое собственническое, чем мы сами не распоряжаемся, что целиком находится в слабых, ненадежных руках женщины, и называется честью? Да какая ей цена? Цену имеет лишь то, чему ты сам хозяин...

*Пушкин.* Слова, слова, слова!.. В кровавом тумане я вижу лишь темную фигуру, поднимающую на меня пистолет. Ах, с каким наслаждением всажу я в него пулю!..

*Дельвиг.* Ну, убью я его... Неважно кого: лицейского друга Мишу Яковлева, шалолая Вульфа или добрейшего Сергея Абрамовича Баратынского, влюбленного в мою жену и тоже обманутого ею, или другого, неизвестного, без лица и свойств, просто жертву случая, и взойду победителем на опозоренное супружеское ложе, считая, что кровь чужого и, в сущности, неповинного человека смыла с него грязь?.. И ко мне вернутся доверие, радость, та безмятежность духа, без которой я не мыслю счастья?.. Забавно!..

*Пушкин.* Нам не столкнуться. Ты верен себе, и это тоже своего рода мужество. Но бывают обстоятельства, когда любой поступок, даже глупый, лучше самых мудрых рассуждений...

— Тебе пора? — опередив его, вслух произнес Дельвиг.

Весь их беззвучный обмен был краток, как взмах ресниц.

— Да, да!.. — поспешно сказал Пушкин. — Надеюсь, мы еще увидимся. Если позволят сборы, я загляну к тебе перед отъездом.

Сборы тут ни при чем. Мы увидимся, если ты сумеешь вырваться из самого себя. Если сам согласишься тому, чем снисходительно оправдывал меня, не желая окончательно терять ленивого, много пьющего, толстого рогатосца, не верящего, что шелк курка и вялая вспышка отсыревшего пороха возвращают человеку душу.

Они простились без обычного обряда.

Дельвиг не успел решить, заняться ли ему гранками или пойти в детскую, где все еще царил кормилица, когда Пушкин вернулся.



— Едем! — сказал он с порога.

— Куда? — в меру удивленный, спросил Дельвиг.

— Какая разница? Едем! Я нанял замечательного извозчика, сам вылитый атаман Кудеяр, а в оглоблях — престарелый красавец с орловского завода.

Дельвиг рассмеялся и вышел одеться. Вот таким он особенно любил Пушкина: веселого, даже ребячливого, ласкового. Милый Пушкин!..

Извозчик глядел совершеннейшим разбойником: смуглое ножевое цыганское лицо, черные острые глаза, черная с просолом курчавая борода и такие же кудри из-под шапки. Конь был стар и тощ, но ни ямы над глазами, ни костлявый круп и торчащие ребра, ни залысины под сбруей не могли унижить благородной стати чистокровного орловца, и какая-то грустная лошадиная тайна угадывалась за этим аристократом, впряженным в «гитару», как называли петербуржцы маленькую линейку, на которой сидят верхом. Пушкин ловко оседлал узкое сиденье, а Дельвиг пристроился поперек, тесно прижавшись к спине друга. Его радовало все это: разбойные очи и борода возницы с просолом, загадочный конь, узкая, неудобная «гитара», заставлявшая его притуляться к Пушкину, и вся их бессмысленная поездка по жарким, пыльным, плохо мощеным улицам петербургской окраины.

Поскрипывают качели в садах, заросших жимолостью и жасмином, из распахнутых окон рвутся задорные звуки полочки, срываемые с фортепианных клавишей, кричат дети, смеется женщина, и вдруг, покрывая все летние шумы, высоко и жалобно разносится вопль разносчика: «Сморода красная!.. Кружовник!..»

Цыганский возница, будто почуяв шалое настроение седоков, принялся настегивать своего Росинанта, и тот, подергав залысой шкурой и кинув крупом раз-другой, вспомнил о своей благородной крови и пошел мерить дорогу, циркульно-прямо выбрасывая передние ноги. Золотым хвостом завилась пыль за «гитарой». Разморенные жаром прохожие кто осуждающе, а кто сочувственно обрачивались вслед лихой упряжке. Они вынеслись на слепящий блеск Малой Невки, у перевоза взяли влево, в сторону залива и, не доезжая речки Ждановки, свернули в темную липовую аллею, объявшую их прохладой. Здесь кончилась мощеная дорога и ход «гитары» стал тих и плавен. Возница попридержал коня, перевел на прогулочную рысь.

Ах ты, ночь ли,  
Ноченька!  
Ах ты, ночь ли,  
Бурная!..

— Стой! — крикнул Пушкин.

Возница натянул драные вожжи. На скамейке перед бревенчатой избушкой с лубяной крышей и резными наличниками, такой странной среди петербургских дач, словно забрела сюда из сказочной русской старины, уронив пшеничную копну волос на деку мандолины, ражий парень изнывал Дельвиговой тоской:

И с тобой, знать,  
Ноченька,  
Как со мною,  
Молодцем,  
Грусть-злодейка  
Сведалась!

Голос у него был теноровый, шаткий, но с медовой приятцей. Пел он как будто для себя самого, забыв обо всем на свете, но можно было поклясться, что его трепетно слушают и парень это знает.

И, безродный  
Молодец,  
На постелю  
Жесткую,  
Как в могилу,  
Кинешься!

И с чувством доиграл аккомпанемент. Пушкин соскочил с линейки и подошел к парню.

— Слушай, малый, какую песню ты пел?

Тот поднял крупную голову. Был он не петербургской заморенной породы, а сочной ярославской: чистая светлая кожа, ресницы золотыми дугами, синие глаза. И знал он себе цену: спокойно поглядел на вопрошавшего, оценил и лишь тогда почел за нужное встать — спокойно, без суеты: отложил мандолину, спрятал косточку в карман, поднялся, одернул ситцевую розовую рубашку с тонким кавказским пояском.

— Известно какую, сударь, нашу, русскую, — сказал, улыбаясь свежим губастым ртом.

— Сочинил ее кто?

— Уж, верно, не я! — играя синими неробкими глазами, сказал парень. — Завсегда была!

— Ладно тебе, «завсегда»! — рассмеялся Пушкин. Ему

навивалась свободная повадка ражего парня. Он и вообще был за подогрев стылой северной крови ядреной средне-русской струей. — А слова чьи?

— Да ничьи... Люди сложили.

Пушкин кивнул парню и вернулся к линейке.

— И ты еще жалуешься, барон! — сказал с насмешливой укоризной...

Дельвиг потом все удивлялся, как щедро тратил себя на него Пушкин в этот столь печально начавшийся и столь радостно продлившийся день. Конечно, они расставались, но столько уж было разлук! И никто не думал, что поездка Пушкина так затянется и он на всю осень застрянет в Болдине в холерном карантине. Его не будет с Дельвигом в то страшное утро, когда распаленный болгаринскими доносами шеф жандармов Бенкендорф оледенит бешенством свой голубой ангельский взгляд и обрушит на издателя «Литературной газеты» омерзительную остзейскую грубость, «тыкая», будто мужика, грозя тюрьмой и каторгой. Но вся его безудержная ярость разобьется о твердое достоинство человека чести, и впервые всесильному сатрапу придется просить извинения. Не будет Пушкина и когда Дельвиг заболает...

Но это все потом, а сейчас они кутили. Возница доставил их в отличный трактир, где они вкусно поужинали и выпили ледяного шампанского. Гладкие, расторопные и несуетливые половые напомнили Пушкину о ражем певце.

— Пройдут годы, минует век, и другой синеглазый парень запоет «Ноченьку». А наши муки, наши горести и радости, удачи и поражения — кому до них будет дело? И наверное, это справедливо. В конце концов, важны только песни...

В дымчатых сумерках, которые с уходом белых ночей завораживают Петербург на пороге тьмы таинственной тишиной, недвижностью воздуха, безмолвием замерших деревьев, они расстались у дома Дельвига.

— До свидания, радость моя!

— До свидания, мой милый! Во всем тебе удача!..

Обряд целования рук.

И замирающий шорох быстрых шагов.

Можно греть спину у чужой славы, думает тот, кто остался у дверей, и, ей-богу, это не так мало!.. И спасибо ему за все его подарки: за этот день, за цыганский выезд, ражего парня, певшего мою песню, за холодное шампанское, согревшее мне душу, и за то, что я ему еще нужен...

У Дельвига при огрузневшей фигуре был легкий, слышимый шаг. Он миновал прихожую, поднялся по лестнице и прошел в спальню, не родив даже малого шума в старом, разошедшемся доме, и сохранил тоненький сон дочери, просыпавшейся с плачем от скрипа половицы, зудения комара, далекого собачьего лая.

Жена спала, раскинувшись вкось двойной супружеской кровати. Свеча, которую Дельвиг зажег в прихожей, выхватила из мрака ее обнаженное плечо и беспорядок локонов. Лицо она зарыла в подушку, отчего дыхание стало хриплым. Приторно пахло духами, пудрой, потом, вином и чем-то чужим — сигарным дымом, который она принесла в волосах и складках одежды.

Дельвиг подошел и взял подушку — ляжет в кабинете. Она отозвалась на его движение легким стоном. Он поглядел на женщину, причинившую ему столько зла, и какое-то странное спокойствие было в нем.

— Друг мой, — прошептал он, — ты можешь сделать еще много дурного, можешь убить меня, но не унижить.

---

# Заступница

---

## Повесть в монологах

### 1

Архив III отделения. Полутемно, сыро и смрадно. Во всю ширину и высоту стен тянутся полки, на них тесно стоят папки с «Делами». Едва тлеет камин. У небольшого столика с шандалом о три коптящих свечи трудится тщедушный плешивый старик в поношенном статском сюртуке — *архивариус*. Он просматривает какие-то бумаги и делает записи в толстой потрепанной книге. Дверь отворяется, входит ладный, с ловкими движениями человек в голубом жандармском мундире с генеральскими эполетами. У него высокий, чуть скошенный лоб, светлые волосы, цепкий насмешливый взгляд. Это — знаменитый *Леонтий Васильевич Дубельт*. Следом за ним *жандарм* вносит толстенные папки.

Архивариус вскакивает. Его зримо трясет.

Лицо искажено раболепным страхом.

*Дубельт* (приветливо). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич! Да не тряситесь так. Экой же, право, робкий!.. (Показывает жандарму на стол). Клади сюда. Да аккуратнее, безрукий! Небось Пушкина дело, а не Ваньки Каина. Хотя у Ваньки оно, знать, было тоньше. Обожди за дверью.

Жандарм выходит.

Садитесь, садитесь же, Павел Николаевич, что вы передо мной, как лист перед травой?

Архивариус громко икает.

(Брезгливо морщится). Опять икота одолела?.. Вы никак селедкой завтракали, да и с лучком. Экий, право, гурман!.. Ну-ка, сядьте подальше и дышите в сторонку. Терпеть не могу луковый запах, особенно по утрам.

Архивариус подчиняется.

(Берет колченогий стул, усаживается.) А знаете, Павел Николаевич, вы могли бы большую карьеру сделать, если б государю на глаза попались. Он страсть трепет ценит. Зна-

сте, как граф Клейнмихель в случай попал? При первой встрече с императором так разволновался и ослабел, что его замутило. Все решили — конец голубчику, а государь только поморщился и осведомиться изволил, часто ли случается с его верноподанным подобное. Нет, только при виде его императорского величества, от сильного трепета и усердия. Столь уважительная слабость польстила государю, он приблизил и возвысил Клейнмихеля. Раз как-то граф удержал дурноту, и это вызвало приметное неудовольствие. Государь засомневался в его преданности. Но Клейнмихель быстро исправил ошибку. Ныне он самое доверенное лицо государя, после, разумеется, нашего шефа графа Бенкендорфа. А у вас, Павел Николаевич, козырь не многим слабее, чем у Клейнмихеля.

Слышится какой-то ржавый звук.

(Заинтересованно прислушивается и понимает, что это смех). У вас есть чувство юмора. Оно поможет пережить разочарование: вам не сделать карьеры — вы икаете и трясетесь перед любым начальством, а надо лишь перед его величеством. В этом сила Клейнмихеля: со всеми — зверь, а перед государем — пес блюющий. Большое дело, любезный Павел Николаевич, иметь зримый порок, чтобы без подлой лести возвеличивать высочайшую особу. Граф Александр Христофорович государю еще ближе Кленыхина, как того в войсках кличут, а не испытывает дурноты, не икает, но рассеян противоестественно и при всей своей ловкости беспамятен и бестолков. . . да не тряситесь вы так, Павел Николаевич, нас же никто не слышит, а я на себя не донесу и вы не донесете — внимать крамольным речам столь же преступно, как и произносить. Спокойнее, Павел Николаевич, а то вы сроду икать не перестанете. А это неприлично для служащего столь высокого учреждения. Сам государь удостаивает нас своим посещением. Скромный труд наш на благо России «святым делом» называет. «Святое дело сыска» — доподлинные слова царя Николая.

И чего вам бояться, любезный Павел Николаевич, это вас должны бояться сильные мира сего. Кстати, вы не обращали внимания, что вас зовут, как государя, только наоборот? К чему бы сие? Знамение? Или примета скрытого родства? Об этом стоит подумать. Вы страшный человек, Николай Павл... тьфу, Павел Николаевич, ведь вы все про всех знаете. (Обводит широким жестом хранилище). Мне известно, что вы не просто регистрируете поступающие к

вам дела и по полкам их распределяете, на радость архивным мышам, а наивнимательнейше, от корки до корки штудируете. Память же у вас, почтеннейший, как у Гомера или Шекспира. Все помните, что не с вами было. А для чего вам это? Бескорыстная любознательность? Скорее желание убедиться, что знаменитые и знатные, коли видеть их с исподу, ниже последнего архивного червя. Тогда и чин ничтожный, и жалованье низкое, икота и трясучка, и вся впустую прожитая жизнь — не так уж мучительны. Вы интересный человек, Павел Николаевич, самый интересный после меня в этом заведении, и я люблю с вами разговаривать. Особенно потому, что вы молчите. Даете человеку выговориться. Я вас по-своему уважаю, Павел Николаевич, — не за икоту, о нет, за сосредоточенную злобу, что держит вас здесь. Вы же давно могли уйти на пенсию и спокойно дотлеть, но ненасытное мстительное чувство сделало вас вечным узником смрадного подвала. Я с вами откровенен, как ни с кем другим, вам бессмысленно врать, вы если не впрямую, то косвенно узнаете подноготную каждого. Но вам неизвестно, что государь называет Александра Христофоровича Бенкендорфа ангелом. Шеф жандармов и впрямь ангел: весь лазурный, голубые чистые глаза, розовая кожа, ангельская кротость с одними, ангельский холод к другим. Последних неизмеримо больше. Вы никогда не задумывались, почему ангелы не могут любить? Впрочем? небожители идут по другому ведомству. Ангелы бесполоы. Александр Христофорович — истинный ангел. А вот я не ангел и не блевун, у меня нет отчетливого, бьющего в нос ущерба, и мне не сделать первоклассной карьеры. В определенном смысле я ее уже сделал, могу подняться еще на ступень, когда граф Бенкендорф оставит свой пост, но его влияния не добьюсь. Не бывать мне ангелом нашего государя. Мешает ум, скрыть который гораздо труднее, чем кажется. И зачем ты, матушка, не ударила меня незаросшим темечком о косяк, был бы твой Леонтьюшко фельдмаршалом, первым министром или обер-прокурором святейшего синода. Впрочем, стоит ли сетовать на судьбу, особенно в присутствии почтеннейшего Павла Николаевича, который не дорос и до таких скромных чинов? Но Павел Николаевич выше этого. И я, как ни удивительно, тоже выше. Для меня суть моих занятий важнее наград, званий и титулов, хотя все это важно для жизни и для самих занятий.

(Со вздохом.) Вот, Павел Николаевич, сдаю вам, быть может, величайшее из всех дел, какими занималась собственная его величества канцелярия, хотя касается оно особы весьма невысокого ранга. Тридцатилетний муж, глава семьи, знаменитый поэт, чья слава вышла за пределы России, довольствовался юношеским званием камер-юнкера. Вот он, весь тут! (Хлопает рукой по верхней папке). Тело Пушкина предано земле его другом Александром Тургеневым, а дело сдается мною в архив. И желательно сохранить сие от мышей и прочих скверных зверушек. Каждый, кто причастен к этому делу, обрел бессмертие, многим едва ли желательное. Итак, покончено таинственное дело, а до конца ли разгадано — кто знает? Даже я этого не знаю, хотя находился в самой гуще. Нет, не был я ни движущей пружиной, ни даже сколь-нибудь важной частью сложного механизма, но и в стороне не остался. Говорю о том равно без гордости и без сожаления. Сейчас умы в разброде. Свет поделился на две неравные части. Большинство осуждает Пушкина и оправдывает Дантеса, иные даже рукоплещут красавцу эмигранту, что несколько странно с патриотической точки зрения; меньшинство же оплакивает Пушкина и проклинает его убийцу. И у всех на устах стихотворение юного корнета Лермонтова «На смерть поэта», с эпиграфом: «Отмщение!» Но я хотел не о том, добрейший Павел Николаевич. Смерть Пушкина вдруг обнаружила, что есть не только свет, чье мнение единственно важно, а такое странное, неощутимое и не упоминаемое в России образование, как народ — это где-то в Европах, во Франции, в Англии, в цивилизованных странах, испытавших революционные потрясения. Мы думали — лишь с революцией масса немущих, проще — толпа, становится народом. В России революции не было, но гибель национального поэта обнаружила, что существует народ. Не холопы, не смерды, не дворяне, не работный люд, не голытьба, не городская протерь, не мещане, а именно народ. Иначе как назовешь те тысячи и тысячи, что осадили дом Пушкина в дни его агонии, а затем по одному прощались с покойным, целуя его руку? Если б то были просто горожане да пригородные крестьяне, тело Пушкина не повезли бы тайком в Святые Горы. Но тут пробудилась и заявила о себе какая-то новая, еще не сознающая самое себя сила. В известном смысле это страшнее, чем 14 декабря на Сенатской площади. Мятеж молодых аристократов не имел корней, неда-



ром же солдаты не пошли за ними. Народ — вот самое страшное, что оставил нам Пушкин, а не богохульная «Гавриилада», злые эпиграммы и крамольные стихи. Это понимают пока лишь самые проницательные, и прежде всего — государь. И все же дело завершено. Слава богу, иначе тлетворное влияние Пушкина росло бы с устрашающей силой. Мертвец, при всех оговорках, куда менее опасен. У людей короткая память, они позволяют себя отвлечь и развлечь, что куда проще, нежели осилить живое воздействие громадной личности и могучего таланта. Второго Александра Сергеевича Пушкина в России не будет. Не сойдутся так больше звезды. Я равнодушен к стихам и прозе, признаю лишь исторические сочинения и мемуары тех, кто движет историю, но я понимаю, что такое Пушкин. И при этом ничуть не раскаиваюсь, что имел некоторую, пусть скромную, прикосновенность к закрытию этого дела. Есть ли тут противоречие? Ни малейшего. Великое государство Российское создавали не Пушкин, Гоголь или Грибоедов, а Иван III, Алексей Михайлович, Петр Великий с корыстными, но дельными соратниками, Екатерина, Румянцев-Задунайский, Суворов, даже Сперанский при всех его просчетах и, разумеется, ныне здравствующий монарх, служилое дворянство, генералы, министры, высшие чиновники. Граф Клейнмихель, над которым тайком посмеиваются, важнее для России, чем насмешник Гоголь. Клейнмихель строит, а Гоголь разрушает. Граф угадал главное в наши дни: исполнительность. Лишь она противостоит хаосу, к коему тяготеет русская жизнь. Я хоть и Дубельт, но ощущаю себя россиянином, всем сердцем, всей требухой привержен к этой стране, ее истории, вечному неустройству и потугам это неустройство одолеть, встать вровень с цивилизованными странами. И ведь есть к тому возможность, есть! Старушка Европа загнила и смердит, а тут молодые, свежие, нетронутые силы. Я не могу сочувствовать тем, кто препятствует серьезной государственной жизни России. А высший свет — вовсе не свора льстецов, выскочек, завистников, интриганов и сплетников, хотя и таких довольно, но прежде всего — опора самодержавия. И кто посягает на него, колеблет трон. А я на страже. Только, Павел Николаевич (голос Дубельта звучит глубоко и серьезно), вот это действительно должно остаться между нами. Я не хочу, чтобы хоть одна живая душа знала, что я служу не ради чинов, крестов и лент, а ради идеи. Этого мне не простят. В награду за скромность я покажу вам некоторые материалы, которые никогда не поступят в ваш архив.

Архивариус живо вскакивает и кланяется не без достоинства. (Насмешливо.) Мы с вами из одного теста — бессребренники. . . (Вновь становясь серьезным.) Одно меня угнетает. А что, если я ошибаюсь? И как раз Пушкин, Гоголь, Грибоедов и иже с ними строят Россию, а не политики и полководцы? Но нет, этому отказывается верить разум. Бумагомаратели, чего они стоят? А Радищев? Екатерина ополчилась на него, как на Пугачева, а эта государыня была великим политиком. И почему столько шума вокруг маленького курчавого камер-юнкера, не имевшего ни одной награды, зато не раз ссылаемого, всячески унижаемого, гонимого? Почему царь стал его цензором? Не слишком ли много чести? Но к ничтожным делам цари не снисходят. Да нет, тут другое: обуздать дух разрушения. А почему в писании сказано: вначале бе слово, потом бе бог? Может, тут и коренятся сила и власть этих, ни силы ни власти не имеющих? А если так, то хороши же мы все!.. Нет, нет! Государство не в них, а в нас...

Входит *жандармский офицер* и молча протягивает  
Дубельту листок.

Браво, Щеглов, вы делаете успехи! Было бы худо, если б граф Бенкендорф получил это из других рук. Вы свободны!

Жандарм выходит.

(Читает).

А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов,  
Пятою рабскою поправшие обломки  
Игрою счастья обиженных родов!  
Вы, жадною толпой стоящие у трона,  
Свободы, Геня и Славы палачи!  
Таитесь вы под сению закона,  
Пред вами суд и правда — все молчи!  
Но есть, есть божий суд, наперстники  
разврата!..

Есть грозный судия: он ждет;  
Он не доступен звону злата,  
И мысли и дела он знает наперед.  
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:  
Оно вам не поможет вновь,  
И вы не смоете всей вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!

Шестнадцать строк. Но стоят иной поэмы. И кое-кому будут стоить карьеры и даже судьбы. Михаил Павлович сказал о Лермонтове: «Этот заменит нам Пушкина». Великий князь попал точнее, чем мог думать. Нет сомнения, что эти строчки написаны лермонтовской рукой. Виден сокол! . . . Стихотворение стало совсем другим. Зарвался мальчик! Боюсь, что отмщение государя обратится теперь вовсе не на Дантеса. Француз просто защитил себя от ревнивого и дерзкого камер-юнкера, не дававшего ему покоя, да и не только ему. А этот корнет полоснул саблей по всему высшему обществу, по двору, и куда хуже — по особе государя, которому противопоставил бога. Как вы находите стихи, Павел Николаевич?

Архивариус потрясенно разводит руками.

Хороши, ничего не скажешь. Слишком хороши. О неиссякаемая Россия!

Быстро входит *жандармский офицер*

*Жандарм.* Ваше превосходительство! Его величество государь император изволили пожаловать! В сопровождении их высокопревосходительства графа Бенкендорфа.

*Дубельт.* Возьми-ка, голубчик, вот все это (показывает на груди папок, лежащую на стуле). Да, почтенный Павел Николаевич, лишаю вас на время преинтереснейшего чтения. Ничего не попишешь. Пушкина нет, а дело его живет! (Выходит следом за жандармом).

## 2

Февраль 1837 года. Петербургский дом Арсеньевой. Маленькая гостиная, хорошо и уютно обставленная, на стенах гравюры, акварели Лермонтова, несколько фамильных портретов в багетных рамках, среди них портрет покойной дочери хозяйки — Марии.

В вазах свежие оранжерейные розы.

*Арсеньева*, довольно высокая, с прямой спиной, бодрая старуха, седая и темноглазая, вводит в гостиную *Аграфену*, бывшую мамку Лермонтова, женщину примерно своих лет, но совсем дряхлую с виду, согбенную, с отечными ногами и шаркающей поступью.

*Арсеньева.* Ходи веселей! Хватит притворяться, что тебя так растрясло, дорога по зимнику гладкая. До чего же все дворовые избалованные — спасу нет! Я старше тебя, а не шаркаю и не гнусь. . . В баньку сводили? Накормили хорошо?

При этих отрывистых вопросах Аграфена кланяется и хочет поцеловать барыне руку, но та не позволяет.

А ну, без глупостей! Здесь Петербург, не Тарханы. Барин молодой увидит — разгневется. Ах, Аграфена, тяжко мне с ним! До того тяжко!.. Люблю его больше жизни, каждое желание предупреждаю, а чей он — мой или чужой?.. Да садись же, садись, в ногах правды нет. Да и устала ты, старая. Садись вот тут. Сейчас велю тебе чаю крепкого дать с вареньем и сахарком, ты ведь сладкое любишь, и ромцу ямайского или бальзамца. Молчи, молчи, не лицемерь. Нешто не знаю, как по буфетам рыскаешь. Честна, честна — оставь тебе казну, копейкой не попользуешься, а винцо тайком вылакаешь. Ох, русские люди, русские люди! Чего только в нас не намешано: и доброта святая, и преданность, и к жертве любой готовность, и вороватость, и лукавство, и притворство, и к разбою склонность. Француз или немец — одной краской мазан, а наш — радуга, все цвета налицо. (Подходит к двери, распахивает створки и чуть не сшибает с ног подслушивающую *девушку*.) Зачем шпионишь? Что я — любовника прячу? Стара я для таких дел. Тьфу ты, из головы вон — Аграфена же твоя крестная! Ну, поцелуйся с крестной и принеси ей чаю — живо! А наболтаться еще успеете, она никуда не денется. Здесь жить будет.

Девушка обняла крестную и метнулась к двери.

Арсеньева успевает дать ей звучный шлепок.

Хороша натяжка у твоей крестницы, даже руку отшибла. Разучилась я тут бесстыдниц шлепать, а уж высечь и не мечтай. Для этого надо в часть посылать. Одно дело — доброй материнской рукой проучить, другое — своего человека к чужим на правож послать. А ну-ко Михаил Юрьевич проведает, для него это как нож вострый. Не может он, чтобы человеческое достоинство страдало. Нешто достоинство в заднице помещается? Небось помнишь, как в Тарханах: попробуй кого на конюшню послать — сейчас затрясется весь, зубками заскрипит, побледнеет, того гляди родимчик хватит. Я тронуть никого не решалась, совсем разбаловались люди. А что поделать, знаю, что порчу дворню, а молчу. Слово наследника — закон. Да тебя-то это не касалось, ты ж мамка, тебя сроду никто пальцем не тронул.

Входит *крестница Аграфены* с подносом, уставленным чашками, кувшинчиками, вазочками, тарелочками со всевозможной сладкой снедью, ставит на столик перед старушкой и ускользает, опасно покосившись на барыню.

(Налила Аграфене большую рюмку рома и себе плеснула немножко в серебряную чарочку). Давай выпьем за нашего баловня! (Пьет и по русскому обычаю опрокидывает пустую чарочку, мол, капли не оставила.) Как я его в детстве баловала! Иной бы злодеем вырос. Ребенок — личинка человеческая, чем к нему добрее, тем он хуже. Забияки, охальники, разбойники из самых забалованных выходят. Родители трясутся над дитяtkом, как я над внучком, и он смекает в маленькой своей душе: я самый важный, самый главный, золотой и бриллиантовый и все по-моему должно быть. И выходит он в широкий мир, а жизнь под него не стелется ковром, у людей свои интересы, ему вперекор. И пошло чудить такое вот занеженное дитя, силком брать, что само не идет, куражиться и своевольничать. А Мишенька не такой. Он, правда, горяч, вспыльчив, но и отходчив, а уж добр, добрее не бывает. И чем человек проще, тем он к нему жалостливей. Мишеньку многие не понимают, думают, колючий, злой, нелюдимый, а он застенчивый. Он всю душу готов раскрыть, да ведь наплюют туда, нахаркают. Он это чувствует и замыкается. А кто его глубже знает, тот за Мишеньку в огонь и в воду. Что Раевский, что Монго Столыпин, что Алексей Лопухин, что Юрьев. И Мишенька за друзей жизнь отдаст. Он и с девушками умеет дружить — сама деликатность, сама сдержанность... Заговорила я тебя? А ты терпи и внимай. Сласти чаек, ромцу подливай, не жалеи. (Вдруг, будто осердясь.) Да, я одна говорю, а ваше рабье дело слушать, молчать и улыбаться. А вот коли случится то, чем Мишенька иной раз, гневаясь на меня, грозит: вы наверх, а мы на дно, — ты будешь говорить, а я помалкивать, да улыбаться. А про себя небось проклинать трепуху неумную. Молчи, знаю, что не проклинаешь. Ты верная Личарда, сама от вольной отказалась.

Входит *слуга* и протягивает Арсеньевой записку

(Читает записку.) Еще бы не пришел! Гордым больно стал Ванька Джалакаев, его хор сейчас нарасхват. Но помнит, душа цыганская, кто его графу Шереметеву рекомендовал. С Шереметева и начался его карьер. Ах, связи, связи — в Петербурге они важнее богатства, знатности, всех талантов. А чем-чем — связями господь бог не обидел.

Можем мы кое-что в северной нашей Пальмире. (Слуге.) Ряженные явятся — доложи. Шампанское — охладить к пяти. И помельче лед для устриц накрошите. Раньше чем на стол подавать, не открывайте, а то вся свежесть пропадет. Тут гурманы такие соберутся! Сам-то Мишенька в еде не больно разборчив, хоть и напускает на себя вид знатока. Хорош знаток! Его раз булочками с опилками накормили, а он и не заметил. (Слуге.) Чего уставился, как филин? Сказано — ступай!

Слуга уходит.

(Обращается к Аграфене, глядящей на нее с каким-то испуганным недоумением.) Обед я даю Мишеньке и его друзьям. Опять, понимаешь, у нас ссора вышла. Знаю, о чем думаешь, не то, не то! О Юрии Петровиче Лермонтове, как помер, больше речи не заходило. То ли простил мне Мишенька отца, то ли скрыл обиду на дне души — не знаю. Хотя если подумать хорошенько, то и в нынешнем разладе мелькнула отцова тень, как это мне раньше в голову не пришло? Но давай лучше по порядку, а то я все путаюсь. Беспокойно мне что-то. А вроде бы чего беспокоиться? Со стихами на смерть Пушкина обошлось. Мишенька мне мою дурость, об Александре Сергеевиче сказанную, простил, сам записку прислал, такую добрую, ласковую. И хоть я во всем виновата, он себя корит за несдержанность, грубость. Да какой он грубый, может, самый нежный человек на свете. Мало кто его настоящего знает. Друзья знают, Варенька Верещагина, Маша Лопухина и та голубоглазая девочка, в которую он еще мальчиком влюбился, знают. Боже мой, как смотрел на нее Миша своими черными глазищами, как следил за каждым движением, а заговорить не решался. А она все понимала, и кокетничала с ним, и поощряла, и тут же напускала на себя презрительный вид, а он, лопушок бедный, не отважился с ней познакомиться, только вздыхал ужасно и руку к сердчишку прижимал. Вот когда в нем душа пробудилась. Он после, уже взрослым, ей стихи посвятил. До чего ж памятный, как все в нем глубоко!.. О чем бишь я? (Арсеньева явно думает о чем-то другом, мучительно-тревожном, и это путает ее речи.) Ах да, обед я даю в честь примирения со своим суровым внуком. Но ведь скучно ему вдвоем со старухой пировать — ни выпить, ни покуражиться, ни о скабресном потолковать. У гусар это принято. Я его с дружками пригласила. Посижу с ними для порядка, винца английского легкого пригублю да и уйду к

себе. А молодежь пусть развлекается. Хор цыган заказала, лучший в Петербурге, и знаешь, старая, чего я еще придумала? Не праздновали мы святок в нынешнем году, да и какие святки в Петербурге, а Мишенька больше всего этот праздник любил, особенно ряженных, их песни, пляски, все сумасбродство. Он часто жаловался, что не было у него в детстве сказок, не было Арины Родионовны, как у Пушкина, кумира его и бога, мол, плохо это для поэзии... Ты, чертовка, почему сказок для моего внука жалела? Ишь молчунья! Небось растеряла память при барах обретаешь?.. А песни Миша слушал и сам певал и наигрывал, и на рожке, и на флейте, и на чем хочешь... Опять меня занесло... Да вот, надумала я в шальной моей голове ряженных пригласить. Пусть, когда господа охмелеют и от цыганских плачей устанут, ворвется шайка смазливых, пакостных рож и позабавит их песнями и всяким фокусничаньем. Вроде не ко времени, да у кого средства есть, тому в любой день святки. А мне надо Мишеньку развлечь. У него нервы вовсе испорчены. Разным я его видела: и когда за отца переживал, и когда в Московском университете неприятность вышла, и когда Катька Сушкова его мучила, но таким, как сейчас, не видела. Пуля, что Пушкина убила, и сквозь него прошла. Заболел он нервной горячкой, после все хотел Дантеса вызвать и отомстить за Александра Сергеевича. Но государь упрятал француза на гауптвахту. И слава богу, а то беспрременно бы Дантес и второго русского поэта уложил. И не потому, что наши стреляют плохо или отвагой не берут. Оба бесстрашные и стрелки отменные. Не могут они первыми в человека выстрелить, даже в злейшего врага. Вон Пушкин сколько раз дрался, а ни одной дуэли не выиграл, все в воздух палил. И Мишенька такой же. Им жаль чужую жизнь, а их кто пожалеет! Нельзя поэтам на дуэлях драться. Никого на свете Миша так не любил, никому не поклонялся, как Пушкину. Молился на него. А когда впервые в свете столкнулись, будто онемел и ничего своему идолу не сказал. Потом горько сожалел. Но как же обрадовался, когда ему передали, что Пушкин «Бородино» похвалил. «Далеко мальчик пойдет!» — доподлинные слова Александра Сергеевича. И Мишенька жил мечтой о новой встрече. И что Пушкин ему главное слово скажет. Не дождался. Дантесова пуля ту мечту убила. (Утирает глаза. И, разозлившись на себя за слабость, говорит иным, деловым тоном.) А кружевниц ты привезла?

Аграфена кивает.

(Звонит в колокольчик и приказывает явившемуся слуге.)

Девочек-кружевниц приведи!.. Поди, забаловались там без хозяйки. Ну, я их приструню. Заставлю новые узоры плести.

Появляются кружевницы: *Черные очи, Карие очи, Синие очи и Сероглазка*. Приседая, здороваются с барыней, потом становятся рядом.

Слушайте, девки, мое наставление. Здесь вам не Тарханы, а столица. Народ охальный, хитрый. Наговорят, наобещают с три короба и последнее отберут. Держи ушки на макушке. И чтоб без шашней. Я этого не потерплю. Зарубите себе на носу. И к гостям Михаила Юрьевича на глаза не суйтесь. Гусары — сорви-головы. А к самому баричу, коли по старой памяти в деловую заглянет, поласковой, потеплее будьте. Песню спойте, он страсть деревенские напевы любит, спляшите, авось ноги не отвалятся. И всякое его желание предупреждайте, чтоб еще подумать не успел, а уже сделано. Понятно?

Девушки, перемигиваясь и пересмеиваясь, дружно кивают.

Ладно, ступайте, негодницы! (Слуге.) Вели их китайским чаем напоить, с вареньем и пряниками.

Девушки уходят.

И откуда такая статья? Трескают картошку, капусту, огурцы, а стройны, как нимфы. Хороша наша пензенская порода! Ну как, нахлебалась? Давай и за дело. Подсоби-ка!

Двоем они извлекают из шкапа туго набитый мешок.

Велела я к твоему приезду собачьей шерсти набрать. Свяжешь Мишеньке жилетку. Собачья шерсть самая, говорят, для тела полезная. И теплая, и мягкая, и целебная. Я все за его здоровье опасуюсь. Помнишь, какой он хворый был? И золотухой, бедный, мучился, и простуды бесконечные, и перхал, и легкими недужил. Болтали кумушки: не жилец. По правде, я и сама, грешным делом, думала, что он в мать свою покойную пошел. Уж я ли не тряслась над моей ненаглядной, а сгорела от злой чахотки в двадцать три года. Злой рок надо мной, Аграфена, все кого люблю, рано уходят. Мужу и тридцати пяти не было, как он в одночасье помер. Знаю, пустили сплетни, будто яд принял, оттого что я любовницу его Мансыреву в дом не пустила. Враки! Я, правда, велела ей передать, что осрамлю перед всем обществом, коли на мой порог сунется. Спектакль у



нас любительский был: «Гамлета» играли. Ну, Михаил Васильевич все выбегал на крыльцо пассивно свою встретить. Не знал, что я нарочного выслала и тот ее в пути перехватил. Лютые крещенские морозы стояли, он потный весь, его и прохватило. К тому же переволновался, вина выпил и, как могильщика в пятом действии отыграл, прошел в гардеробную, тут ему карачун и приключился. А что там пузырек пустой нашли, так он, видать, капли сердечные принял. Какое еще самоубийство? Никем не доказано. Мы хоть и ссорились, а помнили о прежнем счастье, он меня, бывало, на руках носил, даром что я рослая, налюбоваться не мог. И если б тогда не помер, наладилась бы наша жизнь. Но все в руке божьей. И дочка судьбу мою повторила. Вышла по страстной любви, да, хорош был Юрий Петрович Лермонтов, ничего не скажешь, но ветреник. С крепостными девушками баловался, после наложницу завел, компаньонку жены Юльку Ивановну. Ее из тульского имения Арсеньевых прислали на исправление, она там юного моего родственника соблазнила. Месяца, может, не прошло, застала Машенька мужа в объятиях этой Юльки бесстыжей. Так вот она исправилась. У дочки не было моей силы, я все выдержу, зашатаюсь, упаду да опять на ножки встану, недаром меня Марфой Посадницей кличут. А та слабогрудая, деликатная, нежная натура. Стала чахнуть. Юльку-то я из дома выгнала, да уж без пользы. Сжигала Машеньку чахотка. Редко-редко скользнет с кровати тенью бледной к роялю, Мишеньку на колени посадит и играет слабыми своими пальчиками. А он двухлетний, вроде бы и душа не проснулась, а все понимает, слушает музыку, а по щекам слезы текут. Так они сидели и оба плакали. И ведь помнит он свою маму. Из этой памяти стих родился про ангела. Летит по небу ангел и несет на землю юную душу. Но душе этой на земле не прижиться, потому что помнит она о рае.

И долго на свете томилаcь она,  
Желанием чудным полна;  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

Господи, ну можно ли поверить, что это семнадцатилетний мальчик написал? Это он о себе, о маминой музыке, которая стала для него воспоминанием о рае... Постой, старая, что с тобой? Ты плачешь? Неужто тебя так Мишины стихи тронули? Да может ли быть в подлome сословии такая тонкость чувств? Слушай ты... Аграфена, хочешь

вольную? Опять предлагаю. Чего головой качаешь?.. И верно, на что тебе вольная, все одно при мне останешься. Знаешь, твой племянш, каретник Андрон, просился в отхожий его отпустить. Разрешаю. Без оброка. Завтра старосте напишу. Ни-ни, не смей к ручке тянуться. Поклонись вежливо — и хватит. . . Опять я сбилась. Рада очень, что тебя вижу. Смутно мне, тревожно, всякие мысли роятся, а вылить душу некому. Мишенька вон рассердился и не заходит. А с тобой я люблю разговаривать. Ты умная. Я серьезно. Ты молчишь умно. А иной распустит язык, а дурак дураком, и сказать ему нечего. Вспомнила, о чем говорила. Бывает, заедешь на чужое поле и выбраться не можешь. Да не чужое оно, нет, мое, самое горькое поле. Как мог Мишенька, который все так сильно чувствует, простить отцу смерть своей матери, ангела, что ему о небе пела? И не только простить, а полюбить невесть за что. Он и не видал его почти, а как тянулся! Вот он, голос крови. И обижался за отца, страдал ужасно, что тот бедный и незнатный и родня его не уважает. Но я знала, в чем Мишенькина польза, и не отдала его отцу. Разве мог Юрий Петрович маленького, слабого, болезненного сыночка выходить? Мог ли воспитать его, сам в воспитании нуждающийся? Мог ли ему образование дать? Уж на что он взбалмошный был и упрямый, а и то понял, где Мише лучше будет. И смирился. Но чего мне это стоило! И у Мишеньки против меня в душе отложилось. Он сроду не признается, но меня не обманешь. Когда человек любит, такое всегда чувствует. Да пусть хоть проклинает меня, для его пользы я что хочешь вытерплю. И вот с Пушкиным тоже. Я сразу почуяла опасность. Неужто мне Пушкина не жалко, неужто я не понимаю, что он для России значит? Я через Мишеньку все про стихи узнала. Но, видя, как Мишенька переживает, стала говорить, что Пушкин сам виноват. Сел не в свои сани и вылезти из них не решился, вот и привезли они его прямешенько к гибели. «Не в свои сани не садись» — старая мудрость. Ведь и Мишенька изо всех сил к свету тянется, а не светский он человек, нет в нем ни лоска, ни угодливости, ни умения лавировать, прям и резок, доверчив и бесстрашен. Хорошо еще, просто шишки набьет, а если другой Дантес?..

И ведь ничего нового я ему не открыла. У него как в стихах: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил ты в этот свет завистливый и душный...» Стало быть, знает и, как бабочка, сам на огонь летит. Вот что

меня убивает. Не шаркун он паркетный, не красавец раздушенный, не богатырь, как Монго Столыпин, ничем для света не взял. Нужны им его ум, талант, острый язык! Мы уже знаем, как высший свет гениев ценит. Мишенька вроде и сам все понимает, смеется над своей внешностью, «чисто, говорит, армейской», горбачом Вадимом себя вывел, а в глубине души страдает и думает силой характера взять, блеском, славой. Да нешто светским красавцам ум нужен, им ус подавай. А у Мишеньки и усишки-то жиденькие. Им рост подавай, ногу стройную, а мал и кривоног наш бедняжка. О господи!.. Конечно, за Мишеньку любая пойдет, есть в нем для женщин обаяние, а главное — есть у бабушки поместье не расстроенное, кое-что в сундуках, да и связи немалые, чего еще нынешней красавице надо? Да он о женитьбе не помышляет. Ему бы блистать и покорять. Вот Пушкин доблистался. Правда, потом Александру Сергеевичу в великую тягость стали свет и двор, да поздно, сердешный, спохватился, там жертву так просто не отпускают. Изволь платить за гордость не по чину, за независимость, за шутки колкие, за презрение к выскочкам. Род-то Пушкиных хотя и старинный, а захудалый. Мишенька и тут с Александром Сергеевичем схож. Древо Лермонтовых скрыто в шотландских туманах, никто, кроме Мишеньки, не берет всерьез воспетого Вальтером Скоттом барда Лермонта. Сам же за худобу отца своего переживал, сам же хочет тягаться с Шереметевыми, Голицыными, Оболенскими или новой знатью, вроде Орловых, Разумовских, у тех грамота геральдическая хоть не пожелтела, да богатства несметные. Нет, надо Мишеньке держаться подальше от гостиных и блестящих залов. Вот я и думала примером Пушкина его утратить. И как же он разгневался! За отца родного так не гневался, как за Александра Сергеевича. Веришь ли, мне даже показалось, что ударит. Конечно, никогда у него рука на бабушку не поднимется, но знаешь, Аграфена, можно ударить глазами.

Ни у кого я таких глаз не видела, как у Михаила Юрьевича. То блестят, горят, сверкают, то ночи черней, непрозрачные, тусклые, тяжелые остановившиеся, как у мертвого. Но редко можно прочесть по его глазам, что он чувствует. С друзьями-гусарами у него глаза всегда веселые, улыбочивые, а это вовсе не значит, что ему весело. Это значит, что ему должно быть весело, и он заставляет себя — не веселиться, тут глаз не заблещет, — а чув-

ствовать, что ему весело. Непонятно говорю? Мне и самой непонятно. Вроде бы, коль человек заставил себя чувствовать веселье, радость или горе, — значит, это чувство им владеет. А у Лермонтова не так. У него воля громадная. Он принуждает себя, и ему по всем статьям весело: улыбка на детских губах, эпиграммами так и сыплет, бокалы залпом осушает, первый заводила и дебошир, а на самом дне лютая печаль. Не знаю, всегда ли так, во время холостяцких пирушек я его не видела, но думаю, что не ошибаюсь. Ведь гусары там, или товарищи детских игр, или студенты — разницы нету. А в обществе, особенно когда кругом молодые красивые женщины, взгляд у него вдруг станет свинцово-тяжелым, веки припухнут и моргать забудут, и кажется, будто он за тысячу верст отсюда. Иная дура-красавица осведомится: где вы, господин Лермонтов, никак стихи сочиняете? Он непременно колкостью ответит. А дело в том, что Мишенька весь в этом бале или в этой гостиной, ему до боли хочется привлечь к себе внимание, победить всех соперников, покорить всех женщин, а как?.. И вдруг станет легким, спокойно-насмешливым, это значит, все переварил внутри, сам себя высмеял и освободил душу. Но в тот раз, когда мы с ним из-за Пушкина сцепились, не требовалось особой пронизательности, чтоб прочесть Мишенькин взгляд. Такая в нем была боль, такая обида, такой гнев, нет, хуже, ненависть. Бабушка родная с врагами Пушкина стакнулась, с теми, кто его погубил. И уж мне не объяснить было, что плачу я над Пушкиным, ненавижу его убийц, не из-за него самого даже, а из-за Мишеньки. Они у меня в голове путаются, думаю о Пушкине — и вижу Мишеньку, о внуке душа заболит — вижу Пушкина на снегу распростертым. Кажется, поэт должен все понимать, нет, и поэт из своих пределов не вышагнет, все мы как магическим кругом обведены, и нет нам из него хода. Ведь я урожденная Столыпина, мой род процветает, а Пушкины и Лермонтовы в загоне, значит, я из той самой светской черни. И смех, и слезы!.. Может, мы бы еще нашли общий язык, да тут, как на грех, зашел Николай Столыпин, он в министерстве иностранных дел служит, у графа Нессельроде, злейшего врага Пушкина. И схватились кузены не на жизнь, а на смерть. Кончилось тем, что Миша велел ему немедленно убираться, а то за себя не отвечает. Столыпин смутился, оробел: «Да он сумасшедший, его надо связать!» — ноги в руки — и деру. Пока они спорили, Михаил Юрьевич что-то

все на подоконнике черкал. После я на ковре лоскуток бумаги подобрала. Обрывок стихотворения. Начало — лучше некуда. «А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов». Это он в Николашу метил, да и во всех Столыпиных. Мой-то батюшка на винных откупках при Екатерине взошел. С графом Алексеем Орловым компанию водил. Михаил Юрьевич не только по моим родичам вдарил, это бы полбеды, а по самым близким к трону людям. Ладно там Орловы, Разумовские, Шуваловы, у иных хоть заслуги перед Россией были, а всякие немцы, что трон окружают, они-то вовсе рассвирепеют.

Что он с этими стихами сделал? Бросил, порвал, а вдруг в свет пустил? Тогда помилуй нас бог. . . Но, вишь, время прошло, он мне записку ласковую прислал, обещал прийти, я обед затеяла, цыган позвала. . . Авось обойдется. А нет — что ж, мне не впервой сильным кланяться. Есть ход и к Бенкендорфу, и даже к великому князю Михаилу Павловичу. Он Лермонтова стихи ценит. (Вдруг залилась смехом.) В какие только истории я из-за Мишеньки не попадала! Помню, еще в юнкерах он жестокою простуду схватил. Мне донесли. Я сразу в Петергоф, где полк его стоял. Являюсь к полковнику Гельмерсону: отпустите больного домой. Он выставился на меня: «А если ваш внук захворает во время войны?» — «Ты думаешь (я ведь ко всем на «ты»), что бабушка его отпустит, где пули летают?» — «Зачем же он тогда в военной службе?» — «Да это пока мир, батюшко! А ты что думал?» И забрала я Мишеньку. Сейчас вон, говорят, с горцами сражение началось, самое время из военной службы уходить. Да попробуй уговори его! Значит, снова у нас споры и плачи пойдут, снова он на бабушку озлится. Ох, устала я, Аграфена. Чем старше Михаил Юрьевич, тем с ним труднее. Никогда не знаешь, что он выкинет. Может, зря я этот пир затеяла? Он еще по Александру Сергеевичу скорбит. Поди, разгневается на цыган и на хари мерзкие? (Звонит в колокольчик).

Появляется торжественный камердинер *Никита*

Никита, как цыгане явятся, отведи их в малые покои и винца им рейнского подай. И пока не позову, держи там. Понял? Ежели отменится, сейчас расчет сделаешь, как за полный вечер. А ряженных собери в людской. И тоже без моего приказа не пускай. Никак внизу дверь хлопнула? Неужто Мишенька так поспешил? Ангельчик мой! Господи, а я и не одета. Аграфена, давай скорее платье, знаешь, бархатное с шитьем...

Снаружи слышится какой-то шум. Голоса. Никита выходит и почти сразу возвращается с конвертом в руке. Поклонившись, отдает барыне.

(В сильном волнении.) Господи, да что это? Неужто Мишенька передумал? Неужели не придет? Господи, пощади старуху. Отведи беду. Ох, как сердце колотится!

Аграфена капает из пузырька в стакан успокоительное, подает барыне, но та резко отводит ее руку.

Ну, Марфа Посадница, где же твоя смелость? (Разрывает конверт.) Ничего не вижу... дай очки, другие... (Читает.) «Сударыня, только из любви к поэзии господина Лермонтова, коего почитаю как нового Баркова...» Что это? Насмешка? Издевательство? (хочет порвать письмо, но удерживается.) «...и чьи несравненные перлы: «Уланша» и «Петербургский гошпиталь» наизусть знаю, взял я на себя скорбное и весьма опасное для меня поручение сообщить Вам о неприятности, постигшей вашего внука». Боже мой! Это не в шутку. Это всерьез, хотя и дурак писал. «Ваш внук находится под арестом и лишен связи с внешним миром...» Господи, не оставь! Ох, чуяло мое сердце!.. «Он взят под стражу за приписку к стихотворению «На смерть поэта» и распространение оной...» Что я говорила, Аграфена? Знала, всегда знала, что не пройдет даром эта дерзость! Только обманывала себя. Обедом обманывала, шампанским, устрицами, цыганами!.. «Допрошенный графом Клейнмихелем, господин Лермонтов во всем признался и сейчас ждет решения своей участи. Видать, пошлют его на Кавказ в армию тем же чином усмирять непокорных горцев...» (Издает глухой стон и закрывает лицо руками. Пересилив себя, читает дальше.) «Прошу Вас, милостивая государыня, письмо мое тотчас уничтожить. Я человек маленький, а коли сведают, что г-ну Лермонтову услужил, полный мне фиаско выйдет...» Болтун! Фиаско ему выйдет. (Никите.) Кинь в печку. А фиаско-то нам вышел. Полней некуда. Чего я больше всего боялась, то и случилось. Горцев усмирять! Как бы они не усмирили — пулей или кинжалом. Господи, всеблагой, не дошли мои молитвы, не тронули тебя? И чем я тебя прогневила, старуха жалкая, что отнимаешь всех, кого люблю? Ничего ты мне не оставил. Один внучек был, и того — под пули черкеские!.. (Ударяет себя кулаком в грудь.)

Аграфена подходит к ней, хочет усадить в кресло.

Отстань! Ступай в людскую: пусть всякое дело бросают и о благополучии раба божьего Михаила молятся. И чтоб поклоны клали истою. Кто шишек на лбу не набьет, задницей поплатится.

Аграфена выходит.

Господи, сохрани его под пулями, а уж я сама добьюсь прощения. Довольно слез, надо сильной быть, настойчивой и цепкой, как репей. Вцеплюсь в горло моим сородичам и вельможным друзьям, я старуха, мне все позволено. Сяду — не слезу, пока не вернут мне внука! . .

В дверь просовывается страшная харя.

Кто таков? Ну и образина! Из преисподней, что ль? А, ряженые! (Подходит к дверям и широко распахивает створки.) Давай сюда! Не робей!

Вваливается жуткая, как в бреду, *ватага* в вывороченных тулупах, в немыслимом тряпье, волосы всклокочены, у кого мукой присыпаны, у кого свекольным раствором крашены; щеки горят от бодряги; накладные усы, бороды, приставные носы, рога.

В руках — метлы, трезубцы, рогожные кули на палках.

А ну, ходи веселей, вшивая команда! Жги, не жалей сапог! Кружись, пляши, дери глотку! Всех вином напою! Никита, шампанского для дорогих гостей! А ну, наддай! . .

Оробевшая поначалу, шатая загикала, засвистала, заблеяла, завизжала и пошла выкидывать коленца в чудовищной пляске-кривлянии вокруг Арсеньевой. И она сама притопывает избоченясь.

Понутив голову, глядит на барыню верный Никита.

### 3

Тарханы — имение Арсеньевой. Светелка в барском доме, служащая Арсеньевой и малой гостиной, и комнатой для дневного отдыха. Мебель красного дерева; у окна рабочий столик, за которым прилежно трудится Аграфена; к стеклу прижалась щедро облиственная ветка клена. В углу божница; над диваном большой портрет императора Николая I.

Елизавета Алексеевна Арсеньева приметно изменилась за минувшие четыре года; голова совсем побелела, прибавилось морщин, в углах рта образовались две глубокие горькие складки. Но стан по-прежнему прям, движения сухи и четки, голос чист от старушечьего пришепетования. Она все еще Марфа Посадница, хотя и побитая жизненными невзгодами и вечным страхом за единственного любимого.

*Арсеньева.* Растревожила меня графиня Ростопчина своими стихами. Уж лучше бы и не присылала. Лестно, ничего не скажешь, от доброй души написано. Она искренне Михаила Юрьевича любит, не просто любит, а преклоняется перед ним. Поэт поэта поймет. Вынь-ка вату из ушей, послушай стихи.

Графена бросает на барыню укоризненный взгляд.

Ладно тебе! Слова нельзя сказать. Знаю, что лучше меня слышишь. Только стихи другим ухом слушают. . . Есть у тебя такое ухо, иначе б не стала читать. Экое самолюбие у старухи!

Но есть заступница родная,  
С заслугою преклонных лет  
Она ему конец всех бед  
У неба выпросит, рыдая.

Ошиблась графиня: не доходят до неба мои молитвы, а до земли — просьбы. Глух стал ко мне господь, а того глуше — граф Бенкендорф. Что уж там Мишенька нашкодничал — не знаю, но озлился на него граф — хуже некуда. Неужто из-за машкерада? (хихикает.) Знаешь, старая, что Мишенька отчудил? Увидел двух дам в домино, взял их под руку и стал прохаживаться. А то были царственные особы. Они не могут себя выдать, а он, плут эдакий, делает вид, будто не узнал. Все так и обмерли, граф Бенкендорф от бешенства перчатки порвал, а что поделаешь — машкерад! С Мишенькиной стороны это, конечно, шалость непростительная, но с другой стороны: или сиди себе во дворце, или терпи, коли под маской пришла. Да уж больно они к славе своей ревнивы. Иные думают, что дуэль с заносчивым Барантом, сыном французского посланника, Мишеньку подвела. Нет, тогда великий князь его под защиту взял, мол, негоже русскому офицеру перед иноземцем тушеваться. А тут все Мишенькины покровители враз отвернулись. Михаил Павлович давно сердит был, для него воинский порядок и дисциплина на первом месте, а у внучка то ворот мундира опущен, то эполеты не надеты, то сабелька не подвязана, то еще какое самовольство. Другие же Бенкендорфа страсть боятся, а он Мишеньке — первый враг. Он свое призвание в том видит, чтоб русских поэтов преследовать. Что делать? Одно остается: пасть в ноги государю. А ну-ка и он не снизойдет? Мишенька, когда о прошлый год в Тарханах гостил, признался, что ему на Кавказе долго не выдержать.



Я, говорит, на выслугу надеялся, на прощение, но чувствую, что все для меня закрыто. К Владимиру за храбрость представили — отказали, к золотой сабле — отказали, в чине не повышают. А нынче Монго Столыпин отписал: решено и вовсе Мишеньку в деле не использовать. Храбрость его отчаянная всем известна, так, чтобы не отличился, пусть в сражениях не участвует. С одной стороны оно и лучше: горская пуля меткая, с другой — нешто только от чечни погибают? Выходит, его там как декабриста держат, даже хуже, тем выслуга не заказана. А надзор — и тайный, и явный — за Мишенькой ничуть не слабже. Да разве согласится он на такую жизнь? Он и раньше говорил, что опротивела ему эта война. Но в боевой потехе он хоть забывался, а бездельничать возле войны — какой толк? Сорвется Мишенька, беспременно сорвется. Раньше я люто сражений боялась, а сейчас не знаю, что для Мишеньки хуже — звон оружия или тишина. Плохо, плохо все обернулось, хуже некуда. Не ждали мы такого. Знаешь, в последний свой приезд в Петербург он самым модным человеком был. У него стихи вышли, роман. С ним все носились: и знаменитые писатели, и мыслящие люди, и первые светские дамы, прямо нарасхват мой голубчик шел. И радовался он, сердешный, порхал, как бабочка, доверчивый, бесстрашный и наивный... А ведь успех в свете — палка о двух концах. Прощают тем, кто знатен, влиятелен или сказочно богат. А коли ты личными достоинствами взял, сразу являются завистники и хулители. Пошли клеветы и наветы, доносы по начальству. Кто на эпиграмму обиделся, кто жену — свою или чужую — приревновал, третьему что нож вострый — успех мальчишки-офицера, а еще вспомнили, что он в опале, в кавказской ссылке, а ведет себя в Петербурге, как светский лев, и ни перед кем не заискивает, не стелется. Пушкина припомнили со старой злобой. Одного, мол, сбыви, другой объявился. Собралась черная туча над Мишенькиной головой, и грянул гром. Прочь из столицы на Кавказ, в армию, но не в дело, а под надзор. Как жизнь переменялась, Аграфена! Помнишь, когда Мишеньку за стихи арестовали и еще юнкер-дурак письмо прислал? Достало у меня сил Мишенькину участь смягчить. И позже, когда с Барантом дрался. Дрался!.. Барант ему бок и руку шпагой проткнул, после пулей убить хотел, а Мишенька в воздух выстрелил. Видать, Баранту Дантесовой славы захотелось. Но ему ничего не было, а вся кара на Мишеньку пала.

Опять немилость, опять ссылка. Кабы не великий князь, могли в солдаты упечь, с лишением дворянства и всех прав состояния. Вот тогда уже я поняла, как Мишеньку ненавидят — двор, власти, вся светская чернь. Ох, худо, ох, страшно!.. И чего я здесь сижу? Чего жду! Под лежач камень вода не течет. Надо в Петербург ехать, Мишеньку спасать. Неужто государь не склонит слух к просьбе старой дворянки? Я ведь не только Арсеньева, я Столыпина, наш род всегда опорой трона был. Мы верно царю служили, с первыми вельможами водились, от нас не отмахнешься!.. (Подходит к киоту, тяжело опускается на колени.) Господи, всеблагой, умиловисти государя!.. Господи, защити и помилуй внучка моего единственного!.. Никого ты мне больше не оставил, господи!..

Аграфена тоже молится.

(Поднявшись.) Ну, хватит богу надоедать, а то еще разгневается. Слушай, Аграфена, бог меня сейчас надоумил, вроде как видение наслал, а не женить ли Михаила Юрьевича? Найти ему невесту, знатную и со связями, чтобы родня перед государем заступилась. Михаил Юрьевич безродный, не нищий, он в славе и собой молодец. Чем не жених? Пора ему остепениться. Он о журнале думает, о серьезном литературном труде. В гусарской компании не больно потрудишься: пиры, развлечения, романы, шалости, а потом сожаления о пропавшем без толку времени, грусть и нежелание жить. А тут — жена-красавица, добрая и умная, детишки. Михаил Юрьевич страсть детей любит. Он дочери Вареньки Лопухиной, совей любви единственной, чудные-пречудные стихи посвятил!.. Ах, господи, неужто возможно такое счастье — увидеть Мишеньку женатым, спокойным, занятым серьезными думами и трудами? И чтоб забылись, как дурной сон, Кавказ, черкесы, армейская служба и пустое молодечество, недоброхотство начальства и вечный топор над головой. Господи, нешто я о чем дерзком мечтаю? Все люди так живут, а для Мишеньки это недостижимое счастье. Только вот хочет ли он такого счастья? «А он, мятежный, простит бури, как будто в бурях есть покой!»

Со двора доносится тихая песня — лермонтовская колыбельная, которую поет простым голосом крестьянская женщина над своим ребенком.

Спи, младенец мой прекрасный,  
Баюшки-баю.  
Тихо смотрит месяц ясный  
В колыбель твою.

(Прислушивается. Подходит к окну, выглядывает наружу.)

Стану сказывать я сказки,  
Песенку спою;  
Ты ж дремли, закрывши глазки,  
Баюшки-баю. . .

Слышишь?.. Чужая баба поет, не тарханская и не михайловская. А спроси, откуда песня, скажет, народ сочинил. Вот так-то! Я из-за Михаила Юрьевича многое понимать стала, о чем раньше и не думала. Стихи, признаться, в грош не ставила, так, забава, пустяк. Ну, песня хорошая — другое дело, да там напев главное. А теперь знаю: в стихах страшная сила. В них такое выразить можно, что простой речью нипочем не скажешь. «Демон» — какая сила, а начни пересказывать — не демон, а домашний черт получится, каким девок пугают. Я понимаю теперь, почему Мишенька все в людскую шастал и в девичью, когда еще не знал, для чего девки нужны. И почему любил с деревенскими ребятами возиться, в войну играть, а после кулачные бои устраивать. Из этой потехи «Песнь о купце Калашникове» родилась. Поэт у народа речь берет, а после народу же возвращает. Только лучше, чище, красивей. Странное дело, Аграфена, вроде бы я Мишеньку воспитывала, я его под арсеньевский, под столыпинский уклад ломала, а сейчас мне кажется, что он меня обломал. Нет, «обломал» плохое слово. Я не обломанное дерево, я еще ветвистей стала. Я и раньше не такой была, как меня представляли. Родня думает, что во мне рано все женское угасло. Нет, дело прошлое, и я тебе признаюсь. Это уже после смерти мужа неверного было — полюбила я дворового человека Ивана Яковлева. Он на Лушке красивой хотел жениться, а я не позволила. Помнишь, он меня в церковь на шарабане возил? Я тогда лошадей боялась, и Яковлев сам впрягнулся, заместо жеребца, и духом к церкви доставлял. Но почти всегда оземь грохал. Он нарочно чеку вынимал, и колесо отваливалось. Всех удивляло, что я его не наказывала и даже не ругала. Другому кому сразу б велела полголовы обрить, а этому все с рук сходило. Жалко мстил мне бедняга, что с Лушкой разлучила. А когда дочка преставилась и Мишенька на руках моих остался, вся страсть на него перешла, и Яковлев из шарабана выпрягся. Истинно, страсть, какую я и к мужу моему не испытывала, хоть влюблена была без памяти, и к черту глазастому Ваньке Яковлеву, которому жизнь разбила. Я за Мишеньку всю кровь из себя по капле отдам, на костер

взойду. Я страшной жизнью живу, но до краев полной. Нет на свете никого несчастнее меня, нет, наверное, и никого счастливей. Любая весточка от него — счастье, стихотворение новое — бал души, облачко над его головой — мне буря. Во всем я обобрана: в женской доле, в детях, а могу сказать о себе, что жила, а не тлела. И я свою судьбу ни на какую другую не променяю. Будь Мишенька просто молодым человеком, каких тринадцать на дюжину, я все равно б любила его без памяти, но разве может мое сердце не цвести, когда его гением называют? Вот вам и золотушный, вот вам и сутулый, вот вам и кривоногий. Монго Столыпин — красавец писанный, а если его и вспомнят, так только потому, что в Мишенькиных друзьях ходил. Ладно, раскудахталась! Лучше о деле думай. Женитьба, конечно, выход, только вряд ли кто за опального дочь отдаст. Нет сейчас таких людей. Робкий век, рабы души. Нет, как ни крути, а надо прощение вымолить. А потом уже о невестах думать. Надо, чтобы он в Петербург вернулся, в отставку вышел, журнал завел, доказал властям, что уж не мальчик, а степенный муж, и тогда. . . Скажи, Аграфена, только честно: видишь ли ты Михаила Юрьевича угомонившимся, солидным в речах и поступках? Я, по правде говоря, не вижу. Он сейчас школьничает почище, чем в юнкерском училище, только поэм скабресных не сочиняет. И чем ему грустнее, безысходнее, тем больше проказничает. Не хочет, чтоб люди знали, что у него внутри. Никому он не позволяет в себя заглядывать, даже мне. Но я-то и без позволения все вижу. За тысячи верст вижу. И знаю, что надо мне в Петербург поспешать. И так сколько времени потеряно. Бог не оставит меня. Государь суров, строг, но небезжалостен. (Звонит в колокольчик.)

Входит камердинер *Никита*.

Никита, вели возок готовить. В Петербург еду. Со мной — Аграфена, слуга Василий, кучером Никодим. А ты соберешься не спеша, с толком, как следует, и за мной следом. Я тебе подробную инструкцию оставляю. Ступай!

Никита выходит.

Нахвасталась я тебе, что полная моя жизнь. Слишком полная. Устала я. Душа во мне упала. Сердце устало. Косточки устали. Мне ж под семьдесят, а Мишенька меня гоняет, как девку молодую. То в Петербург, то в Тарханы, то назад в Петербург. А я ведь по-старому лошадей боюсь. Мне б полежать, отдохнуть, понежиться, нет, только и знаешь,

что из очередной беды его вызволять. Пиши этому, пиши другому, ищи встречи с третьим. Клянчи, моли, грози, плачь, заслуги предков поминай, свою старость и немощь. Нельзя ж так! Дай мне хоть немножко покоя, внучек, ослабь хомут, отпусти вожжи, устала лошадка, ох как устала старая кляча! Мне давно на живодерню пора, а я все везу, везу, с горы на гору, ноги сбиты, холка в крови, спина изъедена. . . (Вытирает слезы.) А иной раз закроешь глаза, размечаешься: послал господь чудо, и все само устроилось. Не знаю уж как, да ведь бог все может, коли захочет. Вдохнет добро в грудь Мишенькиных врагов, и отпустят они ему его бедные вины. И явится он — загорелый, возмужавший, спокойный, радостный. . .

С улицы слышится колокольчик.

Господи! Аж сердце екнуло. Кого это принесло? . . Не хочу никого видеть. Пойди глянь. . .

Входит *слуга* и протягивает Арсеньевой конверт  
Письмо? Откуда? . . Поддай очки! Что-то страшно мне стало. (Дрожащими руками надевает очки.) Мишенькина рука. Слава те господи! И чего я, дура, так перепугалась? (Разрывает конверт.) «Дорогая бабушка, пишу Вам с того света. Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. . .» Что это с ним? Кахетинского, что ли, перебрал? Нешто можно так шутить? . . «Завтра у меня дуэль с Мартыновым, Мартышкой, черкесом с большим кинжалом. Сам виноват; не шути с дураком, нарвался на вызов. Стрелять я в него не стану, а он выстрелит и не промахнется. Я понял по его злобному взгляду. Письмо это перед самой дуэлью передам Монго. . .» Свят, свят! . . Нет, не буду дальше читать. Не для меня такие шутки. . . Да тут еще записка вложена. От Монго, узнаю его лапу. (Читает.) «Я подлец — недоглядел Мишеля. Он убит на дуэли. . .» (стоит недвижно.)

Аграфена кидается к ней, хочет поддержать.

Поиди прочь! Я — Столыпина. Нас с ног не собьешь. (Падает, как подкошенная.)

4

Та же комната через несколько часов. *Арсеньева* лежит на кушетке, укрытая пледом. Но вот она зашевелилась, открыла глаза, попыталась встать, но слабость повергла ее назад.

*Арсеньева* (чуть слышно). Помоги встать-то. . .

*Аграфена* приходит на помощь своей барыне. С *Арсеньевой* произошла разительная перемена, она превратилась в дряхлую старуху. Исчезла осанка, согнулась спина, обвисло, почернело лицо. С белыми волосами, в длинной белой рубаше, она похожа на привидение. *Аграфена* накидывает ей на плечи халат.

(Далеким голосом.) Какой сон страшный мне приснился. Мишенька под горой лежит, а над ним ворон кружит. К чему бы это? К болезни или. . . Пстой, ты плачешь? . . (Сжимает голову руками.) Значит, это правда? И не приснилось? . . (Потерянно.) А как же я живу еще? . . Разве я имею право жить? (Подходит к киоту.) Ответь, господи! Что ты все молчишь? (Зажегшимися темными глазами глядит в равнодушное лицо бога.) Открой свой замысел. Забрал молодого мужа, дочь чахоткой спалил, внука злодею под ноги швырнул. Зачем ты отнял у земли Лермонтова, господи, лучшее твое создание, твой самый драгоценный дар людям? Неужто ты так скуп, боже? Дал и сразу забрал. Ты не меня одну, ты всю Россию осиротил, отнял ее звонкий голос. Зачем ты так мучаешь детей своих? Или сам не ведаешь, что творишь? . . И ты, заступница, где милость твоя? Я ли не молила, ты-то ведь знаешь, каково сына терять! Может, слаба стала? Что же тогда сыну или мужу своему словечка не замолвила? . . Я богохульствую? . . Ладно, пусть хоть раз услышат правду цари небесные. А кто там истинно царь, поди разберись. Небось не бородатый старик и не сын его, а тот, о ком Мишенька поэму сочинил. Нету у меня больше бога, умер мой бог! . . *Аграфена*, помоги снять образ-то. Пусть его в каменную церковь отнесут. Мне он не помог, может, кому другому поможет.

В божнице остается четырехугольная пустота на месте снятого образа.

Письмо. . . письмо Мишенькино где?

*Аграфена* подает ей письмо.

Никто с того света писем не получал, а мне пришло. Никому его не дам, в могилу со мной ляжет. (Читает.) «Милая бабушка, не убивайтесь слишком по мне. Жалеть можно того, кто цепляется за жизнь, а я не цепляюсь. С меня хватит. Хватит злобы, клевет, преследований, тупой жестокости одних, рабьего смирения других, хватит отечественной духоты. Я уже не хочу ни славы, ни Петербурга, ни новых испытаний страстями. Я все узнал, про-

жил не одну, а несколько жизней, с меня довольно. Теперь я всегда буду с Вами, милая бабушка, больше не надо за меня бояться, просить, умолять, хлопотать, со мной уж ничего плохого не случится. И ни в чем, ни в чем себя не упрекайте. Вы сделали для моего счастья больше, чем это в силах смертного человека. Но что поделаешь, если у Вас такой нелепый внук. Простите меня, милая, родная моя, любимая, последняя мысль будет. . .» (Голос Арсеньевой пресекается.) Что это? Никак ослепла? . .

Аграфена подходит и приподымает ей веки. Она отталкивает руки старушки и сама держит дряблую кожу.

Веки от слез ослабели. А хоть бы и не видеть. . . Не видеть, не слышать, не говорить — ничего не надо. Уйти бы скорее. Уйти, а убийцу Миши жить оставить? (Она встает, и что-то от былой стати появляется в ее согбенной фигуре.) Как же так вышло, что никто за Мишу не заступился? Ведь это же не дуэль, а убийство. И Монго Столыпин хорош! Еще рыцаря из себя корчит. Как же он допустил? . . Ну, ладно — дворянская честь. . . Хотя какая честь в такой дуэли? Он же видел, что Мишенька не хочет стрелять, значит, это убийство. Почему не пристрелил он Мартынова, как бешеную собаку? Не при-ня-то! . . Так вызови его за друга! Вызови и убей. Там же еще секунданты были. Никто, поди, и не пикнул. Трусы они, что ли, или дураки отпетые? Михаил Юрьевич за Пушкина сразу вступился и кинулся Дантеса искать. А Мартынова и искать нечего было, стоял перед ними, обагренный кровью. Ничтожные друзья, ничтожные души! Мишенька всех насквозь видел и жалел в их ничтожестве. Великан среди карликов. Даже убийцу своего жалел. Но я-то не жалею. Раз нет мужчины, чтобы отомстить, я сама негодяя вызову. Дрались и раньше женщины на дуэли. Я русская дворянка, хорошего рода, обязан Мартыш проклятый мой вызов принять. Не примет — оскорблю публично, в рожу наплюю. Все равно, откажется от поединка — так прикончу. Он же стрелял в беззащитного. (Снимает со стены старый дуэльный пистолет, держит его двумя руками, пытается поднять, но «кухенрейтер», чуть ли не екатерининских времен, тяжел ее слабым рукам.) Небось как увидит дуло пистолета, сам за другой схватится. Такой за шкуру свою и старуху застрелит. Только я ему не дам, я его раньше расшибу. (Пытается взвести курок и роняет пистолет.)

На шум поспешно входит камердинер *Никита*.

Чего уставился? Подними. Не по руке он мне. А ведь молодая была, стреливала из пистолета мужу на потеху. Да еще как метко стреливала. Не драться мне с Мартыновым. Ну, подыму я пистолет, а прицелиться все равно не смогу. Не увижу злодея. Кто же отомстит за Мишенькину смерть? Монго? . . Кабы хотел, сам бы догадался. Видать, за карьеру опасается. С дуэлянтов строго спрашивают. Значит, и с Мартынова спросят? А он и так в отставке. В деревню сошлют. Великая кара! В поместье своем будет сидеть, вином и яствами тешиться, девок щупать и горюшка не знать. А потом его простят, появится в свете, будет интересничать, как же — второй Дантес! Ему небось многие руку пожмут. Потом женится, волчья сыть. Детей-мартышек наплодит. А лермонтовское древо под корень срублено. Неужто это ничтожество, ноль на ножках будет жить да еще похваляться своей отвагой? Вся кровь свертывается, как подумаешь! . . (Взгляд ее падает на портрет императора Николая I.) Вот кто за Михаила Юрьевича отомстит! (Подходит к портрету.) Отмщенье, государь, отмщенье! Покарай злодея, великий государь. Столыпины верой и правдой престолу служили и бились за царя и отечество, живота своего не жалея. Покарай убийцу, государь. Слава русская — твоя слава. Худо, что на твоей мантии кровь лучших поэтов русских. Сотри ее. Бог с ними, со Столыпинными. Вся их служба одной лермонтовской песни не стоит. . . Я знаю, ты гневался на Лермонтова, да не по злобе он шалил, от избытка молодых сил. Двадцать шесть, всего двадцать шесть лет ему было, разве можно с него так строго спрашивать? Он лишь становился мужем и не стал. . . Накажи Мартынова, государь, лиши его жизни, или в рудники сошли, или в солдаты без выслуги. Ты умеешь карать, государь. Я еду к тебе за справедливостью. (Камердинеру.) Вели запрягать. Сегодня выедем!

*Никита* (с возрастающим волнением слушал страстную мольбу своей барыни, его благообразное кроткое лицо натекло темной кровью). Нет! . . Нет! . . Никуда ты, матушка, не поедешь!

*Арсеньева* (потрясенно). Ты что? . . Ты заговорил, когда тебя не спрашивали? Да еще прекословить вздумал? . .



*Никита.* Сто лет молчал, а сейчас скажу. И что хочешь со мной делай. (По лицу его текут слезы.) Нечего тебе в столице делать. Михаила Юрьевича пулей убили, а тебя стыдом убьют. Не хотел показывать. . . Но коли так. . . читай! (протягивает ей письмо).

*Арсеньева* (растерянно). От племянника твоего? . . . Помню! Мишенька ему протежировал. Вольную выпросил. В университет послал. (Читает.) «. . . когда же царю донесли о гибели Михаила Юрьевича, он сказал: «Собаке собачья смерть». . . Как ты посмел, холопья душа? Да я с тебя живьем шкуру спущу. Аграфена, кликни конюхов!

*Никита.* Не надо. Сам пойду.

*Арсеньева.* Нет стой! . . . Постой, Никита. . . Ты любил Мишу, и племянник твой любил. Не мог он зря написать. Да и кто осмелится клеветать на государя? Значит, ведомы эти слова в Петербурге. . . Боже мой! . . . Царь это о Лермонтове сказал, об убитом. О поэте великом. Экая злоба низкая! . . . Теперь все понятно. Знал Мартынов, кому его выстрел угоден. Будто повязка спала. Вольно ж тебе, царь Николай Романов, без капли романовской крови, так с подданными своими обращаться, но уж не взыщи, что и мы с тобой по-свойски обойдемся! (Подходит к портрету царя и с неожиданной в ее старом теле силой срывает со стены.) Я тебе больше не подданная. И весь род наш убийце коронованному не служит. . . (Растерянно.) Какой род? Арсеньевых? Да кто они мне и кто я им? Столыпины? Если уж ближайший друг и родич предал. . . Да и какая я Столыпина? Я — Лермонтова! Спасибо, внучек, за подарок твой посмертный, дал ты мне истинное имя. С тем и останусь навсегда при тебе — последняя Лермонтова. Развязались все узы, нет у меня ни царя небесного ни царя земного. (Никите.) Собирайся в Пятигорск за телом Михаила Юрьевича. Останки его фамильный склеп примет, а душу Россия. . .

5

Тот же архивный подвал, что в прологе. *Архивариус* на своем обычном месте. Входит *Дубельт*. Следом за ним *два жандарма* вносят толстенные папки, кладут на стол и удаляются.

*Архивариус* вскакивает и угодливо кланяется.

*Дубельт* (приветливо). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич. Садитесь, садитесь! . . . (Разглядывает его с легким неудовольствием.) Вы что-то осмелели, не икаете,

не дрожите. . . Ну вот, дело Пушкина окончательно завершено. Самое длинное дело в нашей практике. Собственно, теперь это как бы два дела в одном — Пушкина и Лермонтова. Тем больше пищи для любознательного ума. Государственная телега скрипит, но катится.

Архивариус подсовывает Дубельту какие-то листки.

Фи, какая безвкусица! . . Черная рамка, траурный шрифт. . . Можно подумать умер сановник или генерал. А всего лишь из списков Тенгинского полка вычеркнули ссыльного офицера. Господа литераторы ни в чем не знают меры. К тому же общеизвестно отношение государя. . . Это дерзкий вызов.

Архивариус, тихонько похихикивая, кладет перед ним другую писанину.

А, знакомые инициалы! Чахоточный господинчик возводит Лермонтова в гении? И что это за намеки? . . Совсем распустились! . . Печальные примеры ничему не учат. Придется уделить особое внимание этому борзописцу. (С досадой.) Так мы никогда не закроем проклятого дела!

*Архивариус* (сиплым голосом). Всех не перебреешь.

*Дубельт* (потрясенно). Что-о? Вы что-то сказали?

*Архивариус* (громче). Всех не перебреешь!

*Дубельт*. Архивная сырость разъела вам мозги, уважаемый.

*Архивариус*. Никак нет! Парикмахер у нас бритвой зарезался. И записку оставил: «Всех не перебреешь».

Дубельт с ужасом смотрит на развеселившуюся «архивную крысу».

Тютчев вышел на прогулку под вечер. Он и вообще любил переходные часы суток: когда занимается утро или гаснет день, в таинственных стыках сна и бодрствования природа и все мироздание приоткрывают наблюдающему человеку дверь — не в царственные покои свои, нет, но хотя бы в прихожую. Человек остается по-прежнему далек от постижения целей, намерений и символов творца, но может полюбоваться его то веселой, то грозной и никогда не повторяющейся игрой. Тютчева радовала вечная молодость старого бога, позволяющего себе самозабвенные беличьи игры на восходе, на закате, равно и в той обнаженности мировой бездны, что людям в странном заблуждении представляются ночной тьмой.

Но в последнее время у него сильно болели ноги, особенно голени, и ему стало не до прогулок в святые утренние часы. Аврора могла как угодно румянить небо, выгонять серебро росы из трав, укладывая по тяжеленькой, дымчатой и чуть расплющенной собственным весом капельке в каждую седоватую манжетку, пробуждать голоса птиц, раскрывать чашечки цветов, — Тютчев мучился ногами в выстуженных к утру простынях: старое тело не согревалось, впустую забирая тепло из постели и окружающего сухого, разогретого кафельными печами воздуха, — подтапливать начали с последних чисел июля. И весь в своем недуге, в жалкой, недостойной человека слабости перед болью, он старался забыть, что без него расцветает день.

Ноги мозжило до полудня, потом боль начинала постепенно отпускать, и к вечеру он уже мог выйти на прогулку, недалекую и небыструю, так непохожую на прежние его странствия, и сам ощущал, как странен его медлительный, шаркающий шаг, приличествующий какому-нибудь подагрическому сановнику или генерал-ревматик, а не худому, ариэлевой невесомости и незаземленности поэту. После смерти Денисьевой скупая плоть Тютчева вконец истаяла. Его бестелесность пугала. И жутко прекрасной стала крупная голова с белыми легкими волосами, разметанными словно внутренним вихрем.

Но Тютчев, человек предельно искренний и чуждый позе, не способен был эстетически воспринимать перемену в своем физическом и духовном облике, какую нанесло страдание, не мог постигнуть красоту этой муки, столь полной, открытой и в безысходности совершенной, что перед нею склонилась даже смертельно оскорбленная Эрнестина Федоровна, его законная жена.

Он испробовал все: стихи, слезы, бегство в Ниццу, много значившую в его жизни, политику, все виды самообмана, горячечные, ночь напролет, разговоры с умным, добрым Георгиевским, зятем Денисьевой, понимавшим и чтившим их горький союз. Ничего не помогало. Елена Александровна не отпускала его, выматывала душу не «тоской желаний», как некогда было с ним после другой страшной потери, а безнадежностью запоздалого раскаяния. Чувство вины было не внове Тютчеву. И узнал он его впервые в ту давнюю пору, когда первая жена Нелли пыталась заколоться маскарадным кинжалом. Но с той виной он сумел не то чтобы справиться, а сжиться, просто потому, что был молод. А шестидесятилетнему человеку не уйти от содеянного, не обмануть себя надеждой на искупление.

Двадцать три года прожила Елена Александровна Денисьева, не ведая, как грозен и беспощаден окружающий ее добрый мир. Ее кружение и блистание в свете под снисходительным — поверх карт — взглядом тетки, суровой инспектрисы Смольного института, терявшей близ племянницы свою жесткую пронизательность и власть, было безвинным и мотыльково-кратким. Веселость, отвага, бесшабашность, живость, переходившая порой в милую дерзость, — все было сложено в единый миг к сухим, как у оленя, ногам стареющего баловня гостиных, как только она ощутила в нем истинное чувство. Да, чувство было истинным и возникло почти с первого взгляда, когда он пришел в Смольный проведать дочек Дашу и Катю, и вдруг ударом по глазам и сердцу — промельк чудесного, смуглого, с огромными яркими глазами существа, и захлебывающиеся, вперевой голоса маленьких сплетниц, мгновенно угадавших волнение отца: «Это Леля Денисьева, инспектрисина племянница... Отец у нее майор, отличился под Фридландом... А Леля тут на особом положении, не как все воспитанницы! — И с восторженно-замирающей интонацией: — Ее уже в свет вывозят!...»

Какой бездонной глубиной, какой страстью и самозабвенной преданностью обернулась безмятежная легкость большеглазой смольнянки! Она сразу превзошла его в мощи, цельности и одержимости чувства. Он устремился за ней, поднялся выше своих обычных сил, опалил крылья, рухнул, но, поддержанный ее мужеством и отчаянием, повис между небом и землей, то безоглядно отдаваясь любви, то испрашивая милости и терпения у Эрнестины Федоровны.

И удивительный, роковой смысл приобрели в отношениях с Денисьевой его стихи. Сама воплощенная поэзия, она не любила стихов, даже его. Но, навеянные ею, были необходимы ей как воздух. Словно в них одних находила она искупление своей грешной, в нарушение всех божеских и человеческих законов, жизни. Существовала ли на свете женщина, настолько созданная для прочных радостей замужества и материнства, как Елена Александровна? Теплая, искренняя вера отличала ее, и лишь крушение внутренних устоев опалило эту веру мрачным фанатизмом. Она жаждала порядка во всем, чтילה общественное мнение, а по злему року жила в удручающем беспорядке, попирая изо дня в день общественное мнение, устав своей среды. И общество выбросило ее вон. Пришлось уйти в отставку и гордой инспектрисе Смольного. Словно две мещаночки, сняли они квартиру в одном из окраинных переулков столицы.

...Самым трудным для него стали первые шаги: сойти с крутого крыльца, пересечь мощный плитняком дворик и выйти за калитку. А там дорога словно подхватывала тебя, помогая тихому, шаткому шагу...

Он шел и думал. Наша любовь дала жизнь трем детям, я совершил жалкий жест порядочности и «простер над ними отцовскую длань». Попросту усыновил их. Но что значит эта формальность в глазах света? И дети, которых она безмерно любила, усугубляли ее муки. Она страдала, когда я наклонялся над колыбелью нашего первенца и когда забывал это сделать. Страдала, когда я был с ней и когда уходил, страдала, когда мы ездили за границу — в любом пейзаже и любом окружении. Страдала, когда я целовал, обнимал, желал ее, и еще невыносимее страдала, когда заботы, усталость или скорбь отвлекали меня от нежности. Она хотела, чтоб я любил ее непрерывно и вместе чтоб не прикасался к ней. У нее был культ ложа, но каждое объятие наше окрашивалось горечью

унижения, незаконности, неосвященности божьим благословением. Иногда казалось, что она готова убить меня. Раз так едва не случилось: пущенное мне в голову тяжелое пресс-папье ожгло кожу на виске и обломило угол изразцовой печи. И это из-за стихов. Она хотела, чтобы я переиздал свои стихи и всю книгу посвятил ей.

Боже, я не понимал даже отдаленно безмерности ее боли, отчаяния, святости ее гнева. Как нежно и умоляюще, как гневно и яростно просила она меня, а потом требовала, чтобы книжка была отдана ей. Она верила, что мои бедные стихи заменят аналой, дадут ей право глядеть в глаза всему свету — и своим прежним подругам, и своим бывшим наставникам, и своему глупому отцу, порвавшему отношения с «дочерью-блудницей», и своим детям, когда они подрастут, и даже моей семье, и самому господу богу. И как же мал и беден был я перед этой духовностью и святой верой, что браки заключаются на небесах поэзии, коли тупо и упорно отказывал в ее справедливом желании.

Какая нищая смесь из жиденькой авторской скромности, презрения и вместе уважения к свету, копеечной деликатности к жене, проявившей в свой час спокойное, до жестокости, небрежение к Нелли, помешала ему выполнить великую просьбу Елены Александровны? Правда, было еще одно, от чего так просто не отмахнуться: верность умершим, тем, кого нет и кто беззащитен перед нашей памятью. Нежная, преданная, вечно озабоченная, несчастная и прелестная Нелли, ценою собственной жизни спасшая их детей, — мог ли он отнять у нее «Еще томлюсь тоской желаний» — эту почти единственную плату за всю ее любовь и самоотверженность? Он мог отнять «Геную» у Эрнестины Федоровны или выплакать у нее в подарок, но мертвую не мог обокрасть. Вот что на самом деле помешало ему выполнить заветное желание Лели. Но не осталось у него чувства правоты, значит, была какая-то внутренняя ложь в его поступке. Да, легко изменять живым, — трудно, почти невозможно изменять мертвым. Ну, так Леля и требовала от него подвига во имя их любви. Она же совершила подвиг, горестно и покорно подставила плечи и лоб под клейма. Ее высота оказалась ему недоступной. И как странно, он был податлив и мягок и вовсе не владел своими страстями — под рафинированной оболочкой дипломата творилось древнее азиатское буйство в крови, но какое самообладание, хладнокровие, какую железную стойкость противопоставил он страстному напору своей любимой! А ведь он умел чувствовать

страдание близкого человека, как свое собственное. Не ко времени пробудилось в нем дьявольское упорство, позволившее некогда его дальнему родичу майору Степану Тютчеву вопреки приказу командующего и ярости прусской лавины выстоять со своей батареей под Гросс-Егерсдорфом. Безумная и прекрасная Елена Александровна разбилась о него своей искромсанной душой, своим изглоданным чахоткой телом.

И, признавая свое поражение, она сказала почти жалеючи: ты еще заплатишься за это!.. Боже мой, в последней предсмертной ясности она видела, как непомерна окажется эта плата...

...Но дорога в жестких морщинах колеи, копытных следах, иссохших колдобинах — давно уже не было дождя, — пустынная серая дорога, медленно уходившая из-под ног, влекла его прочь от самоистязающих мыслей в озноб еще не родившегося, еще безъязыкого стихотворения. Чаще всего стихи слагались у него во время одиноких прогулок, а потом ему оставалось лишь записать их или продиктовать кому-то из близких. И как непохожи были эти стихи на те, что *сочинялись*. Он отнюдь не пренебрегал сочинением стихов — на торжественные юбилейные даты, на крупные события политической или государственной жизни, на смерти и рождения. Приятно было вгонять неподатливые, упрямые слова в ритмические строки, заставляя их перекликаться друг с дружкой, обретать тот или иной музыкальный тон. Каждое стихотворение — маленькая победа над хаосом. Он не придворный пиит, но и близкие к одическим стихи нужны ему, равно как и эпиграммы, ибо в нем самом заложены жажда отклика на суматоху внешней жизни. Но бывало и другое, обычно, в дороге, когда стихи начинались смутным шумом, словно далекий морской прибой, затем в мерном шуме этом прозванивали отдельные слова и вдруг чудно сочетались в строку. Он становился как бы вместилищем некоей чужой работы. Ему нужно было лишь узнавать лучшие, самые необходимые слова, не только найточнейше выражающие смысл, но содержащие что-то сверх прямого смысла, слова, отбрасывающие тень и сияние. Конечно, стихи эти не с неба падали, их порождали высшая сосредоточенность, настроенность и бесстрашие. Пустынная дорога, идущая травяными полями или нивами, купы деревьев, лес на горизонте, небо и облака в нем помогали этой настроенности и тому бесстрашию перед богом, что давало ему заключать в слова сотрясающий душу ужас.

И вот оно — сказалось сразу двустроичем:

Были очи острее точимой косы  
По зигзице в зенице и по капле росы...

Ах, бог мой, как хорошо! Но не надо. Рано. Ведь даже «сумеречный свет звезды», «мглистый полдень» или «громокопящий кубок» его юношеского стихотворения вызвали бешенство пишущей братии, доморощенных знатоков отечественной поэзии. Что будет с очами «острее точимой косы»? Нет, не пришло еще время для этих стихов, оно придет через век, быть может, чуть раньше. Он еще раз, словно прощаясь, повторил вслух эти строки и дал им уйти в горло другого, грядущего поэта.

Он, как птицу, выпустил стихи из ладоней, но к остроуму сожалению примешивалась взволнованная убежденность, что стихи сегодня непременно будут. Да и как им не быть, если завтра годовщина смерти Елены Александровны, если она, что ни ночь, является ему с невысказанным и мучительным укором, слово все еще чего-то ждет от него. Она приходила не во сне, а в предсонный час то тихой и скорбной, то яростно гневной, какой он куда чаще видел ее в последние годы жизни, садилась на постель, чуть сминая стеганное шелком одеяло, и ничего не говорила, даже не смотрела в его сторону, только вздыхала протяжно-прерывисто, с каким-то всхлипом в конце каждого вдоха, и острые скулы ее рдели. Ему хотелось коснуться ее, но худая старческая рука в странном бессилии не дотягивалась до нее, не могла выиграть у пространства какой-нибудь вершок. Иногда она так же тихо удалялась, а иногда глаза ее начинали метать молнии, и у него холодел висок, некогда задетый пресс-папье, расколовшим кафель печи. О, как счастлив был бы он, если б она овеществилась в удар, в рану, в увечье, он бы молился на кровавый знак ее снисхождения к нему.

В июле минула пятнадцатая годовщина их союза, и он посвятил этой дате стихи, казавшиеся ему самому хорошими, искренними, но имевшие следствием то, что глаза Елены Александровны источали теперь лишь молнии. Он вызвал гнев ее тени, как вызвал гнев ее сущего образа, и вновь повинны были стихи. Неужели холодными показались ей строки: «15 июля 1865 года»? Мертвая, она умела терзать еще искуснее, нежели живая, и чаша его страданий наполнилась до краев.

...Был тот час суток, который французы называют «между собакой и волком». Солнце еще только погру-



жалось в сизо-синюю тучу, застлавшую на западе горизонт, и небо было располосовано багровыми тяжами, а уже в березняке, с не захваченного закатом края церковной свечечкой затеплилась луна, бледно вызолотив прозоры меж стволов. Под небесной распрей затихла земля, ни звука в просторе, только слабые шаги Федора Ивановича по иссушенной земле звучат сверчковым тиканьем.

Среди миров, в мерцании светил  
Одной Звезды я повторяю имя, —

сладко сказалось в сердце.

Нет, и для этих стихов еще не настало время. Их скажут потом, лет через пятьдесят. Надо что-то оставить будущим поэтам, чтоб новыми голосами понесли в мир его слово.

И если мне сомненье тяжело,  
Я у Нее одной молю ответа...

— Стоп! — пусть, пусть все это скажет в свой час другой во утоление собственной боли.

От жестокого, в корявых заусенцах большака опять заломило ноги. Он перебрался через заросшую лопухами обочину и пошел по обгорелой желтой траве, задевая не сдающийся засухе колючий чертополох с пунцовыми цветками, источающими сильный спертый дух.

Он не успел порадоваться облегчению, будто стальными обжимами охватило голени. Он остановился, трудно дыша. И вдруг — от боли, одиночества, от непоправимого своего сиротства в мире — заплакал. Дрожащей рукой вытащил из кармана носовой платок и прижал к глазам. Когда же отнял от лица совсем мокрый платок, вокруг было так темно, будто он все глаза выплакал. Нет, просто померкло ликующее небо, солнце скрылось, а луна, вставшая над рощей, давала свет тихий, приглашенный. Мокрые от слез губы прошептали:

Вот бреду я вдоль большой дороги  
В тихом свете гаснущего дня,  
Тяжело мне, замирают ноги...  
Друг мой милый, видишь ли меня?..

Ветер скользнул по лицу, остудив глаза, щеки, губы. Ему стало знобко, домой бы поверотить, но зазвучавшие в нем стихи вытеснили все другие соображения. В них не было ничего, кроме утверждения простых очевидностей: он брел именно вдоль дороги, а не по дороге, и угасал

день, ему было тяжело, болели, замирали ноги. В поэтический чин эту строфу возносила последняя строчка, тоже простая, безыскусственная, но тем и прекрасная. Он продолжал, оглянув млеющий простор:

Все темней, темнее над землею,  
Улетел последний отблеск дня...  
Вот тот мир, где жили мы с тобою,  
Ангел мой, ты видишь ли меня?

И всхлипнул. Он говорил с Еленой Александровной, с Лелей. Обращение не было приемом. Тут вообще не было никакой поэтической риторики. Душа стала словом и выражала себя напрямую.

Завтра день молитвы и печали,  
Завтра память рокового дня...  
Ангел мой, где б души ни витали,  
Ангел мой, ты видишь ли меня?

— Вижу, — тихо и отчетливо произнес глубокий голос Елены Александровны. — Вижу, бедный друг мой, и слышу.

— Сим отпускаеши! — проговорил другой голос почти шепотом, но словно бы под хрустальным колпаком — так отгулчив и отзвончив, широк и внятен был резонанс.

И все — тишина, сумрак, одинокий старик у дороги...

Дома беспокоились. Но Федор Иванович запретил выходить навстречу ему, даже встречать за воротами. И дочь, Анна Федоровна, и приехавший под вечер жених ее Иван Сергеевич Аксаков то и дело, будто между прочим, раздвигали шторы на окнах и пытались проглянуть окутавшую усадьбу темень, — сморщившаяся луна давно ушла в полупрозрачную дымность бегущих туч.

Фрейлина Анна Федоровна, старшая дочь от первого брака, унаследовала от отца блестящее остроумие, полную душевную свободу, опасно обострив ее женской безответственностью и вызывающей прямоотой, что укоренило за ней при дворе кличку Еж. Она связала тягостное состояние отца последних дней и непонятно долгое его отсутствие с завтрашней датой, это немного успокаивало и злило одновременно. Она уважала чувство отца, даже чуть завидовала его способности к сильным и глубоким страстям, ей понятным, но несвойственным (с того, видать, и заневестилась она только в тридцать шесть лет), и все же не могла подавить в себе раздраженно-недоброго чувства к

покойной Денисьевой. Анна Федоровна была в какой-то мере поверенной этой любви — отец ездил с ней и Денисьевой на Валаам, — хотя, при всей своей хваленой проницательности (даже вещие сны видела), так и не догадалась тогда о близости старшей подруги-смольянки с отцом. Она была их ширмой, если называть вещи своими именами. Очевидно, это и настроило ее против Денисьевой. Но когда та умерла, мачеха показала, как надо относиться к истинному горю, а ей не хотелось уступать в великодушии Эрнестине Федоровне. И сейчас ее огорчала собственная злость, но она ничего не могла поделать с собой. Если уж не стало этой красивой, несчастной, полубезумной женщины, так пусть мертвый не кусает живого.

К беспокойству же Ивана Аксакова примешивался некий литературный зуд. Он задумал новое издание стихов Федора Ивановича, куда более полное, нежели тургеневское. Десять лет назад Тургенев с присущим ему доброжелательством и обязательностью взял на себя труд издания разбросанных по журналам и альманахам стихов поэта. Труд был бы и вовсе не тягостен для такого пламенного почитателя тютчевской поэзии, как Иван Сергеевич Тургенев, если б Тютчев хоть в чем-то пошел навстречу. Но Тютчев палец о палец не ударил ради такого важного для каждого автора дела. Пушкин был поэтом куда более прославленным, но он с глубочайшей серьезностью и уважением относился к своим издательским делам. Если б господь бог послал ему, Аксакову, хоть тень тютчевского дара, уж он не зарыл бы клад в землю! Аксаков понимал, что его задача окажется никак не легче тургеневской, но хотя бы добиться согласия поэта на это издание.

И тут оба услышали, как хлопнула в сенях дверь. Анна Федоровна мгновенно успокоилась, поняв по каким-то ей самой необъяснимым знакам, что с отцом все в порядке. Лишенный ее вещего дара, Аксаков опрометью кинулся в прихожую. Слабые звуки, доносившиеся оттуда, позволили Анне Федоровне догадаться, что Аксаков помогает отцу снять длинное, узковатое в проймах пальто, в рукавах которого всегда по-детски застревали отцовы кисти, вешает это пальто в платяной шкаф, что отец приглаживает свои легкие, ловящие неощутимое дуновение волосы, поправляет черный галстук и идет в комнату. Затем она услышала, как Аксаков хорошим, добрым, сейчас чуть жалобным голосом говорит отцу о задуманном издании:

— От вас требуется так немного, хотя бы уточнить некоторые даты...

«Зачем Аксакову это надо? — думал Федор Иванович. — А может, он просто придрался к моему сборнику, чтобы приехать и провести время с Анной? — Тютчев вдруг молодо и озорно усмехнулся. — Нет, боюсь, что все наоборот. Он и женится-то ради моего сборника. После Гоголя, которого Аксаковы, особенно неистовый Константин, чуть не «на смерть залюбили», по выражению самого творца «Мертвых душ», их пламень перекинулся на меня. Надо держать ухо востро с этим молодцом. Пусть женится на Анне, бедная моя фрейлина настоящий перестарок, но убереги меня господь от аксаковского огня. Кстати, я только что понял, чем Иван вводит в заблуждение. Он безбород в отличие от отца и старшего брата. Видишь его скошенный слабый подбородок, но приделай ему бороду — будет вылитый Константин. Это опасно...»

Федор Иванович вошел в гостиную в своем старом узком сером костюме, подчеркивающим его худобу. Анна Федоровна подошла и поцеловала отца в высокий, намятый шляпой, чуть влажный лоб. Он рассеянно скользнул невесомой рукой по ее затылку и плечу, словно березовый осенний листик задел ее в своем падении.

— Какое издание, зачем?.. — сказал он, обернувшись к будущему зятю и морщась, словно от лимона. — Кому это надо?.. — И прошел в кабинет.

Аксаков в досаде и восхищении сцепил длинные пальцы и громко хрустнул — жест, запрещенный в присутствии невесты. Но он был так взволнован, что не заметил гневно подскочивших бровей.

— Ну, что вы на это скажете? — произнес он зазвеневшим голосом — родовым голосом аксаковского умиления, и слезы налили ему уголки глаз. — Что за чудо морское, зверь лесной ваш невозможный отец? Человеку дан такой редкий, удивительный дар! А он в грош не ставит свои стихи! Бывает ослепление гордыней, но ослепление скромностью, ей-богу, так же губительно!..

«...Как убедить Аксакова, чтоб он оставил меня в покое с этой книжицей?.. Ведь все и так состоялось. Мне отозвался дух умершей, мне был явлен глас неба. Неужели важно, чтоб стихи мои прочел какой-нибудь коллежский ассессор или учитель словесности?.. Все это пена, я обрел спокойствие, больше мне ничего не надо...»

Да, он обрел спокойствие, Денисьева больше не являлась. Но уже осенью, когда тонким сахаристым ледком затрещали замерзшие лужи, он швырнул небу назад его милость. Он всегда был вежлив с богом, и впервые мольба его прозвучала как вызов:

О, господи, дай жгучего страданья  
И мертвенность души моей развей —  
Ты взял ее, но муку вспоминанья,  
Живую муку мне оставь по ней!..

Из себя не выбежишь, от себя не уйдешь, не спрячешься. И что толку натягивать на голову драное одеяло, зарываться в сальную, противно теплую, колючую от перьев подушку без наволочки, подтягивать колени к ноющему животу, сворачиваться в клубочек, до боли жмурить глаза от резкого света солнечного июньского полдня, все равно сна больше не будет и полусна тоже не будет, одна лишь маета, и дрожание нервов, и мучительная, душная толкотня каких-то обрывочных мыслей. Ей-богу, он достаточно себя знал, чтобы не надеяться на спасительное забытье добавочного сна. В том бреде, каким давно уже стало его существование, исподволь образовался порядок, столь же непреложный, как размеренная по часам жизнь какого-нибудь педанта англичанина. Правда, у Аполлона Григорьева счет велся не на часы, а на дни. Большой загул длился девять дней, ни днем меньше, ни днем больше: на исходе девятого дня окончательно сдавала печень, не принимавшая больше ни капли вина. Провальный сон распластывал его ровно на сутки, после чего начиналось опаматывание с тошнотой и смертной слабостью — дрожащая рука не могла удержать стакана с водой, желудок выталкивал даже самую безвредную пищу, — но постепенно измученное тело собиралось, крепло в узлах, обретало подвижность, оживлялось, а там и закипала мысль, он вновь радовался, возмущался, ликовал, гневался, страдал, рвался к борьбе, он жил. На этом кончался четкий распорядок: нельзя было рассчитать, когда внутренний подъем жизни достигнет некоей критической точки и потребуются вновь открыть шлюзы. Тем более что вмешивались нередко посторонние силы: загулявший приятель мог до срока затянуть в свой омут или похороненный на дне памяти образ вдруг оживал, населял душу невыносимой болью, и не было иного спасения, как потопить его в вине; и на обман он поддавался — случалось, одна-единственная рюмка с устатку разом ломала всю стройную линию поведения, и гитарный аккорд мог сшибить с высоты, куда возносила его по-юному горячая и сильная мысль.

Но в нынешний заход давно установившийся порядок впервые нарушился; он гулял ровно десять дней. И удивление перед этим новшеством было первым чувством, пришедшим к нему с возвращением памяти. К добру или к худу такая перемена? Но коли расшаталась, сдвинулась прочная система, то почему бы лишнему дню загула не обернуться лишним часочком сна? Хоть бы еще на час, на один только час оттянуть возвращение невыносимой яви. Но сна не было ни в одном глазу, и, сколько ни корячься на жесткой койке, его не призовешь. Надо вставать, надо начинать жить... Жить... Перемежать пьяные запои с запойной работой — разве это жизнь? Да, его жизнь. Проклятая, горькая, бесталанная и все еще милая жизнь. Вроде бы катиться дальше некуда, а ведь не променял бы он несчастную свою жизнь на тихое, благодатное жиронакопление. Менять жизнь — значит самому измениться. А нешто это вообще возможно? Сколько раз собирался он начать новую жизнь, опрятную, трезвую, всю как есть посвященную полезным и добрым делам, а ведь ничего не вышло. И спутниц ко спасению, надо отдать ему должное, находил самых подходящих: в молодости — заневестившуюся Лидию Корш, ставшую в замужестве скандальной, распутной и крепко пьющей барынькой, и в недавние дни — номерную проститутку Марью Дубровскую. Последнее было и вовсе непостижимо. Не связь с проституткой, это ему не внове, а то, что он, человек сороковых годов, выступил в классической роли шестидесятника. Не было, правда, ни швейной машинки, ни фиктивного брака. Было кое-что похуже. «Семейная» жизнь в степном Оренбурге, смеси скверной деревни с казармой, без истории, без преданий и памятников, без старого собора и чудотворной иконы, незаконное брачное сожителство со всем тем дурным, что может дать неудачный законный брак: скандалами, бессмысленными сценами ревности, грязными оскорблениями безответной прислуги и непомерными претензиями, будто «устюцкая барышня» на принца рассчитывала, а ей достался учительшка, с завистью к дамам оренбургского «света» — их туалетам, выездам, раутам. А до этого, еще в Петербурге, были тщетные попытки найти ей занятие: и языкам иностранным пытался обучать, и музыке, даже на сцену вывел, использовав в первый и последний раз свое влияние театрального критика. Ни к чему не оказалось у нее ни терпения, ни таланта. Но, только промучившись без малого год в богом забытом Оренбурге и

возненавидев до стога, до крика, сквозь всю смертную жалость ее глупую, цепкую, как волчец, эгоистическую любовь, не мешавшую ни малым, ни большим предательствам, собственную слепоту и глупейшее самообольщение, понял он, что «устюцкая барышня» навсегда останется такой же, какой была в пору их знакомства, пожиная скудные плоды своего холодно и бездарно рассчитанного падения. Они расстались...

Трудно, до невозможности трудно человеку сменить шкуру, и все же он мог бы стать другим, даже сейчас мог бы, позови его та, единственная. Пусть только поманит, пальчиком шевельнет. Ради нее он забудет вино и цыган, разобьет гитару, станет тихим, покорным, смиренным, как последний мещанин, если это надо его душечке. Почему он так назвал ее в песне? «С голубыми ты глазами, моя душечка». Она никогда не была его душечкой. Чистая, невинная, с прозрачно-голубым взором и гладким, бестревожным лбом, источающая какой-то эфирный холодок, она была недоступна для его страсти и то ли не догадывалась о ней, то ли искусно изображала неведение. Потом, когда она уже принадлежала другому, появились стихи, громкие и откровенные, но ни единым словом не отозвалась она его мучительным признаниям. Ни на миг не потревожилось ее чистое и спокойное сердце его бурной, неопрятной страстью. Он лгал в стихах, утверждая противное. Нет, в стихах все было правдой, но то другая, особая правда, не равная скудной истине дневной очевидности. А как сладко, как нежно и больно было сказать ей, недоступной: «С голубыми ты глазами, моя душечка!» Тут и прощение, хотя она никогда ни о каком прощении не просила, да и не признала бы его права прощать ее. Но перед богом — разве не нуждается в прощении человек, причинивший столько зла другому человеку? И он простил ей свою сломанную судьбу, простил безмятежность мраморного лба, не отозвавшегося хоть морщинкой беззвучному вою, каинской тоске его души, простил холодную жестокость невинности, не замечающей на белой своей одежде крови распятого. Да какая она душечка? Душечка — теплая, слабая, нежная, готовая, даже не любя, по одной бабьей жалостливости приникнуть сердцем к больному любовью сердцу. А Леонида — имя-то какое на русский слух нелепое! — швейцарское дитя, вспоенное разреженным прохладным воздухом Альп, ну, чего зря болтать, замоскворецким густым, деготным, ладанным воздухом вспоено дитя обрусевшего швейцарца Визарда; льдышку носит в груди, куда ей в душечки! Но



растопилась льдышка, замутился бездонный голубой взгляд, прежде легкое, неприметное дыхание затревожило газовую косынку на груди, когда в доме появился эффектный и пуговатый Михаил Владыкин. И до чего же легко досталась Леонида этому барину и удачливому драматургу! Не уплатив дани мук, страдания, собачьей преданности, тоски, стихов и слез, он с непостижимой быстротой сделал ее своей перед богом и людьми и увез в пензенскую деревню. Они умчались, не заметив, что колеса свадебного возка переехали человечье сердце. А там семейная тишина скоро наскучила этому удачнику. Он вдруг открыл в себе актера и обернулся Менелаем на московской сцене. Ну и черт с ним, пусть менелайствует себе на здоровье, но она-то, Елена этого Менелая, что с ней? Поди, осалопилась, отупела в своей глуши, а может, и на новую линию вышла? Она ведь сильная, умственная, от губельных чувств и от губельных людей хорошо защищенная. За нее нечего бояться...

Господи, уже тринадцать лет тому, как переступил он впервые порог дома Визардов и увидел тихую девушку с голубыми глазами, ни разу не глянувшими на него с вниманием или участием, не говоря о чувствах более горячих. Разве что опасливым и отчужденным любопытством расширился зрачок, когда он витийствовал в донкихотовом или гамлетовом пошибе. И в том, и в другом образе, равно близком его двойственной натуре, оставался он ей чужд, даже враждебен. Почему хорошие женщины избегали его? В юношеские годы крестовая сестра, нежная Лиза предпочла ему наиспокойнейшего Фета; Антонина Корш, первая его взрослая любовь, — рассудительного Кавелина, Леонида — незначительного Владыкина. Быть может, этих положительных, спокойных женщин отталкивал его горячечный энтузиазм, незаземленность, невмещаемость в обычные рамки? А успех он имел у сестры Антонины Лидии, страшной, губельной натуры, у Марии Федоровны Дубровской да еще у одной, сжигаемой чахоткой, с изломанной душевной жизнью и воспаленным сознанием, ну, и черноокие Стеши и Маши его не обижали. Но тринадцать лет, трезвый или пьяный, счастливый или несчастный, здоровый или больной, один или в чужом тепле, он начинал день с мыслей о Леониде, как иные с утренней молитвы. Хоть бы раз она его пощадила, хоть бы раз оставила в покое. Голубоглазый сфинкс!.. В чем причина ее проклятой власти над его душой, в чем сила ее очарования, которому подпадали почти все посетители дома Визардов? Но ведь те подпадали, а потом безболезненно освобождались

от чар, черная защитные силы в собственной малости и приверженности к рутине. А он так и не освободился, так и не разорвал пут. Неужели до конца дней нести ему эти вериги? Да, ты не избавишься от своей ноши до смертного часа, ибо корень в тебе самом, ты ни от чего своего не хочешь избавиться — ни от любви, ни от пьянства, ни от донкихотства, ни от долгов — и даже гордишься в какой-то своей подпольной тьме, что ты монстр, не похожий ни на кого из окружающих. Пьяни кругом не сосчитать, есть и такие, что тебя перегуляют, и не бедна Русь поэтами, чья лира позвончее твоей и мыслящими критиками и пламенными служителями идее не обойдена, и нешто когда скудела наша почва чужаками, что не страшатся и платьем ярким, и диковатой повадкой навлекать насмешки и поруганье окружающих, но, чтобы в одном человеке все слилось, спаялось, спеклось намертво — этого в веках поискать — не сыщешь. Может, главное твое назначение, а каждая божья тварь чему-то назначена, не страстные стихи, не умные критики, не борьба за выстраданные идеи, а совсем в другом: явить русскую натуру во всех крайностях, яри и беспечности, готовности к высочайшему взлету и нижайшему падению. В твоих безобразиях — вызов той удручающей европейской безликости, которую сторонники западного развития пытаются навязать самобытному русскому укладу. И славянофилам — кукиш под нос! Из кожи лезут вон рыцари ракового хода, доказывая, что русский человек по самой природе своей смиренник, скромник, образцовый семьянин и святоша. Какая чушь! Будто земская жизнь возможна без гульбы «до поры, до утренней зари. Гульба по душе, гульба весеннюю ночку, весь денечек, осеннюю ночку до святочку». До чего же жалки и смехотворны аксаковские славословия народному *смирению*! А куда девать тогда Стеньку Разина, Прокофия Ляпунова, Минина-Сухорука, Пугачева? А куда девать меня самого?

Ну, оправдал свое пьянство? — с усмешкой спросил себя Григорьев. Это входит в жизненный распорядок, надо подбодриться, чтобы сделать первый и самый мучительный шаг в явь из благодной тьмы. Потом все равно придет хандра, как называл Григорьев похмельное раскаяние, не признаваясь даже самому себе, что может жалеть хоть о чем-то, сотворившемся с ним по воле его безудержной природы. Он вредил только себе самому, а окружающим не причинял зла во хмелю, никого не оскорблял, не дрался, если его не задевали, все добрые свойства его незлобивой,

мягкой, сострадательной, восторженной, общительной натуры оставались при нем, лишь в преувеличенном и оттого жутковатом порой виде. Он помнил сквозь все напластования, как на второй или третий день загула ему попалась на улице жена композитора Серова Валентина Семеновна, и зазвучала в нем музыка «Юдифи», и он заорал, пугая прохожих: «Прегениальнейшая шельма твой Сашка, черт его дерь! Как это у него запоет Юдифь: «Я оденусь в виссон», — сапоги готов ему лизать. Гениальнейшая башка у Сашки!» — «Успокойтесь, голубчик, успокойтесь, миленький!» — лепетала Серова. Хорошая баба, одареннейшая, умнейшая, но дура...

И, думая обо всем этом, он понимал свою игру: боится с кровати встать, тянет время. Пока лежишь тихо, даже не знаешь, как тебя размолотило, и кажется, что жить можно. Ну, погуживает в голове, ломит затылок, во рту пересохло, и языком не пошевелить, и нет воды под рукой, чтобы смочить рот, но жить можно. А вот как встанешь, да как поведет тебя, да как закружит, да как подкатит под самое сердце!.. И все-таки встать надо.

Он закинул руки за голову, ухватился за спинку кровати и немного подтянулся вверх, в полусидячее положение. И сразу боль, дремавшая в нем, как в чаше, всколыхнулась, растеклась по телу. Железным обручем сдавило черепную коробку, тошнота подкатила к горлу и ожгла омерзительной горечью, заболели глазные яблоки, будто их придавили пальцами, все закружилось перед ним: стены, потолок, окно, в которое изливался золотой и синий июньский свет. Он закрыл глаза, закинул на них согнутую в локте руку и несколько секунд перемогал головокружение. Теперь он открывал в себе все новые очаги боли. Гнусно ныли наломанные неудобными ночевками кости, особенно ребра и крестец. Лишь в первые ночи спал он по-человечески в каких-то номерах у Фредерикса и на Лиговке, потом гулял с цыганами ночи напролет, а отсыпался днем у знакомых. У Мея пьесу читали, когда он ввалился. «Милый мой, возлюбленный, желанный, где, скажи, твой одр благоуханный?» — звучно продекламировал Григорьев и плюхнулся на мягкий продавленный диван. Раз у Серовых тоже при гостях выспался в столовой. И наконец в клубной бильярдной обосновался. На бильярде плохо спать — жестко и вонюче и першит в горле от меловой пыли, которой пропиталось зеленое сукно, — зато надежно: борта свалиться не дают. Ох и загремел он раз с лавки в поли-

цейском участке! Как изумился Страхов, заглянув среди дня в бильярдную и обнаружив его простершимся на центральном, лучшем столе, на котором разрешено играть только мудрую пирамидку. Славно они тогда поговорили. Хороший у него ум, не догматический, широко охватывающий суть явлений. И кто же потом сбил, а там и вовсе изгадил ему настроение?.. Островский?.. Неужели это Островский стыдил его за темный и непроворотный стиль? Григорьев поморщился. Стараясь отогнать неприятное воспоминание, он приподнялся, и новый накат боли, головокружения и тошноты уложил его на лопатки. И все же надо вставать. А то последний срам приключится, до какого он еще ни разу не доходил. Он осторожно спустил ноги с кровати, убрал руку с лица, открыл глаза, дал им привыкнуть к свету. Чуть приподняв и повернув голову, он с удивлением обнаружил, что на нем надеты какие-то плисовые, но не его штаны. Он вышел в суконных брюках мышинового цвета, а плисовых штанов со второй московской юности, в приснопамятной молодой редакции «Москвитянин» не нашивал. О знаменитых его коричневых с отливом широких плисовых штанах и такой же поддевке поверх кумачовой рубашки с косым воротом Фет шутил, что Григорьев рядится под московских извозчиков, которые сами так сроду не одевались. И кумачовую рубашку и плисовую поддевку он и сейчас охотно надевает, когда случается в духе, он и за границей не стыдился просторной и ладной русской одежды, так хорошо идущей к его полноватой крепкой фигуре, а вот брюки давно уже только суконные признает. Как же оказались на нем эти шаровары? С кем же он мог поменяться? Не иначе, с Ромкой Казибеевым из Сурмиловского хора. Как, подлец, «Раскудрявую» выводит! Тут можно не только хорошие брюки на дрянь сменить, а самую душу прозакладывать. Но странно, что он чувствует на себе Ромкины поноски, как собственные. Помнит тело одежду, не иначе, облекали его эти штаны, когда их мягкая переливчатая ткань еще не обратилась в редину. А после татарину за бесценок спустил. Верно, от князя и попали они к Ромке.

Григорьев собрался с духом и, цепляясь за спинку кровати, встал на ноги. Редкая плисовая ткань билась парусом вокруг дрожащих ног. Комната перевернулась в его глазах, и он перевернулся вместе с комнатой, но устоял и, отплюнув горькую саливу, обрел привычное положение тела. Внутри у него будто цепями перемолочено, живого местечка не осталось. О господи!..

Он опустил на колени, нагнуться не мог, опасаясь дурманного прилива крови к голове, и нашарил под кроватью фарфоровую посуду, свое единственное движимое имущество, последний подарок цивилизации, который он сохранил во всех передрягах кочевой жизни. Он и на эту квартиру явился с гитарой в одной руке (гитару имуществом не считал — продолжением своего сердца), с узелком, содержащим ночной горшок и несколько книг, в другой. С такими узелками бабы ходят в церковь святить пасху и куличи. «А имущество где?» — подозрительно спросила хозяйка квартиры. «Вот оно, все здесь!» — ответил он с наивной гордостью, искренне считая, что горшок служит гарантией его добропорядочности, привязывая к земле, к миру основательных людей, владеющих собственностью...

А потом он сидел на кровати и тихо втолковывал воображаемому Островскому:

— Пойми, я не мысль выражаю, а чувство, вымучившееся до формул и определений. Вот чем я отличаюсь от других, пишущих критики. И, конечно, я всегда буду труднее для постижения. Они задачки решают, а я дух из тьмы изымаю. Я ве-я-ни-е, а не школьный учитель. Да-с!.. А читатель пусть думает, разбирается, на то и даны человеку мозг и сердце...

Он подумал немного и заключил:

— А не может разобраться, ну и черт с ним. Мне такие читатели не нужны...

Хотелось пить, он поискал глазами — пустая кружка стояла кверху дном на полу. Умыться бы. Но и в тазу, и в кувшине ни капли воды. Спросить самовар? Нет сил тащить в коридор и уламывать хозяйку, лишившую его утреннего чая за неуплату квартирных денег.

Совсем обессилев, он прилег на кровать. Супцу бы не особо горячего похлепать, куриного бульона с сухариками. Он не был гурманом, ел жадно, много и быстро, выбирая куски пожирнее, а не потоньше вкусом. Нет, не был он гурманом ни в яствях, ни в литературе. Пища должна питать и укреплять, а не баловать и нежить дух. Сбитню бы он попил, простоквашки или коричневого топленого молочка, что так вкусно у деревенских баб на Сенном рынке...

Чего домогался от него Островский? И с какой стати пошел у них этот ненужный разговор? Опять, что ли, в «Искре» язвили его за дурные словеса? Но Островский не

станет подпевать искринцам. И все же досадительный разговор имел место, вот почему так странны и необычны были усыпавшие его на рассвете чертики. Не в первый раз обирал он с себя чертей, привык к ним, ничуть не боялся, как и пучеглазых рож и зеленого змия в темных углах комнаты. Сухонькие, похожие на сверчков чертики были большею частью в прозелень, но попадались и серые как паутина, бурые, как лесные лягушки, и он легко стряхивал их с себя, сбивал щелчками, а особо цепких брал щепотью за крылышки, и, стараясь не раздавить, швырял прочь. Нынешние черти отличались от всех прежних: животы у них просвечивали, как у диковинных рыбок в аквариумах, и там ясно читались прозвища. Был чертенок Который, был чертенок Поколику, был клещево-цепкий Зане. Все излюбленные — да какие там излюбленные, пропади они пропадом, проклятые и неотвязные — слова, испещряющие не только его статьи, но и стихи. А чертенок Подметка откуда взялся? Ах да, ведь он частенько оговаривается «подметкой чувств». Может, и в добрый час явилось в мир словечко «который», позволяющее так легко связать фразу, но у Григорьева словечко это торопится вперед заскочить, на правый фланг придаточного предложения, и уж до смысла не докопаться. Неужели не может он призвать к порядку своевольное местоимение? А вот не может, просто не видит, что оно в непопущенном месте выскочило, слишком страстно, слишком горячечно пишет, слишком торопится свою мысль досказать. И почему-то всякий раз недосказывает. Но это уже другое... Статью всегда надо срочно сдавать, поджимают журнальные сроки, а главное, безденежье давит, и нет времени на доработку, доделку. И все же не надо на нужду валить. Нужда — это когда дети голодные плачут, а у него деньги на ветер летят. За рабочим пароксизмом следует пароксизм загула. Милый, наивный, даровитый Страхов жаловался, что ученые занятия не дают ему вкусить жизни. Да знает ли он о тех мрачных эринниях, которых бог насылает на мыслителей, слишком жадных к жизни? Храни и помилуй от жизни того, кто хочет сказаться в слове. А ну ее в подпупие, как говаривал покойный Лермонтов. Моя беда, моя трагедия в том, что я не умею переживать жизнь внутри себя, мне ненасытно хочется пережить ее в действительности. Если б не угарная, сладкая, мучительная растрата сил и чувств, сколько бы я успел! Да ведь жаден до жизни, как медведь до меда. Вот и оборачиваются чертями урод-

ливые слова, переполняющие мои сочинения. К чему все-таки прицепился Островский? К чему-то вовсе не стыдному, к чему-то важному, станковому в моих писаниях, неужели к «Скитальчествам»? А уж они ли не выпелись из души!.. На ломберном столике, служившем и для работы, и для еды, валялись растрепанные номера «Эпохи», но как до них добраться?..

Он снова повторил весь давешний ритуал: уцепился руками за спинку кровати, подтянулся, пережил миг дурноты, спустил ноги в плисовых штанах на пол, встал, выждал, когда успокоится сердце, и сделал первый шаркающий шаг от кровати. Страшно было остаться без поддержки, но он справился с собой, ерзнул дальше. Тут он осмелел настолько, что рискнул оторвать ногу от пола и сделать настоящий, хоть и коротенький шаг. Удалось! Вот так и всегда бывало: кажись, уже конец, больше не подняться, но пересилил себя, встал, двинулся, пошатываясь, а там и укрепился на земле, вернул себе стройный человеческий образ, вновь крепки кости, вновь бьется мысль и закипают в груди чувства, и рука тянется к перу.

Доковыляв до ломберного столика, он взял журнал, листанул наугад, и по глазам, по мозгу ударили страшные, как и в горячечном бреде, строки: «Если б школа давала тезис в отрицательной форме *spiritus non existit*, он негрировал бы негоцию и вместо того, чтобы быть материалистом и нигилистом, был бы идеалистом... *est semperbene*» Господи, да как рука не отсохла?.. Чтобы русский писатель позволил себе такую галиматью, гадчайшую заумь, будто недопереведенную с латыни! Вот ведь позволил, подумал он с жалкой усмешкой. Я и позволил... Но зачем же печатать-то было? И как могли братья Достоевские это допустить? А может, я брежу, может, мне все мерещится, как зеленые хари в углах и черти на рукаве? Но я же очнулся, отошел. Неужели головой повредился?.. Матушка, спаси своего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку!.. Но нет матушки, давно нет несчастной, худой, как рыба кость, полубезумной и прекрасной за покровом странной душевной омраченности женщины, так любившей чесать большим деревянным гребнем тогда еще не буйную и не безумную русую голову Полошеньки. Слезы закапали из слинявших, а когда-то ярких, сверкающих глаз Аполлона Григорьева.

И все же жизнь опять втягивала его в себя — измотанный, изломанный, дрожащий, дурно пахнувший, он был

ей для чего-то нужен. Жизнь не отпускала его, и он хотел, чтобы не отпускала, чтобы держала его на земле, где он все потерял и ничего не обрел — ни любимой, ни дома, ни семьи, ни власти над умами, ни положения, ни имени, а лишь растерял то, что дано ему было от рождения: здоровье, силу, чистоту, безоглядную веру в людей, прозрачность взора. Но, может быть, потерями и притягивает его жизнь. Леонида, утраченная навсегда, в каком-то высшем смысле принадлежит ему — жгучей памятью, болью, стихами, созданными в нем ею. Ему плохо сейчас, так плохо, что хуже некуда, но он отвергает услуги смерти. О, как же прав Пушкин, всегда и во всем правый, воскликнув: «Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!» А под страданием он разумел не маету и упадок, не тоскливую неотвязную боль, а способность обострить каждое чувство, жить всей силой и полнотой страстей.

Но, друг мой, страдания Пушкина не чета твоим тягостным, душным сердечным болям, африканские страсти ярко вспыхивали и быстро отгорали. Ты весь из житейщины, из сырой жизни, там же все было крепко, сухо и горюче, как порох. Твоя «Венгерка» окуплена кровью сердца. Да разве так уж безмерно любил Пушкин в свои веселые, озорные молдавские дни крупную черноволосую больную Ризнич, а ведь к ней обращено трагическое «Для берегов отчизны дальной», а божественное «Я помню чудное мгновенье» посвящено даме, над которой он сам же потом посмеивался: «У дамы Керны ноги скверны». Пушкин мимолетностям дарил бессмертие. У тебя же лишь крушение души исторгло настоящую поэзию. Выходит, ты просто бездарь, друг мой, и у тебя один путь — в кабак? Нет, положи руку на сердце, ты вовсе не бездарен. Значит, кабак не следствие, а причина?.. Среди первоклассных талантов не сыщешь пьяниц. Дивная «Вакхическая песнь» спета трезвым человеком, и звонкий темноглазый поручик сохранял ясную голову посреди гусарского разгула. Крепко пивал во дни «Москвитянина» Островский, но разве повернется язык назвать пьяницей создателя «Грозы»? Труженник, собранный человек, знающий свое назначение, он, когда нужно стало, незаметно выбрался из-за пиршественного стола, за которым продолжали бушевать его преданные и непутевые сподвижники. Но тяжело, запойно пьет Мей, спивается Левитов, и вся литературная бурса, завивая горе веревочкой, губит себя до поры до времени. А



ведь все это таланты. Нет, полуталанты. Может, невозможность сказаться до конца бередит, травит душу, и рука сама тянется к рюмке. Так ли?.. Возможно, есть тут доля правды, только не вся правда...

В ранней замоскворецкой юности, когда студент Фет жил на хлебах в деревянном доме Григорьевых возле Спаса в Наливках и юноши занимали соседние комнаты на антресолях, братски делясь мечтами, надеждами, сомнениями, даже стыдными снами, влюбленностями и первыми стихотворными опытами, он нередко приходил в отчаяние от неуклюжести собственных виршей, подчеркнутой благозвучием фетовских строф. Но разве хотелось ему искать утешения в вине? Да нет же! Он восторгался, от души восторгался крылатой фетовской легкостью, проклинал корявую нескладницу своих бедных и таких искренних стихов, но не падал духом, а полно и взволнованно жил поэзией, музыкой, любовью, громадностью раскрывающихся перед ним умственных горизонтов. Даже во дни, когда все честолюбивы, поэтическое честолюбие не терзало его. Поэзия была — и осталась — необходима ему для «собственной надобности», каждый поворот его жизни отмечен стихами, он, наверное, самый *личный* поэт из всех существующих на Руси. Таким он был на заре туманной юности, таким и остался, когда найденное главное дело заставило потесниться музы. И есть странный разрыв в нем. Его стихи лишены *народности*, все, кроме «Венгерки», где подхвачена та чистая и страстная нота, что с незапамятных времен звучала под звездным шатром цыганских небес.

Но пить он начал, причем сразу круто, не с тоски и невыраженности — от полноты жизни. Еще подставляя голову под маменькин гребешок, он уже следил, чтобы не дыхнуть на нее кюммелем, а то и крепкой водкой. Тогда же узнал он завораживающую истому цыганских напевов, тогда же изменил глубоким тонам рояля ради надрывов семиструнной краснощековой, тогда уже не мог противостоять зову разгульной, самозабвенной, головокружительной жизни и кинулся без огляда и боязни в ее грешные объятия. Домашний гнет, навязанный семье болезненной, до ханжества добродетельной матерью, не только не удерживал от сомнительных подвигов, напротив, возносил разгул в чин свободолюбия. Мысль о раскаянии не касалась его души. Собой человек вправе распоряжаться, как ему вздумается, быть может, это единственное достояние, в котором он до конца волен.

И все у него было цельно, не разорвано, не лоскутно: стихи, увлечение немецкой философией, бессонные ночи над книгами, вечное раздражение мысли, споры с друзьями, загулы, цыгане, жаркая близость с женщинами, которых он потом не помнил, и никакого сожаления ни о чем, никакого сомнения в том, что все происходит правильно, истово. И писалось ему стихами и прозой так же просто и естественно, как жилось и дышалось, и он не задавался вопросом, так ли, правильно ли он пишет, как не задавался вопросом, так ли, правильно ли дышит. И однажды он по-детски удивился и озадачился, увидев черновики Пушкина. Там не было ни одной не перечеркнутой строчки, ни одного не переделанного слова. Вот каким каторжным трудом, каким прилежанием оплачена волшебная легкость пушкинского стиха! Он так не мог, не умел, у него просто времени не хватило бы. Шум жизни звал, оглушал, пьянил крепче вина. Неужели Стешина низкая волнующая нота или дружеский, за полночь спор о важнейших вопросах бытия не важнее какого-то криво ставшего в строку слова? К тому же главная тема споров — искусство и жизнь — оказалась столь захватывающей и жгучей, что вскоре не стало душевного времени ни на что другое. Он понял, истина входит в человеческую душу лишь в образе красоты. Все великое сообщается жизни воплощенным в произведения искусства, наука делает лишь черную работу. И наконец в нем сказалось гулко, торжественно и чудно, как в соборе: искусство — это второй мир второго творца. Он должен внушить эту мысль людям — стихи заброшены, он пишет о литературе. Критическая деятельность пришла к нему так же естественно, как прежде поэзия, как загулы, и так же явилась прямым продолжением его личности. Но теперь он не замыкался в скорлупе собственного «я», а смело ступил в общественный поток. При этом он ничем не поступился в своей капризной индивидуальности, оставался вызывающе самим собой.

Его не устраивало ни одно из существующих направлений: ни славянофильство с его душевными старобоярскими идеалами, ни тем более западничество, всерьез рассчитывающее привить русской стихии аглицкий парламентаризм, ни «теоретики», договорившиеся до того, что «сапоги выше Пушкина», ни эстетики-гурманы, у которых искусство — нечто вроде похотливого самоудовлетворения. Он лупил по всем, и его лупили все. Брань и насмешки барабанили по его шкуре градом, а каждая градина —

с гусиное яйцо, но он не чувствовал боли, упоенный засиявшим для него светом. Он твердо знал, спасение в народности, но в отличие от славянофилов видел ее не в крестьянской общине, а во всех русских сословиях, и в первую очередь в купечестве, сохранившем в наибольшей чистоте и цельности богатый, самобытный национальный характер, жизненную бодрость, пряную густоту русского быта, старинные обычаи, пляски, песни, теплую веру. Своим окончательным прозрением он был обязан Островскому. И ярко засверкал его меч во славу народности и столпа ее — Островского. Ответные удары могли и быка свалить, а он знай себе ломил дальше, захваченный великой мыслью — создать новый, всеобъемлющий метод критики, который удачно назвал «органическим».

Направления раздергивали литературу, признавая лишь угодное их узким целям, не замечая или ниспровергая негодное, — смятенный вид обрела русская словесность. А Григорьева, этого раздрызганнейшего в быту человека, влекло к целостности. Ему мечталось выработать такой критический метод, который каждое литературное явление рассматривал бы в свете большого общенародного дела, народного идеала, а не с нищенских позиций соответствия ближайшим, сиюминутным целям.

Порой в густом сумрачном тумане проступали контуры светлого величественного здания, которое вот-вот станет явью. Но контуры таяли, а там и вовсе исчезали в чаду жизни, в утомлении перетруженной мысли, бессильно упускающей какое-то необходимое звено. Григорьев то приближался, то отдалялся от своей цели, а то и вовсе отчаивался в ней и тогда бросал все к чертям собачьим, отказывался от *власти*, идущей в руки, и бежал, как павший духом воин с поля сражения, никому и никогда не признаваясь в своем дезертирстве и даже перед самим собой оправдывая его житейскими причинами. Так было в пору его бегства из Москвы за границу в качестве наставника князьиньки Трубецкого, когда Погодин готов был передать ему «Москвитянин», так было и во время последнего бегства в Оренбург с «устюцкой барышней», когда он уже становился хозяином в критическом отделе журнала братьев Достоевских. Он придумал какую-то обиду для оправдания своего бегства, но ведь это неправда, правда в том, что пора ему было сказать *слово*, то главное слово, которого все ждали и которое стало бы платформой журнала, а он не мог сказать этого слова, не знал его. Красиво зву-

чит «общенародное дело», а в чем оно? Самой душой выпето — «народный идеал», а где он? Расплывается в беспредельности... Вон у «теоретиков» идеал определен, ясен, да черта ли в нем?.. Фаланги усовершенствованной человечины дружно возделывают всеобщий грушевый сад. Да коли так... Коли сбудется... повешусь на первой же груше в этом цветущем саду...

Было и другое. Он писал одну из главных своих статей, отталкиваясь, по обыкновению, от Пушкина, ибо Пушкин — начало всех начал, и в подтверждение какой-то мысли процитировал из «Черни». Затем перечитал крепко закрученное рассуждение, испытав даже некоторую гордость, и вдруг:

Не для житейского волнения,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновения,  
Для звуков сладких и молитв.

И закричал, так ошеломляюще прекрасно это было, а потом заплакал над скудостью, беззвучностью и ненужностью многомудрых своих рассуждений. Да, не вести слепцу зрячего, без художества теория — пропащее дело. Отсюда безнадежная вторость всяких критических упражнений. Как там ни крути, ни усердствуй, какие волшебные здания ни строй, дело твое не богово, а сугубо человеческое. Господь сочинял вселенную не как критик и не как публицист. Вдохновенная творческая сила, создавшая за семь дней все сущее и сказавшая себе «это хорошо», была сродни искусству, поэзии, но никак не рассуждению, иначе не быть миру столь совершенным. Все дурное в нем — от человека с его опасным заносчивым разумом, иными словами, от критики...

Григорьев тяжело вздохнул. Он с самого начала ждал, что придет к этому невеселому итогу. Так всегда начиналась хандра. «А все оттого, друг мой, что ты незавершенный создатель. Артист, у которого творчество съедено анализом, к тому же с непозволительной жадностью жизни». Итак, приговор оглашен. Он, как и следовало ждать, беспощаден и обжалованию не подлежит. Но, странно, Григорьев не слишком опечалился. И вовсе не из цинизма или равнодушия к себе. Он словно не верил безобразной правде вывода. Хандра, копившаяся в нем, как туман в овраге к вечеру, не торопилась накрыть душу. Видать, неспроста. Ему предложено спастись. Умиравший в страшных муках философ просил сына: «Напомни мне какую-нибудь важ-

ную мысль, это освежит меня». Мысль Григорьеву не приходила, но забрезжило нечто лучшее — образ. Яйцо. Огромное, свежее, только что из-под наседки, чуда-наседки, богатырши наседки, розоватое, будто просквоженное солнцем, гладкое яйцо, богово чудо — замкнутый внутри самого себя цельный, заверченный мир, содержащий все элементы жизни. Нет ничего красивее яйца. Какое там еще здание мерещилось ему?.. Чушь!.. Каждое здание либо несоразмерно, либо незавершенно, либо искажено излишествами, красота даже лучших творений зодчества условна как знак своего узкого времени. Яйцо — совершенство, ни прибавить, ни убавить, оно полно, осмысленно, вечно и все как есть служит своему назначению. Метод *органической* — анафемски хорошо звучит! — критики впервые предстал Григорьеву в образе яйца; нерасторжимо и целостно сольются в нем жизнь — искусство — постижение. Конечно, критика никогда не станет третьим миром, но приблизится наконец к тому, на чем простерся свет господен.

А кто же второй творец второго мира, комически озадачился вдруг Григорьев. Совершенная красота первых насельников мироздания довольствовалась сама собой и не могла породить чего-либо внешнего по отношению к себе. Извечное зло вовлекло Еву в грех, она же вовлекла Адама, и поколебалось богово устроение, пошли разлады и уродства, и юную вселенную омрачила первая кара. Из мучительной тоски по утраченному: раю — идеалу-гармонии родилось искусство. Значит, Змей, Сатана — прародитель искусства. В раю искусства не было, да и не могло быть, незачем раю вглядываться в собственную красоту. Стало быть, не только критика от лукавого! Он совсем разве-селлся.

Григорьев чувствовал, что может встать, а если б еще похлебочкой подкрепился, то и на улицу выползет. Но похлебочки ждать неоткуда, и оставалось придумывать себе другие радости. Много есть в мире такого, что поважнее личных страданий. Хотя бы пьесы Островского. В Оренбурге он врачевал себя «Мининым», а в последний заход думал служением Мельпомене потеснить служение Лизю. В Александринку завалился на «Бедность не порок» — любимейшую свою пьесу. Да не получилось ничего — холодная, сделанная игра петербургского баловня Самойлова в роли Любима Торцова оскорбила в нем чувство правды. Не могут играть в Петербурге Островского, нешто есть у

них Замоскворечье? Петербургский купец издавна припахивал немцем или голландцем. Но, вспомнив о пустом спектакле, он уже радовался, потому что мостик перекинулся к далекой счастливой поре, быть может, самой счастливой поре его многострадальной жизни.

Тогда он вернулся в Москву после бегства в Петербург от несчастной любви к Антонине Корш, так и не залечив душевных ран, разочарованный в обманных возможностях столицы и в себе самом, но уже «чующий правду», которая и привела его в стан молодой редакции погодинского «Москвитянина». Он сразу понял, что нашел людей, близких ему всей кровью, но те не спешили раскрыть объятия еще одному отечественному Гамлету, чья русская закваска привлекали их столько же, сколько же отпугивал чужеродный меланхолический туман. Хоть доверия еще не было, а на премьеру пьесы своего главы и кумира Островского «Бедность не порок» в Малый театр взяли. Так и сидели в ложе всей компанией. Спектакль захватил Григорьева с первых реплик, но зрительный зал разогревался медленно, да и то лишь магическим обаянием великого Прова Садовского, игравшего — какое там «игравшего», это Самойлов играет, а Пров жил и погибал всерьез — беспутного Любима Торцова, первого замоскворецкого романтика на русской сцене. Григорьева бесила тупость публики, он себе ладони до свекольной красноты набил, орал, скакивал на кресло. «Тебя выведут, сумасшедший!» — одергивал его Погодин, сам потрясенный до слез. Много раз потом выводили Григорьева из театра — не умел он приказывать своей душе, коли она рвалась наружу, но в тот раз обошлось и он дождался знаменитого места, когда пробудившийся от пьяной спячки и сознавший свое человечье достоинство Любим кричит всему презревшему его миру: «Дорогу, дорогу, Любим Торцов идет!» Лед тронулся. Всяк, в ком жива душа, понял, что на русскую сцену шагнул шаткой, но уверенной поступью совсем новый герой. До того на театре горланил и хвастался Ляпунов, кобенился под орлеанскую девственницу Минин (разумеется, не Островского) — жалкие подделки под русский тип, а тут развернулась во всю ширь мощная натура восставшего из грязи коренного русского человека, в коем смирение перед богом и нравственным законом в нужный час оборачивается бунтом против злоторства.

Чудо случилось в четвертом акте, когда старый, измочаливший душу о жизнь Любим Торцов тихо, из какой-то

последней глубины усталости и одиночества просит Гордея о милости: «Брат, отдай Любушку за Митю. Он мне угол даст... Назябся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уж мне паясничать на морозе-то из-за куска хлеба, хоть под старость-то да честно пожить...» Когда он кончил, была неестественная, какая-то жуткая тишина: люди в зрительном зале забыли дышать, окаменели, затем возникла долгая, стонущая нота и — обвал!.. Позже Григорьеву довелось видеть знаменитого Сальвини в «Отелло» и неистовство самой темпераментной в мире итальянской публики, но все южные страсти меркнут перед тем, что случилось в Московском Малом театре на премьере Островского. И впервые его бескорыстное сердце сжалось не то что завистью — о, нет! — но каким-то печальным восторгом перед властью гения над толпой. И чувство это стало почти нестерпимым, когда Островский, большой, лобастый, с глазами, полными слез, поднялся в ложе и, обращаясь к друзьям своим и соратникам, сказал, беспомощно разводя руками:

— Не виноват, братцы!.. Небо свидетель — не виноват. Не я — господь бог писал!..

Какое же это ни с чем не сравнимое счастье — иметь право сказать о себе *такое!* Но, отозвавшись сжатием сердца и соленой влагой, скатившейся на губу, безмерности чужого успеха, Григорьев напрочь забыл о всем малом и личном, растворившись без остатка в торжестве того, в чем прозревал будущее.

Его взяли на кутеж, который начался в ресторане, а закончился в доме Островского богатырской мужской попойкой. И навсегда пленилась молодая душа Григорьева спокойной мудростью и пронизательностью Островского, не оставлявшими его и в подпитии, дивной старомосковской речью и глубиной взора великолепнейшего Прова, щемящей, беззащитной нежностью Мея и всем густым, свежим, здоровым даже в безобразиях духом, царившим в этом кружке. У него кружилась от счастья совсем ясная голова, хотя налился он водкой и шампанским по затычку, но в огненный час не может завладеть человеком никакое отравное зелье. И старик Погодин, возвеселившись духом, потребовал, чтобы Григорьев спел под гитару что-нибудь цыганское. Тут же появилась семиструнная, и Григорьев, слишком доверчивый, открытый и прямодушный, чтобы стесняться, свободно, с душой спел настоящее таборное. Странное дело, его голос, зычный в разговоре, споре, с

учительской кафедры и особенно в партере театра, становился тихим, томительно нежным, когда он пел, даже не пел, а проговаривал слова под искусный аккомпанемент, и он не умел иначе, лишь в самых подъемных местах усиливал звук, вкладывая страсть. Приняли благодарно, не больше; придет время, и он приучит их к цыганским напевам, откроет им глубоко народную стихию этой ни на что не похожей музыки, но тогда они еще не были готовы. Да и находился тут певец редкой силы, обладатель такого богатого, красивого, природой поставленного голоса, что не Григорьеву с ним тягаться. И певцом этим, кто бы мог подумать, оказался изысканный Третий Филиппов, будущий святоша и гонитель свободной мысли. Он взял из рук Григорьева гитару, рванул струны и так анафемски взрыдал варламовским «Парусом», что аж сердце вон, и без передышки русскую песню выдал. И тогда Григорьев с размаху кинулся на колени перед всей честной компанией и, рыдая, закричал: «Возьмите меня к себе, братья!.. Не отвергайте душу неприкаемую! Я же ваш, ваш, всем сердцем, всей требухой ваш!..»

И старик Погодин с красным, как вишня, разляпым носом вдруг сорвался с места и — трубой иерихонской: «Братцы! Рекомендую Аполлона Московского. Редчайший человек — не знает, где выс... где молитву прочесть. Первое справит в красном углу, второе — под лестницей. Прошу любить и жаловать!» Нельзя было устоять перед такой рекомендацией, Григорьев был принят и возлюблен всеми этими прекрасными людьми. Вскоре он стал как бы вторым центром молодой редакции, признанный теоретический глава направления, написавшего на своем знамени: народность... И началось золотое пятилетие его жизни с великой и безнадежной любовью, с трудами и яростной борьбой, а кончилось известно чем — бегством за границу от любви, от друзей, от работы, от самого себя... Ну, хватит на пепел дуть, давай жить дальше...

Он пришел в такое возбуждение, что рывком поднялся с кровати, на слабых, но уже держащих ногах достиг окна и распахнул раму. В лицо ударило теплым сладким духом зацветших во дворе лип. В Северной Пальмире воздух, как известно, то сырой и затхлый, то горьковонький, а тут изливалась чистая, свежая, медовая струя, совсем как в замоскворецких садочках. И если закрыть глаза, чтобы исчез каменный колодец двора, серые тюремные стены и бледное чухонское небо, то кажется, будто тебе дышит в лицо малая



Полянка, травяная, липовая, березовая, и ты опять юн и влюблен. Он всегда почти был влюблен. Так уж устроен. Ему необходимо любить женщину, приносить жертвы, хотя бы воображаемые, губить себя ради нее, изливаться в стихах. И тут одной отвлеченной любви к далекой Леониде Визард мало, нужен зримый образ, существо из плоти и крови, нужны глаза и губы, нежность и сила женщины.

А ведь ты оживаешь, мой друг!.. Давно ли встать не мог, а вон уже о женщинах думаешь. Давай теперь умно и последовательно двигаться к полному выздоровлению. Перво-наперво надо попить воды, чтобы отмякло ссохшееся нутро, второе — поесть теплой, лучше жидкой пищи. А там можно и о работе подумать. Набросать план статьи, поправить перевод «Ромео и Юлии» — на это тебя хватит.

Он стал обыскивать комнату в надежде найти завалящийся кусок сахара или сухарь, ах, с каким бы наслаждением вонзил он зубы в заплесневелый плюшкинский куличный сухарь, пусть даже не отскобленный Маврой от зеленцы. Но ничего не попадалось под руку, даже пива на глоток не осталось в многочисленных пустых бутылках. Имелась, правда, в доме одна таинственная специя, но он и подумать о ней не мог без желудочных колик. Стало быть, придется выползти из комнаты, кинуться в ноги хозяйке или старой служанке ее, усатой Марковне, или тащиться за ворота, чтобы в большом петербургском мире найти кусок хлеба, и глоток воды. И тут в дверь постучали.

Кто бы это мог быть? Хозяйка? Но она никогда не стучалась, а сразу перла в дверь, изрыгая жалобы и хулу на вечно должавшего квартиранта. Марковна? Она тоже лезет без стука, а если дверь заперта, как сейчас, долбит кулаком. А это стук осторожный, вежливый, косточкой указательного пальца. Неужели Страхов вспомнил о нем? Милый, милый Николай Николаевич! Григорьев должен ему вот уже полгода, хотя обещался отдать перед масленой. Но кто, скажите на милость, будет отдавать долг перед масленой, когда деньги всего нужнее? Это любимейший праздник каждого русского человека, и равно невозможно вернуть долг перед масленой и после масленой. Но как только он пристроит перевод «Ромео и Юлии», то перво-наперво расплатится с добрейшим Николаем Николаевичем. Вообще у него есть принцип: никогда не занимать у тех, кому должен. Во-первых, это безнравственно, во-вторых, безнадежно. Да ведь сейчас речь идет вовсе не о займе — о тарелочке супа, куске хлеба и бутыл-

ке пива в ближайшей кухмистерской. В такой милости ни один православный человек другому не откажет. Но почему-то Григорьев медлил открывать. Он хотел предусмотреть все возможности. Бог послал ему спасителя: кто бы ни оказался за дверью, его накормят и напоят. Ну, а если там не Страхов, а человек, которому он ни копейки не должен, или курьер из редакции со срочной просьбой?..

За дверью послышались приглушенные голоса. Посетителей было двое. Братья Достоевские, вспыхнуло радостно, и тут же по сердцу полоснуло стыдом. Как мог он забыть в скотском своем эгоизме, что добрейшего Михаила Михайловича уже нет на свете? Скорее всего, это Страхов и Федор Михайлович. Не похоже на Достоевского, чтобы в святые рабочие часы навещал спившихся друзей, но милый Страхов мог подвигнуть его на подвиг милосердия. Господи, сделай так, чтобы это был Федор... Михайлович Достоевский, издатель «Эпохи», подсказал он творцу. Надо расплатиться с хозяйкой и лавочником, закрывшим кредит. А Федор получит для журнала перевод «Ромео и Юлии» и новые статьи о методе органической критики. В конце концов, он отдает все свои долги. Даже когда заимодавец перестает ждать, вычеркивает долг из памяти. Как удивился в свое время Катков, когда в безукоризненном по форме письме Григорьев напомнил ему о своем долге — не личном, а журнальном — трехлетней давности и предложил в погашение давно списанной суммы перевод «Ромео и Юлии», над которым он начинал тогда работать. Григорьев очень любил писать подобные письма и никогда не забывал напомнить, что его корреспондент имеет дело с человеком чести, причем сообщал своему посланию оттенок легкой укоризны, подчеркивающей его душевное превосходство над кредитором.

Но, конечно, встреча с Достоевским и Страховым радовала его не только из меркантильных соображений. Он поделится с ними своими новыми мыслями и решениями, докажет, что рано еще списывать его со счетов. В счастливом нетерпении он вскочил с кровати, пересек комнату, повернул ключ в ржавом замке и ударом кулака распахнул створку двери. То не были Достоевский и Страхов, хотя тоже приятные люди: помощник смотрителя долговой тюрьмы Иван Иванович, маленький, ссохшийся, но очень живой и душевный старичок, и громадный полицейский, которого Григорьев встречал на улице, но не знал по имени.

—Апполон Александрович! — воскликнул помощник смотрителя, простирая к Григорьеву сухонькие, усыпанные гречкой руки.

—Иван Иванович! Какими судьбами? Милости прошу! — радовался Григорьев, пропуская гостей в комнату.

—Имею честь представить вам Афанасия Капитоныча Козодоева. Видом звероподобен, сердцем кроток, как голубь.

— Очень, очень рад! — Григорьев не без удовольствия вложил небольшую женственную руку в огромную теплую длань полицейского. Он любил таких вот больших, кражистых и добрых от своей силы людей. Афанасий Капитоныч с трогательной осторожностью чуть помял ему пальцы. — Прощу, господа! Извините, что не прибрано, не ждал!.. Располагайтесь. Пожалуйста сюда, в креслице, Иван Иваныч. А вы, дражайший Афанасий Капитоныч, лучше на кровать, стульца весьма непрочны по причине крайней ветхости.

Григорьев уже пережил разочарование и сейчас был искренне рад неожиданным гостям. Он не раз сиживал в Долговом и успел оценить редкую доброту и деликатность Ивана Иваныча, к тому же тонкого ценителя и знатока отечественной словесности. Попечением Ивана Иваныча Григорьев всегда был устроен в «Тарасихе» наилучшим образом: чистая сухая камера, тихие благовоспитанные соседи; для работы — кабинетик Ивана Иваныча в тюремной канцелярии; когда его навещали друзья — Страхов, Михаил Достоевский, Милюков, — Иван Иваныч принимал их по-семейному — этот бедняк собрал под своим кровом всех неимущих родственников — на казенной квартире при Долговом, угощал чаем, кофеем, и хороший разговор затягивался нередко за полночь. Он даже в город Григорьева отпускал, что было уж и вовсе против правил. Но кроме доброты у Ивана Иваныча был хороший раскидистый русский ум, который не сразу угадывался за самоуничижительной повадкой. Но коли собеседник брал на себя труд проникнуть за шутейную оболочку, то открывал геттингенскую способность к воспарению на привязке русской проницательности.

Иван Иваныч был человеком с образованием и некогда занимал довольно видный пост в министерстве юстиции, но что-то у него случилось, какой-то малый служебный проступок, ловко преувеличенный завистливым наветом, и многообещающий чиновник скатился по ступе-

ням служебной лестницы почти в самый низ. Григорьев был убежден, что никакой вины на Иване Ивановиче вообще нет, а погубила его злосчастная русская доля. Громадная семья, почти нищенская бедность, приверженность к Лизю и светлый бескорыстный разум придавали образу Ивана Ивановича классическую завершенность.

— Ну, что там у вас? Какие новости? — интересовался Григорьев, мучаясь, что ему нечем попотчевать хороших людей.

— Да что у нас может быть, почтенный Аполлон Александрович? Все по-прежнему тихо, мирно, день-ночь — сутки прочь.

— А из «старичков» вернулся кто?

— Как не вернуться? Почитай, все на месте.

— И грузинская царица? — улыбнулся Григорьев.

— Помните, однако! — обрадовался Иван Иванович. — Как же-с! Вновь украшает нашу скромную обитель. И еще больше драгоценного металла на себя повешала. Обвилась до самых пят золотой цепью, как пушкинский дуб на лукоморье.

— А купец... Разуваев?

— И его увидите, в том же долгополом сюртуке и высоких сапогах со скрипом.

— А зачем мне его видеть? — нахмурился Григорьев. — Какая нужда?

— Как же-с? — смутился Иван Иванович. — Всех своих старых дружков встретите, кроме Селиванова, франта уса-того. Плохая ему карта вышла, в настоящую тюрьму угодил.

— Так вы за мной пришли? — упавшим голосом сказал Григорьев, только сейчас догадавшись о причине неожиданного визита помощника смотрителя и полицейского.

Он не раз сиживал в Долговом и всегда считал месяцы, проведенные там, самыми спокойными, комфортными и урожайными на работу в своей жизни. Нигде ему так не писалось, как в тихой «Тарасихе» у Измайловского моста, в уютной, садовой, благоуханной части старого Петербурга; он хорошо и регулярно питался за счет заимодавца, со вкусом играл на гитаре перед благодарными слушателями, наблюдал немало оригинальнейших личностей, его любили, чтили и узники и начальство, частенько навещали друзья. Но так уж устроен человек, что всякая, даже самая сладкая неволя тяжка его сердцу. И хотя в нынешних без-

выходных обстоятельствах Долговое отделение было единственным спасением, острая тоска защемила сердце. Ведь он принял важные решения, собирался начать разумную, строгую жизнь, завершить главный труд своей жизни, и, хотя «Тарасиха» ничему этому не мешала, скорее, наоборот, он не был готов, совсем, до растерянности, чуть не до слез не был готов к такой перемене жизненных обстоятельств.

— Я вот нарочно к Афанасию Капитонычу в спутники навязался, чтобы вам повеселее было, — тихо сказал помощник смотрителя, заметивший огорчение Григорьева.

— Спасибо, добрейший Иван Иванович, поверьте, я высоко ценю ваше участие и деликатность... Так вы говорите, что я всех старых приятелей встречу?

— Ну, не всех, конечно, но многих. А вот Охтинского Графа не встретите.

Охтинским Графом Григорьев прозвал пошло-смазливое пшюта с Невского, мелкого авантюриста, корчившего из себя большого аристократа.

— Получил наследство от богатого дядюшки и расплатился с долгами? — засмеялся Григорьев.

— Какое там! Грузинскую царицу пытался обокрасть. Ну, его и убрали от греха подальше... А из ваших, — жизнерадостно продолжал Иван Иванович, видя, что Григорьев приободрился, — только господин Камбек нам честь оказывает.

Горький пьяница, почти потерявший человеческий облик, мелкий журналист Лев Камбек принадлежал к печально-гадким достопримечательностям петербургского дна, и уж на что не горд и не заносчив был Григорьев, но даже его передернуло, когда добрый Иван Иванович посчитал Камбека по одному ведомству с ним.

— Жалчайший человек! — поморщился Григорьев.

— Совершенный мизерабль, — согласился Иван Иванович.

Помощник смотрителя еще что-то говорил, называл какие-то имена, и Григорьев ласково кивал, но мысли его были заняты неким сосудом, который ему принес однажды бывший союзник, работавший на конфетной фабрике. «На последний край, — честно предупредил тот. — Спиритус вина наличествует в составе, но и много примесей: масла, эссенции, всякая химия. Ежели только есть возможность — лучше не прикасаться». Однажды Григорьев совсем было собрался глотнуть конфетного напит-

ка, но из бутылки шибануло такой едкой скипидарной вонью, что его чуть не стошнило. Но сейчас, кажется, дело вышло на самый край. Если он не подкрепитя глотком, ему не доползти да «Тарасихи». Конечно, надо сделать все возможное, чтобы избежать злой специи, и отбросив церемонии, Григорьев сказал начистоту, что хотел бы угостить друзей в честь встречи, но в доме нет ни полушки. Иван Иваныч и Афанасий Капитоныч, как на грех, тоже были не при деньгах. «И заложить-то нечего, — сокрушался про себя Григорьев. — Ни с меня, ни с Ивана Иваныча ничего не снимешь, иначе на улицу не покажешься. А вот на Афанасии Капитоныче много всякого навешано...»

— Не только продавать, но и закладывать что из казенного обмундирования строжайше запрещено, — проговорил хриловатым баском полицейский, и крепкий запах сивухи, лука и подсолнечного масла растекся по комнате.

Эк же умен и сообразителен русский человек, восхитился Григорьев. Какой немец, даже быстromeысленный француз догадался бы о моей мыслишке? Афанасий же свет Капитоныч сквозь черепную кость прочел. Стыдно и грешно предлагать таким людям вонючую, преподлейшую дрянь, но еще подлее не предложить. И Григорьев сказал с тревожной веселостью:

— Если жизнь не особо дорога, могу угостить. За последствия не ручаюсь.

— Аполлон Александрович! — расстрогался Иван Иваныч. — Разве важно, что пить, важно — с кем пить. А с вами и керосин покажется нектаром.

— В русском брюхе и долото сгниет, — присовокупил Афанасий Капитоныч.

— Дай-то бог!.. — пробормотал Григорьев, извлекая из шкапчика темную липучую бутылку и стараясь не вдохнуть едкого смрада.

— В кунсткамере намедни сторожа арестовали, — сообщил Афанасий Капитоныч, — он спирт из-под двухголового младенца лакал. Спыхватились, когда редкостное диво испортилось, пятнами пошло, а его сам Петр-царь в банку закатал.

— Фу, Афанасий Капитоныч, какие вы истории рассказываете в такой, можно сказать, ответственный момент! — укорил Иван Иваныч.

— К слову пришлось, — смутился полицейский.

Григорьев достал стаканы. Возник небольшой спор, взбалтывать ли жидкость перед употреблением или лучше

так оставить. Сквозь темное стекло виднелся на просвет осадок, особенно густой у донца. Иван Иванович склонился к тому, что жидкость сама себя отфильтровала, отложив на дно вредные примеси, но Афанасий Капитоныч резонно возражал, что в осадок могло уйти самое ценное, а наверху осталась чистая вода. Это всех напугало.

Взболтали, налили по стаканам. Дышать старались ртом, чтобы не чують запаха, но почему-то все равно воняло.

— С богом! — сказал Григорьев.

— Авось не помрем, — не слишком уверенно проговорил Иван Иванович и, зажмурившись, опрокинул жидкость в рот.

Григорьев безуспешно пытался удержать в себе отраву. Он едва успел прижать полотенце ко рту, и ему отрыгнулось. Но пока он тщился сохранить выпитое в желудке, пары успели ударить в голову. Ему стало хорошо, во всяком случае, неизмеримо лучше, чем гостям.

Афанасий Капитоныч с налившимися кровью глазами откинулся к стене, вспучив могучее чрево и, давя пятернею грудь, бормотал:

— Отцы!.. Родные!..

А Иван Иванович одеревенел, замер в полной неподвижности, какую Григорьев наблюдал у ящериц в берлинском зверинце. Его бледно-зеленые глаза стали как пуговицы, жилистая шея вытянулась и напряглась, растянулся беззубый рот. Григорьев не на шутку встревожился.

— Иван Иванович, что с вами? Вам плохо?

— Уже хорошо, — слабым голосом проговорил Иван Иванович и вернул себе человеческий образ. — Надо Капитонычу помочь.

— Не надо... — прохрипел Афанасий Капитоныч. — Господь милостив. Вроде бы отошло.

— Жесткая вещь, однако! В ней градусов сто, не меньше.

— Ста нет, — авторитетно заявил Афанасий Капитоныч. — Это масла́ действуют. Пожалуй, не стоило взбалтывать. Крепости и так хватает.

— Повторим? Не взбалтывая, — предложил Иван Иванович.

— Детей не оставьте, — попросил Афанасий Капитоныч.

— Живы будем — не помрем! — бодрился Иван Иванович.

— Помрем не помрем, а глаз лопнуть может...

Все повторилось заново: тошнота у одного, одеревенелость у другого, хрип и слезливые мольбы у третьего. Но что-то было и новое — отошли скорее, увереннее. Григорьев снял со стены гитару и, склонив к деке одутловатое лицо, заиграл вступление к «Венгерке».

— Душенька! — тонко вскричал Иван Иванович и зажал себе рот ладошкой.

Две гитары, зазвенев,  
Жалобно заныли...  
С детства памятный напев,  
Старый друг мой — ты ли?..

Хорошо петь таким людям, как Иван Иванович и Афанасий Капитоныч. По сморщенному пергаментному лицу помощника зрителя катились блаженные слезы душевного умиления, полицейский запустил пятерню в густые, толстые, просоленные сединой волосы и чуть покачивался из стороны в сторону.

Милый друг, прости-прощай, —

тихо, нежно, даже не спел, а проговорил Григорьев и почти шепотом:

Прощай — будь здорова!

И вдруг застонал:

Занывай же, занывай  
Злая квинта снова!..

последнее слово он выкрикнул во всю силу легких.

Афанасий Капитоныч вскинул голову, глянул шально и дико и вдруг заплакал навзрыд.

— Плачь, Капитоныч, плачь! — торжественно произнес Иван Иванович. — И я омыл слезами драгоценные слова этого необыкновенного человека. До встречи с ним я нишевал духом, как гостинодворские побирушки плотью. Я казался себе ничтожней жалкой букашки и не имел силы жить. И тогда этот мудрый человек сказал мне: восстань, Иван! Взгляни на меня. Я нищ, я сир и бесприютен. Лиси язвины имуть, а птицы гнезда. Сыну же человеческому не имать, где главу преклонить, но я не хочу умирать. Да, в страшной жизни русского пролетаря, в жизни накануне нищенства, накануне Долгового отделения или того же — Третьего, жизни каинского страха, каинской тоски, каинских угрызений, я должен все вытерпеть во имя главной идеи нашего века. А идея эта — сознание



значительности каждой, самой мелкой личности. Ты чувствуешь, Афанасий, каждой, самой мелкой личности. Мы не средства для внешних целей, мы сами *цели!*

Афанасий Капитоныч поднял мокрое лицо.

— И я — цель?..

— И ты, Афанасий, и я, окаянный грешник, — цель. Чуешь, сколь сие отраднo, утешно и высоко? От великих слов этих я прозрел изнутри и увидел дивное мерцание за плечами учителя...

— Истинно! — взревел Афанасий Капитоныч. — За Левиафаном стезя светится!

— Афанасий, ты все понял. И сейчас поймешь меня и одобришь...

Прежде чем Григорьев успел помешать, Иван Иваныч упал перед ним на колени и поцеловал его руку. Смущенный и раздосадованный Григорьев стал его поднимать. Иван Иваныч предвосхитил его любимейший жест. В миг наивысшего душевного подъема, а миг этот приближался, Григорьев просто не мог без коленопреклонений. Так он грохнулся перед молодой редакцией «Москвитянин», так разбил в кровь колено перед Венерой Милосской в Лувре; падал он ниц и перед композитором Варламовым, и перед Серовым, и перед Провом Садовским, и перед Стешей Казибеевой бессчетно, и сейчас, умиленный тем, как глубоко запали в бесхитростную и глубокую душу Ивана Иваныча его слова, как постиг его излюбленную мысль дремучий с виду Афанасий Капитоныч, умиленный — в который раз — невозможным богатством русской природы, он прикидывал, перед кем выбить пыль из паркета — по старому ли приятельству перед помощником смотрителя или уважить новую дружбу в лице блюстителя порядка, и уже склонялся к последнему, да раздражал мундир. Но Иван Иваныч опередил его и тем лишил наилучшего выхода душевного восторга. А он и впрямь испытывал восторг, как и всегда, когда находил понимание. Великий демократизм и одновременно аристократизм Григорьева в том и состоял, что он с равной заинтересованностью, искренностью и самоотдачей разговаривал с Достоевским, Островским, Страховым и любым обитателем Долгового отделения, кабацким завсегдатаем или полицейским. И он сказал Афанасию Капитонычу:

— Я безобразен в моих частных делах, но убеждению всегда служил, как фанатик. Тут я не только с людьми, но и с самим господом богом тягаюсь, словно библейский Иов. Правда, Иов был послабже в выражениях.

— Это вроде бы лишнее?.. — озадачился Афанасий Капитоныч.

— Нет, не лишнее. Бога не обманешь, не облицеме-ришь, он все равно тебя насквозь видит. Так я и режу ему правду-матку, по чувству вламываю. И верю, что не обидится он на меня и поможет совершить задуманное. Хочу я, друзья мои, такую методу сочинить, чтобы объяла она целостно жизнь и литературу. Мне подавай либо абсолют, либо ничего. И плевал я на утилитарную утопию плотского благополучия под гнетом наружного единства, коли нету единства внутреннего — в Христе, Вере, Идеале!..

— Бог в помощь, — истово сказал Афанасий Капитоныч. — Вот в Долгушке, тиши-спокое, и завершите свой великий труд.

Слова полицейского напомнили, что надо трогаться.

— Ну, по последней! — вскричал Иван Иванович.

— Пойдите, братцы! А разве не положено злостного банкрута в узилище на извозчике везти? Давайте эти деньги и пропьем.

— Не отпускают нам таких средств, — вздохнул Афанасий Капитоныч. — Считают, что можно и пешком стро-ем добраться.

— Вы же сами говаривали, Аполлон Александрович, что на петербургских пролетках только с блудницей можно ехать — обнявшись, — заметил Иван Иванович. — А с полицейским вроде бы неловко.

— Буколические пролетки!.. — вспомнил и засмеялся Григорьев. — Но серьезно, нельзя ли кредитора слегка облегчить?.. Кстати, кто на этот раз мой благодетель?

— Все тот же Лаздевский Казимир Антонович.

— Вот паучище! И не надоело ему меня преследовать?

— Вы для него выгодный клиент. Он знает, что рано или поздно получит все сполна.

— Как бы не промахнулся на этот раз. Ума не приложу, кто за меня расплатится. Так нельзя ли его выставить?

— Невозможно-с!.. Займодавец должен кормить узника, но не поить зелием.

— Ну и черт с ним! Обойдемся своим нектаром.

Григорьев разлил по стаканам остаток жидкости, несколько капель упало на ломберный столик и прожгло сукно, будто серная кислота.

— И чего только мы не пьем! — грустно подивился Иван Иванович. — Как только над плотью не издеваемся! А ведь мы созданы по образу и подобию божьему.

— Были, — заметил Афанасий Капитоныч, — но далеко от этого образа ушли. Со свиданьем!..

Привыкнуть к специи было невозможно — они вновь пережили смерть и воскресение. Сборы оказались недолги. Григорьев закинул за спину гитару на сальной перетертой ленте, сунул под мышку рукопись «Ромео и Юлии», томик Шекспира — в карман сюртука, запихал горшок подальше под кровать и был готов.

— А бумагу? — спросил Иван Иванович.

Но бумаги в доме не оказалось.

Безо всякого сожаления покинул Григорьев очередное пристанище в скитальческой своей жизни. Сколько уже было этих кратковременных приютов, сколько еще будет, но все же меньше, чем осталось позади. Как ни крути, житейский путь пройден больше чем наполовину, намного больше. Ну и бог с ним, лишь бы дело свое закончить...

На углу Фонтанки Иван Иванович вдруг отделился, юркнул в лавчонку и вышел оттуда со стопой белой бумаги. Какие-то жалкие гроши завалились у бедняги в рваном кармане, и те он без сожаления пожертвовал на гиблое дело литературы. Поступок Ивана Ивановича расшевелил Афанасия Капитоныча. Видимо, не в его правилах было пользоваться властью для личного ублажения, но ради друзей пошел он на сделку с совестью и разорил пивника на три кружки светлого.

Странно, что от пива этих железных людей почему-то развезло. Афанасия Капитоныча потянуло в сон, он клевал носом, встряхивался и тарасил слепнущие от солнца глаза. Иван Иванович предался воспоминаниям, в которых истинное так перепуталось с придуманным, намечтанным вспять, что он и сам уже не знал, где правда и где вымысел, и только сердце истекало сладкой болью. Аполлон же Александрович люто затосковал.

Они шли по набережной Фонтанки в сторону Измайловского моста. В синей, непривычно чистой воде отражались дома, деревья, облака. Изредка по опрокинувшемуся в речку миру проплывали лодки рыбаков, мальчишки плескались у берега. И хотя не было ничего нового и привлекательного в привычной картине летнего Петербурга, Григорьеву стало ужасно больно терять реку, лодочников, купающихся мальчишек, бледнотелых северных заморышей. Почему-то казалось, что он никогда больше этого не увидит. Он понимал, как глупы его мысли. Рано или поздно кто-то заплатит его долги, он выйдет из «Тарасихи»

отдохнувший, посвежевший и равнодушно пройдет по набережной, думая о своих делах и заботах и меньше всего о скучной городской реке и чухонском небе, ну, а если уж допечет в нестрогом заключении, отпросится у Ивана Иваныча на прогулку по городу, как то бывало прежде, но тяжесть, навалившаяся на грудь, не отпускала. И стала совсем невыносимой, когда он оказался возле молоденькой липки. Это деревце с темной гладкой тонкой корой, еще не нажившей продольных бороздок — морщин зрелости, и светло-зелеными листиками в форме сердечка напомнило ему другую липу, во дворе их старого дома на Малой Полянке. Он был мало приметлив к деревьям, да и вообще равнодушен к природе, его увлекало все человечье, горячее, страстное. Тихий мир природы мог тронуть, лишь став предметом искусства: поэзии, прозы, живописи. Вот только море любил Григорьев, любил до боли, до слез. В его волнах и раскатах чудилась человечья необузданность. Спокойное море оставляло его безразличным, но чем выше вздымались пенные валы, тем сильнее отзывалось им сердце Григорьева. А тут чахлое городское деревце повергло в смертную тоску.

Григорьев покосился на своих спутников. Оба вконец осоловели, и ничего не стоило бежать. Но стыдно подводить людей. Ивану Иванычу, пожалуй, ничего не будет, он по своей охоте тут, а полицейскому карьеру сломает. И главное — ради чего? Ну, погуляет день-другой на воле, а потом его все равно найдут и «закуют в железа». Разве скроешься в Петербурге без гроша за душой? Бред, ребячество, расстроенные нервы. Но деревце, маленькое худое деревце с нежной корой и светло-зелеными листиками!.. Неужели он никогда больше его не увидит?..

И тут он обнаружил в нескольких шагах от себя генеральшу Бибикову. И генеральша Бибикова (она было вдовой адмирала, но почему-то весь Петербург величал ее генеральшей) заметила его своими слегка заплывшими, но удивительно зоркими, цвета незабудок глазками. Эти глазки быстро забегали в припухлых веках, поочередно поймав, оценив и сморгнув за ненадобностью Ивана Иваныча, полицейского и сохранив в зрачках одну лишь фигуру Григорьева. Генеральша не думала избегать встречи и, похоже, ничуть не смутилась несколько странным окружением знакомого литератора. Сквозь туман всплыло смутное воспоминание о недавнем разговоре с нею, касавшемся литературных дел. То ли во время последнего его загула,

то ли еще раньше Бибикова сообщила Григорьеву, что намерена заняться издательской деятельностью, и спрашивала, запродаст ли он кому собрание своих сочинений. Он как-то пропустил мимо ушей этот разговор, не до того, видеть, было, а может, не поверил серьезности намерений генеральши. Сомнительно, чтобы его писанина могла заинтересовать Бибикову, даже если она впрямь в издательстве наладилась. Странная женщина! Из прекрасной родовитой семьи, вдова заслуженного адмирала, мать красавицы дочери, она чаще всего производила впечатление салопницы, провинциальной барыньки, что проводит дни в захолустье в сплетнях и ссорах с прислугой, даже яркие глаза ее задегивались мутной пленкой, утрачивая всякое выражение. Но вдруг что-то происходило у нее внутри, и она вмиг оборачивалась петербургской демимонденкой: разбитной, живой, с задорным профилем и опасным взглядом. Но какое ему дело до всех ее превращений? Достаточно того, что у нее водятся деньги и эти деньги она не прочь употребить на издание его сочинений. Григорьев снял шляпу и поклонился генеральше.

Бибикова ответила ему и быстро, грациозно пошла навстречу, чуть покачивая бедрами, играя глазами. Иван Иваныч и полицейский деликатно отступили в сторону.

— Вы обдумали мое предложение? — спросила Бибикова, сразу беря быка за рога.

— Где же мне было думать, сударыня, в несчастных моих обстоятельствах? — пожал плечами Григорьев.

— Чем так несчастны ваши обстоятельства? — спросила генеральша игривым тоном демимонденки.

— Я узник. Меня ведут в Долговое.

— Кому же это вы так задолжали? — испуганным голосом салопницы спросила генеральша.

— Ростовщику Лаздевскому, аспиду жизни моей.

— И много, поди? — оставаясь в образе салопницы, поинтересовалась генеральша.

— Да чепуха, ваше превосходительство, несколько сот рублей.

— Пожалуй, я уплачу ваш долг, Аполлон Александрович, — каким-то третьим голосом произнесла генеральша. Скорее всего, то и был ее настоящий голос, отроду не слышанный Григорьевым. И суховато-серьезному голосу этому можно было верить.

Казалось деревце у парапета качнулось к нему, прошлепеств зелеными листиками. Прекрасная, щедрая русская

женщина возвращала Григорьеву и набережную, и реку, и небеса, и эту чудесную липушку, которая вскоре зацветет и запахнет медом! Камень отвалился от груди, сердце забилось полно и гулко, а давно томившее его намерение, временно вытесненное страхом, възыграло ликующе и швырнуло на колени перед генеральшей. Он и сам почувствовал, что движение получилось искренним, ловким, красивым, вот таким он любил себя.

— Маточка! — вскричал Григорьев. — Милостивица! Жизнь отживу, а не забуду твоего благодеяния.

— Встаньте, Аполлон Александрович, — довольно спокойно попросила генеральша, — на нас смотрят. Неудобно, право.

— Не встану, пока к ручке не допустите, — упорствовал Григорьев.

Бибикова прижала к его губам пахнущую хорошим мылом, белую, совсем молодую руку и быстро отдернула, словно боялась, что он укусит.

— Ну уж и вы, Аполлон Александрович, мне порадейте, — попросила генеральша, когда Григорьев с хмурым видом отряхивал брюки.

Он злился на себя за словечко «маточка», невесть почему сунувшееся на язык. То было из обихода Макара Девушкина, на которого он сильно кидался в начале своей критической деятельности. Потом он изменил отношение к Достоевскому и даже к этому слюнвявому герою, в котором, как ему казалось поначалу, унижен эпический образ Башмачкина. Но в последнее время он склонялся к тому, что в Девушкине сильнее русское начало, нежели во всемирном образе гоголевского маленького человека, да и теплее, человечнее Макар. Но то, что противно слащавое обращение вдруг сорвалось с его собственных уст, да еще в такую патетическую минуту, было полной и даже унижительной капитуляцией. Годы ломал он себе мозги, мучился, искал, а Макар спокойно ждал своего часа, чтобы сунуть ему в рот раздражающее словцо и посмеяться над многоумрым критиком.

Сквозь досадительные мысли звучал жалостный голос генеральши-салопницы, упрасивающей его не терять даром времени в Долговом, а сочинять побольше всяких критик, пока она будет договариваться с Лаздевским о выкупе векселей.

— Как бы мне с ним полегче уладиться, я ведь стеснена в средствах. Мое дело вдове... И стишками, Аполлон

Александрыч, не манкируйте, и переводами, особенно французов, они хорошо у читающей публики идут.

Григорьев с гадливым удивлением внимал этому лепету. Богачка, генеральша упрашивала нищего, ведомого в долговую тюрьму, порадеть для пушей ее выгоды.

— Ладно, — сказал он не слишком любезно, — за мной не пропадет.

— Мерси, — поблагодарила генеральша. — А насчет «Ромео и Юлии», если в театре пойдет, мы отдельно поговорим. Со спектаклей, я слышала, хорошо платят. Мне бы какую гарантию... До скорой встречи, мой поэт!.. Я вам трубочного табаку пришлю!.. — и, сделав прощальный жест ручкой, достойный дамы полусвета, генеральша удалилась.

— Больно много ей чести — Григорьева на коленях видеть, — недовольно пробурчал Иван Иваныч.

— Они же дама!.. — галантно сказал Афанасий Капитоныч.

... Генеральша Бибикова не спешила выкупить Григорьева из неволи. Возможно, ей не удавалось «полегче уладиться» с алчным ростовщиком Лаздевским. А может, она рассчитывала, что в благотворной тишине Долгового отделения Аполлон Александрович больше наработает для задуманного ею издания, чем в суете столичного света.

В Долговом и впрямь было довольно тихо, лишь по вечерам из соседнего парка, открытого для гуляний, раздавались звуки духовой музыки и заразительный смех нестрогих девиц немецкого происхождения, избравших «Тарасофф Гартен» местом своего вечернего служения. И Григорьеву становилось грустно. С соузниками, среди которых находились два известных всему Петербургу монстра — журналист Лев Камбек, не расстававшийся и в жару с поддевкой из верблюжьей шерсти, что усиливало его сходство с пещерным предком человека, и вечно пьяный художник Бернадский, — он почти не общался. И они без него служили Лизю ромом и зорной водкой, играли в тринку и пели каторжные песни. А его гитара молчала в «убежище страждущей невинности и гонимой добродетели». Работал он мало. Что-то начинал и бросал. Вот только перевод «Ромео и Юлии» закончил. А потом вдруг принялся составлять свой послужной список — перечень смелых попыток, горьких неудач и разочарований. Он и сам не мог понять, зачем ему вздумалось подводить с кан-

целярским тщанием грустный итог своей жизни. Невеселый документ он посвятил «старым и новым друзьям». Лишь раз его «страдальческий застой» был потревожен образом Леониды Визард, и после долгой поэтической немоты сами выговорились, выпелись стихи. Он записал их, взволнованно перечел, споткнулся о «седалище Ваала» — по словарю: «трон», а в просторечии «задница», — но править не стал и сунул листок с сонетом в рукопись перевода.

Григорьев вышел из Долгового отделения уже осенью и ничему не обрадовался, даже не глянул на молоденькую липу, тихо прошелестевшую пожелтевшими листьями, когда он проходил мимо. А через несколько дней его не стало, умер в одночасье, на полуслове, полужесте, не узнав смерти в шильном уколе под сердце...

Похороны на Митрофаньевском кладбище были грустно-жалкие. Пришли Достоевский, Страхов, Аверкиев, Крестовский, Боборыкин, товарищи по узилищу, среди них Лев Камбек в верблюжьей поддевке и пьяный в дугу художник Бернадский; были, конечно, и помощник смотрителя Иван Иваныч, и полицейский Афанасий Капитонович. По выходе с кладбища, не сговариваясь, завернули в ближайшую кухмистерскую. Столов сдвигать не стали, и как-то произвольно литераторы и возникшая невесть откуда генеральша Бибикова в яркой шали и шляпе с пером отделились от друзей покойного по долговой тюрьме. Лев Камбек, осуществлявший связь между столами и придававший грустному сборищу кощунственно комический вид, позаботился, чтобы выпивки всем хватило.

Начались речи. Никто не мог поймать нужный тон. Страхов неловко и долго бормотал что-то о высоких запросах души покойного, который, обрываясь в своих усилиях, сразу впадал в противоположное: в беспорядок жизни, погубивший в конце концов его крепкую натуру.

И тут, маленький, колышащийся от горя, слабости, пьянства, поднялся Иван Иваныч и заговорил, расплескивая водку дрожащей крапчатой ручонкой:

— Нельзя об Аполлоне Александровиче так... холодно, рассудительно. Он ведь ни в чем края не знал. Шел, шатаясь, падал, расшибаясь до крови, но шел... шел к идеалу, к последней правде. Да, он никогда не был могуч, но всегда был прекрасен, и силу ему давала вера в земское дело, в народность... — Слезы закапали из маленьких воспаленных глаз помощника смотрителя. — И вы... вы уви-



дите, господа, как всем нам будет не хватать этой жизни. Он сам себя называл ненужным человеком, а мало кто был так нужен, как бедный Аполлон Александрович... Радость наша, красавец, светик наш!.. — Иван Иваныч не мог договорить и, зарыдав, упал на стул.

И гороподобная туша рядом с ним исторгла из своей глубины:

— За Левиафаном стезя светится!..

— Виват! — вскричал Лев Камбек и, забыв, что он на поминках, полез чокаться с литераторами.

— Аполлон Александрович обещал мне, что я буду получать перспективную оплату за «Ромео и Юлию», — играя незабудковыми глазами, говорила генеральша Бибилова и никогда еще не выглядела так легкомысленно, как на печальной тризне.

— Скучно на этом свете, господа! — тихо сказал Достоевский сидящему рядом Страхову...

... Бессмертная страсть Григорьева, Леонида Визард окончила в Швейцарии медицинский факультет и защитила диссертацию на тему: «О влиянии цианистого кали на организм кроликов».

Он много успел с утра. Он побывал в поле, где на сырых пойменных низинах бабы ворошили толстое осоковатое сено, а на взлобке за усадьбой мужики ставили первый стог; на конюшне, где вдосталь полюбовался молодым, будто из цельной черной кости выточенным жеребцом Закрасом, которого минувшей весной впервые подпустили к маткам, — большие надежды связывал заядлый лошажник с ладным породистым орловцем; заглянул на шумный птичий двор, окунулся в адову жарошцу кухни, будто «снисшел еси в преисподняя земли».

А по пути с кухни перехватил конопатого рыжего (здесь многие говорили «рудого») мужичонку Афоню, доставлявшего почту со станции. Он давно подозревал, что газеты сперва попадают в людскую, где два великих грамотея — истопник Савушка и кондитер Никола — раньше своего барина знакомились с движением мировой политики и светскими новостями, чтобы в полдник с важным видом просвещать дворню. Афанасий Афанасьевич тщетно пытался углядеть следы грязных пальцев на газетных листах, учуять сладкий запах Николы и горелый, чадный — Савушки, но листы были чистыми, а крепкая — смесь мочи с керосином — вонь типографской краски отбивала более тонкие ароматы. Еще немного, и Афоня был бы схвачен на месте преступления, он уже сворачивал к людской, но Фет приметил у него в руке письмо в знакомом продолговатом конверте и не выдержал, окликнул.

Письмо, как и ожидалось, было от Льва Николаевича Толстого, и, конечно, он сразу забыл об Афоне, чем не преминул воспользоваться юркой мужичонка. В нетерпении Фет тут же разорвал конверт, и померкло его радужное настроение: опять не угодил!.. Что-то зачастили в последнее время деликатно-суровые выговоры от младшего годами Льва Николаевича. Но в каком-то смысле Толстой был старше всех, с кем сводила его жизнь (Тургенев пытался отстоять приоритет возрастного старшинства, и это едва не привело к дуэли), покладистый с друзьями, Фет охотно подчинялся нравственному превосходству графа.

Но на этот раз упрек попал в самое больное место. «Хоть я люблю вас, таким, какой вы есть, — писал Толстой, — всегда сержусь за то, что Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу. И у вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгуете, а все больше бильярд устанавливаете».

Экая беда — бильярд!.. Стол дорогой, хороший, и надо его так ровно установить, чтобы на своей разбивке брать партию в «американку» с кия — меткому охотничьему глазу и твердой руке кавалериста Фета это вполне по силам. Но Афанасий Афанасьевич прекрасно понимал, что дело вовсе не в бильярде. Толстой осуждал его нынешнюю жизнь, хотя чем отличается она от прежней, которую Лев Николаевич неизменно и радостно одобрял? Может, тогда Толстой лучше понимал естественную и гармоничную двойственность Фетовой природы? Он похвалил Афанасия Афанасьевича, что тот на листке письма с новым стихотворением «излил чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта». Толстой постиг движение стыдливого духа, пытающегося спрятать от чужих глаз свое сокровенное. Тогда Фету казалось, что Толстой проглядывает его сущность до самого дна. Но Толстой — прежде всего великий сочинитель, он сочиняет и пересочиняет Фета по своему произволу, в зависимости от той внутренней работы и тех борений, что совершаются в нем самом. Понять же другого человека по-настоящему может лишь тот, в ком отличающийся Толстого ясный ум души (только души, а не самонадеянный и узкий головной ум) свободен от самовластья творческой воли.

Зачем я обманываю себя, оборвал свои мысли Фет. Зачем делаю вид, будто вина на Толстом, а вовсе не на мне? Что общего между моими прошлыми тяжелыми и необходимыми заботами и нынешней пустейшей суетой? Чего лезу я к мужикам с указаниями и советами, да как подстожье класть, да как треснувшее копыто лечить, когда сам же нанял управляющего, умного, знающего, высокопорядочного Оста? Мне нечего делать ни в поле, ни в конюшнях, ни на птичьем дворе, я только обижаю и раздражаю своим неуместным вмешательством шепетильного Оста. Кухня — это еще по моей части, все остальное — от многолетней привычки к безостановочному крутежу. Я никогда еще не был так свободен и никогда не был так занят, как сейчас. Я сам придумываю себе за-

боты. И тщетно стал бы ждать Толстой, чтобы ныне житейская жалоба излилась на листке с новым стихотворением, — поэзия забыта. Понадобилось убийство царя-освободителя, чтобы я проговорился крошечным и слабым стихотворением. Толстой все это видит и презирает.

— Просим вашу милость работку принять, — послышался за его спиной вкрадчивый голос.

— Какую еще, к нечистому, работку? — Не узнав Киприянова, бильярдного мастера, выписанного из Курска, Фет грузно повернулся.

— Бильярдный стол уста...

Все остальное застряло в глотке мастера — Фет недаром начинал службу в кавалерии с младшего чина, чуткое ухо поэта сберегло перлы крепкого унтер-офицерского красноречия.

У Киприянова разом вспотело широкое бледное лицо. Он был человек балованный, весьма не бедный и амбициозный. Фет вспомнил об этом посреди «большого кирасирского захода», которому научился у незабвенного вахмистра Лисицкого, и властно, словно норовистого коня, обуздал себя: Толстой Толстым, а бильярд бильярдом, и работу принять надо со всем тщанием, не выбрасывать же деньги на ветер.

— Моя вспышка, дорогой Иван Свиридович, — сказал он без всякого перехода, — служит выражением собственного душевного беспорядка и твоей почтенной особы никак не касается.

— Понимаю, сударь, — Киприянов наклонил голую, как бильярдный шар, и такую же твердую костяную голову с бахромой сивых волос на затылке, — и, поверьте, умею ценить богатство и гибкость татаро-русского велеречия!

— Ого! — удивился Фет. — Ты еще и словесник?..

По пути в бильярдную Афанасий Афанасьевич вновь растравил в себе обиду на Толстого. Пусть он в чем-то и прав, но кто-кто, а уж Толстой мог бы проглянуть дальше грубых очевидностей внешнего поведения, а главное, понять, изнутри понять, почему мечтательный студент-поэт превратился в торопыгу-помещика, не знающего покоя.

Ему выпала странная судьба и странная жизненная задача: вернуть то, что принадлежало ему от рождения и было отнято игрой таинственных обстоятельств, — имя и лицо. В четырнадцать лет ленивый и беспечный барчук,

воспитанник пансиона в Верро, столбовой дворянин Афанасий Афанасьевич Шеншин, в чьем роду были воеводы и стольники, вдруг превратился в иностранца и разночинца Фета. Каждому человеку больно и дико лишиться своего имени, но каково это подростку с тонкой кожей? К тому же он лишился не просто имени, а куда большего!

Мальчиком ему доставляло неизъяснимое наслаждение рассматривать родословную Шеншиных: от «герольда» пахло дикой полынью, степной пылью из-под копыт вражеской конницы, рвущейся к южной окраине русской державы, прикрытой щитом воеводы Шеншина; пахло вином и брашном изобильного царского застолья, зорко наблюдаемого расторопным стольником Шеншиным. И маленький Афоня твердо знал, что в огромном неприятном мире сладко быть лишь русским дворянином и баринном.

И вот он не русский, не дворянин, не барин, не старший сын и наследник родовой вотчины, отставного ротмистра Шеншина, увезшего из Дармштадта от живого мужа и малолетней дочери голубоглазую Шарлотту Фет, чтобы сделать в России своей законной женой. Вскоре по приезде Шарлотта родила. Слишком поторопился на свет божий младенец, нареченный Афанасием, и подделка, совершенная приходским священником в угоду влиятельному прихожанину, через четырнадцать лет была раскрыта консисторией.

Но, как ни страшен был удар, Фет куда позже осознал и ощутил его сокрушающую силу, молодость живет иллюзиями. В студенческие годы, обнадеженный успехом своего поэтического дебюта, он наивно верил в спасение через литературу. Красавцу императору Николаю I не везло с поэтами, и он освобождался от них с помощью петли, каторги, солдатчины или пистолетов метких стрелков. У русской поэзии был тяжелый счет с царем, что набрасывало тень на столь блистательное царствование. Почему бы певцу природы, тонких, смутных ощущений, нежного трепета своей доброй и безвредной музой не привлечь благосклонного внимания государя и не примирить с отечественной поэзией? А там!.. Глупые, ребячливые мечты!.. В середине сороковых годов в просвещенном русском обществе угас интерес к поэзии, чего же было ждать от гиганта с серо-голубыми глазами? Мужественно пережив разочарование, Фет избрал кратчайший, казалось бы, путь в

дворяне — военную службу, ведь первый же офицерский чин давал потомственное дворянство.

И юный выпускник Московского университета по филологическому отделению надевает солдатскую шинель, обрекая себя на смертную скуку и тяготы провинциальной армейской службы. У Фета твердый, целеустремленный характер, поэзия загнана в чулан; посадка, выездка, посыл лошади шенкелями, сабельные приемы, неукоснительное исполнение службы, благоволение командира — других забот нет у подтянутого, сдержанного, малообщительного кирасира. И лишь порой, как некогда в Верро, в редкие минуты свободы и одиночества он вновь почувствовал «подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность», цветок поэзии. Но он тщательно скрывал эти цветы от товарищей по службе — кутил, картежников, лошадиников, борзачей. В канун получения им первого офицерского чина вышел указ: лишь звание майора дает дворянство.

И опять годы скучной службы, муштры, бессмысленных, изнуряющих смотров, пустых маневров под отдаленный и мрачный гуд севастопольской кампании, куда отправляли лишь по жребию, но ему жребий не выпадал.

На мучительно медленном пути к поставленной цели было растоптано единственное сердце, открывшееся ему великой, бескорыстной любовью. Конечно, нелегко было порвать с милой, умной, музыкальной, искренней в каждом жесте и слове, безмерно влюбленной в него и почти любимой им самим девушкой, но не мог же он, нищий армейский офицер, скудно поддерживаемый из дому, связывать судьбу с бесприданницей. Это значило бы навсегда похоронить будущее в убогом гарнизонном прозябании с кучей детей и преждевременно увядшей женой. Вскоре после разрыва Мария Лазич трагически погибла: сгорела заживо от случайно — да так ли?.. — оброненной на легкое платье спички. Что он потерял, Фет понял куда позже, тогда же лишь отдал дань скорби — ему светила гвардия. Придет время — о, не скоро, но придет, — и горестная тень властно возьмет все, в чем было отказано живой Марии Лазич.

А пока была гвардия и служба близ Петербурга, и прилив щедрости со стороны старого Шеншина, и возобновление литературных связей, и поэтический подъем, и возвращение на страницы журналов, и успех, и чин ротми-

стра, за которым следовал желанный чин майора. А завершилось все крахом: ценз на дворянское звание подняли еще выше, теперь служи до полковника, коли хочешь стать дворянином. Даже крепкий Фет дрогнул и затосковал. Двенадцать лет тянул он лямку, не приблизившись ни на шаг к заветной цели. Он взял отпуск по болезни, затем бессрочный и, окончательно признав свое поражение, уже не вернулся в полк, вышел в отставку.

Но то, в чем было отказано поэту и воину, удалось помещику. В шестидесятые годы, когда «порвалась цепь великая», правительству особенно угодны стали крепкие, хозяйственные люди, что прочно сидели на земле, твердой рукой направляли мирское дело и не поддавались никаким потрясениям той тревожной поры. А Фет стал образцовым помещиком. Невзрачную Степановку, купленную на деньги жены, урожденной Боткиной, — насмешливый Тургенев называл усадьбу кукишем на пустыре — он превратил в «табакерку», что было высшей похвалой у орловских подстепных помещиков. Он усердствовал в роли мирового судьи, оказывал помощь голодающим, цифры его урожаев украшали губернскую статистику. О видном сельском деятеле стало известно при дворе. Александр II уронил слезу из голубого наследственно выпуклого глаза на прошение Фета: «Как он страдал, бедный!» — и размашисто подписал указ о «возвращении» родового имени Шеншин сыну... амт-ассессора Фета.

Наконец-то воссоединившись с воеводами и стольниками, так волновавшими его юную гордость, Афанасий Афанасьевич продолжал ревностно служить земскому делу и собственному укреплению. Он сменил степановскую «табакерку» на богатейшее имение Воробьевку под Курском, осуществив сполна тот идеал, который нарисовал убедительно и просто в письме к Софье Андреевне Толстой: «Жить в прочной каменной усадьбе, совершенно опрятной, над водой, окруженной значительной растительностью. Иметь простой, но вкусный и опрятный стол и опрятную прислугу без сивушного запаха». Нетерпеливым и энергичным попечением нового владельца большой каменный, с паркетными полами и зеркалами во всю стену, хотя и несколько обветшалый воробьевский дом над светлой рекой был приведен в состояние, мало сказать, опрятное, — великолепное. «Значительная растительность» состояла из парка столетних дубов, раскинувшегося на восемнадцати десятинах и прорезанного от крыльца до ворот аллеей рос-

лых вязов; в теплице выращивались олеандры, кипарисы, филодендроны. Весьма опрятен был и стол: свежую икру, столь любимую Афанасием Афанасьевичем, подавали только что вынутую из осетра. А великолепная прислуга не прикрывала стыдливо рта, выслушивая хозяйские приказания.

Достигнуто было все, но пойдя остановись после четвертьвекового кружения в беличьем колесе землевладельческих забот! А тут еще он загорелся покупкой дома в Москве, чтобы долгие зимы коротать в уютной старой столице... Но — и он не обманывался на этот счет — то были последние содрагания житейщины. Тем обиднее показался укор Толстого. Еще немного терпения и доверия, и он порвет с хлопотливой Марфой. Зачнется новая песня.

Не знаю сам, что я буду  
Петь, — но только песня зреет

Давно молчание уста отомкнутся. Ночь все настойчивей призывала его душу, которая, подобно тютчевской душе, лишь на краю звездной бездны, трепеща и содрогаясь, постигала самое себя...

Лучший способ проверить, хорошо ли установлен бильярд, это сыграть на нем партию. И Фет предложил Киприанову «американку».

— Ну, какой из меня партнер? — тревожно улыбнулся мастер, беря мазик.

Скромность его не была напускной: человек, всю жизнь посвятивший бильярдом столам, сам был никудышным игроком, кий дрожал в его узловатых руках, твердых и ловких в обращении с инструментом, и, боясь киксов — оскользней, он мог играть только мазиком, а глаз-ватерпас начинал косить, теряя точность. Фет думал, что это происходит от болезненного самолюбия мастера, который в жажде выигрыша утрачивал всякую власть над собой.

Разбивать вышло Фету. Помелив кий, он прицелился и точно послал биток в краешек четвертого от острия пирамидки шара. Со звуком, напоминающим плевков, полосатый шар влетел в правый угол. По тому, как развалилась пирамида, как разбежались шары, можно было с уверенностью сказать, что бильярд поставлен безукоризненно. И освещен правильно: шары не отбрасывают теней на сукно, каждый приютил свою точечную тень под собой. Фет легким тычком отправил в левый угол «зайцев», и вот са-



мая строгая проверка — на тишайшем ударе в середину. Не спеша, ровно и стройно покатился шар по аппетитному зеленому сукну, на самом краю лузы чуть помедлил, будто решая, что делать дальше, и как в нору юркнул.

— Чем же я сушку-баранку угрызу? — напряженно пошутил Киприянов. — Зубов нету.

Скорее всего и получить бы ему сухую, но тут Фет заметил, что его любимый белый кактус, цветущий раз в году, готов распахнуть свой единственный, туго, чуть не в разрыв набухший бутон. И, разом потеряв интерес к бильярду, партии и партнеру, Фет отложил кий.

— Спасибо, Иван Свиридович, сработано на славу. Расчет получишь в конторе, — и, крикнув слугу, велел перенести кактус в гостиную...

В гостиной Фет застал неизвестно как случившегося в доме молодого человека, чья фамилия — Иванов — хорошо отвечала совершенному безличью владельца. Подобные люди неизбежны в усадебной жизни, и бороться с ними тщетно, тем более что они не только безвредны, но зачастую оказываются для чего-то нужны: недостающие партнеры в висте или крокете, спутники дам на прогулке. Иногда они знают редкий рецепт варенья или настойки, хорошо свистят или подражают птицам, выразительно декламируют или поют вторым голосом и всегда могут переворачивать ноты. Куда больше занимала Фета приехавшая накануне дальняя родственница, весьма юная особа, в которой мило, трогательно и раздражающе слилась уездная, выхоленная в теплом родительском гнезде прелесть с чуть неуклюжими замашками современной умничающей девицы. Поначалу Фет принял всерьез эту «современность» и ощерился всеми иглами. Но провинциально вздымающаяся от малейшего волнения юная грудь разоблачала невинную игру, и нестарееющее сердце шестидесятилетнего поэта забилось громче. С недавних пор такие вот внезапные влюбленности стали постигать его отнюдь не влюбчивую и в юности душу. Это было что-то совсем новое в нем. Но, едва вспыхнув, влюбленность обрела образ Марии Лазич и, не возмущив семейного покоя, уходила в поэтическую печаль.

Фет с самого утра исподтишка наблюдал за девушкой. Погрузившись в какую-то скучную книгу, она незряче бродила по аллеям парка, потом сидела на скамейке под акациями, но, выгнанная безжалостным солнцем, скрылась с притиснутой к близоруким глазам книгой в беседке, за-

тянутой вьюнком, откуда, накучив одиночеством, перебралась на террасу, и, наконец, в гостиную.

Со скошенного луга тянуло санным духом, заглушавшим парковые запахи, выстоявшиеся под раскидистыми густолиственными дубами. Фета волновала девушка, волновало предстоящее таинство расцвета белого кактуса, а жена, умевшая наводить на него покой, была в отъезде. Тут-то и пригодился Иванов. Молодой человек охотно брал любую приманку, это позволило Фету направить разговор в нужное русло и постепенно запутать в свои сети усердную чтицу.

Ему хотелось говорить о любви, ну, хотя бы произносить это слово, чтобы оно с дыханием уст касалось загорелой кожи прелестного существа, так уютно устроившегося в глубоком мягком кресле. Кактус, созревший для любовного таинства, давал повод к смелым поворотам, а присутствие пусть и невзрачного сверстника девушки принуждало ее к безотчетным защитным действиям. И Фет с легкой грустью наслаждался извечной борьбой, которую сам же разжигал.

Так прошло время до позднего обеда, накрытого, вопреки обыкновению, не в цветнике под елками, а в столовой, поскольку Фет принял хинин от воображаемого недомогания. Во время долгой и сосредоточенной трапезы все лирические веления отступили перед свежей икрой, ботвиньей, жареными цыплятами, молодой телятиной с овощами и шоколадным тортом, обильно залитым ледяным «Редерером». После обеда Фет вздремнул в кабинете. От кожаного дивана крепко пахло седлом, наверное, оттого и приснился ему чудесный кавалерийский сон с бешеной скачкой и звонким цокотом копыт по спекшейся от жары земле.

За чаем они собрались в гостиной. Девушка вскоре снова уткнулась в книгу, порой скашивая на колючее растение влажный, полный, как у вальдшнепа, темный глаз, ставший из синего почти черным. Иванов, наглотавшись с робкой жадностью чаю, услужливо пытался продолжать давешний разговор, но попытки его были так нарочиты и неуклюжи, что Фет оставлял их без внимания. Помог делу сам кактус.

С последним ударом напольных часов, торжественно и гулко отбивших шесть, золотистые лепестки тугого бутона, зримо задрожав, стали раздвигаться, обнаруживая посреди венца какую-то белую нежность. На что это по-

хоже? На складки легчайшей белоснежной туники. Лепестки раздвигались, удлинялись и наконец стали лучами вокруг белой, как кипень, сердцевины, в которой продолжала твориться работа обретения формы. Все трое следили за цветком затаив дыхание. Но конечно же ни один глаз не уловил мгновения, когда разгладившиеся складки туники вдруг образовали тонкостенную фарфоровую чашечку. Прекрасный цветок был готов к воспроизведению жизни.

— Поистине, любовь — великий художник! — нарушил священную тишину Фет.

Короткий фырк из чуть округлившись тонких ноздрей был ему ответом.

— Любовь, — краснея и запинаясь, сказал Иванов, — самый произвольный, а стало быть, самый искусный и обширный диапазон жизненных сил индивидуума.

Фету понравилась эта мысль, пусть и выраженная с семинарским косноязычием, он с невольной симпатией глянул на молодого человека.

— Почему это чувство так преувеличивают? — ленивым голосом протянула девушка, подняв над книгой прелестное, для любви созданное лицо. — Неужели в жизни нет ничего более важного и значительного?

— Нет! — почти со злобой отрезал Фет — Любовь — красота — музыка... Все это разные обозначения той высшей Истины, которую люди верующие, а также боящиеся взглянуть в лицо вечности... пустоте, называют богом. А всякие умствования — от лукавого, в них правды нет. Когда-нибудь вы и сами это поймете.

— Я люблю музыку, — тем же медленным голосом произнесла девушка, — немного играю, но, право же...

— Не мудрствуйте! — перебил Фет. — Вверяйтесь своей душе, а не глупым книжкам. Что там у вас, анатомия какая-нибудь?

— Это Бокль! — Соболиная бровь тонка, как та черная лоснящаяся полоска, что идет по хребту взрослого соболя, соболиные брови возмущенно выгнулись над темными полными глазами. — «История цивилизации Англии».

— Анатомия и есть! — Это прозвучало грубо, но Фет не слышал своей интонации, внутри него пело: как же ты хороша, как хороша ты, моя милая! И зачем тебе дурость чужих умствований, когда ты так умна всем своим юным сильным телом, всей статью и сутью женщины, созревшей

в тебе? Ты сама любовь, сама музыка, сама Истина! Отбрось этого английского путаника, плюнь в него и разотри стройной ножкой. — Когда музыка и любовь сливаются, тогда понимаешь, чем могла быть жизнь, — глубоким голосом сказал Фет. — Мне открылось однажды это чудо... На какие-то минуты темное, полудикое существо вобрало в себя всю прелесть мира, всю любовь и всю боль... Не злую, душную, бездарную боль обычных человеческих неудач, а ту, без которой мы были бы нищи.

— И кто же это?.. — вяло полюбопытствовала девушка.

— Цыганка... Простая цыганка из хора... — Фету вдруг стало трудно говорить, воспоминание содержало какой-то яд. Какой, он не знал. Лучше всего было бы просто замолчать, но девушка ждала, и он без всякого подъема, тусклой скороговоркой закончил: — Она любила гусара, а тот не мог ее выкупить.

— И этот бедный гусар — вы? — насмешливо спросила девушка.

— О нет! — с улыбкой ответил Фет; яд таился не в самой истории несчастной Стешы и не в их коротком знакомстве, а в чем-то походя затронутым вспоминающей мыслью. — Я просто слушал ее пение... да нет, пением это не назовешь — смертная жалоба, стон, рыдания... «Ах, ты злодей, злодей, добрый молодец». Как хорош тут постоянный эпитет «добрый»! А дальше еще лучше: «Слышишь ли, мой сердечный друг? Разумеешь ли, жизнь, душа моя?» И все эти ласковости обращены к злодею. Какая правда любви и женственности, и до чего же это порусски!.. А как пелось! Самозабвенно, иступленно, низким, страшно напрягающим полудетскую грудь голосом, вдруг обретавшим высоту сопрано... Свою маленькую изящную голову она откинула на тяжелую с отливом воронова крыла косу...

Девушка вздрогнула и выпрямилась в кресле.

— И где же все это происходило? — Теперь небрежность тона была деланной.

— В раю... Нет, в задних комнатах паршивого трактира. Но Стеша едва ли помнила, где она и кто вокруг. Да и мы не помнили. А когда она, изнемогнув, замолчала, а потом в слезах бросилась вон из комнаты: мы продолжали сидеть как истуканы. И даже забыли о своем вине.

— А что было потом с этой... Стешей?

Фет пожал плечами.

— Откуда мне знать?.. Кажется, у гусара так и не нашлось денег. А цыганки рано увядают. Как этот цветок, — он кивнул на кактус. — Завтра он уже будет бездушным трупом.

— Давайте продлим ему жизнь! — Девушка порывисто поднялась, томик Бокля упал на пол, но она не заметила.

— Каким образом?

— Поставим в теплую воду.

— Вы думаете, это поможет?

— Даже увядшие цветы оживают в теплой воде.

Они так и сделали. Крикнули прислугу и велели принести нагретой воды. Девушка осторожно отрезала от стебля цветок («Кованую золотую звезду», — сказал про себя Фет) и поставила в стеклянную вазу...

Итак, он одержал победу. Маленькую победу, но в иной он и не нуждался. Образ любви, бегло и поверхностно очерченный им, пересилил досужливые измышления английского материалиста. Душа, заключенная в такую изящную оболочку, была отнята у лукавого и сейчас принадлежала ему. И от него зависело продлить или прекратить этот плен, от него зависело и большее, но ему уже все это стало не нужно. Он сам был схвачен, окопчен, скручен обладавшим вечной над ним властью образом. Мария Лазич, Жанна д'Арк любви, будто нарочно насылала на него прелестных девушек и молодых женщин, чтобы расшевелить его старое сердце, разогреть кровь, а затем одним властным движением повергнуть к своим обугленным ногам. Он вспомнил вдруг, что первая жена и великая страсть кумира его Тютчева тоже познала огненную купель. Но Тютчев любил ее со всей силой своей безудержной натуры, а он, Фет, не допустил себя до такой любви, принес ее в жертву владевшей им цели. Но будь благословенно то, что было!.. Страшная мысль ознобила ему позвоночник, и, спасаясь от этой мысли, он кинулся под могучую руку Толстого. Что писал ему Лев Николаевич в шестьдесят пятом, в год голода и мора?.. Что у него на столе розовая редиска, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, а в саду солнце и тень, на молодых дамах белые кисейные платья, а кругом голод глушит поля лебедой, порошит землю, обдирает пятки мужиков и рвет копыта у скотины... «Так страшно и даже х о р о ш о и страшно», — признавался Толстой. Никто в целом мире не посмел бы сказать такого о голоде, а

Толстой посмел, на то он и Толстой. Его «хорошо» полно бездонного смысла: хорошо, потому что это библейское. Апокалипсис, а не повседневная пошлость с газетками, сплетнями, политикой, мелкими страстишками и крупными подлостями, хорошо, потому что может привести к гибели и к рождению чего-то не бывшего, хорошо, потому что тут дышит судьба, и еще по многому, чего не выразишь словами, ибо всякое слово неполно и от бессилия своего лживо. Ну, Фет, усилься и скажи «хорошо» в толстовском смысле уходу Марии Лазич. Тебе выпало библейское вместо скудного гарнизонного романа. Огнем ушло то, что могло исчажнуть в тусклой житейщине. И тебя навсегда опалило тем огнем. Как нища была бы твоя муза, если б не костер, зажженный Марией Лазич! Благополучный муж и рачительный хозяин, ты остался бы буколическим поэтом, певцом природы, поэзия сердца равно не могла родиться ни из<sup>1</sup> прежних злых неудач, ни из последующего преуспеяния...

Очнувшись от своих дум, Фет обнаружил, что он один в гостиной, если не считать цветка кактуса, уже не золотистого в померкшем дне, а зловеще оранжевого. Хорошо, что никого нет, никто сейчас и не нужен. Приближался *его* час, даривший ему лучшие стихи, но в нынешней немоте лишь щекочущий горло близостью слов. Немота не пугала его, он знал, что «песня зреет», что не отпускающая его бесцельная суета — предвестница тишины.

Спустившись с террасы, Фет своим коротким кавалерийским шагом направился через парк, сперва по вязовой аллее, затем боковой тропкой, протоптанной в траве к маленькой, скрытой за кустами жимолости, всегда запертой калитке. Ключа от ржавого замка не оказалось в связке, которую грустно-торжественно вручила ему наблюдавшая усадьбу старушка, вдова генерала, дальняя родственница прежних владельцев. Острый глаз Фета обнаружил калитку при первом же беглом осмотре имения, но, когда он спросил о ключе, старушка замахала руками. «Пропал, батюшка, как сквозь землю провалился. Я этой калиткой сроду не пользовалась. И что ты хочешь, нету крепостных — нету и порядка». Почему-то Фету думалось, что маленькая калитка хранит нехитрую сельскую тайну. Ведь коли она есть, значит, чему-то служила. А чему могла служить узенькая, запятанная в кустах дверца, ведущая в поле, к пахучим стогам, к вербнику над рекой? Как славно назначить здесь свидание, проскользнуть меж нагретых со-

лицем дубов по вечерней росе к этой калитке, отомкнуть ржавый влажный замок, выйти в поле, надергать сухого сена из стога, упасть навзничь лицом к закату и ждать, ждать тихих шагов, слабого дуновения, тени на сомкнутых веках, отчего померкнет свет вечерней зари. Ждать долго, хмелея от нетерпения, и... не дожидаться, и выгадать поэзию в обманутом ожидании.

Он раздвинул ветви жимолости, вот он — наглухо запертый лаз к счастью. А за ним бронзовое поле, лиловые стога, багряная от зари излука реки, вырвавшейся из темного ивняка. Вечер... И сами сказались в нем старые строки:

Прозвучало над ясной рекою,  
Прозвенело в померкшем лугу,  
Прокатилось над рощей немой,  
Засветилось на том берегу...

Молодец, что обошелся одними глаголами! Тут нужна немалая смелость. Фраза без подлежащего, предмета, о котором идет речь, субъекта, — за что секут гимназистов, да и поэтов не милуют. А ведь в субъекте этом самом — главная ложь. Разве скажешь, *что* прозвучало за рекой и *что* прозвенело в лугу? Конечно, сказать можно — язык без костей, только будет ли в том правда? Называя предметы, мы больше всего врем, ибо не дано нам знать их скрытой сущности, не дано знать, чем они являются для самих себя. Человек гадает, тычется носом в населяющие мир предметы, как слепой щенок в теплое брюхо матери, но вместо безусловной вещественности молочной титьки находит лишь некий приблизительный образ. Истинно ведомы ему только проявления таинственных незнакомцев — одушевленных и неодушевленных предметов. «Прозвучало» — да, слух тебя не обманул, прозвучало и все еще дрожит в ушной перепонке; «прокатилось» в стороне, где немеет уснувшая река, — да, и еще погромыхивает тележным колесом далекого грома: «прозвенело» — да, и тоненько замирает над бронзовым лугом: «засветилось» — да, ах как засветилось тающей аlostью на том берегу, где излука! Но попробуй в каждом случае назвать *субъект* — и ты наврешь с три короба, потонешь в мучительно неточных, случайных словах. Конечно, о многом люди давно договорились и между собой и с предметами, которым дали имя, и река может быть названа Рекой, как он Шеншиным... Бог мой, до чего неудачный

пример! Оказывается, имена человеческие тоже условны, не сплавлены с сутью... Но думать об этом не хотелось, и он стал укорять себя в непоследовательности: всегда ли он так предан глаголу, содержащему правду действия, доступного органам чувств, как в этом стихотворении? «Что-то где-то млеет, тлеет», — издевался над ним Тургенев. А ведь так и надо, чем наугад шлепать ярлыки... Он ощутил странную усталость — не от этих деланных рассуждений, а от того тревожного, плохого, что не давало заговорить себе зубы, что упрямо и мучительно продиралось наружу вопреки всем его усилиям. Это началось, когда он вспомнил о Стеше, но цыганка тут ни при чем. Басманная улица... Он жил тогда в Москве, на Басманной, за Красными воротами. Здесь находилась психиатрическая больница Красовского, куда он поместил несчастную Наденьку, свою любимую сестру, настигнутую первым приступом безумия. Он еще носил форму, но внутренне поставил крест на военной службе. В эту трудную пору жизни и сдружился он с сестрой. Добрая, милая, полная теплой и радостной жизни, Наденька помогла ему пережить разочарование. Но тяготевший над ним рок не дремал, и однажды тихим, не предвещавшим никаких бед утром его встретил горящий ненавистью взгляд и солдатская грубость нежной, любящей сестры. Безумие реяло возле него всю жизнь. Душевнобольной была его бедная мать, возможно, и бегство ее из Дармштадта с едва знакомым угрюмым русским барином было вспышкой безумия. Она умерла от рака с помраченным сознанием. Бежавший в Америку брат Петр одержим чувством вины и необоримой тягой к перемене мест; безумие его по-своему прекрасно, жертвенно, он вечно кого-то спасает: людей, животных, деревья, сражается в повстанческих войсках за свободу выдуманных народов, лишает себя всяких удобств — не заслужил, спит на голой земле. Родные долго думали, что у сестры Любиньки просто дурной, невыносимо упрямый характер, но теперь ясно, что она так же не властна над собой, как мятущийся Петр или свихнувшаяся к старости «немецкая» сестра Каролина Фет. Значит, и ему не избежать наследственного безумия, недаром уже в ранней молодости знал он приступы безысходной меланхолии... Ему стало страшно. И все вокруг стало страшным: и поле, накрывшееся тенью, и желтый обвод чернильных облаков на западе, и выплывающий из рощи бледный месяц, и темный парк за спиной. Казалось, еще мгновение —



и он обратится в паническое бегство, но как всегда на краю, спасение оказалось в нем самом, в его железной воле. «При первых же признаках безумия я покончу с собой», — твердо и спокойно сказал он себе. Он знал, что тут нет ни позы, ни самообмана, он сделает это, если будет нужно. Значит, нечего бояться. Страшна душевная болезнь, а не смерть, недаром же у покойников всегда такие хорошие, умиротворенные лица. Даже у безумцев, вспомнил он с удивлением. Хорошая сестра-смерть расколдовывает их души, прежде чем унести с собой.

Ему стало хорошо и прочно, ничто не страшило ни в воспоминаниях, ни в окружающем, ни в том, что ждало впереди. И славно так из глубины памяти наплывала на высеребранный месяцем полевой простор горбатая Басманная с церковкой Петра и Павла, с хорами московской знати и с тем желтым двухэтажным домиком, где он снимал мрачноватую — густые липы за окнами застили свет, — но теплую и какую-то печально-уютную квартиру. Ну, усишься еще немного, напрягись, Фет, и вот ты уже не один.

Он неслышно приблизился и стал за спиной, отчетливо ощутимый теплом тела и дыханием, шевелящим волосы на затылке, милый друг юности, самый дорогой и близкий человек всей его жизни. Сколько потом было преданных, добрых, умных друзей, а как с Аполлоном Григорьевым, ни с кем не было. То бесхитростное доверие, душевное понимание, что связали их в юности, остались с ними навсегда. В черные дни Наденькиной болезни Григорьев приносил на Басманную утешение и радость. Только дай клич, и — гитара за спину — Григорьев спешит из далекого Замоскворечья через пол-Москвы. У него не было денег на извозчика, и он топал пешком с Малой Полянки через оба Каменных моста, промахивал Моховую, Охотный ряд, Театральную площадь, Театральный проезд, Лубянскую площадь, длиннющую Мясницкую и мимо Красных ворот попадал на горбатую Басманную. Немалое путешествие! Этак выйдешь засветло, а доберешься при фонарях.

И, как странно, Григорьев всегда больше давал ему, чем получал в ответ. Все университетские годы прожили они бок о бок на антресолях григорьевского дома на Малой Полянке, подле Спаса в Наливках, и не было на свете столь разных характеров, темпераментов, мирозерцаний: Григорьев — само трудолюбие, искания, неиссякае-

мый энтузиазм, он — сама беспечность, лень, ирония. Своим развитием он обязан духовной жадности Аполлона куда больше, нежели университету, коим безбожно манкировал. Григорьев был душой студенческого кружка, что ни вечер собиравшегося у них на антресолях. В прокуренных комнатах до поздней ночи не прекращались споры о немецкой философии, и полупьяному слуге Ивану так настряли в ушах великие имена, что он заорал однажды с театрального подъезда: «Коляску Гегеля!»

При всем своем добродушии Фет почему-то любил угнетать Григорьева — телесно и духовно. Ловким приемом, изученным в Верро, он заламывал руки Аполлону и швырял его на пол, но тот нисколько не обижался на своего мучителя; позже, когда порывистый, мятущийся Аполлон вдруг исполнился религиозного рвения и, наклепив свечки на все пять пальцев, бил поклоны в церкви, безбожник Фет, пристроившись рядом, вливал ему в пунцовое ухо яд мефистофельских сарказмов. И в стихах был верх Фета, но с каким трогательным восторгом переписывал Григорьев его стихи в тетрадку, отчаянно проклиная собственные неуклюжие потуги. И когда они оба влюбились в крестовую сестру Григорьева Лизоньку и она отдала предпочтение Фету, Григорьев выдержал и это испытание. Да была ли на свете другая душа, столь чуждая зависти, ревности, обиды?..

Годы не охладили Аполлона, и в тяжелые московские дни он по первому зову бежал на помощь другу со своей семиструнной — власть цыганской мелодии над обоими была беспредельна. Григорьев начинал петь сразу — не громким, слабым голосом, даже не пел, а проговаривал песню под аккомпанемент, но с таким искренним чувством, с таким нутряным пониманием рожденной под звездным шатром степных небес таборной песни, что и не нужно было голосистого, звучного пения.

С ясностью прямого видения возникли перед ним бедноватая комната с мягкой мебелью в чехлах из холстинки, овальный столик и медный самовар на подносе, стаканы с остывшим, крепкой заварки чаем и в синеватом наплыве табачного дыма резкий, шиллеровский профиль Григорьева, и он содрогнулся от внезапной мысли: тому четверть века! Недаром же ему так ненавистно само понятие времени — равно и даты, и хронология, отсюда и отвращение к истории, которую он мог бы любить, не будь она погружена в стихию времени. Как счастливы были древние

греки, не знавшие, что такое время! Для современников Перикла Троянская война, Фермопильская битва или последняя Олимпиада — события почти одной давности. Невыносимо грустно, когда обнаруживается дряхлость твоих столь живых и свежих воспоминаний. И вновь, как уже не раз, пронзило Фета страстное желание осилить время, вырваться из ненавистного плена. Против времени есть одно оружие: самозабвение, «пять мгновений Магомета». Что ж, поэт не уступает пророку, вдохновение под стать экстазу. Стихи, стихи, где вы, вернитесь!..

Он сперва ощутил свои мокрые, потяжелевшие ноги и лишь затем обнаружил, что бредет через парк по росистой тропинке. В гостиной горел свет, он обогнул дом и черным ходом пробрался в свой кабинет. Зажег толстые свечи в шандале, достал стопку бумаги и придвинул кресло к столу. Надо отнять у вечности сегодняшней день со всем, что в нем было, с упрямой девушкой, золотым цветком кактуса, собственной растревоженной памятью, надо вернуть из тьмы так быстро, так безнадежно канувшего в забвение доброго, талантливое, несчастного и в жизни и в смерти человека. А коль виноградина поэзии лишь щекочет горло и не хочет брызнуть соком, он сделает это «презренной» прозой. «Кактус» — назвал он свой рассказ.

И новоявленный прозаический Орфей пустился в путь за Эвридикой, за сероглазой, русоволосой, большеносой Эвридикой в кумачевой рубашке, плисовых шароварах, заправленных в лакированные сапоги, в суконной поддевке — иной одежды не признавал околдованный псевдорусским стилем Аполлон. Из-за суконной поддевки да яркого кумача между ними вышло едва ли единственное за всю дружбу столкновение. Собрались они в Грузины слушать Стешу из знаменитого хора Ивана Васильева не в урочный вечерний час, а ясным днем. Фет велел вызвать извозчика с закрытой каретой. У него были собственные дрожки, но он еще носил военную форму, и что бы подумал плац-адъютант, увидев его разъезжающим по Москве не то с торбанистом, не то с кучером? Григорьев понял, что Фет стесняется его вида, и поднял бунт. Пришлось срочно избрести простуду, надсаживаться в кашле, сипеть и фыркать сухим носом в фуляр. И малый, доверчивый Аполлон сразу прекратил спор, хотел в аптеку бежать, предлагал отменить поездку, насилу угомонил он не в меру заботливого друга...

Перед тем как вывести на свет божий Аполлона Григорьева, Фет снабдил свой рассказ обрамлением, дабы

погрузить воспоминания в сегодняшний день, оплести сегодняшними чувствами. Безличному и скучному Иванову он придал черты своего прекрасного, гибельного брата-странника, цветолюба и садовника, лечившего старые деревья и поломанные кусты так бережно и нежно, словно он угадывал в них способность к боли и страданию. Этому новому Иванову поручено было объяснить заумной девушке прелесть цветка и вызвать наивный вопрос: «А что такое, по-вашему, любовь?»

Рука Фета дрогнула, разбрызгав чернила. Боже мой, и проза способна дарить трепет!.. Но все же проза живет иными законами, нежели поэзия. Что бы тут раскинуть крылья, вверясь несущему току воздушных струй, но рука не стала крылом и, служа земному делу, вывела язвительную филиппику против философских книжек, которыми девушка глушит свое сердце...

Но вот не слишком ловко, каким-то рассудочно-насильственным зигзагом он обратился к воспоминаниям. После первых, сердцем сказанных слов о Григорьеве он вдруг почувствовал странную необходимость в оговорке. Это вовсе чуждо поэзии, которая не бывает правой или неправой и не знает ни перед кем ответственности, разве лишь перед самой собой. А тут вонзилось занозой в мозг, что рассказ прочтут люди, хорошо, слишком хорошо знавшие Григорьева, его слабую, грешную натуру, его загулы, *безобразия*, и зачем ему перед ними слюнявого дурачка разыгрывать. Воспетый стихами, Григорьев мог явиться хоть светлым ангелом, хоть золотым рыцарем, хоть белым менестрелем, а тут... И, вздохнув, Фет написал: «Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей *знающих* в нравственном смысле...» Нет, не божье дело — проза, подумал Фет, но править не стал. Прости мне и это, Аполлон!..

Моральная уступка отыгралась потерей тона. Он никак не мог вновь настроиться на растроганность, владевшую им в парке. Ты богатый, признанный, счастливый, осуществивший все свои желанья, уговаривал он себя, и ты пишешь о человеке, обобранном до нитки, так будь же к нему щедрее, снисходительнее, горячее, ты и так его вечный должник!.. Лишь с приездом в Грузины, в заведение Ивана Васильева, разогрелось перо Фета, и сразу глянула со страниц живая душа Аполлона. Писать стало легко. Не хотела, не могла им петь дикая, пугливая, горестная Стеша. И с чудесной, простодушной хитрецей, таящей

столько истинного участия и сострадания, подъезжал к ней Аполлон. Начиная издали, о том о сем, наигрывал на гитаре под сурдинку, втягивал в разговор про дела цыганские, про отношения в хоре замкнувшуюся в своей боли девушку, а там стал играть громче, звонче и вдруг запел любимую «Цыганскую венгерку», да так увлекся, так загорелся, что вроде и забыл, для чего они приехали. У Фета была на редкость дурная память, но один куплет он вспомнил и с удовольствием вписал в свой рассказ:

Под горой-то ольха,  
На горе-то вишня,  
Любил барин цыганочку —  
Она замуж вышла...

А хорошо, восхитился он. Как поймана народная интонация! В памяти «Цыганская венгерка», при всей ее потрясающей искренности, казалась более *сделанной*, не в плохом, боже упаси, смысле, а в присутствии отчетливой поэтической воли. За буйством, удалью, отчаянием, безысходной скорбью утраты чувствовался знающий свою цель зрелый поэт, искусник. Быть может, нигде больше не достигал Григорьев такого уверенного мастерства. А этот куплет очарователен поистине народной бессмыслицей: при чем тут ольха, при чем тут вишня, какое отношение имеют эти растения к брошенному цыганкой барину? Вот уж: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Только народ, творящий бессознательно, бывает как дивно расточителен. И при всем том это поэзия чистейшей воды, задушевность, не придуманная, не сочиненная, пленительная своей простотой и наивностью. Жаль, что у него нет стихов Григорьева, а в памяти ничего больше не удержалось, кроме этих четырех строчек. Впрочем, и так хорошо: в капле росы — целый сад, в капельке чистой поэзии — вся лирическая душа Аполлона. И Фет радостно продолжал свой рассказ.

Доплакав «Венгерку», Григорьев без передышки завел настоящую народную, хлесткую: «В село Красно стеганула». Иван Васильев подхватил бархатным баритоном, а вскоре тихо, робко, но постепенно смелея, стало проникать в дуэт серебристое сопрано Стеша: «Эх, господа! Да что же я тут вам мешаю, — воскликнул Григорьев. — Мне так не сыграть, а не то что спеть. Голубушка, Стеша!..»

И, покорная какой-то независимой от нее силе, Стеша взяла гитару.

Вспомни, вспомни, мой любимый,  
Нашу прежнюю любовь...

Слезинка дрожала на реснице, но так и не скатилась. Но вот, сильно рванув струны, Стеша завела ту самую, сокровенную, песню души своей о злодее — добром молодце: «Слышишь ли, разумеешь ли».

Слова сами стекали с пера, от Фета требовалось лишь одно — не мешать. Казалось, Стеша не кончит песню, рыдания душили ее, но сила и гордость цыганки, — лишь допев последний куплет, она дала волю слезам и убежала.

Фет почувствовал, что рассказ исчерпал себя. Тот несколько головной посыл, из которого он возник, оказался вроде бы и не нужен. Воспоминание обладало собственной ценностью и не нуждалось в поддержке обрамления. И восторженный брат под псевдонимом Иванова, и юная почитательница Бокля были лишними на театре, где так красиво и вдохновенно сыграли Стеша и Аполлон. Убрать их легко, да ведь с ними исчезнет и кактус, а его жалко. Излюбленное помещиками экзотическое растение с колючками на мясистых листьях и непрочной прелестью одинокого напрасного цветка оказалось в рассказе куда важнее и значительнее своей прямой сути. Таинственным образом проросло оно в горестные судьбы давно ушедших людей. Ничего не поделаешь. Пришлось дописать рассказ, вернув его в сегодняшний день, что — хорошо ли, плохо ли — придавало ему звучание притчи. Скептическая девица была посрамлена и даже лишена жеста раскаяния — цветок кактуса в теплую воду поставил Иванов. Жестокая расплата за то, что не сумела удержаться в сердце поэта. Все же рассказу недоставало концовки, но Фет уже знал, где ее искать.

Взяв свечу, он направился в гостиную. В цепенолой ночной тишине старые дома всегда наполнены шорохами, скрипами, неживыми вздохами. Что-то рассыхается в них, трескается, расходится, изгибает, их дряхлую плоть точат древесные жуки, перетирают в железных резцах грызуны, но в этом доме царил такая тишина, словно он был построен из мрамора. Не скрипнула половица под тяжеловатыми шагами Фета, не шатнулись лестничные перила под его рукой — на славу отремонтировал и укрепил он старое жилье. Вот что значит вездесущий хозяйский глаз, вот что значит самому вникать в каждую мелочь. А еще укоряют: Марфа печется о мнозем...

Бесшумно качнулось коромыслице тяжелой медной ручки, бесшумно распахнулась высокая резная дверь, и огромные зеркала разом отразили в черно поблескивающей

глуби красноватый огонек свечи, желтую гладь чела и пунцовый атлас халата. Фет предвидел, что теплая вода не поможет, не оживит того, что приговорено самой природой. И вот он, конец рассказа: «На краю стакана лежал бездушный труп красавца кактуса».

Вернувшись в кабинет и поставив точку, он перечитал рассказ и остался им доволен. Оказывается, и проза обладает магией. Даже не скажешь, как оно сделалось, но самым живым и милым в рассказе вышел Аполлон Григорьев. Наверное, таким и было не осознанное до конца веление: подарить безнадежно забытому другу хоть крупицу бессмертия. И дабы совершить жест добра, он смело вторгся в чужое ремесло и одержал маленькую победу. Да, Марфа печется о мнозем, но сегодня его обремененная душа (хоть близок час освобождения!) сумела вырваться от хлопотливой Марфы и припасть к отшельнице Марии...

Афанасий Афанасьевич давно привык и не роптал, что его поэтические создания не находят отзвука в толпе, тем важнее было для него мнение немногих избранных. И, конечно, особенно волновало, что скажут о рассказе Тургенев и Лев Толстой, о которых Аполлон Григорьев в свое время много и страстно писал, причем аналитический скальпель не дрожал от подобострастия в его быстрой и уверенной руке, а с Тургеневым был настолько близок, что иные свои статьи публиковал в форме писем к нему. Иван Сергеевич воздержался от оценки рассказа и словно в объяснение своей сдержанности сделал неожиданное признание: он никогда не обижался и не злился на своих критиков, но Аполлона Григорьева ненавидел. Лев Николаевич просто отмолчался.

У Аполлона Григорьева, такого мягкого и доброго, было удивительное умение попадать авторам по самому темечку, в то нежное родничковое место, которое зарастает у всех младенцев, кроме предназначенных судьбой литературе.

Но удовлетворение Фета собственным поступком ничуть не померкло. Позже Афанасий Афанасьевич еще не раз возвращался к образу старого друга в своих воспоминаниях, оконченных незадолго перед смертью, но так и не спохватился, какую странную и обидную для Григорьева шутку сыграла с ним память. Исполняя под гитару «Цыганскую венгерку», Григорьев действительно иной раз пел

куплет, который Фет привел в рассказе «Кактус», но, конечно, не включил в свою маленькую поэму, ибо то были не его слова, а *народные*, из старой песни... Но почему память Фета сохранила лишь это четверостишие? Неужели оно в самом деле лучше всего остального в поэме и тут бессознательно сработал тончайший поэтический вкус Фета?..



Утром приходил иконописец и поставщик божественных досок Никита Севастьянович Рачейсков с Васильевского острова. И, как всегда, хоть знакомству их уже четверть века, терпеливо дождался на кухне приглашения в хозяйские покои, прижимая к груди завернутые в холстину иконы.

Чем-то сразу и больно поразил изограф Лескова. А вроде бы Никита Севастьянович давно застыл в своем суровом, строго духовном образе: высок, сух, тонок, удлиненным лицом постен, седые волосы разобраны прямым пробором на два крыла, маленькие темные, будто исплаканные глаза прячутся под кустистыми бровями. Лескову показалось, что под длинным, до щиколоток, черным суконным азымом вовсе нет плоти, а голова художного мужа от глубоких западин за ушами и под нижней челюстью по-лошадиному выдвинулась вперед. Былая прочная сосредоточенность в себе сменилась отрешенностью, словно уже начал переселяться на небо, столь привычное своей лазурью, кипенью облаков, и золотом светил его тонкий, о три волоска кисти, старый, потерявший счет годам, богомаз. Только громадные — лопатами — руки его, ставшие вовсе непомерными в оскудении остального телесного состава, принадлежали жизни, набухшие венами, жилами, с темными волосами на тыле ладоней и послушных строгой воле мастера длинных перстах.

Чинно, уважливо поздоровавшись с иконописцем, Лесков повел его в кабинет, увешанный картинами, гравюрами, иконами, заставленный сомнительными апраксинскими раритетами, а также напольными и настольными чадами.

Никита Севастьянович высвободил доски из холстины, после чего сел на стул с прямой спинкой, положил на худые колени свои лапищи и застыл недвижно. Весьма в меру словоохотливый и в бодрые годы, он ныне будто вовсе разучился говорить. Но, златоуст и жаднослушатель, Лесков тоже не был настроен на болтливый лад.

Рачейсков принес ранее привлекший Лескова образ устюжской божьей матери и неведомого Спаса какого-то наглого по светской выразительности письма. Обе иконы были искусно расчищены. Лесков гордился тем, что сам умел осветлять черные доски, хотя делал это весьма аляповато, злоупотреблял к тому же политугой, но внезапная угрюмая озабоченность, овладевшая им, объяснялась не досадой на старого изографа, самовольно лишившего его сладостного труда, а чем-то совсем иным, сложно связанным с мучительными заботами его нынешней жизни.

Странен и непривычен был этот Спас — ни византийского тайномыслия, ни печали, ни грозности, ни проникновенности, ни сострадания, ни один из многих смыслов, вкладываемых иконописцами в образ Христа, не прочитывался на тяжелом мужицком лице, именно лице, чтоб не сказать еще грубее, но уж никак не лике бога-сына.

Лесков пытался расспросить Никиту Севастьяновича о создателе образа, но из односложных, будто через силу ответов следовало, что происхождение иконы тому неведомо. И это было вопреки правилам Никиты Севастьяновича. Он всегда знал, что предлагает покупателю.

Лесков решил оставить за собой обе иконы. Никита Севастьянович назвал цену, как всегда умеренную, да и не полагалось торговаться с ним, получил деньги, спрятал их вместе с холстиной в бездонный карман азяма, низко поклонился и двинулся к черному ходу. Лесков пошел проводить его.

— Хотел я тебя, Севастьянович, вот о чем попросить... — вспомнил Лесков уже в кухне, но осекся под строгим взглядом мастера.

— Я боле не приду к вам, — тихо сказал Никита Севастьянович.

— Что так?

— В иные пределы ухожу.

Лесков помолчал, потом сказал истово, чуть приметно дрогнув голосом:

— Коли так... легкой тебе кончины, Севастьянович.

Что-то похожее на улыбку тронуло бескровные губы старца, и темные исплаканные глаза мягко глянули из-под кустистых бровей.

— Спасибо, что не слукавил. — И, согнувшись под притолокой, вышел в пыльный свет черной лестницы.

Умиленный простотой и честностью прощания, Лесков смахнул невольную слезу и вернулся в кабинет. Прислоненный к стене Спас встретил его прямым и жестким взглядом. «Это не Христос, — думал Лесков, вглядываясь в грубые, мужицкие, чем-то притягательные черты. — У него лицо мастерового, каменщика, землепашца, только не искупителя чужих грехов. Таким скорее мог быть бог-отец по завершении чудовищного труда мироустройства. У него и чело влажное от пота. А какая непреклонность в очах! А ведь Христос был слаб, исполнен великого смятения, страха и неверия в свои силы. Нет, это не Христос, вернее Христос, в которого художник по странной причине или наитию, откровению свыше вложил черты его божественного отца! А Христос не тянул, нет, не тянул! Куда ему до отца! Слаб был, суетен, непрочен и к тому же гугнив. Люди не понимали его поучений, словно он явился из чужой страны или глубокого прошлого. Он не делал чести отцу-вседержителю. Но старик — какой молодец! Не пожалел, ни пощадил родную суть, подверг такому испытанию, что и худшему врагу не пожелаешь. Экую ношу водрузил на слабые плечи сына плотничихи Марии, жены бессильного старостью Иосифа! Как хотелось Иисусу бежать страшного подвига, как претило ему искупить муками и позорной смертью на кресте под сжигающим солнцем Иерусалима грехи человечества. Он ли не просил, не молил отца небесного и своего собственного: «Помилуй, мя, отче! Пронеси чашу мимо!» Не преклонил слуха, не сжалился отец. Мерзко, нестерпимо было богу, что сын его так слаб и безволен, так привержен земной суете. Нет уж, коли ты сын божий, так и докажи себя деянием, достойным отца! Бог дал сыну испытать чашу страданий до последней капли. Великий замысел творца включал и кару за потуги уйти от предрешенной высшей волей судьбы. «Вот это характер!» — восхищался Лесков, остро и ревниво вглядываясь небольшими яркими темно-кариными глазами черты отца в грубовато-суровом облике сына.

— Так с ним и надо! — с удивлением услышал он свой голос в пустоте кабинета. Слова вырвались из беззвучия души и прозвучали как приговор.

Бесхарактерность, лень, небрежение долгом, попытки уклониться от начертанного отцом пути, даже просто опуститься на придорожный камень, предоставив дорогу идущим, суетность, уже не говоря о гадостном стремлении тешить беса ногодрыганием под срамную му-

зыку, уверенность в своем праве на хлеб, не политый слезами и потом, — суть смертные грехи и должны караться с такой беспощадностью, чтоб задрожало сердце самого карателя, как дрогнуло господне сердце, когда он послал сына на Голгофу. «Ну, Дрон, Дронушка-Дрон, держись, шаркун, танцевальных паркетов натиральщик, в науках не преуспевший сын, не кровь моя, а сукровица, не плоть моя, а перхотный очес, крепко же засел ты у меня в печенях, крепко же и поплатишься!»

Он почувствовал, как горит лицо и тяжело пухнут глаза от прилившей к голове крови. Этого еще не хватало! Теперь пойдет на весь день крутить и корчить. Надо было отвлечение какое придумать. Новые иконы, что ли, повесить? Но этим всегда занимался Дрон, ловко у него получалось, хорошие руки! А сам Николай Семенович попробует гвоздь вбить, непременно по пальцам стукнет, а уж если и повесит чего на стенку, так вкривь и вкось. Лучше дожидаться зятя Крохина, обещал заглянуть перед обедом. А сейчас можно на прогулку сходить. В Гостиный двор наведаться, к букинистам.

Лесков сменил шлафрок на короткий летний пиджак из серой шерстяной материи, надел легкое светлое пальто, обшитое тесьмой, на голову — соломенное канотье с черной репсовой лентой, в руку взял камышовую трость с серебряным набалдашником и, хорошо, ладно ощущая все свое снаряжение, грузноватой, но упругой поступью направился к двери.

— Дядя, ты уходишь? — послышался за его спиной детский голос.

Лесков вздрогнул, очнулся от дум. Как странно, что он все время забывает о существовании этого ребенка, «сиротки», богоданной насельницы его усталого сердца (и маленького чулана возле кухни), отрады натруженных очей. Года два назад привела Вареньку «дремучая» чухонка и сдала с рук на руки горничной Кетти. Светловолосая Кетти, дочь перновского домовладельца, выгнанная родителями за какие-то провинности, находилась в услужении у генерала Шпицберга, начальника крепостной артиллерии в Ковно. Она понесла от его денщика, лишилась места, уехала в Петербург, в положенный срок родила и пристроила младенца в финской деревушке Кейдала под столицей. К Лескову Кетти попала по объявлению. Теперь Вареньке был один путь — в приют, но тут Лесков совершил всех удививший, а многих озадачивший шаг — оставил Варень-

ку в доме. То было наитие — поступить по догме любовному сердцу Льва Николаевича Толстого черносошного моралиста Сютяева. «Своего и корова оближет, — говаривал Лесков. — А принять чужое дитя как родное—угодное богу дело». Его мало заботило, что это противоречит его прежним утверждениям: мол, по древнему закону, выражающему девственные свойства человеческой души, любить можно только кровью родных детей, иная любовь к детям — натяжка и фальшь.

Малютка вошла в дом в пору, когда Дрон, примерный ученик и послушный сын, еще ничем не огорчал отца, что, впрочем, не избавляло его, как и всех близких Лескова, от бурь и потрясений. В новых же обстоятельствах значение сиротки необычайно возросло.

— Дядя, ты уходишь? — повторила Варя и потупилась.

— Гулять иду, — сказал Лесков и тоже увел глаза.

Этому ребенку и этому взрослому равно нечего было сказать друг другу. Варя, как существо примитивное, насыпилась и стала крутить ленточку от коробки шоколадных конфет, Лесков — как более искушенное — нашел иной выход из затруднения. Ему нечего было сказать этой девочке, но он мог много и веско сказать за нее, ответить злопыхателям, хулителям его милосердия, погрязшим в тленодушии. Не раздеваясь, он вернулся в кабинет, достал лист бумаги, придвинул чернильницу.

— Возьми у матери конверт и принеси сюда, — сказал он, зная, что девочка последовала за ним и стоит в дверях, крутя свою ленточку.

Он услышал топот детских ног по коридору, и в душу ему пахнул горячий ветер гнева. И сама собой вырвалась из-под пера облитая кровью и желчью фраза, адресованная «добрейшей» — еще так недавно — Александре Николаевне Толиверовой, испытанному и преданному другу:

«А вам в приют ее, мою Вареньку, — на приютский крупяной кулеш да на картофель?!» «Крупяной кулеш» пронял самого автора, была в нем какая-то нищенская убедительность — полная слеза обожгла щеку.

Девочка положила конверт на стол.

— Поддай перочинный ножичек... Не там, на тумбочке.

Потом ему понадобился сургуч, стакан воды, чтобы запить успокоительное лекарство, салфетка, чтобы промокнуть каплю на лацкане пиджака. Девочка вихрем носилась по квартире, толково и споро исполняя поручения.

Чувство неловкости прошло. Варя воплотилась в казачка, что ее вполне устраивало и освобождало от внутренней фальши, которую она не постигала детским своим умишком, но чувствовала так же отчетливо, как отсиженную ногу.

Отомщевательное письмо было написано с солью, перцем, собачьим сердцем, с той чрезмерной аффектацией, которая не может заменить простого, искреннего чувства и лишь укрепляет оппонента в противоположном мнении.

Удовлетворенно пробежав послание, Лесков запечатал конверт и решительным шагом покинул кабинет.

— До свидания, дядя, — сказала сиротка захлопнувшейся двери.

Миновав тихую Фурштатскую и приметив с легкой грустью первую прожелть в густой и притемненной, как и положено к исходу лета, зелени садов, Лесков направился окольным путем к центру. Он хотел насладиться покоем здешних пустынных, росных, дремлющих улиц, овеваемых прохладой с Невы, а дальше, в приближении людного и вонючего центра, нанять извозчика. Но благим намерениям не суждено было осуществиться, во всяком случае в начальной части.

Он и сам не знал, что ему предшествовало: тревожный ли запах гари — колоколам и рожку пожарного обоза или пожарный насос, влекомый тройкой массивных гривастых битюгов, дал почуять в чистом воздухе горячую работу огня? За насосом на четырех линейках, в сверкающих касках промчалась пожарная команда, золотыми вспышками отражаясь в окошках низеньких домов.

Будто по ребрам Лескова прогрохотали подковы пожарных тяжеловозов. Неправда, будто время лечит все раны. Уязвленную плоть оно лечит, а раны души не затягиваются. Двадцать три года назад, в духов день, когда купцы выводят своих дочек на смотрины в Летний сад, так же вот, только куда гуще, понесло горелым над столичным центром. Горели Апраксин и Шукин рынки. И чуть не первым из петербургских газетчиков оказался сам Николай Лесков. Он жадно впитывал в себя все пересуды, толки, слухи и слушки, угрюмый ропот, визгливые причитания баб. *Толпа* дружно и злобно обвиняла в поджогах поляков — как полагается, студентов да и вообще учащуюся молодежь, смутьянов из господ и всякую протерь. И в «Северной пчеле» появилась осмотрительная, как мнилось наивному автору, но прозвучавшая взрывом в ушах всех опрят-

ных людей, бедоносная статейка о петербургских пожарах.

Как накнулись, как навалились!... Боже мой, какой только напраслины на него не возводили!.. Конечно, удары шли слева, но время было такое, что правые только «хакали» на каждый удар. И даже газета, почти провокационно поручившая столь тонкое и сложное дело совсем зеленому сотруднику, и пальцем не шевельнула в его защиту, напротив, последующим неловким, двусмысленным бормотанием совсем утопила. Дошло до того, что иные знакомые раскланиваться перестали. С тех пор крепко засело в печенях...

Не такой он был человек, чтобы смириться, в тиши пережить свою неудачу, сделать должные выводы. Нет, сызмальства его девизом было: «Отмщение!» Пошли «отомщевательные» романы: «Некуда», «Обойденные», наконец, грубо, судорожно слепленные «На ножках». Покойный Писарев отказал ему в звании русского литератора и утверждал, что ни один порядочный писатель не захочет видеть свое имя рядом с именем господина Стебницкого, под таким, довольно нелепым псевдонимом он начинал. Травили, улюлюкали и не хотели заметить, что были в «Некуда» Рейнер, списанный с кристального Артура Бени, погибшего в войсках Гарибальди, Лиза Бахарева, Бертольди, студент Помада — кто еще так любовно изображал нигилистов? А сокрушал он лишь тех, кто принизил, испохабил, в грязь втоптал чистый тип Базарова. Да что говорить!.. Лучшие годы жизни были смяты, осрамлены, просто украдены, ибо не жил он, а томился и страдал духом. И не было не только прощения, но и забвения содеянному в молодости. Один за другим выходили «Житие одной бабы», «Запечатленный ангел», «Соборяне», «Тупейный художник», «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», «Очарованный странник», а критики как воды в рот набрали. И не было таких причудливых и богатых духом русских характеров ни у кого из пишущей братии, даже у самых великих. Во всяком случае, его праведники не чета сопливому Макару Девушкину! Но хоть бы кто словом добрым печатно обмолвился! А ведь читали и перечитывали, но молчали, поджав губки, во дворце читки вслух устраивали, сам венценосец восхищался. Достоевский раз даже страшным словом «гениально» в адрес его проговорился, а печатно — уязвлял. Нет, как ни крути, остался он незаконным сыном русской словесности.

Ныне известность его на всю Россию и за границу шагнула, а стало ли ему легче печататься, свободнее, увереннее жить? Нет, все так же свирепствует над его сочинениями цензорский карандаш, а теперь и духовная цензура навалилась. И нет семьи, да еще неудачный сын-пустопляс. Вот какой горечью пахнуло на Лескова от занявшегося где-то неподалеку пожара. Весь душевный мусор взвевало тем дуновением. И сразу стало трудно дышать. Впору домой вернуться. Но тут он увидел одинокого «ваньку», клевавшего носом на козлах.

Тяжко просели старые рессоры под грузным телом.

— К Гостиному двору! — приказал Лесков.

«Ванька» проснулся, подобрал рваные вожжи, дернул, чмокнул губами и стал разворачивать свою каурюю клячку.

— Куда, дурак? — Лесков ткнул камышовой тростью в худые лопатки извозчика. — Не видишь — пожар. Давай прямо.

— Далече, барин. — «Ванька» обернул к Лескову старое личико с редкой, как у корейца, бороденкой. — Червертачок придется накинуть.

— Хватит и двугривенного, — сказал Лесков. — Пошел!..

И пролетка, скособочившись в перевес грузного седока, покатила по булыжной мостовой...

В полуденный час последнего дня лета на Невском проспекте былолюдно, шумно, пыльно и вонько. За лето город всегда портился, протухал. Хоть и строго спрашивали с дворников, да ведь за каждой мелочью не уследишь — в пазах торцов между плитами тротуаров что-то застревало, разлагалось на жаре, изгнивало. Да и всякий продукт смердит летом вдесятеро против других времен года, когда пахнет либо морем, либо дождевой сыростью, либо чистым снегом, а в краткую пору петербургской весны — травой, листьями, сиренью. Лесков злился на город, а еще больше на самого себя. Он знал, что настоящим петербуржцам здесь никогда дурно не пахнет. Говорят, у Достоевского плотоядно шевелились ноздри, когда он шел через Сенную, будто вдыхал не настой дегтя, конского навоза и мочи, деревенского рассола и гнилой соломы, а нежнейшие ароматы. Не смущал Петербург и чуткого носа Пушкина. Беда в том, что Петербург так и не раскрылся Лескову, несмотря на все его славословия — печатные и устные, — как не раскрылся до конца никому из русских



писателей, кроме Пушкина и Достоевского. Такие бытописатели и знатоки Петербурга, как Всеволод Крестовский, разумеется, не в счет.

Пушкину Петербург был высок и дивен, как могут быть дивными лишь в исторической памяти человечества Афины Перикла или цезарийский Рим. Афиняне золотого века и древние римляне, конечно, не так очарованно воспринимали обстав своего каждодневного бытия. Надо быть Пушкиным, чтоб, отметя трущобы, пустыри, грубую, бьющую в нос невоплощенность стройных замыслов градостроителей, слякоть и грязь, морось и промозглый ветер с Невы, видеть волшебный город, будто родившийся из прозрачного сумрака белых ночей, город, который ничто не может унижить.

А Достоевский нашел тут и более сложную поэзию — белые ночи и тишина пустынных набережных, вспугнутая торопливым постуком женских каблучков, чудно и чудно уживаются у него с жутью темных переулков, мрачных дворов, гнилостных лестничных клеток, располагающих к убийству, а таинственный страшноватый город манит, пленяет душу.

Лескову же воняло...

Расстроенный, он вошел под сумеречный, чуть отдающий склепом свод галереи Гостиного двора. По обе стороны шли лавки и лавчонки, откуда сперто и заманчиво дышало стариной: пыльными коврами, гобеленами, тленом полусгнивших рукописных книг, расчищенной нашатырем бронзой, лаком. Тяжелые крылья носа Лескова раздувались, вбирая знакомые и всегда возбуждающие запахи. Но что-то мешало ему сегодня самозабвенно зарыться в благодный мусор минувшего.

Прошлой зимой он ездил сюда с Дроном, приходившим из училища на воскресную побывку. Они брали извозчика от Таврической до угла Садовой и Вознесенского — добрых четыре версты по свежему колючему зимнему воздуху. А затем обходили не спеша Ново-Александровский рынок, Апраксин двор и гостинодворскую галерею, и ему нравилось показывать сыну, как ловко умеет он находить жемчужное зерно в навозных кучах старьевщиков, угадывать ценность какой-нибудь закопченной доски, едва различимой уголком в завале всякой дряни; как цепко и необидно для продавца торгуется, сбивая цену чуть не вдвое, как может с каждой протерью поговорить на особом языке: с «князем» — татарское словцо вернуть, с букинистом —

уместный славянизм кинуть или доегласным созвучием на вирш блеснуть; петербургскую жулябию трущобным, крепчайшим заворотом осадить. Но, конечно, куда полезнее была для юноши та россыпь культурных сведений, которой щедро делился отец.

Сколько узнал Дрон и о стилях разных эпох, и о художественных манерах русских иконописцев и французских графиков, какое эстетическое богатство приобрел, вышагивая за отцом по холодным плитам галереи. «Но почему у него всегда было такое нищенское, неодоухотворенное лицо и капелька под носом? — раздраженно вспомнил Лесков. — Все ежился, непоседа, да шаркал ногами, будто ему невтерпеж в танцевальный зал? А может, ему просто холодно было? — вдруг грустно спросил он себя. — Зяб до костей в шинелишке, подбитой ветром, казенных ботинках без калош — не положены кадету, — да белых нитяных перчатках? Где уж тут наслаждаться образами строгановского пошиба, копиями с Лиотара, старинным изданием «Юности честного зеркала», булями да жакобами!.. А, че-пуха! Молодой человек, кровь с молоком, не может коченеть, как кисейная барышня, в мягкой петербургской зиме. Я в его годы...» Но настроение было испорчено. И, купив всего лишь бюстик Сократа на мраморной розетке и не обманывая себя насчет его художественной ценности — рыночный товар, но сгодится в пару к бюстику Гёте, купленному ранее в некой иллюзии насчет промашки невежественного торговца, — Лесков покинул галерею и вновь оказался на Невском.

Он пошел в сторону Аничкова моста, тяжелее обычного опираясь на камышовую трость и прижимая к селезенке завернутого в розовую бумагу Сократа, и вскоре увидел на углу Невского и набережной Фонтанки крупную, осанистую фигуру Терпигорева-Атавы.

Могутен, избыточен слегка обрюзгшим телом был певец дворянского оскудения. А нарочито широкая, не мешающая размашистым движениям одежда еще более увеличивала место, занимаемое им в пространстве. Большое лицо с сильными, глубокими чертами, отнюдь не дворянскими, хоть и происходил из тамбовского потомственного, а кучерскими, вполне гармонировал со статью.

Лесков любил Терпигорева, хотя и считал его сильно сродни Ноздреву. «Пустобрех всяя Руси» был столь же привержен Бахусу, как гоголевский герой, так же охоч до картишек и женского пола, так же безоглядно лез в спор и так

же готов был загулять с кем попало. Но у Терпигорева в отличие от пустейшего Ноздрева был талант, и недюжинный. Его судьбу решила одна фраза Некрасова, оброненная мимоходом в ответ на элегический взрыд Терпигорева, что упустил он себя, а сейчас поздно!.. «Почему же? — сказал Некрасов. — И по отаве трава растет». Он подарил Терпигореву внезапную надежду, веру в свои силы и несколько вычурный псевдоним. Очень скоро безвестный Терпигорев прогремел на всю Россию под именем Атавы своими превосходными очерками.

«До чего же велика и неохватна русская литература, — внезапно умилился Лесков, — если такой талант, как Терпигорев, не принимается в расчет вершителями литературных судеб! Да и сам он отнюдь не по-ноздrevски, с трогательным смирением считает себя журналистом, а не художником слова. А ведь в первоклассных западных литературах автор под статью Терпигореву был бы ох как на виду! В Германии он наверняка памятника бы удостоился, во Франции стал бы одним из бессмертных, а в Англии — каким-нибудь баронетом. Хорошо звучит: баронет Терпигорев или баронет Атава! И стоит этот несбывшийся баронет на углу Невского и, ничуть не сокрушаясь несоответствием своего дара с признанием, довольный собой, заведшимися свободными деньжонками и еще не отказавшим пищеварением, прикидывает, где бы и с кем бы почесать языки за графинчиком холодной водки и острой закуской. Ах, русские, русские люди, неведомо для самих себя и не гордо несете вы в смутном существе своем громаду российских просторов, неохватную ширь вскормившей вас земли. Потому все так крупно в вас: достоинства и пороки, талант и небрежение им, буйство ума и умственная лень, размах и щедрость...»

Терпигорев, озиравший Невский, прохожих и экипажи, тоже заметил Лескова и не шагнул, а колыхнулся ему навстречу, родив ветер. Друзья сердечно поздоровались.

— Совершил обход гостинодворской сокровищницы? — сказал Терпигорев, увидев сверток в розовой бумаге. — Никак, зуб Бориса и Глеба отыскал? — загрохотал он звучным аппетитным хохотом.

Но Лесков даже не улыбнулся. Он не любил шуток над своими коллекциями и приобретениями, к тому же пребывал отнюдь не в смешливом настроении. Он насупил брови и опустил сверток в карман пальто, сразу некрасиво отвисший. Не дождавшись ответа, Атава расценил поло-

жение как угрожающее и прибеж к безошибочному приему — сделал предметом насмешки самого себя.

— А я вот приобрел кое-что для своей библиотеки, — сказал он нарочито серьезным тоном. — Шато-Латур издания 1871 года. Не желаешь ли почитать?

Лесков ухмыльнулся. На полках «библиотеки» Атавы вместо книг стояли бутылки коллекционных вин.

— Как-нибудь в другой раз, — сказал Лесков. — Не в духах я нынче, Сергей Николаевич. Уязвлен многими бедами и несчастьями.

«А когда ты не уязвлен? — подумал Атава. — Сколько я тебя знаю, любезный друг, вечно ты уязвлен, отягощен, раздавлен и чуть ли не насмерть убит бесчисленными «вредами». Газетчики и критики, литературные друзья и недруги, домашние и близкие, киевская родня и родня кагарлыцкая, братья и старушка матушка. Лампадоносцев и Георгиевский, редакторы и цензоры, церковники и нигилисты, домовладельцы и прислуга, колыванские бароны и эзельские члены-советники купального комитета, женщины и дети — все сговорились довести твою большую печень до угрожающего раздутия, как у огорченного розгами налима в трактирном садке. Но ты все же справляешься, друг, и с настоящими, и с мнимыми напастями. Объяснил бы мне лучше, как это, находясь в непрестанном борении с окружающими и видя сквозь увеличительное стекло все изъяны человеческих душ, создаешь ты своих праведников, подвижников, святых чудаков, чистых сердцем Голованов, Ахилок, Туберозовых, плодомасовских карликов? И богатейшей земли русской, вроде очарованного странника Флягина или рваненького гениального Левши? И я, давно узнавший всему цену и за версту чующий малейшую фальшь, расчет, обман, подтасовку, разоруженный и растерянный, реву как белуга, над твоими вымыслами?»

Терпигорев знал, что Лесков ждет расспросов о своей кручине, и предусмотрительно помалкивал. Слушать о чужих горестях приятно, когда они не вымышлены. В противном случае ты понимаешь, что человек с жиру бесится, и тогда сочувствие — деланное — дается с мучительным трудом. А Терпигореву не хотелось утруждать себя в такой погожий, ласковый и, увы, прощальный летний денек.

Мимо прохромал чиновник в заношенном вицмундире и порыжелых стоптанных сапогах.

— Ишь, ленивая скотина! — вскользь бросил Лесков,

провожая взглядом хромца. — В левом сапоге гвоздь вылез, так будет мучиться, стервец, а гвоздя не забьет.

— Господь с тобой, Николай Семенович! — даже несколько возмущился Терпигорев. — Впервые видишь человека и сразу осуждаешь. Может, он от рода калечный, или на войне раненный.

— Ты это серьезно говоришь? — сверкнул глазами Лесков.

— Конечно, серьезно.

— И ты не видишь, как он ногу ставит? Прямо и ровно, а под укол схиливает. У калеки вся походка сбитая, но на свой лад привычная, устоявшаяся, а этот обормот только еще прилаживается к гвоздю.

Почему-то Терпигорев сразу поверил, что так оно и есть, и впервые не то чтобы с досадой или завистью, а с каким-то грустным удивлением подумал о том, насколько разны видят они с Лесковым окружающее. Вот он заметил хромца и бегло пожалел, а Лесков проглянул до гвоздя в сапоге и с тем открыл совсем иной душевный пейзаж прохожего. И сколько бы подобных различий обнаружилось у них, делись они наблюдениями над промельками уличной жизни! Но Терпигореву такие вот послы из окружающего были вовсе без пользы, вся его литература строилась на осведомленности, на доскональном, точном, обширном и глубоком знании предмета. Творчества у него кошки на лизок. Лескову же достаточно малой вспышки, чтобы начать творить — не подобие действительности, а собственный мир, оваянный необъяснимой красотой. Он тоже знает жизнь, но главная его сила — мгновенно добираться до гвоздя в сапоге...

— Что-то лазурными гусарами запахло, — сказал Лесков.

Терпигорев диковато глянул на него. Каким бы пронзительным зрением ни обладал автор «Соборян», он все же не мог видеть спиной. А именно со спины Лескова подошел Коростенко, о котором поговаривали, что он служит в полиции. «Лазурными гусарами» с легкой руки Лескова называли в Петербурге жандармов — по небесно-голубому цвету мундиров. Неужели нюх Лескова был так же остер, как и зрение? Сам Терпигорев, сколько ни силился, не мог уловить никакой новой струи с появлением Коростенко. Все так же пахло рекой, нагретым камнем, конским навозом. Но Лесков утверждал, что после посещения Третьего отделения, куда его вызвали пять лет назад в

связи с изобретенным им способом запечатывать письма, он чуть не целую неделю «вонял жандармом». Лескову показалось — не без оснований, — что его письма перлюстрируются. Тогда он заказал одному умельцу с Васильевского острова печатку с надписью: «Подлец не уважает чужих тайн» и стал ею — по сургучу — запечатывать свои письма. Чины «черного кабинета» оскорбились, и в результате Лескову пришлось навеститься на Гороховую. «Сил нет, — долго спустя жаловался писатель, — и в бане парился и ванну хвойную что ни день принимаю, а все жандармом несет».

Терпигорев относил это за счет обычных лесковских преувеличений, того грандиозного вздора, до которого был люто охоч писатель. Да неужто сейчас на Лескова впрямь пахнуло полицейским участком? Быть того не может! Если уж принюхиваться к Коростенко, то почувешь раздушенного и напомаженного петербургского хлыща, а никак не полицейского. И все же Лесков угадал!

Коростенко поздоровался с развязно-искательным видом человека, знающего, что его присутствие нежелательно. Лесков что-то буркнул в ответ, но не поклонился. Его сильное лицо напряглось и потемнело, и Терпигорев открыл в своем друге неожиданное сходство с Иваном Грозным. «Если бы ему похудеть, подсушиться, был бы вылитый Иван Васильевич!» — со вкусом решил Терпигорев.

Лесков был причастен к появлению Коростенко на околотитературном горизонте Петербурга. Мать этого человека находилась в свойстве с популярным доктором Алферьевым, дядей Лескова, у которого будущий писатель нашел приют в счастливую киевскую пору своей жизни. Студентом Коростенко печатал стишки в обличительном духе, за что был выгнан из университета. Попытавшись жить от журналистики, он скоро понял, что фортуны надо ловить в столице и прибыл в Петербург с рекомендательным письмом Алферьева к уже набравшему литературного веса племяннику. Лесков, и вообще-то охотно помогавший молодым, действовал тут с особой горячностью. Сохранив благородное и недоброе воспоминание о гостеприимстве дядюшки, поселившего его во флигельке своего поместительного дома, но забывавшего приглашать к обеду, Лесков хотел сполна рассчитаться за приют, да и собственную гордыню потешить. Поэзии Коростенко он сочувствовать не мог, тем не менее открыл ему дорогу во многие

газеты и журналы. Коростенко оказался человеком цепким, вскоре его уже знали в Петербурге и в Москве. Особой популярностью он пользовался у студентов. Но ведь от стихов, к тому же обличительных, не построишь палат каменных, между тем с некоторых пор Коростенко стал жить более чем достаточно: квартиру изрядную у Пяти углов снял, обзавелся модным платьем, столовался в дорогих трактирах. И в обществе дружно заговорили, что он служит в полиции.

Будучи от природы человеком незлобивым, но из беспокойной породы остромыслов, Терпигорев не без удовольствия ждал и кисленького и соленького от встречи Лескова со своим протеже.

Коростенко был очень высок и худ, с маленькой головой. Его фигура утончалась, уходила ввысь, как в перспективу. На лице не хватало кожи, и, улыбаясь, он обнажал весь оскал — нижние и верхние десны и два ряда частых, мелких, очень белых зубов. То и дело оскаливаясь, Коростенко поведал, что в подражание «высокочтимому иересиарху» Николаю Семеновичу он создает сейчас нечто в «божественном духе».

— Евангелие от Иуды, — мрачно уронил Лесков.

Терпигорев ухмыльнулся, довольный, что его ожидания начинают сбываться. Над бархатным воротником уходящего вверх узкого английского пальто Коростенко возник оскаленный череп и задержался в несмыкающейся судорожной усмешке.

Коростенко, видимо, ждал развития боевых действий, но почему-то очередного удара не последовало. Лесков надулся, притемнился, и Терпигореву почудилась в нем тайная лютая печаль. Он хотел было сам приняться за Коростенко, зная прекрасно, что человека, совершившего такую метаморфозу, все равно ничем не проймешь и даже не обидишь, разве что слегка всполошишь чисто практической заботой: не помешает ли рассекреченность столь удачно начатой службе, — но Коростенко опередил его.

— Достославный муж Гатцук, — сказал он, ломаясь, — затеял серию литературных акафистов и привлек к сему мя, грешного. В великом сумлении пребываю, с кого начать, кто более других достославных возвысил на святой Руси наше дело.

— Ваше? — переспросил Лесков. — Фаддей Венедиктович Булгарин. С него и начинайте.

Терпигорев хрюкнул от удовольствия. Коростенко же

поступил простейшим способом. Он изо всех сил замахал проносившейся мимо карете, будто увидев знакомых, и, буркнув: «Честь имею!» — кинулся вдогон журавлиным шагом.

— Интересный сюжетец, — сказал Терпигорев, — от обличительного стихотворца до полицейского агента.

— Сюжетец весьма пошлый, — сказал Лесков, и опять на собеседника пахнуло грустью и подавленностью. — Таких совместителей завалишь, и не только среди поэтов. Не задалась судьба, не пошло дело, где хочешь, в литературе, науке, журналистике, практической деятельности, капиталов нету, а жить хочется и бес тщеславия одолевает, чего же проще и удобнее — доноительство. Платят хорошо и на всякие там грешки в либеральном роде сквозь пальцы смотрят. Кстати, вот тебе сюжет куда оригинальнее — из агентов в литературу.

— Нежизненно. А сколько, по-твоему, получает Коростенко?

— Булгарин и Греч подняли цену на литературный донос. Получает достаточно. Бог с ним... Пойду я, Сергей Николаич, — сказал Лесков с тяжелым вздохом и тем же выражением подавленности, что уже дважды было подмечено Терпигоревым. — До лучших дней.

Терпигорев задержал его руку.

— Здоров ли, Николай Семенович? — спросил он участливо. — Какая хвороба тебя снедает?

— Телом я здоров, — утрумо проговорил Лесков, — а духом сломлен. Сын у меня не удался. И нет ничего горше и язвительнее для родительского сердца — видеть, что твой единственный, в муках рожденный сын — дрянь и ничтожество.

Поразительное признание не сразу дошло до Терпигорева своей главной сутью в силу глубочайшего наслаждения — комического и психологического, — доставленного ему выражением «в муках рожденный». Это было так отменно по-лесковски, что у Терпигорева аж дух перешибло, словно на руки пришли одни козыри. Расставшись с матерью Дронушки, Лесков, видимо, лишил ее доли участия в создании сына. Это он сам, единолично, в муках рожал Дрона. Это его корчило на смятых простынях под жесткими и ловкими руками повитух. И Терпигорев мог бы поклясться, что, произнося слова о муках, оплативших появление на свет Дронушки, Лесков испытывал терзающие женские боли в крестце и чреве.



Пережив в себе чуть стыдную в данных обстоятельствах чисто художественную радость, Терпигорев вспомнил и о прекрасном сыне Лескова, семнадцатилетнем Дроне, умном, ласковом, терпеливом, не по годам серьезном. Ему вроде и восьми не было, когда родители расстались. Едва шагнув в пору отрочества, Дронушка взвалил на свои слабые плечи заботу о доме, об удобствах — и внешних и внутренних — отца-писателя. Поиск квартиры — у Лескова была страсть к перемене мест, — переговоры со швейцарами, дворниками, истопниками, непрошеными визитерами, улаживание неловкостей между отцом и матерью, а также дочерью Лескова от первого — скорбного — брака Верой, и от многих иных докук освободил Дронушка капризного, нетерпячего, безудержного и в гневе и в самоистязаниях отца.

Он примерно учился, был примерного поведения, но стоило ему чуть оступиться — с кем не бывает? — как отец мгновенно отбрасывал устав мужского равенства и без малейшего угрызения совести посылал кухарку в дворницкую за розгами. Но у мальчика было прекрасное сердце, и, хоть что-то там твердело, ссыхалось в незабвении горькой и несправедливой обиды, он не переставал любить и даже жалеть отца. Поразительно было, с какой нарочитой жестокостью наносил Лесков удары по хрупкой психике молодого, доверчивого, не обросшего защитной коркой существа. Для своих самодурных опытов он выбирал непременно либо день ангела сына, либо какой-нибудь умилительный праздник, либо мгновения полной разоруженности юной души, безошибочно им угадываемой. А ведь он по-своему любил сына. Он, порвавший последние слабые связи с киевским кланом Лесковых, с дряхлой матерью, сестрами, вычеркнувший из души жалкую дочь Веру, обвинивший бывшую жену, мать Дронушки, в гибели своего семейного счастья, хотя не было сомнений, что погасил домашнюю лампу сам Николай Семенович, не терпящий никаких уз, обязательств, кроме велений творческого духа. Но и с единственной привязанностью к сыну что-то случилось, и здесь закрутило, закорчило крутого человека. Неужели и деликатный Дронушка неведомо для себя встрял между Лесковым и письменным столом с побитым молью, закапанным свечным воском и ламповым керосином старым зеленым сукном? И понадобилось избавиться от него, вытолкнуть вон из внутренних пределов, чтобы там беспомешно гуляли умственные и духовные вихри.

«Черт бы побрал эти больные таланты!» — бесился про себя Терпигорев. Буревое, темное, непреклонное лицо Лескова делало безнадежным всякие попытки разубеждения.

— Опять в печенях припекает? — сказал без улыбки. — А я был бы счастлив, будь Дронушка моим сыном.

— Что ты знаешь о нем? — с невыразимой горечью сказал Лесков. — Ты видел сейчас этого бывшего молодого человека? Видел, какой дрянью вырастают забалованные сынки?

— Николай Семенович, опомнись, при чем тут Дрон? И чего ты равняешь своего парня со всякой мразью?

— Себя я должен казнить!.. Себя!.. — Лесков прижал крепкий кулак к полиловевшей рогатой вене на виске.

Почему такие люди, как Лесков, вечно готовы казнить себя, но казнят других и обычно самых близких? Помолись, Дронушка, тебя ждут серьезные испытания. Так вот отчего туманился наш крутохват, когда тут терся Коростенко! Он Дронушку к нему примерял. Надо же!.. Неужто могут сочетаться в одном человеке такая прозорливость, что гвоздь в чужом сапоге видит, с такой слепотой к самому родному?

Расстались писатели не то чтобы холодно, а как-то недоуменно, словно не понимая, почему вообще так долго были вместе. Лесков, кинув трость вперед и опершись на нее, как на посох — Терпигореву сразу вспомнился посох, каким Иван Грозный поразил висок сына-царевича, — перешел Невский, а Терпигорев взял путь через Аничков мост к знаменитому трактиру Палкина.

От тяжелого неуютта и черных ветров, нагнанных крутым человеком, ему захотелось в тепло и приятельство, захотелось чего-то хорошего для себя. Удобно устроившись на мягком плюшевом диванчике в славно протопленном малом зале трактира, он заказал графинчик водки, зернистой икры, балыка, уху с расстегаями и бараний бок с гречневой кашей. Музыкальный ящик тихо наигрывал «Не пробуждай воспоминаний», весело потрескивали сухие березовые дрова в камине, и калориферное тепло казалось родившимся от живого яркого огня. Многие посетители кланялись Терпигореву, другие отзывались на присутствие известного, но лично незнакомого писателя лестным округлением глаз. Хорошо все-таки, что он поверил Некрасову и вновь взялся за перо, выпавшее было из потерявшей уверенность руки. Зазеленела молодая трава по выкошенному

полю. И тут из голубоватого табачного воздуха будто выплыл тревожный и грозный всевидением, всеслышанием, произволом чувств, страшный и неподсудный образ злого колдуна-медууста, и меланхолически вздохнула душа: да, растет трава по отаве, только какая это трава!..

Лесков вернулся домой, и первое огорчение постигло его прямо на пороге. Прихожая тонула в клубах кухонного дыма. Эта вообще-то удобная, славная квартира отличалась одним недостатком — даже при открытых в кухне окнах смрад и чад проникали в прихожую, а оттуда разносились по комнатам. Прихожая словно вытягивала, высасывала из кухни все миазмы. Приходилось отпахивать на ширину медной цепочки входную дверь, чтобы гастрономический дурман утекал в лестничную клетку.

Огорчение Лескова было вызвано не привычным чадом, а тем, что он крепко отдавал жареными куропатками. Ничто так не любил знающий толк в яствах писатель, как жареных серых куропаток. Он предпочитал их не только грубоватым тетеркам или изысканным с пригоречью рябчикам, но и нежнейшим, тающим во рту кроншнепам и гаршнепам. Кухарка знала его слабость и частенько с отменным искусством готовила куропаток в сметане, с мелко наструганным, жареным в масле картофелем. Особенно часто заманчивое блюдо стало подаваться на стол в последнее время, когда он громогласно заявил, что грешно и гадко есть убоину. Не из угождения кумиру своему Толстому решил он отказаться от рыбы и мяса, просто не мог дробить зубами плоть и кости созданий божьих. Ну если оставаться до конца честным, отвращение его к мясной пище было пока еще скорее духовного, нежели физического толка. И кухарка, будто нарочно, подвергала его решимость, не поднявшуюся до фанатизма, чудовищным испытаниям. Он устоял вчера перед аппетитными свиными голяшками с гороховым пюре и хреном, перетертым со свеклой, хотя желудок плотоядно бурлил соками, и, давясь, поел творога с овощами, а сегодня чертова баба страшнее придумала пытку. Сквозь густой, пьянящий аромат дичи он пронюхал и другой запах, ранее навестивший прихожую, — жареной телятины. Стало быть, на закуску подадут холодную телятину в коричневом дрожашем желе. Ах, канальство! Человек суеверный мог бы подумать, что кухарка подслана вражьей силой, дабы помешать спасению прозревшей истину души.

— Дядя, а к тебе гость пришел, — послышался голос сиротки.

Лесков вздрогнул. Слово «гость» в невинных устах малютки могло означать кого угодно — от нищего до ближайшего родственника, только не того единственного визитера, которого ждал Лесков со всем нетерпением гнева. О Дроне сиротка, как-то недобро выделяя его среди всех, говорила Лескову «твой».

Гость и сам объявился в прихожей, то был Николай Петрович Крохин, просто Петрович, муж младшей сестры, умственная и душевная скудость которой искупалась — частично — обезоруживающей детскостью и наивностью. К сестре Лесков был снисходительно прохладен, а вот мужа ее, скромного акцизного чиновника, привечал из всей родни.

А между тем не было на свете столь противоположных натур, как страстный, гневливый, причудливый фантазер Лесков и тихий, застегнутый снаружи на все пуговицы, а внутри добрейший сборщик неокладных налогов. Впрочем, чему тут удивляться? Антиподы всегда легче сходятся и уживаются, нежели скроенные по одной мерке, — угол не ударяется об угол, а находит спасительный паз.

Несмотря на испытанное разочарование, уж больно не терпелось сорвать сердце, Лесков почти обрадовался зятю. Будет и отдушина для гнева, и сотрапезник, ежели грешный сын не явится в пустой и глупой надежде избежать заслуженной кары. Да и не жалко скормить милому Петровичу всю запретную благодать—телятину в желе и жареных птичек.

— Хорошо, что заглянул, Петрович, — ласково сказал Лесков. — Неважные у нас дела, брат.

— А Дронушка где? — сразу попал в цель Крохин.

Лесков не ответил, только махнул рукой...

Меж тем виновник терзаний крутого человека, не ведая беды, счастливый и радостный, мчался к отцу, чтобы поделиться своей великой удачей. Но не будем заниматься пересказом того, что навечно врезалось в мозг и сердце Андрея Николаевича Лескова и через полстолетия было вверено бумаге с исчерпывающей полнотой и точностью ничего не забывшей и едва ли простившей памяти.

«В 1855 году на выпускных экзаменах я потерпел неудачу. Чтобы сберечь год и успеть попасть затем в какое-нибудь высшее учебное заведение, я решил держать их снова осенью...

31 августа, в первом часу дня, «на крыльях радости», точнее, на хорошем извозчике, поощренном обещанием

лишнего двугривенного, я примчался на Сергиевскую и, пулей взлетев в отцовский кабинет, не поздоровавшись толком с оказавшимся почему-то здесь же Крохиным, торжественно положил перед отцом только что выданный мне желанный аттестат от 29 августа за № 1583. Им удостоверялась моя среднеобразовательная зрелость и подготовленность к постижению дальнейшей учености.

С первого взгляда я понял, что отец встал сегодня «под низким барометрическим давлением»... Пробежав свидетельство с подробным перечнем баллов, полученных мною по всем предметам, он пренебрежительно бросил его в сторону и, вонзив в меня гневом зажегшийся взгляд, жестко произнес:

— Ну и куда же ты теперь с этим сунешься?

Как ушатом ледяной воды смыло с меня всю радость, нашел столбняк.

— Я спрашиваю тебя, — продолжал отец, — что с этим делать дальше? На что оно годится? Куда сейчас с ним идти?

— Как куда? — едва приходя в себя, заговорил я. — Этот аттестат открывает мне все двери. Он дает мне право на поступление в высшие гражданские институты, в Лесной, Петровско-Разумовское в Москве, в высшие военные училища, позволяет быть допущенным к конкурсным испытаниям в специальные технические институты исключительно по одним математическим предметам.

— Я этого не вижу!

— Николай Петрович, — умоляюще повернулся я к Крохину, — прочтите, пожалуйста, то, чего не видит здесь мой отец.

— Я вижу то, что мне надо видеть, и с меня этого довольно! Куда тебя примут с этим сию минуту?

Я начал перечислять институты.

— Там экзамены уже в разгаре, и тебя там ждать не собираются.

— Тогда буду держать в будущем году.

— Это значит еще целый год болтаться без дела?

— Но ведь туда же иногда держат по нескольку раз!

— Я этого не допущу. Найди себе немедленный выход.

— В таком случае в Константиновское, в Николаевское кавалерийское...

— Это еще что за пошлость! Чтобы твоя драгунская лошадь... моим горбом заработанные деньги? — на лету

подхватил он последнее, пропуская мимо ушей все остальное. — Ты упустил время. Сейчас везде все вакансии уже заняты, и ты везде останешься за бортом!

— Вы глубоко ошибаетесь. Довольно вам проехать в Главное управление военно-учебных заведений, и по вашему прошению я буду принят немедленно, так как занятия еще не начались, а некоторое количество вакансий всегда имеется в распоряжении этого управления.

— Куда это еще и зачем я должен ехать! Перед кем это унижаться? Кого просить? В твои годы я сам пробивал себе путь лбом, а не отцовскими хлопотами. Довольно! Я вижу положение всех вернее: тебе осталась одна дорога, единственная, которая подбирает всякую дрянь, — в солдаты! Но этого я видеть не могу и не желаю. Ты поедешь в Киев, к дяде Алексею Семеновичу, и пусть он там тебя обряжает в достойный тебя убор. Но, повторяю, мне это видеть мерзко и не полезно моему здоровью и духу. Собирайся и отправляйся!..»

Повесив голову, Дрон вышел.

— Что скажешь? — Лесков повернул к зятю красное, с раздувшимися на висках и высоком лбу венами, бодрое, почти веселое лицо.

«Неужели он актерствовал? — с тоской подумал Крохин. — Да нет! Это у него искреннее... боевой подъем духа».

— Князь тьмы Талейран говорил: бойтесь своих первых движений — они самые благородные.

— Экий человекознатец! — восхитился Лесков. — В самую точку!.. — Но уже в следующее мгновение он диковато покосился на Крохина, словно усомнился, что тот действительно произнес эту фразу, ведь Петрович ничего не читал, кроме «Нивы», а там едва ли встретишь высказывания Талейрана. Да и привел его Крохин вроде бы ни к селу ни к городу.

Но Крохин решил удивить его еще больше:

— Тебе много опасаться надо, Николай Семенович, у тебя первое движение — самое ужасное.

И снова удивление перебило в душе Лескова всякие другие, более естественные для него чувства. Вместо того, чтобы осадить зарвавшегося родственника, он сказал с усталым вздохом:

— Что ж... Всяк своему нраву работает...

Но быстро справился с внезапной слабостью.

— А с чего ты взял, что это первое мое движение? — сказал он опасным голосом.

— А-а!... — вроде не очень удивился Крохин. — Стало быть, все заранее решено было. И Дронушка зря тут распинался... Грустно это, Николай Семенович, ох как грустно!

— Ну, не твоей дряблой доброте меня судить! — воскликнул Лесков.

Николай Семенович видел в Крохине лишь расслабленную, а потому и малоценную доброту, опирающуюся на крайнюю ограниченность. Доброты — врожденной и неколебимой — было и в самом деле хоть отбавляй. Но этим не исчерпывалась сущность Николая Петровича Крохина. Был еще ум — неигристый, с ленцой, но прочный и ясный русский ум, сообщавший поведению сборщика налогов никому не ведомое величие, ибо он все знал про окружающих. Он знал куриную глупость и беспомощность своей жены Ольги Семеновны, но, жалеючи, списывал ей все промашки, неловкости, бестактности, обиды, и неприятная семейная жизнь их была счастливой. Он приехал в Петербург, исполненный безмерного преклонения перед своим знаменитым зятем, и, познакомившись с ним, ничего не утратил в своем высоком отношении, хотя и сделал одно удивительное открытие: кое в чем, например, в оценке близких людей и многих бытовых обстоятельств, тот недалеко ушел от своей малоумной сестры. Крохин, как и большинство нелитературных людей, наивно полагал, что писатели — величайшие человекознатцы. Читая Лескова, он восхищался не только красотой, картинностью описаний, но и тем, что тот все про всех понимает. А познакомившись ближе, обнаружил, что волшебник слова даже про своих домашних понимает все вкривь и вкось. Странное, «печеночное» отношение к людям закрывало истину. Случались, разумеется, ошеломляющие прозрения, открытия, непостижимые угадки, но то были лишь яркие вспышки в густом тумане, заволакивающем дневное зрение души. Оказывается, писатели *знают* придуманных ими людей, и все понимают про них, тонко выводят каждый внутренний ход, определяющий тот или иной поступок, а в окружающих — живых, дышащих, томящихся, смеющихся, горюющих, радующихся, рассеянных, добрых, страдающих мигренью и несварением желудка людей — могут ничегошеньки не понимать. Слепота Лескова объяснялась, конечно, не глупостью, но, коли тебя вечно «ведет и корчит», откуда взяться спокойной и трезвой оценке?..

И Крохин стал жалеть гениального зятя почти так же, как и недалекую жену. В мягком климате его доброты и Ольга Семеновна казалась не глупее людей, и зять иной раз отбрасывал свое зломнительство, заставлявшее его в великой скорби восклицать по Иисусу: «Враги человеку — домашние его!» Но было в Крохине то умное смирение, что предохраняло его от губительных попыток силой своей доброты и ясновидения изменить ущербную суть одной и мучительную суть другого. Он знал, что, кроме беды и крушения, с трудом созданного равновесия, ничего из этого не выйдет. Оставалось жалеть, умяляться, поддакивать, иногда молчать.

Но сегодня он впервые не мог ни поддакивать, ни просто молчать. Жалость к юноше пересилила жалость к слепому отцу. Все разрушил этот человек вокруг себя — прочное семейное здание заменил карточным домиком с придуманной сироткой, но оставил ему господь в неисчерпаемой доброте своей среди всех мнимостей одну истинную ценность — благородного, умного, доброго сына. И с ним он разделался беспощадно. А за какие, спрашивается, грехи? На экзаменах провалился — с кем не бывало? Да и выдержал он нынче эти проклятые экзамены, аттестат получил. Танцевать любит? Тоже преступление! Сам нешто не отплясывал с девками на венской площади? Да что там танцы! А кто в Киеве, на Андреевском спуске, с саперными юнкерами в кровь дрался? Не из сплетен знал об этом Николай Петрович. Сам Лесков в некий добрый час, подкрепившись за ужином густым и пряным самосским вином, умиленно вспоминал о горячих днях своей юности, а потом добавил с улыбкой: «Иной раз обожрешься журнальной руганью и думаешь: чем на бумаге сквернословить, сам бы оплел десницу сыромятной кожей. А ну, выходи, кто кого? Покажи, чего стоишь! Руби в песи, круши в хузары! Ух, хорошо!» — И, схватив камышовую трость, принялся со свистом рассекать воздух, и лицо у него стало молодое и отчаянное, как в далекие киевские дни.

Впервые осмелился Николай Петрович выразить неодобрение поступку Лескова. Он думал, что скорый на расправу шурин попросту выставит его за дверь, но у того, видать, были иные намерения. Вообще-то не слишком нуждающийся в одобрении окружающих, он почему-то на этот раз хотел склонить зятя к моральному соучастию в учиненной расправе над сыном. Так во всяком случае расценил его околичности Крохин. И когда возникла пауза, он сказал с тихим упорством:



— Уволь, Николай Семеныч, чужому человеку нечего меж отцом и сыном встречать.

— «Встречать»? — гневно повторил Лесков. — Кто тебя просит встречать?.. Ты рядом стой, со мной рядом.

— Уволь... — пробормотал Крохин.

Окажись в Лескове раскаяние, боль, он бы немедленно пожалел его своим большим и тихим сердцем, но тот, похоже, не только не раскаивался, а торжествовал, будто подвиг какой совершил. Мелькнувшая было в нем грусть истаяла без следа. Не оправдания, не одобрения ждал старый печенег, а *восхищения* своей лютостью.

— Да что ты заладил «уволь», «уволь»!.. Не уволю! — зять попробовал бунтовать, а всякий бунт следует подавлять в зародыше. — Вот что, завтра ты сам отправишь его в Киев.

— Господь с тобой!.. — через силу прошептал Крохин. — Подумал бы...

Глаза Лескова метнули черное пламя.

— Из Ура Халдейского в Месопотамию посылаю я негодного сына к дяде его Лавану, ибо забаловался он и обманывал меня, облакаясь шкурой козьей, — произнес он со смаком.

«Все кончено, — подумал Крохин. — Для дикого и несообразного поступка уже найдена библейская формула. Слабому зрением, но твердому нравом Исааку уподобил себя безжалостный отец. Бедный, бедный Дронушка!»

— Ну, я пошел, — сказал он, подымаясь.

— Оставайся, пообедаем. Предложу тебе тельца упитанного, хотя сам от него вкушать не стану, ибо не приемлю в пищу трупов.

— Не могу. Жена ждет.

— Ах ты фетюк! — расвирипел Лесков, не знавший для мужчины более зазорного слова!

Но с Крохина обидное прозвище стекло, как с гуся вода.

— Одинок тебе будет, Николай Семеныч, — сказал он, подвигаясь к двери. — Ах как одинок!

— Доколе у моего тепла сиротка обогревается, и на меня теплом вея.. — начал в тоне проповеди Лесков и вдруг спохватился, что принижает собственный подвиг: — Думал ли ты, Петрович, что испытывал он, — короткий кивок на аляповатую икону, где на троне небесном в курчавых барашках облаков восседал бог-отец, — когда обрекал сына на смертную муку? Но ведь он знал, что, пройдя

искус, испив до дна чашу, сын вознесется и обретет место одесную него. Я же и такого утешения не жду, да и не желаю... Один?.. Да, один. Даже без согревающей памяти! — И Лесков снова метнул горделивый взор на Саваофа.

«Вот оно что! Да он с господом богом соперничает! — осенило Крохина, и мурашки забегали у него по спине. — Уноси ноги, Петрович, не для тебя такие игры!» — И с восхищением и ужасом оглянул он тучную, но крепкую, литую, с крутой соколиной грудью, борцовую фигуру Лескова. Да, окажись он на месте сына Исаакова, схватившегося в темноте то ли с ангелом господним, то ли с самим господом богом — в библейской мути пойдй разберись! — неизвестно еще, кто бы кому вывернул бедро.

И Крохин без оглядки кинулся прочь...

Обедал Лесков в одиночестве. Дрон не вышел к столу, а распорядиться о приборе для сиротки — девочка частенько разделяла трапезу «дяди», а подавала на стол ее мать — за всеми бурными событиями он как-то забыл. Николай Семенович успешно противоборствовал князю тьмы — не Талейрану, возведенному в этот сан семинарским остроумием Крохина, а извечному врагу человеческого, — за роскошным блюдом холодной телятины и кусочка не попробовал, удовлетворился легким, тающим во рту желе, начисто освободив память о его мясном происхождении, а вот с куропатками казус вышел. Нечистый, несомненно, имел в союзниках кухарку, которая так расстаралась, негодница, что превзошла самое себя. А вот кто взял в союзники самого князя тьмы?.. Лесков метнул быстрый взгляд в сторону аляповатой иконы. Смуглое лицо бога-отца было, по обыкновению, непроницаемо и невыразительно, и все же... Лесков усмехнулся.

Аромат жареных золотистых куропаток дурманил сознание. Им пропиталась вся атмосфера столовой, и сама душа Лескова запахла жареными куропатками. «Ты не сокрушил моего духа и хочешь осилить плоть?» — яростно думал Лесков, изнемогая в жестокой борьбе. Силы были неравны, по одну сторону Лесков и граф Лев Николаевич Толстой, по другую — бог, сатана и кухарка. Численное превосходство обычно решает исход сражения...

Если уж падать, так в пропасть, а не в сточную канаву — он очистил все блюдо, шесть птичек умял прямо с косточками, хрустко прожаренными, оставив на тарелке лишь треугольники грудных килей. И залил птичек бутылкой

подогретого, дабы букет сильнее чувствовался, старого бордо. А потом налег и на любимое самосское вино.

Конечно, расплата не заставила себя ждать. Послеобеденный сон был тяжел, густ, приторен, как старое самосское, и срамен, сон, достойный молодого монашка, а не мужа, отягощенного годами и мудростью.

Послышался тихий шорох.

— Это ты, маленькая? — ласково сказал Лесков и, наугад выбросив руку, поймал тонкое пястье не сиротки богоданной, а ее матери, горничной Кетти. «Какая нежная и породистая рука у дочери перновского домовладельца!» — в который раз удивился Лесков.

Ох, грехи наши тяжкие!

«До чего распустилась! — сердито думал Лесков, когда дверь бесшумно притворилась за Кетти. — Лезет сюда без спроса, словно я кум-пожарный или бравый денщик генерала Шпицберга. Надо будет подыскать другую прислугу. Жалко, что Дрон уезжает, он бы этим занялся. А сиротку я оставляю, взяв у матери расписку, что не будет вмешиваться в ее воспитание. Ну, увидеться раз в месяц — куда ни шло, все-таки мать... Но частое общение с такой особой не может быть полезным для дитяти...»

Потом он долго плескался в ванной комнате, окатывался ледяной водой, растирался одеколоном и махровым полотенцем и вышел посвежевшим, бодрым, внутренне упругим. Пока он мылся, над городом прошла короткая гроза, и стало легко дышать. Лиловатый сумрак, выплывающий из Таврических куш, окутывал город. В стороне залива дотлевал огнистый закат. На улице было тихо, так же тихо было и в доме. Приближался заветный час. Лесков задернул шторы в кабинете, оставив открытым одно окно. Оттуда тянуло прохладой реки и дождя.

Он зажег два пятисвечника на столе, очинил перо.

— Господи! — сказал он всей душою, глянув в темный угол на незримый, лишь угадываемый лик, и осенил себя широким крестом, словно богомаз Северьяныч, приступающий к новой доске. — Не оставь!..

Потрескивали и оплавлялись свечи в медных подсвечниках. Расщепившийся с первым же нажимом кончик пера побрызгивал чернилами, но другого не было, а металлические, скребучие, мертвые перышки Лесков не признавал. Внешняя неопрятность не мешала словам ложиться ровно в борозду. Душа напряглась и выражала себя без околичностей, объяв собой всех одиноких, беспомощных, заплутавшихся между земной юдолью и царствием небесным.

В соседней комнате семнадцатилетний Дрон, сланный отцом в солдаты, глотал слезы, укоряя себя: ты же мужчина, ты воин, ты не смеешь плакать! Но слезы вскипали вновь и вновь — не от предстоящей солдатчины, а от жгучей несправедливости, учиненной над ним отцом.

Несомненно, Лесков был бы крайне удивлен, если б ему сказали сейчас, что по его вине может страдать человеческое существо. Исполненный великой, заливающей сердце любви ко всем малым и сирым, он самозабвенно творил святое дело русского писателя.

Что же, значит, мимо скользнул и канул прожитый день? Нет! Все, чем он был наполнен: Дронушкина участь, умирающий изограф, беспокойные глаза сиротки, цезарийская обрюзглость Терпигорева, гадкое видение Коростенко, бунт Крохина, грозные куропатки, легкость Кеттиной руки, стыд, недовольство собой и злая вера в себя, терзания и муки, все, все входило в *делание* за письменным столом, но преображенное, вознесенное в ранг высшей жизни, справедливости, сострадания, доброты. Тяжки, корявы, неотесаны, грязны камни, взятые для постройки, высоко, воздушно и кружевно сложенное из них здание.

И еще долго, до самой зари, горели свечи в окошке на Сергиевской улице, что не на самом краю, но и не в центре Петербурга, и там, у этого неяркого света, в который раз и все равно наперво могучая творческая сила создавала мир, ничуть не уступающий богу.

Считается, что в тот далекий день Лесков дал русской армии отличного штабного офицера, выросшего в крупного военного специалиста, но лишил русскую литературу первоклассного писателя. Единственная, посмертно изданная книга Андрея Николаевича Лескова — об отце — убеждает, что врожденным даром затейливого, сладко-горького русского сказа был он под стать самому «мудрому мастеру хитростного искусства слова».

Но может ли свободный человек пройти мимо своей сути и судьбы, не стать тем, кем он должен бы стать по очевидным дарованиям? Думается, нет. Скорей всего Андрей Николаевич не дал волю своей подспудной литературности, справедливо посчитав ее «даром напрасным и случайным». И снимем с души Лескова грех, тревожно ощущавшийся им самим, когда он на склоне лет настойчиво и жалко пытался вложить перо в твердую офицерскую руку вполне созревшего и сделавшего выбор сына.

Лучше было бы остаться дома. После утреннего чая, когда Иннокентий Федорович встал из-за стола и церемонным поклоном поблагодарил жену, ему нехорошо — внезапно и как-то слишком уж бесцеремонно — сдавило сердце. Он побледнел, закрыл глаза, проглотил сухую, горькую слюну и сжал пальцами спинку стула.

— Что с тобой? — Испуг жены отдавал усталостью.

Она давно устала бояться за него, устала от его хрупкости, замкнутости, вежливости, за которой проглядывало ровное, спокойное отчуждение, устала от невольного и неослабного давления сильной и запертой на засов внутренней жизни человека, с которым, если верить церкви, была единой плотью и духом единым.

Приступ минул раньше, нежели жена успела накапать лекарство в рюмку. Сердце вырвалось из тенет, как птица из кулака, и обрело волю. Анненский отпустил спинку стула, ласково, но решительно отстранил руку жены с пахучим лекарством и прошел в кабинет. Сердце билось чуть сильнее положенного, но это было даже приятно. Оно трудилось, как старый, износившийся, но все еще прочный, приработавшийся насос, вгоняя кровь в узкие каналцы артерий и вен. Анненский не испытал страха, он давно, еще в юности, узнал, что у него неизлечимо больное сердце. Тогда открытие это было мучительно, но с годами он успокоился. Он жил как все, не думая о своем ущербе, и если избегал излишеств, то не из боязни или слабости, а по здоровой уравновешенности, брезгливо отвергавшей дурман страстей, вина и никотина.

Больное сердце не мешало ему любить и подчинять своей воле людей, работать до изнурения, упоенно творить и плакать над стихами. А вышавнув за половину житейского пути, он твердо уверился, что ему отпущен не мотыльковый, а достойный человека срок, и стал находить даже известное преимущество в хвори, населяющей от рождения его грудную клетку. Он отличался от людей, не имеющих сердечной болезни, лишь тем, что знал, отчего умрет, здоровым же такое знание не дано. Это освобождало от многих страхов. Ну хотя бы — ему не гро-

зил рак. После «Смерти Ивана Ильича» самая мысль о раке стала нестерпимой. Он умрет опрятно и быстро, не измучив ни себя, ни близких, ни сиделок отвратительным, медленным распадом плоти. Истинный классик, Анненский выше всего ценил форму, строгость линии, соответствие сути. Классически строгая жизнь, классически строгая смерть. Он умрет от сердца — это его устраивало. Не от желудка, не от почек, не от печенки и селезенки, не от изъеденных чахоткой легких, от сердца, как и следует умирать жившему полным сердцем. У того, кто умел скорбеть скорбями своего века, сострадать не только близким, а всем страждущим, кто мог заплакать над неведомой старой чухонкой, потерявшей сына, и даже над деревянной куклой, которую потехи ради бросают в водопад Валлен-Коски, сердце должно рано или поздно разорваться.

— Но только не сейчас! — громко произнес Анненский в пустоту кабинета.

Он сказал это строгим, внушительным и глубоким голосом, каким обращался к гимназистам Николаевской гимназии в пору своего директорства.

Этот голос безотказно действовал на гимназистов, даже самых тупых, развинченных, циничных, затрагивая те слои души, которые не бывают до конца очерствевшими в молодых существах. Анненский коротко, по-детски фыркнул. Подобную разоруженную усмешку он позволял себе лишь наедине с самим собой. Сколько же в нем самообладания и самоуважения, если к судьбе, року, тайным силам, отмеривающим человеческий век, он обращается, словно к нашкодившим школярам!

И дабы окончательно задушить в вырвавшемся из груди заклятье мыший писк испуга, он спокойно и задумчиво повторил: «Нет, только не сейчас». Сегодня наконец-то должно было выйти решение о его отставке с казенной службы. Тридцать пять лет жизни отдал он отечественному просвещению, пора и на свободу. Впрочем, с просвещением он не порвет окончательно, будет и впредь преподавать древние языки на Высших женских курсах Раева прелестным, нежным, юным существам, безраздельно принадлежащим настоящему. Но с инспекторской деятельностью покончено навсегда. Следовало бы раньше это сделать, но казалось дезертирством уйти с поста, когда классическое образование подвергается столь ожесточенным нападкам. Слепцы! Они думают, вытеснив гимназии реальными училищами, переделать русского человека в

сугубого реалиста и практика, который немецкую обезьяну наново изобретет. Конечно, глупо в двадцатом веке отвергать науку, инженерии, насущную потребность для людей точного знания. Это нужно и это будет, независимо от того, хотим мы или нет. Но речь идет о другом — о создании ведущего человеческого типа нации, воплощающего ее духовность. Классическое образование сформировало Пушкина с его ясным, дисциплинированным, уравновешенным умом, с его гармоничной, высокой душой. Отмените классическое образование и прощайтесь с мечтой — не о новом Пушкине, второго Пушкина быть не может, но о пушкинском типе человека и художника, до дна русском, но освобожденном от национальной косности и распущенности, равно и от узкого, алчного практицизма, — девятнадцатый век воочию показал, что у славянской горлинки быстро отрастают хищные когти. Коромысло легко плечам, когда оба ведра полны. А если одно пусто, ох как перекосит, переломит девицу-Россию! С отменой классического образования если и не вовсе погаснет, то поблекнет скорбно русская интеллигенция. Технический интеллигент — нонсенс. Интеллигент — это Сократ, Сенека, Цицерон, а не специалист по паровозным топкам.

Завтра он велит отдать старьевщику свой порядком заношенный вицмундир. Действительный статский советник Анненский — отныне частное лицо. Немного педагог, немного журнальный критик, впрочем, не исключено, что он примет предложение возглавить критический отдел «Аполлона», немного переводчик, во всяком случае, до выхода всего русского Еврипида, и поэт, поэт, поэт! Прежде всего поэт, наконец-то поэт! Будет предан забвению Ник. Т-о — бездарный псевдоним, под которым вышла его единственная тощая книжка стихов «Тихие песни», — и с открытым лицом на суд читающей публики выйдет Иннокентий Анненский. «Кипарисовый ларец» — он назвал свой новый сборник в честь потемневшей от времени, полированной шкатулки из кипарисового дерева, с вензелем на крышке, где хранились его рукописи, — вручен утром сыну Валентину для приведения в порядок и подготовки к печати.

На сына можно положиться, он человек аккуратный, воспитанный в строгой дисциплине, к тому же и сам не чужд муз. «Кипарисовый ларец» в надежных руках. Словом, начинается новая жизнь... Анненский улыбнулся, затем негромко рассмеялся, приложив пальцы к полным,

под мягкими усами губам. Ему вспомнилось диккенсовское: «Утешительно было слышать, что старый джентельмен собирается начать новую жизнь, так как было совершенно очевидно, что старой ему хватит ненадолго». Как и всегда, точно воспроизведенная в уме цитата доставила Анненскому удовольствие. Радовала сохранившаяся свежесть памяти, да и вообще у него было пристрастие к цитированию — и к буквальному, и в духе перифразы. Разве не раскавыченной цитатой из пушкинской «Телеги жизни» были последние строки стихотворения «Опять в дороге»? А разве сам Пушкин не процитировал старого, всеми осмеянного пииту, князя Шаликова: «Ямщик лихой, седое время»?..

Подобные легкие, необязательные и, в сущности, пустые мыслишки нередко навещали Анненского после сердечного приступа или когда надвинувшаяся боль, словно отогнанная ветром грозовая туча, проходила стороной, и были выражением его скромной радости, что позволено жить дальше. Вообще же Иннокентий Федорович не давал попусту шалить своему мозгу, всегда нацеленному на серьезное размышление либо творчество.

За окнами кабинета тускнел серый, с прижелтью, куций декабрьский денек, что выгорает, так и не вспыхнув, часам к трем пополудни. Наступала самая печальная пора в Царском Селе. Сиротливы, голы и черны деревья, съжились настывшие, но еще не забранные льдом воды, заперты в деревянные ящики мраморные парковые статуи. Но грех жаловаться. Осень по гнилому петербургскому климату выдалась на диво. Дожди отслезились в начале ноября, раз-другой необлетевшую жестяную сирень и жухлые травы подсолило утренником, затем установилась сухая, острая от ровного натяжения северо-восточного ветра погода, температура держалась около нуля. Случалось, в серо-сизой слоющейся массе облаков распахивались голубые расщелины, и тогда вспыхивал золотом купол Екатерининского собора, оживали тяжелые, замороженные воды каналов и прудов, красиво смуглела палая листва у поребрика тротуаров. Но голубизна быстро задергивалась, тусклый сумрак вновь окутывал улицы, деревья, воду, небо. И мучительно хотелось весны, не мартовской черноветровой, а теплой, чистой, майской, с лопнувшими почками, нежной травой, блистающими чуть не до полуночи днями. Что ж, когда-нибудь весна придет, и он встретит ее небывало свободный, раскрепощенный от службы, бу-



маг, нудных разъездов по непролазной Вологодчине, промозглому Олонецкому краю, — поэт, вовсе поэт, а не поэт-чиновник, стыдливо маскирующий самое важное в себе.

А среди дня ему вдруг почудилось, что не для него придет эта весна. Он и сам не знал, с чего началось. Он только что выправил одно из самых своих любимых стихотворений — «Старые эстонки» и с удовольствием повторял вслух превосходное — теперь уже по самому строгому счету — четверостишие:

Спите крепко, палач с палачихой!  
Улыбайтесь друг другу любовью!  
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,  
В целом мире тебя нет виновней!

Больная совесть! Она никогда не давала покоя Анненскому, казалось бы, столь надежно защищенному от толчков жизни своими классическими пристрастиями. Но этот классик, этот штатский генерал был человеком с содранной кожей. Кровавый 1905 год не выболел в нем, стоящем по близорукому мнению окружающих, над схваткой. Старшеклассники его гимназии участвовали в молодежных волнениях. Он стал их защищать и поплатился педагогической карьерой. Его лишили директорства и отстранили от преподавания. Но совесть не приняла этой подачки. В душу, в мозг, в сон неотвязно стучались старые эстонки, матери расстрелянных в Ревеле, на Новом рынке, молодых рабочих. Что он Гекубе, что она ему? — это не риторика, а изначальный вопрос человеческой этики. Ответ был в самом важном и мучительном его стихотворении-признании. Палачи могут крепко спать, они не ведают, что творят, но нежные, кроткие, тихие, все понимающие люди, не способные сжать в кулак тонкие пальцы, дабы помешать злу, — вот кто виновен! Сегодня наконец-то чувство стало словом. Видно, обострившаяся сила переживания и дала эту тяжесть в грудной клетке.

И прошло какое-то время, прежде чем он убедился в грубой физической природе боли. Грудобрюшную преграду будто зажало в тиски. Неужели и туда отдает сердце? Он знал ноющую боль в руке, лопатке и под лопаткой, но сейчас творилось что-то новое и страшное. Его словно заперли в этой боли, как в тесном чулане, — духота и безвыходность. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку и далеко вытянув под стол длинные ноги, в неестественном, мертвом натяжении восковой фигуры, но не мог изменить позы. Малейшее, даже не резкое движение тут же порвет

тот слабый сцеп внутри его, которым он еще держится среди живых. Его единственное спасение в этой странной, неудобной, подсказанной инстинктом жизни позе. Он видел со стороны манекенью спесь своей неловко вытянувшейся фигуры, но удержался от усмешки, считая ее дурным тоном. На последнем пределе приличествуют серьезность и тишина. Вот почему он и на помощь не позвал...

Его снова помиловали. Сердце билось прерывисто и гулко, он слышал его не в себе, а как бы со стороны, и это было неприятно. Но окутанный ранним сумраком кабинет вновь принадлежал ему со своими темными углами, поблескивающим стеклом книжных шкапов, с креслом-качалкой и кожаным продавленным диваном, с бронзовыми и гипсовыми фигурками античных богов и героев, с ученической копией «Прощания Гектора с Андромахой», со старым, траченным молью ковром на полу. Когда приступ брал в тиски, привычная обстановка смещалась, отступала, становилась чужой, холодной, почти враждебной. Возвращение дружественной сути окружающих вещей было знаком отступления болезни.

Но Анненский не торопился нарушить свой восковой покой. То, что случилось с ним сейчас, не было похоже на все прежние атаки, он имел дело с новым страшным противником и хотел до конца выведать его намерения. Наконец, очень медленно, словно шарнирный состав его не имел единого управления, он согнул одну ногу, потом другую, выпрямил корпус, оперся о подлокотники кресла и встал. Сделав несколько глубоких вздохов, он так же медленно принялся одеваться.

На занятия женских курсов можно было ходить в обычном пиджачном костюме, но Анненский считал это распушенностью. Он сохранял в одежде ту же строгость, важность, почти торжественность, как и в бытность свою директором Николаевской гимназии: черный сюртук с чуть вздернутыми плечами, белый жилет, пластрон, черный шелковый галстук. Одну лишь вольность позволял себе Иннокентий Федорович — не мешал седой, чуть вьющейся пряди зачесанных назад волос падать на высокий, без морщинки лоб. Поправляя перед зеркалом эту прядь, он почувствовал, что лоб его влажен. Достал крепкий мужской одеколон, протер лоб, виски, крылья носа и пальцы. То ли освещение виновато: сероватая хмарь, сочившаяся из окон, мешалась с тусклым светом настоль-

ной керосиновой лампы на ониковой подставке, но Иннокентия Федоровича поразила бледность, даже какая-то синюшность его крупного лица. Вообще-то у него была светлая кожа, но, конечно, не такого мертвенного цвета с иссиня-желтыми тенями под глазами и на висках. Наверное, лучше остаться дома. Но это не по-спартански. Если он и успел кое-что сделать, ну хотя бы перевести всего Еврипида, при своем слабом здоровье, негодном сердце, истрепанных нервах, так только потому, что не давал себе спуска, не считался с приступами боли, головокружениями, опустошающими схватами физического и душевного бессилия. Он надевал доспехи и, клонясь под их тяжестью, выходил на ристалище, на бой, жестокий, беспощадный и заранее проигранный. Впрочем, сам бой уже был выигрышем. К тому же он никогда не признавал себя побежденным. Так было, когда его изгнали из Николаевской гимназии, так было после злобных издевательств и скупых, сквозь зубы, полупохвал, встретивших «Тихие песни», так было, когда терялась любовь и дружба.

Преодолевать себя приходилось постоянно, в большом и в малом. Он всегда присутствовал на воскресной молитве в гимназической церкви, даже когда очередной приступ атаковал сердце. Он держал свечу в правой руке, и ни разу не удалось подловить острым, пронырливым, всевидящим глазам гимназистов, чтобы дрогнула свеча в бледной директорской руке, колебнулось копыце пламени. Так недвижимо выстаивал он полтора часа, душных, страшных полтора часа, и тень спартанского юноши, которому лисица выгрызла внутренности, витала перед затуманенным взором.

А может быть, я все же сильный человек? — думал Анненский, разглядывая в зеркале свое большое, просторное лицо с тяжеловатым носом, пристальными, печальными глазами и пухлым ртом, не способным упрятать свою мягкость и доброту под густыми, воинственно закрученными кверху усами. Черт возьми, вся сильная, четкая лепка лица сводилась на нет этим розовым губошлепьем. Но ведь мой рот свидетельствует скорее о деликатности и доброте, нежели о безволии и слабости, уверял он себя. Иннокентию Федоровичу нужно было сейчас верить в свою силу, ведь и Гёте и Толстой, знавшие о человеке больше всех остальных жителей земли, считали, что болезнь кладет на лопатки лишь слабых, безвольных и распушенных.

И все же он не решил до конца, поедет ли на курсы.

Оставил себе маленькую лазейку, но эту лазейку, сама того не желая, закрыла жена.

Она перехватила его в передней, где он топтался возле вешалки, не зная, что надеть: теплую ли шинель на вате или легкое демисезонное пальто, калоши или глубокие ботинки, меховой пирожок или мягкую шляпу, а по существу, все еще раздумывая, ехать в Петербург или остаться дома и лечь в постель.

— Ох, не надо бы тебе ехать, — сказала жена, зябко кутаясь в пуховый оренбургский платок, хотя в доме было тепло, даже жарко от хорошо натопленных калориферных печей. — Ты скверно выглядишь.

Давно уже между ними существовал лишь контакт привычки, утреннего чаепития, обеденного стола и семейных ритуальных жестов, лишенных при внешней сердечности какого-либо содержания. Иннокентий Федорович сперва грустно, затем твердо-равнодушно уверился, что жена то ли не посмела, то ли не захотела последовать за ним туда, где дуют черные ветры, и жестко отвергал всякие с ее стороны попытки коснуться его навсегда отделившегося существования. Жена не постигала его хрупкой и вместе выносливой сути, следовательно, не могла знать, что ему вредно, а что полезно. И если она говорила: останься, то правильной было ехать. К тому же в мозгу ясно вспыхнул сонм молодых горячих девичьих лиц, внимательных серых, голубых, карих и черных глаз, румянцем опаленных щек, на него повеяло ароматом юности, доверчивости, наивной влюбленности, и все это было куда лучшим лекарством для его больного сердца, нежели пахучие микстуры, компрессы, вялые домашние заботы и появление глупого, самоуверенного, пропахшего трубочным табаком немца-врача, которого он по Достоевскому называл Герценштубе, хотя звался тот как-то коротко — Шульц или Штольц.

— Я не умею манкировать своими обязанностями, — сказал он сухо и снял с вешалки темное драповое пальто.

— Ну хоть за извозчиком пошлем!..

— Не надо, — отмахнулся он.

Но в дверях острое сострадание к чужой малости, то мучительное сострадание, которое породило самые шемящие стихи, заставило его обернуться к увядшей, ненужной и безвинной женщине и кивнуть ей с ободряющей улыбкой.

И она улыбнулась растерянно, не поняв жеста добра,

как не постигала и отчуждения. Анненский вышел с болью в душе. «Бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей».

Сумеречная улица в черных костлявых деревьях, в слабом шорохе иссохшей листвы приняла его и растворила в своей пустынности и печали, в ознобливой незащищенности. Он как-то разом обесценился, стал палым листом, гонимым ветром. Город, так прочно и серьезно ставший у каприза двух императриц, ни от чего не защищал, не гарантировал сохранности. Вся его бюргерская каменная основательность, уверенность под боком императорского обиталища, уют, нарядность и опрятность были бессильны перед ветром, дующим с болотистых равнин, перед дымными тучами низкого чухонского неба, перед черными сквозняками мироздания, ледящими враз съжившуюся душу.. Извозчика бы!..

Забраться в укромное нутро пролетки с поднятым висантином и клеенчатой полостью, в запах мокрого сукна, кожи, лошадиной шерсти, свернуться в своем тепле, потерять эти нищенски обобранные деревья, грубый ветер, серое небо и вновь поверить в свое право быть. Но тщетно напрягал он зрение, пытаясь высмотреть в мгlistых дальях прямой, долгой улицы ссутулившегося на козлах «ваньку». Наверное, все извозчики сгрудились у вокзала или торговых рядов, где легче было выстоять ездока в этот глухой, пустынный час. Нет, не будет ему избавления за три гривны, катись по панели, как палый листик, глядишь, и докатишься. И он покатился, пряча нос в воротник пальто, отсекая ветер углом плеча и ухватывая глазом лишь квадраты каменных плит, которыми был выложен тротуар.

На углу Бульварной улицы, людной, говорливой, крепко принадлежащей обыденности и уж никак не первозданному хаосу, он притормозил бег, собрал себя нацельно и вновь стал Иннокентием Федоровичем Анненским, эллинистом, литератором, «действительным статским советником», как определил его за спиной — с ноткой почтительности — чей-то непрокашлянный голос.

Его успокоившаяся было душа сразу вскипела. Нет ничего удивительного, что прохожие узнают его, царскосельского старожилы, бывшего директора мужской гимназии, через которую проходили отпрыски всех уважаемых людей города. Но знает ли его на самом деле хоть один из всех этих торопливо пробегающих мимо людей? Им знакомы

его лицо, фигура, походка, его пальто, шляпа, трость, ведомы чин и занимаемое положение. Кому-то известны и другие, внешние обстоятельства его жизни, ну, хотя бы почему он лишился директорства, и редкий обыватель не осуждает его за глупое донкихотство. Допустимо даже, что у кого-то имеются на книжной полке его переводы с древнегреческого, или «Книга отражений», сборник критических статей, или номера «Аполлона», с его стихами, но найдется ли хоть один человек в Царском Селе, которому вспало бы назвать его поэтом? Нет, нет и нет! Одни по неведению, другие по невежеству, которое им самим кажется строгим вкусом, высокой требовательностью, отказывают ему в звании, поднятом в России на небывалую высоту гением Державина, Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева. Ах, господа, господа, как же удивитесь вы, когда поздно или рано узнаете, что никто — каламбур Ник. Т-о! — иной как ваш тихий царскосельский сосед поднял кубок, небрежно оброненный великим Тютчевым, и наполнил молодым вином. В поэзии русской звенели и звенят, пусть на новый лад, лишь кубки Пушкина и Лермонтова да некрасовского кружка, а тютчевский фиал забыт. Впрочем, разве умели вы ценить Тютчева при жизни, разве отдали посмертно богу богово? Его могила на Новодевичьем кладбище заброшена, там не найдешь и цветочка, не то что венка, которыми курсистки и гимназисты забрасывают могилу бедного, благородного и поэтически нищего Надсона и даже надгробье насквозь декламационного Апухтина.

Наткнувшись на Тютчева, Иннокентий Федорович в который раз задумался о тревожно загадочной судьбе этого ни с кем не схожего поэта. Кто еще из служителей муз так небрежничал своим громадным, поистине божьим даром? Он мог не писать годами, ленился печатать свои стихи, пальцем не шевельнул ради издания книг. Его первый тощий сборничек увидел свет стараниями влюбленного в него Тургенева, второе прижизненное издание осуществилось неукротимым энтузиазмом Ивана Аксакова. Тютчев не желал даже рукопись просмотреть, распределить стихи в хронологическом порядке, снисходительно мирился с наивной тургеневской редактурой. Тут не было ни скромности паче гордости, ни кокетства, он и впрямь был равнодушен к литературной славе. А ведь стихи были ему необходимы, и он знал им цену. Все самое важное для себя объял он стихами: первичный хаос, бога, природу, день и

ночь, весну, женщину, любовь, рождение и смерть. Пусть он писал урывками, его поэзия воссоздает с великой полнотой сложный душевный пейзаж самого творца и его мироощущение, проникает за зримую поверхность вещей и явлений, соприкасаясь с последними тайнами.

Но к судьбе своих стихов он был безразличен. Тут таится какая-то тягостная неправда. Что же такое стихи, как не мостки, переброшенные к другим людям? Разве смысл поэзии не в том, чтобы разорвать тенета одиночества, безмолвия, разъединяющего людские души? Поэзия — это кратчайший путь к человеку, знак безоружного доверия, приглашение к своему огню. Лучше писать стихи в альбомы, нежели в стол. Последнее просто бессмыслица! Поздно же понял ты это, Ник. Т-о! И не сопоставляй свою участь с тютчевской. Открытый Пушкиным, понятый и восславленный Некрасовым, любимый Тургеневым, Фетом, Вяземским и всем шумным кланом Аксаковых, боготворимый прекрасными и значительными женщинами, он мог быть равнодушен к известности, даруемой печатным станком и газетными отзывами.

Не каждому желанен слишком яркий свет, громогласный хор славословий, не каждому потребно широкое союзничество. И не надо примерять к себе судьбу Тютчева царскосельскому старожилу, существующему в вакууме. Его вообще не знают. Он невидимка. Такой высокий, приметный в любой толпе, значительной наружности господин, с высоким чином и солидными трудами — легко ли «перепереть» всего Еврипида на язык родных осин! — он невидим, как если б обладал прозрачностью стекла. Людям ведомы лишь грубые, пошлые очевидности его внешнего облика, манер, житейского поведения и служебной карьеры, его истинное лицо неизвестно людям, даже нечуждо. Достаточно сказать, что горообразный поэт-художник Волошин с гривой льва и сердцем ягненка, недавно появившийся на петербургском горизонте и мгновенно ставший популярным, признался, что почитал переводчика Еврипида, критика журнала «Аполлон» и поэта Ник. Т-о тремя разными, ничем не связанными личностями.

Увесистый толчок заставил Анненского пошатнуться и с негодованием глянуть на широкого приземистого человека в распахнутой шубе на лисе и бобровой шапке. На багровом в сизость, мясистом лице человека тяжелый склеротический гнев истаявал в добродушно-игривое возмущение:

— Эк же вы толкаетесь, ваше превосходительство! Нехорошо, батенька. Все небо в Элладах своих плавае.

Это был чиновник Дворцового ведомства и сосед Анненского статский советник Девятов.

— А мне показалось, вы меня задели, Эраст Павлович, — поклонившись, сказал Анненский.

— Что за счеты, почтеннейший Иннокентий Федорович! Нынче я вас, завтра вы меня — на том мир стоит. Но погоды, погоды какие!.. — став серьезным, сказал Девятов.

Только петербуржцы, да, пожалуй, лондонцы умеют так значительно и важно говорить о погоде. В туманном повитых, дождями исхлестанных, болотными и речными испарениями задушенных столицах умеют ценить редкие улыбки безжалостного неба. В подобревшем, ставшем глубоким и доверительным голосе Эраста Павловича чувствовался определенный намек на причастность государственной власти, а возможно, и святейшего синода к перемене климата.

Я поэт, Эраст Павлович, черта ли мне в вашей погоде, когда гнилая, слякотная осень может одарить меня щедрее самой ослепительной весны. Почему вы не читали моих стихов, Эраст Павлович? У вас же остается уйма свободного времени от необременительной службы, обжорства, карт, ссор с женой и порки тупого сына-гимназиста. И вы вовсе не дурак, Эраст Павлович, уж я-то знаю, хотя ум ваш зарос жиром. В вас дремлют силы Ильи Муромца, крепкий русский ум, громадные способности к постижению. Ну, прочтите, неужто это так трудно! Вдруг вам доставит радость, ну хоть про Ваньку-ключника в тюрьме. Нет же русского человека, какое бы место ни занимал он в служебной и общественной иерархии, чтоб тайно не любил Ваньку-ключника и атамана Кудеяра. Вслушайтесь, Эраст Павлович, напрягите слух своих ушей-оладий, как распевно, широко и легко звучит:

Крутясь-мутясь да сбилися  
Желты пески с волной,  
Часочек мы любилися,  
Да с мужнею женой.

А, Эраст Павлович?.. Ведь вы-то знаете, крошка богатырь, как любиться с чужой женой! А разве вам не близко, как и каждому нашему соотечественнику, стоящему возле казны, такое вот, каторжное:



Цепочечку позванивать  
Продели у ноги,  
Позванивать, подманивать:  
«А ну-тка, убег!»

Но весь этот монолог совершался, разумеется, в безмолвии души, а с полных, упрятанных под усы губ Иннокентия Федоровича слетели одобрительные слова в адрес ненышней осени, весьма утешительной для сердца каждого петербуржца. На том они и расстались. Неузнанный, неугаданный, непрочитанный Анненский заспешил в сторону вокзала, а квадратный, ясный, как день, в своей темнотце, чиновник Дворцового ведомства не спеша побрел к родным пенатам.

Уже на вокзальной площади Иннокентия Федоровича остановил благочинный отец Илиодор, священник городского собора. Высокий, в длинной шубе на енотах, из-под которой вывешивался подол черной рясы, с ухоженной рыжей бородой и беспокойными зелеными глазами, отец Илиодор тоже заговорил о погоде, но думал по обыкновению о чем-то совсем другом. Он питал неистребимую страсть к доносу, этот интеллигентный, начитанный и респектабельный поп, бессовестно нарушавший и тайну исповеди, и доверие дружеских отношений. Анненскому было известно, что доносы отца Илиодора сыграли не последнюю роль в лишении его директорства. Одного лишь заступничества за нашкодивших гимназистов было недостаточно для столь суровой кары. Свои донесения благочинный писал на веленовой бумаге, гусяным пером, с каллиграфическими красотами в духе старца Епифания, кроткого союзника мятежного протопopa Аввакума, в веле-речивой манере древних акафистов. Он чувствовал себя не просто «шишом государевым», а чем-то вроде Симеона Полоцкого, отстаивавшего истинную веру от раскольников. Но Анненского не занимало сейчас гнусное пристрастие отца Илиодора. Глядя прямо в беспокойные, ищущие, льдисто-зеленые глаза благочинного, он пытался воздействовать сквозь эти люки на мозг, чтоб ожило там:

Но сердцу чудится лишь красота утрат,  
Лишь упоение в замороженной силе,  
И тех, которые уж лотоса вкусили,  
Волнует вкрадчивый осенний аромат.

Ну же, батюшка, ведь наверняка, сочиняя донос на нерадивого пастыря юношеских душ, вы листанули бледным пальцем с голубым ногтем мои «Тихие песни». Это отту-

да и как раз о погоде, которая вас так волнует. Вспомните, вы же на свой лад тоже любитель российской словесности, ну вспомните мои строки!.. Святой отче, вы выкляли у Валентина списки моих неизданных стихов неужели только доносов ради? Да нет же! Послушайте, мы с вами оба сердечники, разве вам не близко вот это: «... следом чаша послала стенанье, и во всем безнадежность желанья: «Только б жить, дольше жить, вечно жить!»

Но поп не откликнулся Анненскому, не отступил ни на шаг от темы атмосферных явлений, трактуя их плоской прозой, как какой-нибудь синоптик, с тем и отбыл.

Вновь не признанный, не открытый, Иннокентий Федорович устремился через вокзальную площадь.

Еще несколько знакомых и полужнакомых раскланялись с ним на перроне, но ни на одном лице не мелькнула радость узнавания, догадка об истинном достоинстве господина в черном пальто, ни один взгляд не зажегся и не увлажнился трепетом встречи с царскосельским кифаредом. Нет, все равнодушно-вежливо приветствовали инспектора петербургского учебного округа, полуопального чиновника и почтенного эллиниста.

Ах, господа, господа! Вглядитесь в меня внимательно, поднимитесь над своей узостью, озабоченностью, равнодушием, пересильте свою глухоту, услышите меня. Ведь не призрак же я в самом деле, хоть и окрестил себя «Никто». Под моим настоящим именем вышли трагедии на античные сюжеты, но вы не раскрыли их, испуганные внешним архаизмом. Напрасно, то вовсе не подражание моему любимому Еврипиду, а во утоление жажды современной измученной души. И чтобы приучить вас к этим пьесам, я снизошел до остроумия, утверждая в предисловии, что сам «первый бежал бы не только от общества персонажей еврипидовской трагедии, но и от гостеприимного стола Архелая и его увенчанных розами собеседников с самим Еврипидом во главе». Видите, я помню наизусть свою прозу, как и свои стихи. Бедные мои слова томятся во мне, как в темнице, но муки достаются не узникам, а узилищу. Избавление одно — вверить их чужой памяти. Любой крамольный стишок, задевающий полицмейстера или наводящий тень на градоначальника, подхватывается немедля, переписывается в сотни альбомчиков, заучивается наизусть. Но никому не пришло в голову дать приют моим бескорыстным «Трилистникам». Напрасно, напрасно, господа! Я ваш последний царскосельский лебедь. Не ста-

нет меня, и Царское Село, отечество Пушкина и всей его плеяды, приют Карамзина, Жуковского, дивная раковина, где вызревал жемчуг русской поэзии, станет просто мешанским городишком, под боком дряхлеющих садов, забывающих собственную легенду. И о вас, господа, вспомнят лишь потому, что вы были моими соседями и современниками. О, сколько слепоты, глухоты, необъяснимой тупости, сколько жестокости, рассеянности, невнимательности, ослиного упрямства и непросвещенности несет в себе слово «современник»! Умудрились же современники не царскосельского, а самого Эвонского лебедя так прочно не заметить — Шекспира, не взглянуть в его черты, не счесть достойным упоминания в письмах и мемуарах, что оставили столетиям жгучую и позорную загадку: кто же на самом деле создал величайшую — после греков — драматургию и непревзойденную в поколениях лирику?

То был последний прилив гневной бодрости, — в вагоне, куда Иннокентий Федорович попал под третий звонок, пропустив вперед с десятков не читавших его пассажиров, им овладело отчаяние. Он и вообще плохо переносил поезда, даже на таких малых перегонах, как Царское Село — Петербург. Его угнетало все: застойный запах фенола, слабо мерцающие под потолком свечи и покойницкие лица пассажиров, отражающих лбами этот тусклый дрожащий свет, древняя пыль в пазах оконниц, истертый плюш сидений, заунывное тактаканье колес, грубые вздоги и лязги железного тела поезда, безвыходность пребывания здесь, утрата воли, отобранной у тебя расписанием и таинственным хромоногим существом с разбитым фонарем, называемым кондуктором и состоящим в заговоре с гигантским кольчатым, извергающим желтый пар и пламя, весь хаос дорожного полусуществования и неизбывная русская тоска за окнами. Коротенькое это путешествие выматывало душу почище иных тысячеверстий. Нет ничего пустынее, ровнее и безотраднее болотистых равнин, пролегающих между Петербургом и Царским Селом. Сейчас было темно, в окошке, колеблющем в двойных стеклах желтоватое пламя свечи, почти не проглядывался наружный мир, и все же по взблеску каких-то плоских луж, по вдруг обозначившейся хорде низкого горизонта угадывалась до слез унылая площадь окрестного простора.

В окне, через проход, проплыли бледные купола Пулковской обсерватории, похожей на искалеченную техническим веком Айя-Софию. И тут ничем не заполненный сумрак прочно заложил окна, будто черной бумагой заклеил.

Напротив него сидела бледная, с грустным и незначительным лицом дама, чья осень так и не опалилась строками его поэзии, рядом с ней — пожилой, упитанный господин из породы жизнелюбов, слух которого никогда не тревожили звуки «Тихих песен». Скамейку через проход занимали реалист, испитой священник и молодчага гусар в новой шинели с меховым воротником, можно было побиться об заклад, что на зеркала их душ не ложилось дыхание певца зимних лилий. А в углу согнулась худая, как кость, старуха с наруганными щеками и странно блестящими глазами в черных глубоких провалах глазниц. Неприятная старуха. Она так поглядывала на Анненского из своих пещер, словно читала его или по меньшей мере знала, кто он такой. Но Анненский не знал старухи, никогда не видел ее, ибо, раз увидев это жеманное, древнее, гадко кокетливое существо в ярком и несовременном тряпье, запомнишь на всю жизнь. И зачем она источает огонь из своих остывших недр? Сумасшедшая? Бывшая красавица, блиставшая при дворе Николая Первого, где она соперничала с Наталией Николаевной Пушкиной, или бывшая артистка императорских театров, знавшая славу и поклонение, — подобными призраками кишело Царское Село. Столь же не узнанная, как и сам Иннокентий Федорович, но куда смелее претендующая на узнавание, она тшится пробудить в окружающих память, догадку о себе прежней, не униженной старостью и нищетой, — да нет, тут что-то другое, совсем другое... От нее веет могильным холодом. Хорошо бы, она сошла...

Анненский отвернулся, уперся взглядом в красную, истоптанную ковровую дорожку и понял, что холод, источаемый старухой, проник к нему внутрь. Ему было знобко, сыро, невыносимая тоска сдавила сердце. Неужели опять начинается? Господи, а ведь это куда хуже, чем в муках воображения. Неужели конец? Нет, нет! Это только в плохих романах и хороших сказках число три наделено мистической властью. Живая жизнь неподвластна этой ребяческой магии. Но ему опять плохо, совсем плохо. Это даже не боль, любую боль можно вытерпеть, когда же она выходит за некий предел, сознание покидает человека, и он уже неподвластен боли. Это что-то другое, состоящее из ужаса, тоски, безысходности. И распирающий ком внутри...

Надо что-то делать. Ну, хотя бы обволакивать себя сетью мелких движений. Расстегнуть пальто, достать свежий носовой платок, промокнуть лоб и щеки, сложить

платок, спрятать в брючный карман и застегнуть пальто. Снова расстегнуть, вынуть часы из кармана жилета, щелкнуть крышкой и посмотреть, который час. Спрятать часы. Застегнуться. Поправить манжету. Деликатно откашлянуть, прикрыв рот пальцами. Что еще? Можно попросить воды. Но при мысли о тепловатой, припахивающей гарью поездной воде его слегка замутило. Потребовалась новая возня с платком, чтобы вытереть наполнившийся слюной рот. И тут он заметил, что все еще жив, гнетущая тоска и ком внутри не убивают, во всяком случае сразу. Можно жить и с этим. Нехорошо сбившееся дыхание снова упорядочилось. Лишь требовался более глубокий, в несколько приемов вдох, иначе воздух не проникает в легкие или это только кажется?..

Глянул в угол — старуха исчезла. Сошла. А ведь поезд не останавливался. Чепуха! Просто переменяла место, от двери дует, или вышла в тамбур. Да и какое ему дело до этой старухи?..

Его нечитатели: поблекшая дама, дородный жизнелюб, реалист, священник, гусар — тихо сидели на своих местах. Они были безвинны перед ним; эти обыватели, никогда ничего не читавшие, если их не тыкали носом в роман, рассказ, стихи, как щенков в миску с кашей. А тыкать должны вершители литературных репутаций. Обыватель сам никогда не знает — хорошо или плохо прочитанное. Он преспокойно оплывает Пушкина, если ему скажут, что это плохо, — так оно и было в царствование Писарева, и будет восторгаться Емельяновым-Коханским, если ему скажут, что это хорошо. Такого, по счастью, еще не было, хотя иные, весьма популярные поэты недалеко ушли от Емельянова-Коханского. Как ни грустно, литература вовсе не говорит сама за себя, любой талант беззащитен перед теми, кто его отрицает или просто не видит. Вы прощены, дама, господин, священник, гусар, реалист, да падет мой гнев на головы поэтов, прикоснувшихся к моему слову и высокомерно прошедших мимо. Брюсов посоветовал мне учиться, как гимназисту, перемежающему стихоплетство с мальчишеским грехом, тогда, мол, еще может получиться толк. Блок, истинный природный поэт, в отличие от сделанного Брюсова, понял куда больше, даже обмолвился, что Некто, а не Никто спел «Тихие песни», бог с ними! Но, господа поэты, в отличие от моих поездных спутников вам должны быть известны и другие мои стихи, как напечатанные, так и не напечатанные. Неужели и они ничего

не говорят вашему сердцу? Не поверю. Я знаю, как умеют быть глухи поэты, но не настолько же глухи! Моя вина не в дурацком псевдониме, не в скромности, в другом, куда более важном — я не столь Никто, сколько Ничей. В литературе правят банды, как на Корсике. Примкни к банде, и сообщники амнистируют тебя, коли ты бездарен, скудоумен, некультурен, пригреют, дадут дышать, а если ты отмечен хоть малым даром, вознесут и заславословят. И как бы ни пыжились недруги, тебя уже не столкнуть со склона Олимпа. Теперь я понимаю злую шутку Чехова: какие они декаденты, это молодцы из арестантских рот.

Я не примкнул ни к одной из литературных групп, не повязался ничьим шарфом, не выбрал себе сюзерена, то бишь атамана. Меня зачислили в символисты, но, покидав из ладони в ладонь, как гоголевский черт украденный с неба месяц, выпустили, ожегшись, из рук. Они поняли, что мой символизм — это не символизм Бальмонта и тем более Вячеслава Иванова. Для меня любая поэзия символична, ибо нет у поэта иного способа самовыражения. Но за моими символами тяжесть и запах земли, а не эфирно-селеновая муть заушных отвлеченностей.

Я болен, может быть, умираю, и одному лишь богу ведомо, каким ужасом сжимается сердце при мысли о близком конце, но даже сейчас я не считаю свой уход крушением вселенной, как вы, Вячеслав Иванов, как вы, Константин Бальмонт. Я знаю, после меня останется все.. кроме меня. Мне не только чужда, но и отвратительна гипертрофия собственной личности, и «обида куклы» всегда была мне больнее собственной обиды, вот чего вам начисто не дано, настоящие символисты!

Декаденты всех мастей быстро смекнули, что я из другого теста, и отдали меня на растерзание газетной братии. В моих стихах мир овеществлен, и, если мне отпущен хоть краткий срок, он станет еще вещественнее, предметнее, если же меня не станет, другие пойдут этим путем, единственно плодотворным и отвечающим времени, — на сближение с жизнью. Как красив предмет, как полна и прекрасна конкретность! Я не сумел быть громким, назойливым и бесстрашным. Мне помешало слабое сердце, служба, врожденная деликатность, сродни чистоплюйству. Но я приветствую грядущих горлопанов. Они заглянут в мои бедные книги и звучными, наглыми голосами сотрясут и опрокинут карточные домики сегодняшних небожителей, вышивальщиков по туману.

И все же — милосердия, братья, отказавшие мне в братстве! Разве дело в направлениях, школах и шайках? Есть стихия поэзии — лишь это важно. Кто-то сказал, что русскому писателю нет дела до прижизненной славы, ему бессмертие подавай. Продлить себя за пределы земного образа — стремление каждого человеческого существа — в творчестве, делах, открытиях, потомстве, наконец. В вечность проникают по-разному. Но я лишь утешаю себя мстительными мыслями о реванше силой грядущих голосов, в которых прозвучит моя интонация, моя нота. Все это не то. Я хочу быть услышанным здесь, сейчас, сегодня. Словом своим хочу связаться живой с живыми. И с этой поблекшей дамой, и с дородным господином, с испытанным священником, с реалистом и красавцем гусаром. Кто знает, какие чудеса мы сотворим, когда возьмемся за руки...

Каюсь, я виноват. Я не защитил свою поэзию, даже именем. В наш неуважительный век имя служит известной гарантией, ну хотя бы корректности. Оскорбить, осрамить, оклеветать анонима куда легче, нежели господина Имярек, который может быть опасен. Я вас не прикрыл, бедные мои стихи, ни маркой влиятельной компании, ни даже собственным мнением. Меня погубили античные пристрастия. Кровожадному циклопу Полифему так ответил об имени своем Одиссей хитроумный:

Славное имя мое ты, циклоп, любопытствовал сведать  
С тем, чтоб меня угостить и обычный мне сделать подарок?  
Я называюсь Никто: мне такое название дали  
Мать и отец, и товарищи так все меня величают.

Одиссея «Никто» спасло, меня погубило. Зачем же считаться с человеком, так низко ставящим самого себя? Газетные циклопы затравили новоявленного Улиса. А читатели? Ну, у них нет даже одного глаза во лбу. Горе нарушившему правила игры. И все же пощады, милосердия, господа! Ведь я уже есть, хотите вы того или нет, меня не избежать, как ни поноси, как ни замалчивай, так дайте же мне хоть немного при жизни, не оставляйте все на посмертие!..

Его сильно вжало в скамейку — он ехал спиной к движению, — поезд резко сбавил ход, потом дернулся вперед-назад, лязгнув всеми сцепами, и стал. Неужели приехали? Да, за окошком глянцево влажнела деревянная платформа Царскосельского вокзала. В Петербурге прошел дождь. Анненский встал, и что-то явственно сместилось в его гру-

ди, ему почудился слабый, клацающий звук. Сердце стало тупым и тихим, а клещевая боль схватила его поперек туловища. Оказывается, сердце повсюду — в грудной кости, пищеводе, грудобрюшной преграде, спине, под ребрами. Он стал сплошным сердцем, и это сердце рвалось, рушилось, уничтожалось. Стихи мои, милые стихи, бедные стихи мои, прощайте!..

Он уже знал, что ему не выпутаться. Безобразная боль мешала сосредоточиться на какой-нибудь важной, чистой мысли. Может быть, нужно что-то сделать? Позвать на помощь? Какая чепуха, ему никто не поможет. И не надо суетиться перед вечностью.

Следом за другими он вышел из вагона. Его толкали. Внезапно он услышал тонкий паровозный гудок. Так гудел игрушечный паровозик его сына, когда тот был веселым круглолицым малышом, любившим паровозы и цветы, особенно желтые одуванчики, песок и кленовые листья. Затем послышалось пыхтение, всхлебы поршня, тоже игрушечные, понарошку. Над голыми липами, высаженными вдоль перрона, всплыл дымок, — это маленький — о три вагончика — царский поезд двинулся по специальной узкоколейке в Царское Село. Два вагона были для дезориентации террористов, а в третьем ездил царь с царицей. Анненский представил себе уютное нутро царского вагона, отделанного красным деревом, обитого красным бархатом, хорошо протопленного и освещенного, с плотными шторами на окошках, отсекающими неуют темного, враждебного мира, и улыбнулся тому, что лучше быть живым царем, чем мертвым поэтом.

Ему бы не улыбаться. Жалкая гримаса еще длящейся в нем жизни наполнила его щемящей жалостью к себе. Он почувствовал, что глаза влажнеют. Этого только не доставало! Он позорно терял себя, свое мужество, свою прекрасную, никогда не изменявшую ему форму, свою тихую гордость, да что там, всего себя терял без остатка. Неужели он, столько думавший о смерти, приучавший себя к ней и, казалось, выгадавший достоинство встречи, оказался вдруг безоружен? И он взмолился не о жизни, лишь о сохранении лица. Творчество, одно лишь творчество спасало его, — если б хоть строчка вспыхнула в мозгу, хоть словечко зашекетало небо!..

Мимо, задевая его локтями, спешили люди. Они тянулись к городу, шумящему, звенящему за вокзальной стеной, полному своей невозмутимой жизни. Городу и дела не было до того, что сейчас на одного действительного



статского советника станет меньше. Чего-чего, а этого добра в столице государства Российского хоть завались.

Прохожие не просто задевали Анненского, они направляли его, влекли к выходу. Он вдруг обнаружил, что перед ним лестница, за ней внизу широкие двери, смотрящие на загородный проспект. И почему-то он опять узрел всю компанию, близко от себя: даму, господина, священника, реалиста, гусара. И старуха в пестром тряпье была здесь. Но она уже не жеманничала, не строила глазок. Ее лицо — размалеванная маска смерти — было неподвижным, сосредоточенным, даже торжественным. Что все это значит? Траурный кортеж, заранее отряженный Царским Селом, похоронная делегация от всей не читавшей его российской публики? Он не может и не хочет решать эти глупые загадки у последнего предела, он хочет лишь одного, чтобы слово коснулось губ, с ним и отойти. Но не поэзия, а классицизм сформировал последний его жест, жест ухода.

... Когда Цезарь узнал в нападавшем Марка Юния Брута, он воскликнул в горестном изумлении: «И ты, Брут?» И, закинув плащ на лицо, молча пал к подножию статуи Помпея...

Люди озабоченной вокзальной толпы, и те, что сбегали по лестнице вниз, и те, что торопились к поезду со своими сумками, чемоданами, баулами, в мокрых, тиной пахнущих пальто, увидели, как высокий, представительный господин остановился на лестничной площадке и, выгадав клочок пустого пространства в толчее, закинул на лицо широкий черный рукав пальто, медленно согнул ноги в коленях и мягко, боком, упал на каменный пол головой к стене.

... Курсистки долго ждали Анненского. Ждали и после того, как им разрешили идти по домам. Почти все были влюблены в красивого, меланхолического педагога, о котором было известно, что он пишет любовные стихи. У некоторых девушек эти стихи (Апухтина, Петра Вейнберга) были переписаны в альбомы. Анненский никогда еще не пропускал занятий, и девушки надеялись, что он придет. Они ждали около двух часов, а потом появился расстроенный директор и сказал, что Иннокентий Федорович Анненский никогда уже не придет, он скончался от разрыва сердца на лестнице Царскосельского вокзала. Боже, как рыдали, как убивались эти милые, добрые девушки! А одна, смуглошекая и синеглазая, лишилась чувств, ей давали нюхать соли и натирали виски уксусом.

Блок услышал о смерти Анненского в тот же вечер на Варшавском вокзале, он ехал к умирающему отцу в Варшаву. А сказал об этом один железнодорожник другому — весело, как о курьезе. Мимо большого мощного фонаря медленно, черно и косо проносились снежинки первого в этом году снегопада. По привычке, образовавшейся в последнее время и сильно его раздражавшей, Блок проговорил вслух, громко и отчетливо:

— Ну вот, еще одного проморгали, — и сердито огляделся...

Юная царскосельская жительница Анна Андреевна Горенко остановилась против дома Анненского, вздохнула протяжно и почувствовала, как побежал комком стылый воздух по долгому горлу.

— До чего же пусто стало в нашем Царском Селе, — прошептала она, глядя на зашторенные окна...

Это было в начале петербургской зимы 1909 года.

Плакали курсистки.

Хмурились поэты.

Народ безмолвствовал.

Учитель словесности Елецкой мужской гимназии Варсанофьев ждал гостя. И хотя гость был не столь уж важный — второклассник, подросток лет двенадцати, — учитель не на шутку волновался. Дело было не только в том, что ему, сыну сельского запойного дьячка, трудно давалось общение с «белой костью», заносчивыми барчуками, детьми промотавшихся подстепных помещиков, гордящихся былым величием захудалых родов, но и потому, что он хотел представить на суд этого гимназиста свое новое литературное произведение — рассказ «с направлением» из крестьянской жизни. Учитель словесности писал давно и упоенно, посылал повести, рассказы, очерки в разные журналы, газеты и альманахи, в том числе столичные, и уже несколько раз сподобился видеть свое имя в печати. Два его рассказа появились в «Русском богатстве» и три-четыре на страницах провинциальных изданий. Это давало известное удовлетворение, а главное — надежду, что он «выпишется» в настоящего писателя и навсегда порвет с рутиной провинциальной гимназии, где впустую расходует силы на равнодушных, тупо-насмешливых недорослей. Уж если начистоту, то надежда преобладала над удовлетворением, которым одарили его немногочисленные публикации. Пуды бумаги и ведра чернил извел трудолюбивый, усидчивый сын дьячка, без счета затупил перьев, а результат оставался мизерным. Зато сколько пустого, томительного ожидания, сколько косых улыбок на почте, когда он задавал свой неизменный вопрос: «А мне ничего нет?» Ответы приходили редко, чаще они появлялись на специальной страничке газеты или тонкого журнала — в издательско-грубой форме, словно человек не рассказ или очерк прислал, а тягчайшее перед нравственностью совершил преступление. Наверное, этот лошадиный юмор доставлял удовольствие тем подписчикам, которые не пробовали сил в литературе. Из солидных, толстых журналов приходили ответы порой весьма обстоятельные, случалось и рукописи назад возвращали. И трудно сказать, что больнее било по сердцу: публичное плоское отноше-

ние (он печатался под псевдонимом, но от своих, елецких, не скроешься), умелый, дотошный (всегда несправедливый) разнос в письме, возвращение рукописи с убийственной припиской: «Не подходит» — или просто исчезновение ее в редакционных недрах. Последнее дарило сладким и страшным мучительством: он верил, долго и страстно верил, что рукопись понравилась и вот-вот появится, покупал номер за номером ту газету, тот журнал, куда послал свою вещь, и, вдыхая керосиновый запах свежей типографской краски, жадно искал свое имя, не находил, дергал носом, сморкался в большой клетчатый фуляр и начинал снова ждать и надеяться. Кончалось же все небольшим — дня на три-четыре — запоем. Но бывали же, бывали случаи, когда свинцовую безнадежность прорезал яркий луч солнца и вместо насмешек, сухого отказа, молчания он получал свое напечатанное произведение. И тогда отпускало в груди, будто разжимался какой-то внутренний сцеп вроде судороги, и прояснившимся взглядом видел он, что его проза достойно соседствует с прозой других авторов, порой весьма известных и чтимых на Руси, и что он, учительшка из захолустного Ельца, ничуть не уступает настоящим литераторам. Все дело в том, что они там, рядом, а он далеко, у них связи, знакомства, репутация, а его бедные творения беззащитны, за ним нет ровным счетом ничего, кроме отпущенного ему природой дарования, подкрепленного редким прилежанием, да верно избранного направления. Будь он поближе к тем местам, где делается литература, он, конечно, давно бы составил себе имя, но для этого надо, чтобы тобой заинтересовались столичные критики, иначе протянешь ноги и в богатом Петербурге, и в хлебосольной Москве.

Но замечен и назван в перечне молодых литераторов «с направлением» он был лишь однажды критиком солидного журнала «Наблюдатель». Варсанюфьев высоко ставил эту похвалу, относящуюся к тому, что он почитал главным в литературе, и, наоборот, не понимал, когда в письмах-отказах его обвиняли в недостатке художественности. А что такое художественность? Это когда красиво переживают и красиво разговаривают люди, не ведавшие нужды, и очень много описаний природы. Писарев, властитель дум, самого Пушкина за такую литературу вон как оттрепал, все лучшие читатели, и в первую очередь молодежь, враз от бывшего кумира отвернулись. Участь Пушкина предостерегала.

Нет, он на верной дороге. Рано или поздно столбовая эта дорога приведет его на Парнас российской словесности, да уж больно долог, нетерен и одинок путь! Не с кем поделиться, посоветоваться. Был он тут в городе всем чужой, снимал комнату у богатой, глупой и гугнивой мещанки, вдовы акцизного, друзей, даже просто знакомых не завел. Его коллеги-учителя ничем, кроме водки и карт, не интересовались, ничего не читали да и относились к дячкову сыну, мучающему себя литературой, глумливо-пренебрежительно. Им, замшелым, тупым обывателям, наплевать было на страдания народа, на *вопросы*. Он и не пытался их разговорить, растормошить, вовлечь в круг своих интересов, ничего, кроме доноса по начальству, из подобных попыток выйти не могло. А в собутыльниках он не нуждался, привыкнув выпивать в одиночку, карты же в руки не брал.

Не лучше были и ученики. Одни строили из себя аристократов, даже какой-то дворянский клуб учредили, другие им остро завидовали, третьи пребывали в нетревожном младенческом идиотизме, противоречащем крепкой стати и всей рано вызревшей мужественности: темному пушку на верхней губе и по челюсти, ломающемуся голосу, грубым мослам; были и просто тихие, пришибленные мальчишки, так и не пережившие разлуки с теплым родительским гнездом; грязно-ярким пятном выделялись драчуны из местных, литой купеческой стати; остальные, вовсе лишенные образа, сплывались в бесформенную, тусклую массу. И все эти, такие разные гимназисты, подобно своим наставникам, ничего не читали. Даже удивительно было, что молодое поколение страны, создавшей едва ли не величайшую литературу века, так равнодушно к книгам. Конечно, иные из них абонировались в школьной библиотеке, но привлекало их лишь развлекательное чтение. Классиков не спрашивали, из русских авторов предпочитали графа Салиаса, из иностранных—Габрио. Исключение являл один второклассник, бравший в библиотеке хорошие книги, преимущественно поэтические сборники. Варсанюфьев давно заметил того ученика, отличавшегося изумительной памятью на стихи — он запомнил стихотворение с первочтения — и несомненным интересом к его предмету. Мальчик слушал внимательно, всегда готов был к ответу, но почему-то никогда не задавал вопросов. Впрочем, это можно отнести на счет его чрезвычайной сдержанности, проявлявшейся и в отноше-

ниях с товарищами. В рекреации он всегда держался особняком, не ходил в обнимку с приятелями, не участвовал в драках и тайных конфузливых перешептываниях, его не ловили в уборной в компании курильщиков. Ничем вроде бы не утвердив себя среди сверстников, он выгадал у них право на обособленность: его не замешивали в молодецкую возню, не задевали, не пытались разыгрывать или высмеять. Все это разглядел цепким писательским глазом Варсанофьев, как только угадал в ученике родственную кровь.

Помог этой угадке случай. Однажды во время урока математики, когда учитель, бойко стуча мелом, писал на доске условие задачи, заглянувший в класс директор обнаружил, что гимназист на последней парте упоенно читает толстую книгу, к математике явно не относящуюся. Директор ворвался в класс: «Пошел в угол до конца урока!» — «Вы не смеете на меня кричать, — побледнев природно смуглым лицом, произнес ученик. — И потрудитесь говорить мне «вы», я не мальчик». Взбешенный директор схватил с парты книгу (то была «Одиссея»), и оттуда выпал листок с начатыми стихами. Юного поэта едва не исключили из гимназии. Отец примчался с далекого подстепного хутора уламывать разгневанного директора...

Варсанофьеву понравился поступок ученика, потому что и себя он считал человеком гордым и независимым. Ему было чем гордиться: как-никак сбежал из бursы, порвал с домом, с церковной средой, без всякой помощи, собственными силенками пробился к университетской учености, стал педагогом и литератором. Но сознание себя незаурядной, творческой личностью уживалось в нем с внешней приниженностью, вернее сказать, с робостью, застенчивостью, отчетливым желанием, чтобы его оставили в покое. Он горбился и, казалось, постоянно что-то выискивал на полу близоруко щурящимися глазами, вздрагивал, когда к нему обращались. Такой повадкой не завоеешь авторитета. И желчный директор, и добродушный инспектор держались с ним небрежно, хотя и ценили знающего педагога. Но этот тихоня и скромник умел держать класс лучше, нежели иные гимназические тираны. Он ничего и никому не спускал, единицы и двойки так и сыпались с кончика его пера, и тут он действовал столь неуклонно и беспощадно, что оторопь брала разболтанных, дерзких, но в общем-то добродушных оболтусов. Почти все знали предмет плохо, но послушные ученики выезжали на спа-

сительной троечке, а нарушителей порядка Варсанюфьев резал. И если каждый готов был за дурное поведение на уроке протомиться в углу, отклоняться в коридоре, остаться без обеда, то никому не хотелось за пущенного к потолку чертика, игру в перышки, подсказку или другую мелкую провинность расплачиваться матрикулом. Ведь за этим следовала домашняя казнь, пострашнее всего того, что могут придумать учителя. Варсанюфьева раз и навсегда вычеркнули из числа учителей, с которыми можно «позволить». Конечно, его не любили, но про себя. Варсанюфьев, в свою очередь, не любил гимназистов. Он и вообще не испытывал любви к реальным, из плоти и крови людям. Он любил тех людей, которых создавал на бумаге, но не за них самих, а потому что они представляли несметную рать страдальцев.

Разумеется, Варсанюфьев, зрелый муж и литератор, не мог видеть коллеги в мальчишке, балующемся стишками, но все же оба кадили одному божеству, и это помогло учителю, изнемогавшему без живого, слышащего уха — коли нету в забытом богом Ельце чуткого слышащего сердца, — превозмочь самолюбивую робость, неистребимую бурсацкую неуклюжесть и довольно ловко, в правильном сочетании любезности и взрослой снисходительности, с не лишенным юмора намеком на их общее служение музам, пригласить мальчишку к себе на литературное чтение. И стройный, худенький гимназист, от тонкой южной красоты которого тянуло не жаром, а ледком, так гордо и замкнуто было его смугловатое лицо, так отстраняюще твердый взгляд синих глаз, казавшихся черными от зрачков и тени ресниц, согласился неожиданно просто, и если без особого восторга, то, несомненно, с пониманием оказанного доверия. Не полагалось гимназистам ходить в гости к учителям, да и зачем, спрашивается, — водку пить, в картишки резаться?

И сейчас Варсанюфьев нетерпеливо поджидал гостя, которого уже не мог воспринимать как недоросля, школяра, ибо собственным доверием возвел его в ранг то ли наперсника, то ли судьи. В давние бурсацкие годы поверял он по ночам одному другу первые, незрелые стихотворные опыты в жалобном духе поэта-прасола Кольцова, но с тех пор утекло много воды, и он окончательно забросил поэзию, в которой ему было тесно, как в одежде, из которой вырос. Свои прозаические произведения он читал вслух самому себе не наслаждения ради, а для критической оценки — на слух лучше ощущалось, что вышло и что не

вышло, что нашло выражение в слове и что словом застится. Он читал и правил, и постепенно у него выработался навык неспешного, внятного, в меру выразительного, с ненавязчивой интонацией чтения.

И все-таки он волновался. В его жизнь вступало нечто новое, призванное им самим, но последнее не обеспечивало безопасности: чем еще обернется эта попытка нарушить тишину добровольного да и вынужденного одиночества? И как обходиться с этим баричем, хотя и не вступившим по младости лет в дворянский гимназический клуб, но таящим в темных глазах, замкнутом лице и горделивом поставе небольшой красивой головы сословную спесь, хоть и без вульгарности иных его однокашников? В стенах гимназии они твердо поставлены друг в отношении друга: учитель и ученик. Здесь это не годится. Хозяин и гость? Но куда девать разницу лет? Не может же он обихаживать мальчишку, как человека, равного ему годами и образованием. Видеть в нем младшего собрата по литературному делу? Больно много чести юному бумагомарателю. Благо бы, еще в прозе себя пробовал, это что-то говорит о глубине натуры, а стихи, если они не в обличительном роде, под стать детскому греху — знак возрастной неопрятности, минующей с наступлением зрелости.

Может, вообще он все это зря затеял? Только слухи неблагоприятные пойдут. Что, если сказаться больным и отпустить гимназиста подобра-поздорову? Он поглядел на аккуратно застеленную постель и едва подавил желание юркнуть под серое байковое одеяло. Вздохнув, он продолжал вытирать кухонным полотенцем блюда и чашки — хотел угостить гимназиста чаем с бубликами, для чего хозяйской прислуге, старой Федосьевне, был заказан самовар. Он прибрал и проветрил комнату, сменил скатерть, почистил висячую керосиновую лампу, вынес пустые бутылки и упаковочную бумагу и сам поразился, до чего же уютным и пригожим стало его холостяцкое логово: чистота, порядок, удобная мягкая мебель, герани на подоконниках, нестыдные литографии на стенах. Вот уже сказалась польза от его опрометчивого поступка.

Он только покончил с хозяйственными хлопотами, вознаградил себя за усердие рюмочкой очищенной, когда минута в минуту явился гимназист.

Пока он раздевался в прихожей, освобождаясь от длиннополой холодной шинели, картузика с серебряным значком на околыше, башлыка и калош, Варсановьев



приплясывал вокруг него, раздражаемый противоположными стремлениями. Хотелось помочь замерзшему мальчонке — февраль после нескольких синих оттепельных дней повернул на жгучий мороз, — но боялся уронить свое достоинство и потому предоставил одеревеневшим пальцам гостя самим справляться с пуговицами и крючками. Варсанофьев делал много лишних, незавершенных движений и смущенно бормотал:

— Вот так!.. Молодцом!.. Сюда, пожалуйста!.. Давайте вместе... Сами справитесь?.. Ну, и отлично, Ванечка. Вы разрешите, я вас буду Ванечкой называть, в домашней, разумеется, обстановке?

И отчужденно с замерзших, плохо размыкающихся губ слетело:

— Сделайте одолжение.

Узкое лицо пылало сквозь смуглоту, ресницы были влажными от стаивающего инея. Он весь как-то сжался, съежился от мороза в своей тесной гимназической курточке, с темными примятыми фуражкой волосами, торчащими ушами казался совсем мальчишкой, и учителя поразило, как мог он придавать столько значения его приходу и его мнению.

— Проходите, Ванечка, — сказал он покровительственно. — Здесь тепло, вы скоро согреетесь.

Гимназист прошел в комнату и опустился на указанный ему стул. Он зажал ладони в коленях, а взгляд его, как всегда с мороза, с белизны, чуть подослепший, смеркший, с цепким любопытством забегал по комнате, не пропуская ничего. Варсанофьев обнаружил с удовольствием, что этот пристальный и не совсем приличный осмотр мало его трогает, и не потому даже, что такого уж высокого мнения о своем быте, а потому, что правильно определил себя в отношении мальчика. Наверное, следовало бы прямо сейчас напоить гостя горячим чаем, но Варсанофьев спокойно рассудил: от горячего да сытного его сразу развезет, в сон потянет, и какой тогда из него слушатель. Пусть лучше так переможется, всему свой черед.

Учитель положил на стол рукопись, и вернулось избыточное вроде бы волнение. Пришлось заглянуть за ситцевую занавеску, где в крошечном чуланчике хранились различные припасы и стояла початая бутылка портвейна, настоящего «Порто», и бокальчик. Он осторожно, чтобы гость не услышал, наполнил бокальчик и маленькими, неслышными глотками осушил. Утерев губы и усы, он с озабоченным видом вернулся к столу.

— Не знаю, насколько вы в курсе текущей литературы, попадают ли вам петербургские и московские журналы, посему не ведаю, доводилось ли вам читать и мои скромные произведения. — Внушительно произнеся эту ловко составленную фразу, учитель окончательно успокоился — долгожданное чувство превосходства хорошо расширило грудь.

Гость сказал, что столичные журналы попадают ему крайне редко, и он не может считать себя в курсе современной литературы, но что-то Глеба Успенского и Златовратского читал — скучно, особенно у второго. Варсанофьеву такое заявление — обухом по темени.

— Господь с вами, Ванечка!.. Это же властители дум!

— Не моих, — обронил тот.

— Да ведь они о главном пишут. О самой сути. Все остальное — развлечение, мишура, висяльки на люстре — звенят, сверкают, играют, но горят-то свечи, не стекляшки. Ладно, спорить до ночи можно. Давайте лучше читать. — Он прочистил горло и начал: — «Климка Хударев и урядник»... «Сия непридуманная история случилась прошлой весной в деревеньке Сухотиновке Н-ского уезда, Орловской области. Стоя на богатейших землях черноземной полосы, обильных почвенным туком, деревенька бедствовала...»

Читая, Варсанофьев слышал себя будто со стороны и радостно удивлялся, как крепко и ясно ложатся у него слова, необходимые для выражения той или иной мысли. Не было ничего лишнего, пустого, служащего для украшения прозаической речи: если пейзаж, так в меру (сельские грамотеи не читают Тургенева, потому что тот слишком много о природе пишет, а Варсанофьеву хотелось, чтобы его произведения дошли до этого нового читателя, недавно появившегося на Руси); если прямая речь, то истинно крестьянская, но без тех идиотизмов и вывертов, или вовсе никому не понятных, или понятных лишь уроженцам данной местности, чем так злоупотребляют писатели из народа. И главное — верность жизненной правде, направление. Да и трогало, прямо за душу хватало, а когда урядник швырнул облыжно оговоренного Климка в холодную, Варсанофьев, чтобы скрыть слезы, кинулся за ситцевую занавеску и принял дозу успокоительного.

Вернувшись, он удивился странному, отрешенно-сосредоточенному выражению лица гостя. Тот будто в нетях пребывал, недоступный звукам земных голосов.

— Вы не слушали, Ванечка? — В тоне учителя не было укоризны, одно лишь огорчение. — Вам скучно?

— Я все слышал, Орест Михайлович, — отозвался тот, не меняя выражения лица. — Последняя фраза: «Он упал на холодный пол и забылся в неизбывной тоске».

— Это многие гимназисты умеют из тех, что спят на уроках, — повторить последнюю фразу учителя.

Отсутствующее выражение сбежало с лица мальчика, взгляд собрался.

— Орест Михайлович, проза не стихи, ее дословно не запомнишь, но спросите меня с любого места, я продолжу очень близко к вашему тексту.

И учитель почему-то сразу поверил, что так оно и есть.

— Простите, Ванечка, вид у вас какой-то...

— А-а!.. Крысы...

— Что-о? — не понял учитель.

— Под полом. Вон там в углу, где кровать.

Учитель прислушался и ничего не услышал.

— Зря вы им в замазку стекло подмешиваете, — сказал Ванечка. — Крысиный желудок сильный, толченое стекло запросто переварит.

— Откуда такие познания? — высокомерно спросил Варсанофьев, которому представилось, что заскучавший барчук хочет его уязвить.

— А у нас на хуторе полно крыс, — просто ответил тот.

— Я не замазывал крысиных дыр, — сказал учитель. — И даже не знал, что есть такая замазка со стеклом.

— А чего же так хрустит? — удивился Ванечка.

Варсанофьев вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Вернувшись, заглянул в «утешительную» и сел к столу.

— Хозяйкина прислуга замазывала, — буркнул тот.

— Ей бы алмаз растолочь, тогда поможет! — с мальчишеской улыбкой сказал Ванечка, и чувствовалось, что подтверждение его правоты не доставило ему ни торжества, ни радости.

— Может вернемся к чтению? — предложил Варсанофьев, на которого препирательство из-за крыс произвело какое-то сложное и неприятное впечатление.

— О, конечно! — сказал Ванечка, сразу становясь серьезным.

Варсановьев начал читать, и вскоре несколько сбитый голос его вновь обрел глубину и сдержанную выразительность. Как все-таки полезно читать вслух свое произведение другому человеку, пусть и глуховатому к твоей боли, твоим думам. Нет лучше проверки, каждое неверное слово, как поддельная монета на звон, сразу себя обнаруживает. И Варсановьев с крепнущим чувством гордости убеждался, что нет у него таких фальшивых и ложных слов. Повествование о горестной и типической судьбе несчастного Клима естественно, как поток, стремилось к его самоистреблению. Повесился в остроге горемыка. И вот уже его худое тело закачалось на сопревшей мочальной веревке.

— Нет! — вдруг громко сказал слушатель. — На мочальной веревке, да еще сопрелой, не повесишься.

— В литературе почти всегда вешаются на мочальной веревке, — возразил учитель.

— В литературе, а не в жизни. Я понимаю, так жалостнее. Но веревка или порвется или развяжется.

— А вы откуда, собственно, это знаете? — ядовито спросил Варсановьев. — Неужто, пробовали?

— Не доводилось, — последовал ледяной ответ. — И вам не советую, если хотите наверняка. А вот девушка у нас одна пробовала. Только горло ободрала.

— Довели? — спросил вконец обозлившийся Варсановьев.

— Понесла от кучера. А он женатый.

— Бог с ней... В конце концов, Клим мог повеситься и на пеньковой веревке.

— Откуда в остроге веревка? По ней из окна спуститься можно. Бежать.

— Разве это так важно? Рассказ ведь не о том. Замучили человека — он и руки на себя наложил. Все эти мелочи, кому они нужны?

— Ну как же?.. — чуть растерянно сказал Ванечка. — Нужны, однако.. Иначе ничему веры не будет.

— Так на чем же ему вешаться, черт бы его взял! — вскричал раздосадованный Варсановьев.

— Говорят, и на рукаве повеситься можно...

— Ладно! — Варсановьев вскочил и кинулся за занавеску: нужно было успокоить расхоловшиеся нервы.

— Орест Михайлович, — послышался неожиданно мягкий голос Ванечки. — Пили бы здесь. Там вам, поди, невкусно. Да и облиться можно.

И как в воду глянул — дрогнула рука Варсановьева, держащая бокальчик, и посадила рубиновую каплю на белую рубашку. Подглядывает? Издевается?.. Варсановьев задохнулся от гнева. Он выглянул наружу и увидел темный затылок со стрелочкой заходящего с виска косоного пробора, очень прямую, худенькую спину, хрупкие плечи. Ванечка и не думал оборачиваться, следить за учителем.

— Мой хозяин Бякин, у которого я на хлебах, — говорил мальчик, — раньше тоже кулеминское «Порто» пил, а потом перестал. В него, говорит, жженую пробку подмешивают для вкуса и цвета. И оттого изжога, отрыжка. Он теперь у Разуваева в лавке «Крымское» берет. На пятиалтынный дороже, но без последствий.

Ванечка по-прежнему не оборачивался и смотрел прямо перед собой. «Что он там еще увидел? — с тоской подумал учитель. — Паука на нитке, клопа на стене или блоху на подушке? Что он еще высмотрел, вынюхал, выслушал в моем бедном доме?».

Варсановьев вернулся к столу.

— Вы, разумеется, понимаете, что я не могу предложить вам вина, поэтому и предпочел делать это келейно.

«И с чего вдруг сунулось на язык семинарское слово «келейно»? — с раздражением подумал Варсановьев и нервными движениями стал скручивать папиросу.

— Орест Михайлович, закурите Жукова табаку. Какой прекрасный запах! Отец всегда Жуков табак курит. И совсем как у вас приготовленный — с перетертыми корешками сон-травы, с мятой и медком. Вам его, наверное, из деревни присылают? В городе такого табаку не найти.

— Да уж... — самодовольно начал Варсановьев, польщенный тем, что курит один табак с Ванечкиным отцом, известным своими старобарскими замашками. — Пойдите, — спохватился он вдруг, — а вы откуда знаете про Жуков табак? Я в гимназии никогда не курю.

— Так ведь пахнет, — пояснил Ванечка.

«Ан врешь! — обрадовался чему-то Варсановьев. — Вот и попался, который кусался! Я последний табачок на той неделе скурил и даже упаковку выбросил. А после Федосьевна клопов керосином морила. Не может тебе Жуковым табаком пахнуть да еще с приправами. Ловок больно! Великая хитрость: вызнать все про человека, а после магачародея из себя строить!»

— Нет, Ванечка, не пахнет у меня Жуковым табаком. Давно весь искурил.

— Да что вы, Орест Михайлович! — Ванечка чуть конфузливо улыбался: он не понимал игры взрослого человека, вздумавшего невесть зачем запереться в таком пустом деле. — Он же под кроватью...

Не спуская с Ванечки пытливого взгляда, Варсанофьев прошел к кровати, нагнулся, сунул туда руку, пошарил и вытащил картуз, на четверть полный Жуковым табаком.

— Как же я забыл о нем?.. — подавленно проговорил учитель и с некоторым испугом глянул на странного гостя.

— Можно, я вам скручу? — спросил Ванечка.

— Мне, право, неловко...

— Приятное ощущение, когда крутишь, — сказал Ванечка, исключив тем самым любезность из своего предложения, и посучил пальцами.

— Не балуетесь? — поинтересовался Варсанофьев.

— Пока нет.

Этот мальчик удивительно быстро, без задержки менял доверительный мальчишеский тон на холодно-отстраняющий. Он придирчиво следил за тем, чтобы собеседник не переступил какой-то черты. А собственное поведение он так же внимательно наблюдает? Его замечания по поводу крыс, портвейна и даже табака можно ли считать вполне уместными? Конечно, в них не было желания задеть, подковырнуть, этот барчук не избалован и совсем просто относится ко всему житейскому. Видать, не больно роскошествовал в своей Неурожайке или как там их вотчину. И все-таки чуть приметные одергивания Варсанофьев ощущал то и дело: в смене тона, взмахе ресниц, румянце, каких-то легких тенях, проскальзывающих по смуглому лицу. Это раздражало, хотя придраться было не к чему.

— Спасибо, — сказал он, принимая ловко скрученную папироску. — Давайте дочитаем. Осталось совсем немного.

А сам мучительно соображал: нет ли на облитых желчью последних страницах какой-нибудь еще «мочальной вёревки», которую только и заметит въедливый и хладнодушный слушатель. Вроде там все в порядке, а впрочем, кто знает. Теперь он ни в чем не уверен. Но ведь если каждую малость в микроскоп рассматривать, не остается времени и сил для главного. И чуть-чуть торопливо, дабы не сосредоточивалось внимание на второстепенных подробностях, Варсанофьев дочитал рассказ и, хоть наст-

роение было сломано, почувствовал его горестую силу. Но, страшась молчания, сразу вскочил и кинулся в кухню распорядиться насчет самовара.

Маленькая пробежка и легкая перебранка с Федосьевой помогли ему собраться. Вернувшись назад, он спросил почти весело. «Ну, как?» — и разорвал мочальную веревку, на которую были нанизаны золотистые бублики.

— Хорошо... Не хуже, чем у Златовратского, — улынулся Ванечка.

Его улыбка ничуть не задела Варсанофьева, а слова обрадовали. Пусть этот недоросль не понимает и не любит Златовратского, тот все равно остается одним из светочей современной русской литературы. А коли у него, Варсанофьева, не хуже, по мнению этого маленького эстета, то чего же еще желать? Он не мог сделать ему большего комплимента и несколько минут Варсанофьев не испытывал ничего, кроме тихого блаженства. Мягкие, теплые волны ходили внутри его, плавно и нежно перекатываясь через сердце.

Отчего писатели так устроены, что им непременно хочется нравиться всем и каждому? Нет того, чтоб удовлетвориться признанием своих единоверцев и единомумов, хочется любви, ну, вот столечко, и от тех, кто их любить не может. Более того, именно от чуждых, даже враждебных, томительно хочется хоть крошечного признания, хоть оговорки ласковой. Варсанофьев давно заподозрил, а сейчас подозрение перешло в твердую уверенность, что Ванечка, верно и сам того не сознавая, принадлежит к недружественному лагерю. К тому, где любят чистое искусство, — в рот им дышло! — кадят Фету и Полонскому и в грош не ставят «направление». Он уже получил подарок, но не желал им ограничиваться. Надо было подвести мальчишку к новым похвалам. И самый лучший способ — это поговорить о частных недостатках, пусть еще за какую-нибудь мочальную веревку подергает, а затем отдаст должное глубине и значительности целого.

— Ну, что я еще наврал? — спросил он с подкупающим добродушием.

Мальчик вскинул на него совсем черные в наступивших сумерках глаза. Он словно колебался: стоит ли говорить или лучше отделаться общими словами. Варсанофьев не прерывал затянувшегося молчания. Вздохнув, мальчик сказал:

— Там у вас весенний ландыш описан... и сказано:

горький запах. Какой же он горький? Это вкус у ландыша горький, если его бубенчик разжевать. У раннего ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий-свежий!..

— Пойдите, Ванечка! — засмеялся Варсанюфьев. — Как это запах может быть влажным и еще водянистым?

— Не знаю... — Что-то растерянное появилось в лице мальчика. — Может... — И тихо, но твердо он сказал: — Да, кисловатый, влажный, водянистый, свежий.

— Да ведь это тавтология: влажный и водянистый, — посмеивался Варсанюфьев.

— Какая тавтология?

— Вы еще не проходили. Повторение. Точнее, определение, повторяющее в иной форме ранее сказанное.

— Так вот же — в иной форме! — обрадовался мальчик.

— Разошлись, Ванечка, разошлись!.. Ну, что еще?

— Еще?.. Помните, мужики-порубщики дерево валят? Урядник видит, как ствол зашатался.

— И что?

— А ствол не шатается. Дерево верхом падает. Вы смотрите на него, а оно вдруг как двинется вперед верхушкой. Грозно, страшно! — Он передернул плечами.

Варсанюфьев вскинул брови и ничего не сказал, похоже, до него просто не дошло. Мальчик опять вздохнул.

— У вас Клима только умер, а глаза у него запавшие и веки белые.

— Все так.

— Нет, вначале глаза у покойников выпуклые, веки лилово-смуглые, темнее остального лица.

— Ну, это братец... — учитель вовремя поправился, — братец вы мой Ванечка, фантазии! Покойник покойнику рознь. У одного так, у другого иначе.

— Да нет же! — упрямо сказал мальчик. — Глаза не сразу западают, и веки темные. Еще там сказано, что головка у ласточки черная. А она сине-черная. И расквашенный дождями чернозем синий, а не угольно-черный.

— Это, Ванечка, вам все синит! На то и чернозем, чтоб черным быть, иначе бы синеземом назывался.

— Орест Михайлович, вы правда не видите, что черноземная грязь иссиня-черная? — И словно бы жалостливое удивление пробилось в его голосе.

— Нельзя видеть то, чего нет, — сухо сказал учитель. — Придумки, Ванечка, игра ума.



Федосьевна внесла ключом кипящий самовар. — Поставила на поднос, да неловко, — из-под неплотной крышки плеснуло крутым кипятком и чуть не обварило руку учителю, хотевшему помочь старушке.

— Экая неловкость! — сказал он в сердцах. — Вот уж верно: до старости дожидла, а ума не нажила.

Ворча, Федосьевна удалилась.

— Зря вы ее так, Орест Михайлович, — морщась, сказал Ванечка. — Она же почти слепая.

— Слепая?!

— У нее левый зрачок будто белком испачкан, а правый вовсе заплыл.

Варсановфьеву вспомнились многочисленные и почти необъяснимые неловкости и промашки старой Федосьевны, за что ее ругательски ругала хозяйка, грозя уволить, и понял с покорной грустью, что маленький страшноватый наблюдатель опять прав. И сразу перекинулся мосток: небось и у ласточки голова черно-синяя, и синее жирная черноземная грязь, и подрубленное дерево макушкой валится. И если с такой вот позиции пересмотреть его рассказ, то что от него останется?.. В комнате совсем померкло. Учитель зажег лампу, и прозрачная лиловость за окнами сразу сменилась тьмой. Он налил Ванечке чая, подвинул сахар, тарелку с бубликами.

— Угощайтесь.

Тот погрел ладони о горячий стакан, насыпал сахару, размешал, попробовал, разломил бублик, понюхал свежее тесто, и все это с таким вкусом и вкусом, что зависть брала. Материальный мир был ему желанен во всех проявлениях, воздействующих на пять человеческих чувств, и, несомненно, он получал о нем больше сведений, чем другой человек, но ведь это не главное, это низменное, и беден тот, кто лишь чувственно воспринимает действительность. Варсановфьев в таком духе и высказался, но мальчишка никак на это рассуждение не отозвался. Теперь пришел черед не понимать собеседника. И, уже злясь, учитель спросил:

— А вам от товарищей не попадало?

— За что?

— Больно вы приметливы, Ванечка. Товарищи не считают, что вы задаетесь?

— Не знаю. Меня это не интересует.

— Побить могут, — с надеждой сказал учитель.

— Пусть только попробуют. — Темные глаза по-волчьему сверкнули. — Столбового дворянина тронуть? Не советую.

Полезла, полезла сословная спесь! Как это у Щербины? «И предки ваши тем знатнее, чем больше съели бато-гов». Что-то в этом роде. Но оставим цитату при себе. Он и так волчком глядит. Подумаешь, столбовые!.. Дворяне от столба. Но все эти сарказмы Варсановьев сохранил в душе, а вслух сказал:

— Я ведь просто так... Вы же понимаете, что такое побои для бывшего бурсака? Барабанной шкуре столько палочных ударов за всю службу не достается, сколько бурсаку за один удачный месяц.

Ванечка рассмеялся — сравнение понравилось, и вернулась доверчивая интонация.

— Отец раз хотел мне уши надрать. Мы с ним стояли весной на крыльце, вдруг слышу — сурки свистят. Отец посмотрел искоса: ты что же, сурка за версту слышишь? Конечно. Врешь, негодяй! Не можешь ты слышать. И суркам рано еще свистеть. Нет, говорю, свистят. Он крикнул, чтоб подали коня. Вскочил в седло. Если наврал, уши оборву. И ускакал. Вернулся тихий, смущенный. Прости, сын, вышли сурки из нор, играют, свистят.

— Занятно, — сказал Варсановьев. — А все-таки одно такое чувственное восприятие жизни писателя не сделает, нет, не сделает.

— А я не собираюсь в писатели, — удивленно сказал Ванечка.

«И слава богу! — подумал Варсановьев. — Не то, по-ди, все литературное дело зашатается».

— Но вы же пишете стихи. Может, почитаете?

Мальчик несколько раз отрицательно мотнул головой и низко наклонился к стакану.

— Не настаиваю... Наверное, это правильно, что вы не помышляете о литературной карьере. Писать ради того, чтобы писать, — пустое занятие. Важно, для чего ты пишешь. Вы сказали о моем рассказе: хорошо. Но ведь вы не полюбили моего Клима, его судьба вам безразлична?

Ванечка не ответил. Он макал бублик в чай и с наслаждением откусывал размоченный кончик.

— Ведь не полюбили? — настаивал Варсановьев. — Скажите прямо, я не обижусь. — Мальчик молча кивнул.

— А почему? — обиженно спросил автор.

— Какой-то он... общий...

— В том-то и штука! — вскричал Варсановьев. — Это обобщенный Клима. Тип современной жизни. Литература должна создавать типы и через них решать задачи, выдвинутые временем.

— Но я не понимаю этого! — сказал мальчик с досадой. — У нас есть на хуторе Клим, его я люблю. Он сутулый, волосатый, добрый, от него вкусно пахнет: хлебом, луком, квасом. И руки у него большие, теплые, шершавые. Он меня на лошадь сажал, на меринка Копчика. А про этого вашего Клима я ничего не знаю. Мне его вовсе не жалко, хоть он такой несчастный. Мало ли несчастных на свете! И чего урядник так над ним зверствует? У нас тоже есть урядник, у него жена чахоткой больна и дочь старая дева.

— Не то, не то, Ванечка! Какое дело литературе до вашего урядника с его чахоточной женой? Нужен обобщенный образ...

И Варсановьев пустился в пространные рассуждения, излагая свой символ литературной и жизненной веры, но все, что он не раз упоенно проговаривал в себе, как-то странно обесценивалось присутствием этого мальчика, и учителю самому стало скучно. «А у ландыша запах кислотный, влажный, водянистый, свежий», — вспомнил он, и в груди сжалось.

— Хотите я вам одну умную книжицу дам, там все изложено. Только, Ванечка, никому ни-ни!..

Мальчик кивнул и вытер рот ладошкой.

«Я, кажется, забыл салфетки, — спохватился Варсановьев. — Ну, и черт с ними!» Он достал с полки зачитанный пухлый том в подклеенном переплете и положил на стол.

Ванечка почти сразу стал прощаться. Варсановьев его не удерживал. Он уже понимал, что задуманное не получилось. Хуже — получилось что-то совсем другое, вовсе ему не нужное и даже вредное. Рассказ вроде бы и не разруган, а сомнение в своих силах навеилось. И не поймешь, почему. Плюнуть и забыть! Чепуха все это, или, как говорил благочинный из сельской поповки: «епуха» — это распоследняя чепуха, чепуховее и быть не может. «Епуха!» — повторил он про себя, скидывая чары. — Я на верном пути. Усердие, труд, вера в свою правоту — и я буду в Петербурге, меня признает критика и вся читающая Русь. А эта богова нелепица с нюхом собаки, слухом соловья и зрением ястреба загложнет в елецкой глуши, проедая и пропивая остатки промотанного отцом и пописывая стишки в альбомы провинциальным барышням. Врет он, что не думает о литературном поприще. Думает небось. Только пустое это, коли нет направления. Отыграла, от-

звенела, отсверкала дворянская Русь, другие времена, другие люди, другие песни. А ну, расступись, дай дорогу, дьячков сын Варсанофьев грядет!.. — Вот так всегда действовало на него кулеминское «Порто», принятое на очищенную: к воинственному воспарению подымало дух. — Надо взять себя в руки, а то впрямь невесть чего нагородишь».

Полутьма прихожей не помешала гостю сразу найти свою шинель, картузик, башлык и калоши. Он быстро и ловко оделся, вежливо поблагодарил хозяина за духовные и телесные удовольствия и откланялся. Варсанофьев выскочил следом за ним на крыльцо и оказался в огромной звездной, звенящей морозом ночи.

— Эх же играют серебром ночные светила! — воскликнул он, подивившись красоте ночного неба.

Прямо перед ним над черными крышами зареченских лачуг лучилась переливчато яркая ограненная звезда.

— Смотрите, Ванечка, какая звезда! Прямо-таки чудо вифлеемское!.. Давайте высчитаем, что это за диво дивное...

— А чего высчитывать? — несколько удивленный этим витийством, сказал мальчик. — Сириус... Любимая звезда моей матери.

Он ушел, а Варсанофьев кисло подумал, что в каком-то смысле этот барчук белоручка, не больно преуспевающий в науках гимназистик, знает о мире больше, нежели он, педагог и литератор. «И на здоровье!» — решил Варсанофьев и, просквоженный стынью, поспешил вернуться в комнаты. На столе лежала забытая Ванечкой умная книга...

На другой день Варсанофьев чувствовал себя прескверно. Он плохо спал, его мучила изжога, и даже не от кулеминского «Порто», в которое, по любезному сообщению всезнающего Ванечки, подмешивается для вкуса и цвета жженая пробка, а от всего неудавшегося вечера. То была не желудочная, а сердечная, душевная изжога, которую ничем не погасишь.

В узком, лоснящемся на локтях и спине фраке он вошел в класс, пряча глаза и горбясь, неловко кивнул в ответ на шумное и нестройное приветствие учеников и поднялся на возвышение. Боясь, что класс догадается о его состоянии, он произнес переключку, не подымая головы от журнала и сцепив домиком над бровями бледные, чуть дрожащие пальцы. А закончив переключку, не переменил

позы, показав тем самым, что будет спрашивать. Этим он сразу пробудил в классе страх и уменьшил ту коллективную наблюдательность, какой отличаются разболтанные, рассеянные подростки, когда они вместе и зрение их словно суммируется. Но едва ли уменьшил проклятую наблюдательность одного, видевшего, слышащего, чующего неизмеримо больше, чем три десятка наивных и простодушных оболтусов.

Дурное, мстительное чувство, слившись с нутряным жжением, завладело учителем. Литература, несомненно, исказила личность Варсанюфьева, человека по природе бесхитростного и доброго. Сквозь решетку пальцев он углядел своего мучителя на обычном месте, у стены. Ленивый и неусердный, Ванечка все же не числился в худших учениках и утвердился на «камчатке» добровольно, дабы читать без помех постороннюю литературу: Фета небось и Полонского!.. А ведь уверен, наглец, что его не вызовут отвечать урок, который он, конечно, не приготовил. Да и когда ему готовиться было? Домой вернулся поздно и уж, верно, не стал корпеть над уроками любящий поспать барчук — усадебная привычка, обломовщина! — только поплескал себе на лицо и шею холодной водой из рукомойника с медным носиком, утерся пахнущим цветочным мылом полотенцем и — в постель, в бездонную сладкую глубину отроческого сна. «Что это со мной? — встревожился Варсанюфьев. — Почему я стал так подробно думать? Уж не мальчишка ли наслал на меня заразу бесцельной возни с малостями жизни? Чур меня, чур!..»

Варсанюфьев еще раз украдкой взглянул на Ванечку и увидел, как дрогнуло и напряглось тонкое, большеглазое лицо. Румянец густо налил ореховую смуглоту щек и лба и зардел на острых скулах. «Ага, не выучил стихотворения Никитина! — злорадно подумал Варсанюфьев и тут же спохватился: — Постой, постой! А почему он знает, что я его вызову? Не должно такое ребенку в голову впасть. Это же низко — вызвать после вчерашнего. Выходит, он меня в неблагородном поступке подозревает? С какой, спрашивается, стати, разве дал я ему хоть малейший повод?.. Положим, и промелькнула у меня такая мыслишка, как мог он догадаться? Я не смотрел в его сторону, всего раз, может, глянул из-под руки. Да ведь ему и того достаточно. Небось и легкую испарину на лбу углядел, мне, правда, лоб слегка увлажнило, когда я понял, что он урока не приготовил. А может, своим собачьим нюхом ножной

запах учуял — подмокают у меня от волнения пальцы ног. Или я чем другим себя выдал: откашлянул, дыхание перевел, желудком екнул, от него разве что укроется? Ему бы в следователи пойти — цены б не было! Фу-ты, черт, будто голый стоишь! Неужто можно так читать окружающее?.. Тогда это больше, чем внешнее восприятие, — сказал он себе с грустью, — это постижение».

А Ванечка уже начал помаленьку высвобождаться из-за парты: ногу левую подтянул и согнул в колене, а правую в проход поставил для упора, чтобы сразу встать, как только его вызовут. Пальцами по пуговицам забегал, плечами поводит, разминается...

«Вот возьму и не вызову, наблюдательный господинчик! Тем более хоть вы и не готовились, а стихотворение Никитина отбарабаните за мое поживаешь! А мы и не просим вас стихов читать, мы вас о направлении никитинской поэзии попытаем, мы вас насчет обобщенного Клима прощекочем.» И, опережая последнее движение гимназиста, почти вылезшего из-за парты, Варсанофьев торопливо, каким-то враз просевшим голосом вызвал:

— Бунин Иван!..

Кордова, жемчужина Андалузии, знала многих великих людей — и отважного исторического действия, и дерзкой, опережающей время мысли, и парящей духовности. На уютных, красивых площадях старинного, затканного цветами города высятся бронзовые и каменные герои, мыслители, поэты: Сид-Кампеадор, Аверроэс, Маймонид, Лукан, Сенека, де Ривас. Но самый большой памятник, занимающий чуть ли не всю площадь перед церковью Санта Мария де Агуас Сантас, посвящен человеку, который никогда не напрягал мысли ради познания тайн вселенной, не славил божий мир ни стихами, ни прозой, ни кистью, ни резцом, ни звуками музыки, ничего не открыл, не построил, не завоевал, не оборонил, но пока был жив, заставлял сердца испанцев биться сильнее, а кровь быстрее бежать по жилам, был праздником своей страны, ее счастьем, и болью, и величайшей гордостью сограждан — что Аверроэс, Лукан и Сенека перед лучшим матадором всех времен Манолете, уроженцем Кордовы!

Его небольшую, стройную фигурку в тесном костюме матадора не сразу обнаруживаешь в огромном и перегруженном монументе. Впереди двое сильных юношей держат за холку горячих, вздыбившихся коней, сзади голые бескрылые ангелочки разглядывают массивную голову быка с огромными острыми рогами. Кони и обуздавшие их юноши, бескрылые ангелочки и подножие изваяны из светлого камня, фигура матадора, держащего перед собой мулету, отлита из бронзы, постамент сложен из необработанных плит песчаника. Скульптор точно передал позу матадора, спокойно и уверенно поджидающего быка, но ничего не сказал о лице Манолете — оно бесхарактерно, лишено индивидуальных черт; это от бездарности ваятеля: у всех больших матадоров лица выразительны, безликим не тя-

---

\* В этой повести я изменил своему правилу — называть персонажей их подлинными именами. Конечно, мало-мальски сведущий читатель без труда узнает участников рассказанной здесь истории, но пусть сам поставит настоящие имена. За исключением главного героя, приговорившего себя к смерти, все остальные — живы, и мне представилось, что в данном случае удобнее прибегнуть к псевдонимам. (Прим. автора.)

гаться со смертью. Но испанцы этого не замечают, они заполняют пустоту своей любовью, своей не утихающей с годами болью утраты — небольшой бронзовый человечек кажется им прекрасным.

Этот памятник построен на деньги, собранные среди жителей города и провинции Кордовы.

Манолете был в зените славы, когда его вовлек в смертельное соперничество — мано а мано — юный, безрассудно смелый матадор Луис Мигель Домингин. Мано а мано (один на один) случается раз в поколение, это схватка не на жизнь, а на смерть за право считаться первым матадором мира. Обычно в корриде участвуют три матадора и шесть быков, а в мано а мано два матадора убивают быков поочередно. Вот что пишет об этом Эрнест Хемингуэй, большой знаток корриды: «Бой быков без соперничества ничего не стоит. Но такое соперничество смертельно, когда оно происходит между двумя великими матадорами. Ведь если один из боя в бой делает то, чего никто, кроме него, сделать не может, и это не трюк, но опаснейшая игра, возможная лишь благодаря железным нервам, выдержке, смелости и искусству, а другой будет пытаться сравняться с ним или даже превзойти его, тогда стоит нервам соперника сдать хоть на миг, и такая попытка окончится тяжелым ранением или смертью».

Случилось то, что должно было случиться: опыт и мастерство не смогли противостоять напору беспощадной молодости. Манолете был слишком гордым человеком, чтобы уступить, и принял смерть от рогов быка. Вся Испания оплакала гибель своего бога Манолете, и вся Испания признала его победителя Домингина. Но все же он не стал богом, ибо бог един, пребывает ли он на земле или на небе. Домингин стал королем корриды, получил неслыханную ставку Манолете, усвоил его трюки, вызывавшие особый восторг у публики, а затем и уловки, обеспечивавшие сравнительную безопасность. Но память о Манолете осталась священной для испанцев. Когда Хэмингуэй в книге «Опасное лето» позволил себе критически отозваться о покойном, испанцы предали анафеме любимого прежде автора. Они простили и возвеличили Домингина, уничтожившего жизнь Манолете, но не простили писателя, бросившего тень на репутацию их кумира. К тому же Домингин был испанцем, и сделанное им служило вящей славе родины корриды, а Хэмингуэй — чужеземец. . .



Лишь когда позади остался таможенный досмотр и все шестнадцать переверошенных таможенником чемоданов благополучно легли на тележки слабогрудых носильщиков, Эдвард Клифтон поверил, что Испания будет. Он не верил этому, когда они летели со своего острова в Нью-Йорк, когда перебирались из аэропорта в гавань и садились на пароход «Конституция», когда пересекали океан в компании веселых и общительных пассажиров, когда ранним розовым утром входили в уютный порт Малаги, когда, невыспавшиеся и немного одурелые, брели по сходням, а потом по влажному после поливки асфальту к морскому вокзалу, где предстоял паспортный контроль (чиновник едва глянул на их паспорта — американцы ездят в Испанию без виз), когда ждали свои чемоданы и сдергивали их с конвейерной ленты, пахшей теплой резиной, ставили на металлический прилавок перед маленьким желчным таможенником, неуважительно и ловко щелкавшим замками и погружавшим смуглые волосатые руки в теплый порядок хорошо и плотно уложенных вещей, — он все еще не верил, что снова увидит Испанию. Он подумал, что прав в своих опасениях, когда оказалось, что надо зарегистрировать ружья, но это не заняло много времени.

А ведь то был уже третий его приезд в Испанию после войны. Но когда он поехал в первый раз, имея серьезные и веские основания для тревоги, то был совершенно спокоен. Нет, он, конечно, волновался, да еще как, у него кровь носом пошла, когда он ступил на испанскую землю, но не из-за встречи с франкистскими властями, а из-за встречи со страной, которую любил больше всего на свете после своей родины. Что же касается властей, то его друзья, конечно, прощупали почву. Все-таки мало кто из писателей, даже дравшихся на стороне республиканцев, так часто и ожесточенно нападал на Франко, как Клифтон, а каудильо ко всем милым чертам своего характера был на редкость мстителен. Но франкистские власти дали понять: если не будет лезть в политику и болтать лишнее, пусть едет. Зеленые американские доллары значили для испанского правительства больше, чем розовый или красный цвет убеждений заокеанского пришельца.

Но было и еще одно в той легкости, с какой решил вопрос о его первом приезде, который он про себя называл возвращением. Он это понял уже в Испании, пораженный странным безразличием испанских чиновников. Он ездил

на машине во Францию и обратно через Пиренеи, потом в Гибралтар, и хоть бы раз задержался на нем с вниманием взор властей предержавших. Медлительная по природе и привычке, запуганная не любящим шутить режимом, испанская администрация никак не отличалась снисходительностью, быстротой решений, изяществом исполнения. Ее неотъемлемые качества — нерасторопность, тугодумие, подозрительность (в каждом — и не без основания — видят противника режима каудильо); испанский чиновник каждую бумажку на свет посмотрит, понюхает, потрет да и отложит в сторону, занявшись чем-нибудь другим, при этом он будет исподтишка, остро и как-то жалко поглядывать на вас: может, вы отказались от своего тайного и опасного намерения. Ведь бумажка, не запечатленная им, — единственное препятствие вашему губительному умыслу. А как только он стукнет резиновой печатью, предварительно согрев ее скисшим от страха дыханием, зашатаются и рухнут старые стены Эскуриала — резиденции свергнутых королей и утвердившегося на их месте каудильо. Но генералиссимус уцелеет, вывернется из этой напасти, как выворачивался всю жизнь, а от маленькой чиновничьей мухи и пятнышка не останется. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. И стало быть, волокита.

Тем более странно, что Клифтону, чьи книги были запрещены в Испании, открыли зеленую улицу. Чуть глянут в бумаги — и распахиваются двери, щелкает турникет, подымается шлагбаум. Несомненно, о его приезде сообщили каудильо, и тот снизошел до мести пренебрежением писателю, столько раз предрекавшему ему скорое и позорное падение. Но он не пал, даже не пошатнулся вопреки всем пророчествам, он единолично правил Испанией уже полтора десятка лет и будет править ею до самой смерти, а там царственным жестом завещает страну принцу Хуану Карлосу, законному наследнику последнего короля. Пока этот писака разорялся на бумаге в своей Америке — так или примерно так должен был думать, по мнению Клифтона, каудильо, — он протащил Испанию сквозь вторую мировую войну, откупившись от своих требовательных и настырных друзей, водворивших его в Эскуриал, одной, якобы добровольческой, «Голубой дивизией», избежал расплаты за поражение свастики и знай себе катил дальше, с каждым годом укрепляя свое положение, неторопливо и уверенно вылавливая рыбу в мутнейших водах современ-

ной политики. Как это ни грустно, Франко нечего бояться, ничто не может пошатнуть его положения. Ему страшно лишь то, что страшно любому диктатору, — пуля или кинжал фанатика. Но и от этого он надежно защищен. А на пустомелю-писателишку он плевать хотел. Пусть приезжает в Испанию, без которой жить не может, дышит ее воздухом, обливается потом на тесных улицах неистовствующей Памплоны и на переполненных трибунах цирка, пусть пьет, жрет и разлагается под равнодушным взглядом темных глаз генералиссимуса, глядящих отвсюду, комар, раздутое ничто в кровавых играх века! — заходясь и пьянея от бешенства, поносил себя от лица каудильо Эдвард Клифтон.

Да, в тот первый вояж он пустился с незатуманенным челом. Он и вообще не задумывался тогда над последствиями своих поступков. Надо сделать, а там видно будет. Сейчас он так не мог. Возраст делает человека осмрительнее и... беспокойнее. Неверно, будто годы несут умиротворение: Клифтону во всяком случае жить стало неизмеримо тревожнее и труднее. Он был убежден в справедливости всех своих беспокойств, терзавших его с самого отъезда.

Впервые взял он с собой так много чемоданов. Ему хотелось быть полностью экипированным на все случаи жизни и не тратить денег в поездке ни на что, кроме еды, питья, жилья и развлечений. Он взял с собой всю охоту и всю рыбалку: ружья для себя и жены, оптические прицелы, патронташи, набитые патронами, ягдташи, щелочь и масло для чистки стволов, комбинезоны с теплой подстежкой и болотные сапоги, палатку и надувную лодку, складные удочки, спиннинги, подсачники, брезентовые ведерки, наборы блесен, крючков, поплавок, грузил, искусственных мух и червей, он взял с собой восемь костюмов, включая смокинг, который приобрел для банкета в честь вручения ему Нобелевской премии, но в последний момент раздумал ехать в Швецию, при этом он знал, что не расстанется с любимым мягким и немнущимся гонконгским пиджаком из твидовой ткани и серыми фланелевыми брюками; он обеспечил себя одеждой на все времена года и на все климатические пояса; не забыл он о носильном и постельном белье, обуви, спальных мешках и клетчатых шотландских пледах, всевозможных туалетных принадлежностях и бритвенных приборах, хотя не собирался трогать свою густую седую бороду, скрывавшую неопасный кож-

ный рак. Два чемодана были набиты книгами, но свои книги он побоялся везти в страну, где был под запретом, а в первый раз не боялся и привез все, что оказалось под рукой, в том числе «крамольный» роман о гражданской войне в Испании.

Прежде он отправлялся в путешествие с рюкзаками, ружьем в твердом чехле и складной удочкой. А сейчас он не собирался ни охотиться, ни рыбачить, ружья и удочки были взяты на всякий пожарный случай. Конечно, все это можно купить на месте или одолжить у знакомых. Но не любил он новых, непривычных руке вещей, не любил одалживаться — за это платишь сторицей. Он и вообще поутратил доверие к людям, магазинам, товарам, издательствам, газетам, журналам, летчикам, шоферам, капитанам судов, официантам, служащим отелей, чиновникам всех ведомств и особенно к государственным деятелям; он еще верил животным — диким больше, чем домашним, и верил в бой быков. Полагаться можно лишь на самого себя. Тут дело верное, этот парень, насколько он помнил, никогда его не подводил, даже из двух авиационных катастроф, случившихся одна за другой, вытащил, что так же невероятно, как взять дуплетом двух антилоп куду.

Анни уверяла, что с такой экипировкой можно отправляться на необитаемый остров и с полным комфортом скоротать там остаток жизни. Анни не понимала его теперешнего, еще не понимала. Но она скоро поймет, бедная, судя по дряблеющей на шее коже. Женщина может долго сохранять молодость естественным и искусственным образом, но шея всегда выдает настоящий возраст, тут уж ничего не поделаешь. Но пока Анни держала форму. Она сравнялась с ним во всех мужских делах: отлично стреляла, плавала, скакала верхом, неплохо забрасывала спиннинг, была отличным ходоком и не размякала от двух-трех порций виски, а отплясывать могла всю ночь напролет и потом мчаться в машине хоть к черту на рога. Недаром ее называли «маленьким Клифтоном». Такую можно взять даже в Памплону, хотя в этот безумный, яркий и неопрятный рай брать женщин не рекомендуется.

Клифтон ненавидел слово «старость» и даже мысленно не произносил его в применении к себе. Какой же он старик в свои шестьдесят? Старость — это поражение, опущенные книзу уголки рта, это разочарование и сдача на милость победителя. Жизнь была его без пощады, но победить не могла, он стал хитрее и осмотрительнее, но меж

бородой и усами его большой, крепкий рот улыбался по-прежнему упруго и молодо. Он не был старым, но мог черпать из опыта старости, который ему открылся и в большом и в малом. Поэтому он взял шестнадцать чемоданов. Что, если ему взбредет в голову поохотиться на горных коз или половить форель? Все снаряжение под рукой. Ведь он же не таскает сам тяжелые чемоданы, для этого есть шоферы и носильщики. Его дело только следить, чтобы их не сперли или не отправили куда не надо. Правда, следить за чемоданами оказалось более хлопотным, нежели он представлял, нужно все время помнить о них и не лениться пересчитывать, это надоедало. Но он дал себе слово, что отменит поездку, если пропадет хоть один чемодан. Не потому, что был барахольщиком, но все эти вещи он сам выбирал, по вкусу и по качеству вещи первоклассные, удобные, надежные, полностью отвечающие своему назначению, не все можно купить за деньги, нужны еще время и удача, а и того и другого остается все меньше, и он не имел права на ротозейство.

«Бедный Дядя! — вздохнула Анни, называвшая мужа этим всемирным прозвищем. — Как он суетится из-за несчастных чемоданов. Поистине, старость не радость, если корежит даже такую личность!..»

Сильно тревожил Клифтона и паспортный контроль. От американцев не требуют виз, но ведь он был необычным американцем. И кто знает, что взбредет в голову Франко. В первые его приезды месть куадильо проявилась в полном пренебрежении властей к заядлому республиканцу, не исключено, что сейчас приготовлено более острое блюдо. Беспokoил и таможенный досмотр. Он не вез ни наркотиков, ни фальшивых бриллиантов, но в бесправном государстве запрет может быть наложен на что угодно: на твидовые пиджаки, спиннинги, бинокли, очки-консервы, запасные крючки. А он не собирается расставаться ни с чем из своего имущества.

И еще он боялся, что Анни поломает ногу, подвернутую в нью-йоркском порту. Она недавно избавилась от костылей — трещина в голени, полученная при неудачном прыжке через ограду на пони-двухлетке, — и уже успела получить новое, хотя и легкое увечье. Конечно, Анни не привыкать, без переломов не обходилась ни одна поездка — недостаток фосфора в организме; она ездила на сафари с загипсованной ногой и прошла на костылях половину Кении, но в Памплоне калеке делать нечего, там и на двух

ногах устоять мудрено, когда беснующаяся толпа запрудит узкие улицы.

И последнее, что могло расстроить поездку, — это какое-нибудь несчастье с юным матадором Хосе Орантесом, ради которого Клифтон и отправился в Испанию. Орантес был сыном его старого друга и героя первого романа «Ярмарка», принесшего ему мировую славу. По счастью, сезон еще не открылся и Орантесу не грозили травмы на арене. Но воздух кишит бактериями, и дуют сквозняки, и простудно холодна вода горных речек. Вроде бы с чего болеть двадцатитрехлетнему здоровяку, но и в раю и в аду любят посмеяться над жалкими расчетами смертных. Было бы неудивительно, хоть и невыносимо грустно, если бы у Орантеса вдруг обнаружился вирусный грипп, инфекционная желтуха или пневмония. К тому же случаются автомобильные и мотоциклетные аварии, хорошо еще, что суеверный матадор не летал самолетом. А без Орантеса ему нечего делать в Испании. На Орантесе замкнулось кольцо его любви к стране, бывшей для него и самой большой радостью и самой мучительной болью, стране, одарившей его литературной славой, давшей ему мужскую душу и самые большие дружбы. Ради Хосе Орантеса нарушил он свое слово никогда не дружить с матадорами, ибо нет ничего на свете столь хрупкого и недолговечного, как настоящий матадор. Если же настоящий матадор обретает долголетие, как отец Орантеса Педро, то это достигается путем отказа от собственной сути и судьбы, иначе говоря, капитуляции, а это еще хуже, чем смерть. Но юный андалузский полуцыган, естественный, как сама природа, ловкий, изящный и сильный, как зверь, и, как зверь, умный точностью своих инстинктов, неспособный быть пошлым, банальным или низменным, покорил его и заставил взять назад данное себе слово. Орантес вернул ему молодость — и манерой боя, и врожденным благородством движений, и красотой смуглого, черноглазого, горбоносого лица он напоминал своего отца в юности. Катрин, первая жена Клифтона, была без памяти влюблена в Педро Орантеса, и муж настолько понимал ее, что даже ревновать не мог. Но Хосе не только пробудил в нем воспоминания молодости, а дал ему новые связи с настоящим. Орантес принадлежал сегодняшней Испании, которую Клифтон почти и не знал, а юный матадор дарил радостным ощущением, что и в этой чужой стране звучит былая музыка, пленившая его в далекие двадцатые годы.

Раньше, чем с Орантесом, Клифтон подружился с его шурином, знаменитым Мигелем Бергамином, победившим легендарного Маноло. Они сблизились в пору, когда Бергамин, взявший от корриды все, что только возможно: славу, богатство, любовь красивейших женщин и дружбу значительнейших мужчин, — перестал выступать. Он купил скотоводческую ферму, построил роскошный дом и украсил сад собственной бронзовой статуей. Если исключить последний штрих, выдававший недостаток вкуса, то Мигель Бергамин резко выделялся по всем показателям среди тореро. Сын матадора, ставшего крупным дельцом, брат матадоров, ныне промышлявших антрепризой, и очаровательной Мерседес Орантес, единственной женщины, выходявшей на арену с мулетой и шпагой, Бергамин был человеком довольно образованным, с острым, язвительным и, главное, самостоятельным умом. Он был неизмеримо развитее Орантеса и куда зрелее характером, что неудивительно при большой разнице в возрасте, но настоящей дружбы с ним у Клифтона не получилось. Связи Бергамина, с одной стороны, уходили к двум Пабло — Пикассо и Казальсу, к художественной аристократии, с другой — к старой знати и нуворишам, пришедшим вместе с Франко. Его любили богачи, военные и министры. К тому же Клифтон не видел его на арене, а дружить с матадором, не имея представления о его искусстве, все равно что глухому дружить с музыкантом, а слепому с художником, это возможно, но есть тут что-то уродливое. Светскость Бергамина раздражала, но куда больше раздражало другое, чего Клифтон никогда не формулировал, боясь обнаружить какую-то мелкость в себе самом. Он всегда старался подчеркнуть свое уважение и приязнь к Бергамину. Уважение он и в самом деле чувствовал, а вот приязнь... Но через Бергамина он узнал Орантеса, свою радость, свой праздник, и уже за одно это будь благословен торговый дом «Мигель и К<sup>о</sup>», как называл про себя Клифтон большой и преуспевающий возле быков клан Бергаминов.

Преданно любя Орантеса и смертельно боясь за него, Клифтон весь долгий путь через океан ждал, что ему принесут телеграмму, извещающую о каком-то несчастье с его другом. Слава богу, такой депеши не было. Уже на пристани в Малаге он с испугом озирался, отыскивая измазанное горем лицо Мерседес. Раз-другой он принял за нее каких-то красивых молодых испанок. Нет, Мерседес спо-

койно сидела в Мадриде. Похоже, что с Орантесом не стряслось никакой беды.

— Ну, успокоился? Понял, что ты в Испании? — послышался веселый голос Анни.

И когда она так сказала, сразу запахло Испанией. Запах страны — это запах ее трав и цветов. Маки — цветы дивной испанской весны — лишены запаха, как и олива и пробковый дуб — деревья Испании. Пахнут розы в парках, садах и маленьких двориках, но это всесветный аромат буржуазного благополучия. Запах страны — это запах ее кухонь. И едва вопрос жены проник в его сознание, Клифтон почуял чесночно-луковично-оливково-перечно-мясной запах, тянущий, видимо, из кухни аэродромного ресторана.

— Здравствуй, Испания! — вполголоса проговорил Эдвард Клифтон.

## 2

...В свой первый после долгого и вынужденного перерыва приезд в Испанию Эдвард Клифтон утратил обычную выдержку, впад в какой-то томительный полусон. Он не вспоминал, не думал и почти не страдал, туманные образы наплывали на душу, тесня ее и тревожа, но не успевали оконтуриться, не то что обрести смысл или хотя бы стать отчетливым чувством.

Состояние полубреда он поддерживал обильными возлияниями. Просыпался лишь изредка — при встречах со старыми друзьями, их почти не осталось, или когда его что-то сильно удивляло. Так случилось на ферме Мигеля Бергамина, где он, к величайшему изумлению, застал Аду Гарпер, некогда научившую его ценить библейскую красоту и библейскую эротику. Она снималась в одной из его экранизаций, единственной, от которой его не тошнило. Фильм был спасен правдивостью поведения актрисы, теплотой ее интонаций. Клифтон никак не ожидал такого от избалованной кинозвезды. Живая Ада была куда менее естественна, чем на экране, но еще привлекательнее. Никогда не видел он таких тяжелых черных глаз, готовых излиться влагой наслаждения на крутые прохладные скулы, таких полных и нежных, безвольно размыкающихся при вдохе губ — у ребенка это означало бы аденоиды, а у нее — удушающую силу вождения. Когда они расставались, Ада, покорная, бедная, растерянная, как будто просила прощения, что не перенесет разрыва. До чего же



быстро это беспомощное дитя нашло успокоение в надежных объятиях красавца матадора! И еще две-три встречи вышибли его из состояния сонной одури, в котором прошло его первое свидание с Испанией. Наверное, иначе и быть не могло. Где занять трезвости, спокойствия, рассудительности, если ты возвращаешься к тому, что сделало тебя тобою, научило любви и ненависти и казалось безвозвратно утраченным? Возвращение могло быть только бредом, оно и было бредом.

Но в следующий приезд, года через три, он вернул себе способность видеть, вспоминать, сравнивать. Тогда, находясь в Мадриде, он очень много ходил, на какое-то время дома стали ему важнее людей. Он обошел все отели, где жил в двадцатые годы и в дни мадридской обороны, отыскивая на серых стенах следы снарядов и осколков фугасных бомб, и порой ему это удавалось; со сложным чувством разглядывал необитаемое с пустыми оконницами здание, которое занимали сражавшиеся на стороне Республики русские командиры, а также военные и политические советники; дом не восстанавливали и не сносили, к нему словно боялись прикоснуться, и он стоял темный, почти черный, будто обожженный, пустой и мрачно значительный. Он побывал во всех барах, начиная со своего любимого «Чикотес», ресторанах и пропахших луком харчевнях, в чудесных лавчонках, где висят связки глухарей, куропаток, фазанов над кругами сыра и бледной спаржей.

Внешне Мадрид мало изменился, особенно в центре: те же улицы и площади, дворцы и соборы, правительственные здания и учреждения, музеи и банки, доходные дома, магазины, антикварные, книжные и сувенирные лавки с толедской сталью, веерами, пышными юбками для фламенго, мулетами, бандерильями и прочими причиндалами для любителей корриды; все так же трусят на своих одрах Дон Кихот и Санчо Панса и смотрит им в спину огромный костлявый Сервантес; целы все памятники, и бьют все фонтаны, не изменили привычным маршрутам трамваи и автобусы; постоянна нарядная безликость этого самого неиспанского города Испании, если забыть о Пуэрто-дель-Солль, хорошо пропахшей чесноком, дешевым вином и горелым оливковым маслом. Лишь больше стало кинотеатров с кричащими рекламами, да всюду висят портреты каудильо. Мадрид мало изменился и при этом стал неузнаваем. Ведь главное не внешний вид, а дух города.

Толпа стала чужой. От нее больше не шли привычные токи, которым он так чутко отзывался. Та же вежливость, та же приветливая серьезность, что и прежде, но чего-то недоставало — открытости, доверчивости, люди были заперты, заперты на сто замков, к ним не пробиться.

Чем пристальнее вглядывался он в окружающих, тем сильнее чувствовал, что не только он им чужой, но они чужие друг другу. Он помнил испанцев, живших надеждой, помнил живших борьбой, помнил, как исступленная вера в победу сменялась отчаянием, но никогда не видел их просто существующими — без надежды, веры, готовности к отпору и гибели. Сейчас люди жили машинально, изо дня в день, подчиняясь простой физиологии, необходимости есть, пить, воспроизводить себя в потомстве. Для удовлетворения этих потребностей они должны были работать столько-то часов в день, а чтобы иметь работу, строго выполнять все предписания режима и главное — молчать. А ведь были среди этих молчащих, запертых людей участники боев за Республику — бывшие солдаты, шоферы, телефонисты, санитары, чье плечо он ощущал, вжимаясь в сухую стенку окопа, с кем делился глотком теплой воды из фляги с плесневелым сухарем, с кем трясся на горных дорогах в изрешеченных пулями и осколками грузовиках, с кем обменивался шутками, и ругательствами, и адресами, чтобы списаться и встретиться после победы. Конечно, многие были расстреляны, замордованы в тюрьмах, сосланы в колонии, другие бежали — он встречал бывших бойцов-республиканцев в разных частях света, больше всего их осело во Французском Марокко. Но ведь кто-то уцелел и продолжал жить при новом режиме, пусть под подозрением, пусть дрожа за свою жизнь, но постепенно свыкаясь и с дрожью, и с непрочным сном, и с затычкой во рту, которую не выталкиваешь ни спяна, ни в любовном забытии, ни в запальчивости. Но они не давали себя обнаружить. Клифтон думал о том, что своим детям они с самых ранних лет внушают правила лжи, двоедушия и умалчивания, что тоже ложь, хоть и пассивная, учат их двойной бухгалтерии бытия — для дома и для общества. И как безмерно и страшно пластичен человек, если пепел Герники, пепел всех уничтоженных свинцом, сталью, огнем, пенькой палаческих захлесток не стучит ни в одно сердце. Нет, это невозможно, ведь есть же память, как ни истребляй ее, память о свободе, память о борьбе, память о том легендарном времени, когда ты был человеком; но

тщетно пытался Клифтон разбудить эту память в людях, с которыми удалось сойтись покороче. Возможно, он и будил эту память, но никто не признавался в том хоть взглядом, хоть вздохом. Он заговаривал с пожилыми барменами, со стариками портье, со слепцами, продававшими лотерейные билеты на углах центральных улиц, но все ускользало от разговоров в глухоту физическую и душевную, в беспамятство, в идиотизм. А иные давали злобный отпор, и он чувствовал себя провокатором, правительственным шпионом. Не существует людей, которым нечего терять. Привратник мог лишиться чулана под лестницей, слепцы — лотерейных билетов, паралитик — грошовой пенсии, бродяги — простора.

И Клифтон оставил бесплодные попытки извлечь из мертвых кукол память Овиело, Гвадалахары, Карабанчеля: В конце концов он не для этого сюда ехал. Он ехал на фиесту, как жизнь назад, ибо минувшие с его первой Великой фиесты годы вместили целую жизнь — и не только его собственную, но и мира. И поколение сыновей, опередив отцов, уцелевших в первой мировой войне, сошло в братскую могилу второй мировой. Но опять как ни в чем не бывало зазвенит Памплона своей ярмаркой, прольется кровь быков и кровь человеческая во славу бесцельного и благословенного мужества. Хорошо, что Памплона остается Памплоной, может, это самый верный залог того, что Франко невечен, что его режим, такой прочный в своей безнадежности и такой безнадежный в своей прочности, — лишь черная страница в исторической жизни народа, который в основе своей остается все тем же: добрым и жестоким, суеверным и беспечным, храбрым, гордым, честным, на редкость мужественным и вместе с тем приученным подчиняться силе — и живым, живым, вопреки всему живым!..

И Памплона его не подвела. Все было как в старое доброе время. Та же великолепная, брызжущая весельем, самозабвенная, лихая толпа, орущая песни до хрипоты, ночь напролет отплясывающая рио-рио, подставляющая спины возбужденным быкам, когда их гонят по узким улицам из стойла к цирку, полупьяная, воняющая потом, чесноком и дешевым вином, задиристая и добродушная толпа, не думающая ни о чем, кроме праздника, и напроочь забывшая о маленьком, злом и всесильном человеке, пытающемся остановить время. А потом началась коррида и свершилось явление Орантеса. И Клифтон понял, что сто-

ило прийти в этот мир лишь ради того, чтобы увидеть Хо-се на арене. Его ките было верхом совершенства, с мулетой он работал безукоризненно и убивал с таким изяществом, что хотелось стать быком и получить этот наисовершеннейший удар в загривок. Он был лучше своего отца, лучше всех на свете. На памяти Клифтона никто не работал так близко к быку, на пределе риска, так бесстрашно и легко, даже Бельмонте поры расцвета. Ну, что там много говорить: он был как Гойя, как Лев Толстой, как Сезанн, как Джо Луис, как ди Маджио, как самые великие в человечестве.

Остальные матадоры в подметки ему не годились. Это чувствовала даже малосведущая публика. Клифтон сразу понял, что настоящие знатоки корриды выбиты гражданской войной и с этой и с той стороны, удивляться тут нечему, война уничтожает в первую голову лучших мужчин. А потом пришел Маноло и развратил зрителей своими трюками, не имеющими ничего общего с честной работой. Наверное, он был великим матадором, но от него ждали трюков, поскольку он умел их делать, и он пошел на поводу у толпы. Маноло блестяще имитировал опасность, но обманывал быка, а не побеждал, раскрывая, чего тот стоит, он обманывал зрителей, которым грош цена. Ко всему еще, быков ему готовили: им спиливали кончики рогов и тем лишали опасных локаторов. Вызвав Маноло, юный Бергамин заставил его отказаться от трюков и посадил на рога. А, заняв место Маноло, Бергамин воспользовался многим из арсенала своего предшественника. Их бездарные подражатели и последователи вовсе развратили публику. Клифтон никогда не видел, как работает Бергамин, недавно вернувшийся на арену, но чувствовал, что его стиль ему не понравится, оставит холодным, сколько бы мастерства тот ни проявлял. Так оно и оказалось впоследствии, так или почти так... В Орантесе, считал Клифтон, возрождалась классическая, честная, благородная и бесстрашная манера старых мастеров, вроде легендарного Педро Ромеро из Ронды. Орантес стал не просто его матадором, но и его Испанией, им связалось прошлое с настоящим, и Клифтону начинало казаться, что в его жизни будет еще одна фиеста...

...И вот сейчас он сидел в кафе «Чайная роза» возле Прадо и ждал Орантеса. Он нарочно назначил встречу не в гостинице, не в каком-нибудь маленьком, укромном ресторанчике, где, уединившись в темном углу или за кадкой

с лимонным деревцем, можно чувствовать себя отрезанными от всего мира, а в большом караван-сараяе, на скрещении всех туристских троп, где всегдалюдно, шумно, бестолково, жарко, на редкость неинтимно и неуютно. Здесь надо было чуть не по часу дожидаться простейшего заказа вроде кофе с рюмкой коньяка или мороженого со сливками. В «Чайной розе» довели до абсурда известное всему путешествующему миру бескорыстие испанских официантов, чье расположение не купишь ни за какие чаевые, но можно обрести улыбкой, шуткой, уместным замечанием о корриде, скачках или футболе. Здешних официантов вы могли осыпать золотом чаевых и золотом самых лучших слов, а в следующий раз так же тщетно взывать о милосердии. Они не уважали место своей службы, считая его проходным двором, без устава и традиций, в грош не ставили разноязычных посетителей, которые не могли стать настоящими клиентами, завсегдатаями в силу краткости гостевания в стране и потому были им вовсе не интересны. Испанцу по-настоящему интересен только испанец или тот, что в силу своего характера, обстоятельств, связей, пристрастий или чудачества ставит испанские дела выше собственных. Так было с Клифтоном, его влюбленность в корриду и матадоров, а позднее в Республику, участие в борьбе испанского народа за свободу, рассказы и романы, посвященные Испании, сделали его своим или почти своим в этой стране. Его знали здесь не только писатели, журналисты, художники и музыканты, но и тореро, жокеи, наездники, бармены и официанты. Последнее — знак высшего признания. Когда он приехал сюда после многолетнего отсутствия, пришлось заново налаживать связи, но это оказалось не так трудно, в этой среде его помнили, он был фигурой почти легендарной — единственный янки, разбирающийся в быках и тореро, не повышающий голоса даже после бутылки виски и написавший об Испании книги, где лучшая под солнцем страна, как бы ни испытывал ее господь, выглядит похожей на самое себя. Его частенько узнавали на улицах, всегда радостно узнавали в ресторанах, барах, кафе, пиццериях, подвальчиках, харчевнях, особенно когда он перестал ворошить прошлое, но никогда не узнавали в «Чайной розе» возле Прадо, как не узнали бы Христа в терновом венце — из безграничного равнодушия.

Вот это паршивое, нелепое, неуважительное место выбрал Клифтон для встречи с Орантесом. Он не хотел поддержки, если встреча не заладится, если не почувствует в

Орантесе ответного огня, не хотел обманчивого спасения уютом добрых стен, вниманием знакомого бармена, заботой расположенных официантов, потому что встречу действительно можно спасти, но не спасешь того, что с этой встречей связалось. Ставка была слишком крупной, она исключала и малый проигрыш и малый выигрыш. «Компаньоны» ли они по-прежнему, так ли он важен для Орантеса, как тот важен для него, будет ли фиеста, растворится ли он до конца в настоящем, как в далекие счастливые времена, или будет по-прежнему волочь привязанное к ноге ядро прошлого, — надо понять это сразу и чтобы ничто не усыпляло его пронизательности. У него не было ни малейших оснований сомневаться в Орантесе, но что поделаешь, если он разучился верить в хорошее. Надежда, опавшая на него в порту, когда он услышал родной запах Испании, потускнела, сменилась неуверенностью и тревогой. Он даже зачем-то пересчитал чемоданы в номере гостиницы и, недосчитавшись одного, впал в горе и ярость, но потом вспомнил, что Анни забрала свой чемодан, расставаясь с ним в Малаге. Она хотела погостить у своих друзей и съехаться с ним позже в Памплоне.

Да, он правильно выбрал место встречи. Здесь все работало на разъединение людей: хамы-официанты, горластые, бестолковые туристы, задевающие столики локтями, коленями, задами. Особенно бесцеремонно вели себя немцы в тиролевских, натирающих розовые потные лбы шляпах, рослые, похожие на лошадей богатые американские старухи с костлявыми головами, качающимися на тонких, жилистых шеях, и веселые краснолицые старички в клетчатых пиджаках, а также шумные невоспитанные дети, словно бы потерявшие родителей, что их несколько не огорчало, равно как и родителей, охваченных туристским трансом. Эта толпа вдруг стала ему душна. Он чувствовал себя как рыба в воде в давящие памплонской лавины, в любой человеческой сутолоке, будь это в цирке, на стадионе, на ипподроме, в переполненной кабачке. Но здесь ему стало не хватать воздуха и заболела поврежденная в авиационной катастрофе спина, то была словно реакция на опасность, неужели они нападут сзади? Вспотел лоб, и пот потек за очки. Он пытался расчленивать толпу, чтобы лишить ее грозной монолитности: вот эти с брезентовыми мешками за спиной и бесцветными лицами — скандинавы, жердилы, торчащие над толпой и не поддающиеся ее напору, — англичане, яйцеобразные, черные, с толстыми, плава-

щимися, как сало на сковородке, женами — индийцы; а были странные люди из какой-то мировой провинции, которые требовали в кафе протертый суп и бифштекс и получали молчаливое презрение официантов. Но это занятие скоро надоело, об Орантесе тоже не стоило думать, как не нужно матадору думать о быках перед корридой. Он постарался думать о Прадо, где только что побывал и впервые обнаружил, что Веласкес выщвел. Да, выщвел, так выщвел, что невозможно составить представление о его красках, а стало быть, и о живописи Веласкеса, о его божественной живописи!

И неожиданно для самого себя Клифтон всхлипнул. Этого еще не хватало! Он вконец разложился. А чего другого ждать, когда в тебя всю жизнь стреляли и кидали бомбы, когда твои машины и самолеты бьются раз за разом, когда ФБР роется в твоём прошлом и настоящем, а налоговое управление затягивает петлю на твоей шее и кругом обман, корысть и неверность? И стальные нервы не выдержат. Но коли до того дошло, надо действовать, одно спасение — в поступках. Толкнув столик, он вытянулся во весь свой громадный рост, поймал плечо пробирающегося мимо официанта и гаркнул ему в рожу:

— Виски!

— Не держим, — пробурчал официант, тщетно пытаюсь вывернуться.

— Джин-кампари! — пахнуло ему в лицо жестким дыханием зверя.

— Си, сеньор!

Официант сумел оценить клиента, заказ был выполнен молниеносно, и в стакане оказалось достаточно льда.

Клифтон выбросил соломинку и припал к стакану. С каждым ледяным глотком утишалась жалкая буря внутри него; он будто собирался нацельно из разлетевшихся во все стороны кусков.

— Добрый день, Эдвардо! — услышал он мягкий звучный голос, повернулся и едва не вскрикнул.

Перед ним стоял юный Педро Орантес. Земля бешено раскрутила вспять всю намотанную на себя ленту времени. Не было этих десятилетий, наполненных войнами, потерями, победами, поражениями, болезнями, стонами боли и стонами любви, обманами, ошибками, терпением и мужеством, была молодость вселенной, сильные мускулы, чистое дыхание, безграничное доверие к жизни и святая вера, что все дружбы — до гробовой доски. Педро стоял перед

ним, и кто сказал, что он превратился в морщинистого, сухонького старичка? — крепкий и гибкий, как стальной прут, огромные, влажные, радостные глаза на бронзовом лице, нет в мире других таких черных, сияющих ласковых глаз. О, есть! — никогда еще Хосе Орантес не был так ошеломляюще похож на своего отца, как в эту незабвенную минуту в «Чайной розе».

То было последним содроганием прошлого в Клиффтоне, затем воцарилось настоящее. Сразу с той самой минуты, что они встретились, Клифтон начал жить, а не вспоминать, не проводить изнуряющих, обескураживающих и бесплодных сравнений между «теперь» и «прежде», не увязывать настоящего с минувшим. Все и так увязалось в нем без всяких натужных усилий, самим существованием этого дивного мальчика; прочь со свалки отжитого времени, сегодняшняя жизнь кипит и гремит вокруг и довольно ковыряться в ней, надо ею жить, какая она ни есть, новые матадоры ждут своих быков, и новые быки ждут своих матадоров, молодое вино вышибает днища бочек, а бурдюки алчут опорожниться тонкой и сильной струей в пересохшую от жажды глотку, звонок смех, и горячи глаза женщин, и сколько прохладных рек, тенистых деревьев и вкусной еды! И есть еще силы в шестидесятилетнем наломанном теле, есть выносливость; сердце, желудок, кишки, печень, легкие справляются со своей работой, башка крепка к алкоголю, и даже спина, черт бы ее побрал, сразу прошла, как только он отважился нырнуть в жизнь...

### 3

Они крепко наколобродили с Орантесом в первый же день. Такого триумфального шествия по кабакам не было у Клифтона с освобождения Парижа. Даже непьющий, как все матадоры, Орантес порядком накачался. Но, может, это только так казалось Клифтону, потерявшему счет выпитым стаканам. Но Клифтон, хоть и нагрузился сверх меры, сохранил ясную голову и верную руку, что блистательно доказал в баре «Чикотес», полюбившемуся ему еще в пору гражданской войны. Там они наткнулись на подгулявшую компанию журналистов, а журнальная братия действовала на Клифтона, как тряпка на быка, возник спор — он не помнил из-за чего, да это и не было важно, спор все равно был неизбежен. Почему-то в руках у него оказалось пулевое ружье — откуда оно взялось в баре? —



а у Орантеса зажженная сигарета в зубах. Он должен был сбить пулей пепел на расстоянии двух метров. Задача не ахти какая для такого стрелка, как Клифтон, не раз бравшего призы на стрельбищах, правда, тогда у него в желудке не плескалось столько виски, вина и пива. Он хорошо прицелился и вдруг почувствовал какое-то неудобство в плече. Сморгнув цель, он поправил приклад и снова взял на мушку серый кончик сигареты. Орантес улыбался, он в самом деле ничуть не боялся, а находил все это чертовски забавным и радовался, что Дядя покажет себя с самой лучшей стороны горластым пижонам. Ощущение неудобства в плече прошло. Клифтон спокойно спустил курок. Пуля прошла в дюйме от губ Орантеса, но тот удержал сигарету в зубах. Наверное, такие номера проходят только с теми, кого любишь. Будь на месте Орантеса другой человек, глаз мог изменить, рука дрогнуть, но когда отвечаешь за близкую тебе жизнь, все получается как надо. И Орантес не боялся, потому что знал: от Дяди плохого не будет.

Когда уже на рассвете они расставались возле отеля, Орантес сказал своим легким и звучным голосом:

— Ты вовремя приехал. Ты ведь никогда не видел ману а ману.

Хмель мгновенно улетучился из головы Клифтона.

— Кто с кем? — спросил он хрипло.

— Не притворяйся, Дядя! — засмеялся Орантес. — Конечно, мы с Мигелем. Шурин вернулся на арену и снова хочет считаться первым.

— А как он?

— Увидишь. Он хорош, но он не первый.

— Это очень опасно, сынок.

— Мигель получает вдвое больше моего! Дело не в деньгах, хотя и в деньгах тоже, мы с Мерседес не богаты... Но у меня есть самолюбие!

И даже с избытком — это чувствовалось по его заострившемуся незнакомому голосу, громкому дыханию, такого Орантеса Клифтон еще не знал, но этот новый Орантес ему нравился. Хорошо, когда человек без ущерба для своей цельности многослоен; просто милый, беспечный смельчак — этого маловато, но коли есть самолюбие, страстность, непримиримость — из такого материала строится незаурядная личность.

— Почему ему все?.. Я тоже хочу ферму и нарядный дом для Мерседес и сад...

— И бронзовую статую, — подсказал Клифтон и поднес кулак к лицу боксерским защитным приемом, но Орантес не понял насмешки.

— А что?.. И бронзовую статую, — произнес он чуть смущенно, но с вызовом.

«Молодец, что признался. У тебя это не дурной вкус, а наивность. Ты все-таки темный андалузский цыган, мой милый! — с нежностью подумал Клифтон. — Тебе больше всего хочется бронзовую статую, куда больше, чем ферму, — зачем цыгану ферма? — больше, чем дом для Мерседес, манит тебя роскошный прижизненный памятник. И ведь для этого нужны не только деньги, но и право, а между тобой и правом стоит непобежденный Мигель Бергамин. Но разрази меня гром, ты получишь это право. Я не видел Мигеля ни в дни расцвета, ни сейчас, но еще не было удачного возвращения на арену, даже великий Бельмонтер потерпел фиаско. Мне бы только хотелось скорее убедиться, что Мигель тебе действительно не страшен». Но Орантесу он больше не сказал ни слова. С матадорами и вообще не следует говорить об опасности, тем более с такими суеверными, как Орантес. Он возил с собой по городам походную церковь — с иконами божьей матери и образками своего покровителя св. Иосифа, с увесистым каменным распятием и косточками каких-то божьих угодников в лакированном ящике; перед выходом на арену он в одиночестве молился на коленях. В религиозных пристрастиях молодого цыгана Клифтону зрелось что-то языческое, он бы не удивился, если б среди культовых предметов Орантеса оказалась глиняная фигурка быка. Но суеверие Хосе оборачивалось бесстрашием на арене, он верил, что его безопасность обеспечена свыше, и работал на пределе риска.

Смертельная дуэль дальнейшему обсуждению не подлежала, но одно Клифтон обязан был сказать:

— Мне будет чертовски неловко перед Мигелем, но выбора нет. В конце концов он сам виноват, надо было потесниться. Считай меня, Анни и всех наших друзей в своей куадрилье.

— А как же иначе, Дядя! — засмеялся Орантес, вновь став милым беспечным мальчиком. — А Мигель все поймет, ты не бойся...

Утром, едва проснувшись в отеле, Клифтон вспомнил о разговоре с Орантесом и тут же потребовал в номер льда и содовой — виски у него было свое, — чтобы привести нервы в порядок. Он блестяще преуспел в этом и дал несколько толковых телеграмм: в журнал «Лайф» — вместо обещанных путевых очерков они получают куда более пряное блюдо, издателю Скрибнеру, чтобы прислал договор на новую книгу, которую он привезет из Испании, и в «Кроникл», чтобы резервировали место для двух подвалов о Памплонской ярмарке и о лучшем бое быков начала сезона. При этом он все время уговаривал себя, что будет предельно объективен в своих писаниях, возрастет должное Бергамину и сохранит его дружбу, понимая, что это невозможно, и мучась своим ложным положением, но к вечеру все чувства вытеснились страхом за Орантеса, и он срочной телеграммой вызвал Анни из Малаги. Пусть будет рядом, он уже не рассчитывал только на себя...

(Из записок Д. Вуда, профессора Мичиганского университета):

«...В Памплоне мы неожиданно встретили Эдварда Клифтона с женой и целой сворой друзей, в большинстве случайных. Такие дружбы легко заводятся на улицах Памплоны. Мы с Клифтоном знакомы много лет, но настоящей близости между нами так и не возникло — не по недостатку взаимной симпатии, а лишь по недостатку времени — мы виделись только на бегу. Меня Клифтон давно интересуется не столько как писатель, я люблю Пруста, и мне пустынно в голой прозе Клифтона, а как самобытнейшая личность. Он, наверное, единственный среди наших писателей, кто осмеливается быть самим собой, не пытаюсь притереться к требованиям времени, моды, правил хорошего поведения. В Клифтоне есть что-то от дикаря в лучшем смысле слова.

Эдвард отнесся ко мне сердечно, что объяснялось отчасти расположением, но больше количеством принятого натошак. И он и его верная Анни ведут сумасшедшую жизнь: не спят, едят где попало, мечутся, как угорелые, но иначе, видимо, не вписаться в местную жизнь. Центром клифтоновской компании является не сам Клифтон, а его друг, молодой матадор Орантес, любимец испанской публики. Орантесу предстоит смертельная дуэль, мано а мано, с другим знаменитым матадором, Бергамином. Нам с

женой оказали честь, с ходу зачислив в свиту Орантеса. Меня едва ли назовешь любителем боя быков, зрелища, по правде сказать, препротивного. Когда обалдевшего от боли, ран, издевательств, воплей толпы, скользкого от крови быка приканчивают на арене — далеко не всегда артистично, зачастую вульгарно и мерзко, как на бойне, — я чувствую позывы к рвоте. Но мне интересна предстоящая дуэль и особенно роль Клифтона во всем этом. Матадоры уже померились силами, но заочно, а после Памплоны схватятся впрямую. Клифтон говорит, что победа Орантеса вне сомнений. Он сильнее во всех стадиях боя, кроме бандериллий. Тут Бергамин эффектнее за счет высокого роста и длинной шеи. Убивают оба превосходно, но Орантес чуточку точнее. Клифтон уже посмотрел бои Бергамина и считает, что тот в неважной форме. «И все-таки он сильнее, чем я думал, — задумчиво сказал Клифтон. — У него есть мастерство и обаяние, и он по-настоящему любит бой. На арене он забывает о своем богатстве, а это редкое качество. Но его стиль меня не волнует. Слишком все рассчитано, нет вдохновения. К тому же он привык работать с ослабленными быками, а это размагничивает. Вообще его песенка спета». — «Но ведь у него огромный опыт». — «Несомненно. Поначалу я очень волновался за Орантеса, он слишком горяч и заносчив, а Мигель дьявольски горд, к тому же уверен в своем мнимом превосходстве — это страшно опасно. Но теперь я совершенно спокоен. — И верно, голос звучал благостно. — Финал может быть только один — гибель Бергамина. Трагично, но ничего не поделаешь, это предопределено». Я был поражен и самим сообщением, и главное — тоном, каким оно было сделано. «Насколько мне известно, вы дружите с Бергамином». — «Да, его общество доставляло мне большое удовольствие. Но что поделать, — продолжал Клифтон философски, — приходится выбирать. Я предпочел бы, чтобы никакого маню а маню вовсе не было, но ведь не справедливо, что Орантес считается вторым, он получает куда меньше Бергамина, а работает лучше. Мальчика тоже можно понять». — «Неужели человеческая жизнь так дешево стоит?». — «Если матадор не готов оплатить жизнью свою репутацию, лучше ему заняться другим делом, собирать устриц, например. Бергамин знает, что такое маню а маню, он отправил на тот свет милейшего Маноло. Пришел его черед». — «Ничего не понимаю, — сказал я. — Насколько мне известно, Орантес тесно свя-

зан с семьей Бергаминов. Сестра Мигеля — его жена, старший брат — менеджер, младший — тоже из его кватрильи. И все спокойно ждут, когда он прикончит Мигеля?» — «С чего вы взяли, что спокойно? — захохотал Клифтон, разевая чистую розовую пасть зверя. — Они волнуются. Ну, а если серьезно, Орантес тоже рискует, к тому же у Мигеля есть шанс отделаться увечьем. По мне, смерть лучше, чем постепенное разрушение. Настоящего мужчину можно убить, но нельзя втоптать в грязь».

Я впервые задумался над отношением Клифтона к смерти. Что-то тут не в порядке или слишком в порядке, в таком порядке, до какого мир еще не дорос. Я и раньше замечал, что Клифтон, подобно своему учителю Толстому, вечно возится со смертью. В литературе вообще много смертей, что неудивительно: в человеческом бытии нет ничего значительнее любви и смерти. Но ни у кого не умирают так много, разнообразно и подробно, как у Клифтона. Только первый его роман обошелся без смертей, наверное, потому, что в основе его лежит еще более страшное — смерть мужского начала в мужчине. Зато в других... Почти всегда гибнет главный герой, иногда для разнообразия его жена, гибнут почему зря второстепенные персонажи, особенно часто — дети и животные. Обычно героя убивают, но иногда ему дается возможность покончить самоубийством или скончаться от мрачной болезни. А его африканская книга — мясная лавка! Он по-дикарски алчен к антилопим рогам и никогда не вспомнит, что рога растут на голове. Его охотничьи очерки мне всегда были отвратительны. Клифтона хлебом не корми, а дай ему описать какое-нибудь особенно жестокое умирание, с гниением заживо, с нечеловеческими болезнями и муками. Но еще сподручнее ему уничтожить кого-нибудь походя, чтоб была только физическая смерть, без психологии. Его влечет война, потому что там много немотивированных смертей. Писатель Клифтон не воюет малой кровью. Я и раньше замечал, что многие смерти у него вовсе не обязательны, они нужны лишь автору. А его пристрастие к бою быков, охоте, ловле большой рыбы, только большой, он сам об этом говорил, ибо смерть маленькой рыбы незаметна. Но смерть меч-рыбы — это как падение Трои. В эти дни, когда мы ездили за город, он стрелял по ястребу, голубям, суслику и белке — просто так, чтобы помочь им умереть. У него отец застрелился, когда он был маленький. Он очень любил отца, а мать ненавидел и называл

стервой. Может быть, тогда что-то случилось с ним. Ведь у мальчика была уже душа Клифтона. Странно применять к нему сентиментальное и старомодное слово «душа». Лучше говорить «психофизическая организация», если такой термин существует. Что-то случилось с его психофизической организацией — чуткой, болезненно ранимой, как у каждого истинного художника. Смерть отца его потрясла, возможно, он во всю силу своей незаурядной личности испугался смерти. И расшвырялся на свой страх. Он чудовищно самолюбив и весь подчинен комплексу мужчины. Молоду до старости он как-то натужно геройствовал. В первую мировую войну он был ранен, но это его не остудило. Он всегда мчится в сторону выстрелов, хотя может спокойно сидеть дома. Клиф неутомимо подтверждает свою храбрость, как средневековый ремесленник — звание мастера. Он профессиональный смельчак, наш дорогой Дядя. В его легенде храбрость стоит на первом месте. И наверное, он многому научился. Научился смотреть в лицо смерти. Он бесстрашно вел себя во время двух авиационных катастроф, правда, Анни вела себя не хуже, но ведь женщины вообще мужественней нас, это общеизвестно. Но в чем он несомненно преуспел — это в бесстрашии перед смертью, когда она грозит другим. Тут он не отводит глаз. Никто не ведет себя хладнокровней во время боя быков, чем Клиф. Он любит смотреть на покойников — это не портит ему аппетита. И что значит смерть какого-то матадора перед лицом такого спокойствия, лишь бы все произошло по правилам мужской чести?! В Клифтоне всегда было что-то трогательное и страшновато детское. Но, общаясь со смертью на войне, на корридах, на охоте, убивая своих героев, он убивает страх смерти в себе самом. Дай бог, чтобы он не до конца убил этот страх. Если он в самом деле научился не бояться смерти, до самого конца не бояться, то мне страшно за него. Тяжелая болезнь, большая неудача, ослабление творческой воли — и преодолевшему страх смерти ничего не стоит вызвать огонь на себя, как пишут военные романисты. Без этого праздничного человека мир станет куда скучнее. Ему не скоро найдется замена. А на корриду мы с его компанией не поедим; мне совсем не улыбается смотреть, как молодой Орантес, вдохновляемый немолодым Клифтоном, доконает Мигеля Бергамина...»

(Из письма Анни Клифтон матери):

«...Милая мамочка, снова сажусь за письмо к тебе, которое никак не могу кончить. Но ты не любишь коротких отписок, а на хорошее, большое письмо у меня физически нет времени, такую сумасшедшую жизнь мы ведем. Ты удивляешься и даже негодуешь, как я могу увлекаться боем быков, и — называешь меня «кровожадной». Когда-то ты так же не понимала, как я могу стрелять невинных антилоп и невинных львов. Но, мамочка, милая, нельзя быть женой Клифтона и бояться крови. Он помог мне избавиться от ханжества и предрассудков: трупоеды — а мы трупоеды, коль не вегетарианцы — должны не бояться убивать животных, когда это нужно. Есть что-то стыдное, что за нас это делают другие. Мне куда больше по душе фермер, который сам режет и свежует барана, чем друг животных, смакующий жигу в ресторане с таким видом, будто понятия не имеет, из чего сделано дорогое блюдо. Быков забивают на бойне, и это никого не трогает, разве что толстовцев, если они еще сохранились, а коррида считается варварством. Тогда откажитесь от бифштекса. Да разве кто откажется? Дядя уверен, что для настоящего хорошего быка смерть на арене предпочтительнее всякой другой. Прежде, чем его убьют, он узнает, чего стоит. Матадор раскрывает и возвеличивает быка, да и что может быть лучше смерти на поле боя. Мне нравится Дядино рассуждение и нравится коррида, думаю, что и быкам она нравится. Но больше всего мне нравится наш дорогой Дядя, он вносит во все такую детскую серьезность, что остальные рядом с ним кажутся шарлатанами, даже матадоры с их похоронными лицами. Ты не представляешь, мамочка, какое у них трагическое выражение на арене! Кажется, вот-вот заплачут, и даже наш дорогой Хосе утрачивает свою обычную веселость и становится хмур, как лондонское утро. И все же Хосе не идет в сравнение со своим шурином Бергамином, тот просто факельщик в похоронной процессии. Впрочем, у него есть основания для печали. Дядя говорит, что он по всем статьям проигрывает Орантесу, а ведь у них дуэль за право считаться первым. Никто лучше Дяди не разбирается в корриде, как и во всем остальном, но мне больше по душе Бергамин. Ради бога, не проговорись Эду, он меня убьет или, что куда хуже, бросит. Он совсем помешался на Хосе Орантесе, тот действительно очарователен — настоящее дитя природы, но в Бергамине больше благородства. Он волнует, как старинные портреты, гобелены, зеркала, нет, не то, в Испании

есть такое слово «гидальго», означающее совершенного джентльмена. Правда, гидальго знатен, а Бергамин из простых, но в нем есть врожденный аристократизм. Недаром его так любят знать и женщины. Его жена первая красавица Европы и знаменитая кинозвезда, рассталась ради него с экраном. Если с ним случится беда, все женщины наденут траур. Я вдруг вспомнила: Кэтрин, первая жена Эда, была до безумия влюблена в отца Орантеса, некогда знаменитого Педро, не хватало, чтоб и последняя тоже влюбилась в матадора.

Дядя упоен мано а мано, он опекает Хосе, придумывает для него всякие развлечения и сам резвится, как мальчишка. Орантес не должен думать о быках, не должен думать о предстоящих боях, и Дядя из кожи лезет вон, чтобы его любимец ни о чем не думал. Впрочем, достаточно изъять быков из сознания Хосе, чтобы там сразу образовался вакуум. Не слушай меня, мама, я просто ревную Эда. Орантеса учат играть в бейсбол, стрелять по движущейся мишени — подброшенным в воздухе бутылкам, пикник следует за пикником, после сумасшедшей Памплоны мы устроили двойной день рождения — Дяди и очаровательной Мерседес, жены Орантеса. Съехались гости со всего света, Дядины поклонники, даже магараджа был настоящий! Дядя напился, стрелял по сигарете, которую Орантес держал в зубах, — это его любимый номер, потом сигарету держал магараджа, и Дядя чуть не отстрелил ему кончик длинного носа. Потом был фейерверк, пожар, — словом, мы повеселились, как в лучшие дни. Я не знаю, что произошло, но Дядя удивительно изменился к лучшему. Ты знаешь, как он огорчал меня последнее время: издерганный, подозрительный, нетерпимый. Правда, меня он щадил, но со всеми остальными, даже с самыми близкими, был очень тяжел. Он всех подозревал в каких-то кознях. Я даже опасалась... но не буду об этом. Эдвард здоров, бодр, весел и неутомим, как юноша, с ним может сравниться разве что Орантес, но тот ничего не пьет, кроме сангрии — лимонада с красным вином, а Дядя пьет все, кроме сангрии. И спина у Дяди не болит и затылок. Он говорит, что это оттого, что он сейчас нужен, нужен Орантесу. Можно подумать, что он больше никому не нужен. Но ему кажется, что его высшее назначение — быть секундантом Орантеса, и раз это дает ему радость, то пусть так и будет. Я готова пойти в горничные к Мерседес, если это полезно для Дяди. И еще он сказал очень важное: это первое лето без воспоминаний, лето само по себе.



Вот так мы живем, мамочка, весело, даже слишком весело, а за смех, как известно, расплачиваются слезами. Но не хочется думать об этом, я верю, что прошла «зима тревоги нашей», и пусть Орантес убьет всех быков, какие только есть, на радость Дяде и растопчет своего соперника. Мне все-таки жаль Бергамина, он настоящий джентльмен. И хотя Дядя, можно сказать, возглавил вражеский штаб, Бергамин при встрече держится на редкость дружелюбно. К Дяде прислушиваются, каждое его слово подхватывается и разносится по всему миру, и, конечно, до Бергамина доходят Дядины отзывы и прогнозы, но он пропускает все дурное мимо ушей. Печально, что два великих матадора не могут ужиться. Неужели им настолько тесно, что один должен непременно уничтожить другого? Дядя говорит, что это неизбежно, а уж он-то знает. Вчера в Малаге Мигель Бергамин был удивительно хорош. И хотя он и Хосе получили поровну ушей, хвостов и копыт убитых быков, не удивляйся, мамочка, так награждают по требованию публики отличившихся матадоров, Бергамин был эффектнее, и это все почувствовали. Дядя ходил мрачнее тучи, но вечером, подбодрившись кальвадосом, сказал: «Я недооценивал Бергамина. Это великий матадор. Но Орантес — величайший...»

...Милая мамочка, я вынуждена была опять прерывать письмо, потому что мы срочно выезжали в Бильбао. Дядя, как всегда, оказался прав: сейчас, когда я пишу тебе, все уже кончено — бедный Мигель Бергамин с тяжелой раной отправлен в госпиталь. Можешь себе представить, его ранило точно в старую рану, полученную в начале корриды, но сейчас рог проник глубже, опасаются, что затронута брюшина. Никто не понимает, как это произошло, впечатление такое, будто он сам напоролся на рог. Дядя говорит, что именно так и бывает, когда матадор хочет превзойти себя самого. Дядя навестил его в госпитале. Мигель очень плох, к нему вылетела жена из Мадрида, но держится он прекрасно и даже сказал Дяде несколько ласковых слов, прежде чем впал в беспамятство. «Это великий дух, — признал Дядя, — но лучше бы ему не приходить в сознание». Вот этого, мамочка, я не понимаю. Бергамин еще молод, очень богат, у него прелестная жена и крошечный сын, которому при таких родителях суждено стать чудом века. Но Дядя говорит, что, если мужчина не может заниматься своим главным делом, ему незачем коптить небо. Он все равно будет лишь обломком себя преж-

него. Мне это не нравится, особенно тон, каким это говорилось. И вообще я ждала, что после победы своего любимца Дядя воспарит под облака, а он как-то сник. Может быть, все слишком быстро кончилось и на смену чудовищному возбуждению пришли тишина и пустота? Или сказалось страшное нервное напряжение всех этих дней, не знаю. Дядя наорал на меня: ни черта он не сник, просто всерьез задумался о книге, наброски для которой делал все время. Когда только он успевает? Но один большой кусок уже появился в «Кроникл». О наших дальнейших планах, милая мамочка, я напишу, как только они прояснятся...»

Анни Клифтон нравилась почти всем ее знавшим, но едва ли кто считал ее личностью. Казалось, она вся, без остатка растворилась в своем муже. Она любила все, что любил он, делала все, что делал он, конечно, хуже, поскольку была женщиной, поэтому насмешники называли ее бледной копией Клифтона. Эти люди ошибались. Анни во многом совпадала с Клифтоном, ей легко было разделять все его увлечения и пристрастия, без всякого насилия над своей сутью она стала той женой, которая нужна Клифтону. Но близость с этим огромным человеком не уничтожила ее собственного «я». Она спасалась своей любовью и жалостью к мужу, которого должна была оберегать. Она знала малые возможности своей охраняющей силы, не выходила за их пределы, но все-таки приносила пользу мужу, насколько это возможно с таким человеком. Она была умнее Клифтона — на земле, а не в горнем царстве, где царил он, умнее потому, что ничто не застило ее зрения. Клифтон же преобразовывал простой и грубый кусок жизни, едва прикасаясь к нему, творчество слишком сблизилось у него с наблюдением.

Из всех спутников, окружавших тогда Клифтона, Анни одна заметила странную смуту, охватившую мужа после Бильбао. Все остальные находились в сладком изнеможении от блистательной и неожиданной победы Орантеса и полагали, что Дядя разделяет общее чувство. Но Анни слишком любила Клифтона, чтобы ее можно было провести. Колокола их звонницы трезвонили вовсю, но в одном колоколе появилась трещина, которую никто не слышал, кроме нее. Это был Дядин колокол. Ей стало неудобно и захотелось домой.

Сам Клифтон хоть и отругал жену за женскую дурь, в который раз подивился ее пронизательности. Теперь он и сам чувствовал: что-то не в порядке, а что — не понять!

Все вроде было на высоте, но настроение испортилось. Не стоит ломать голову. Спасибо лету. Праздники кончились, надо всерьез браться за книгу...

5

...В тот уже далекий ясный подвечер, когда пароход «Конституция» с четой Клифтонов на борту приближался к берегам Европы, знаменитый матадор Мигель Бергамин, недавно вернувшийся на арену, в полном одиночестве пил кофе в своем загородном доме. Утром он отвез жену и малыша Мигеля в Мадрид — сынишка два раза кашлянул, и требовалось срочно показать его консилиуму профессоров. Они остались в городе до полного излечения наследника, а он вернулся на ферму тренироваться с двухгодовалыми бычками. Коррида не за горами, а форма набиралась туго. Особенно много хлопот было с мулетой — его руки никогда не отличались особой крепостью.

Когда он начал пить кофе, в комнате было много красного заходящего солнца. На полу, на потолке, на стенах, затянутых серо-голубой тканью, на светлой мебели лежали его густые, как вишневое варенье, пятна. Рубиновым светом горели стеклянные глаза прибитого над дверью чучела бычьей головы. Громадной, черной, со стальным отливом головы, увенчанной такими могучими и острыми рогами с белыми кончиками, что непонятно было, как мог не дрогнуть восемнадцатилетний мальчишка, проводивший свой первый бой, и уложить чудовище с одного удара. Эту голову подарил ему тогда отец, умерший от рака год назад. Сам тореро в прошлом, отец сказал: «Ты прославишь нашу семью!» И ему не пришлось взять свои слова назад. Бык был не только огромен — он так и остался самым большим за всю карьеру Бергамина, — но и свиреп, упрям, на редкость подвижен для своего чудовищного веса и неутомим, пришлось-таки повозиться, чтобы подготовить его к удару. И когда Бергамин ударил, в полных, выпуклых, таких же вот рубиновых, но не от солнца, от прилившей крови глазах было тупое удивление. Бык будто не верил, что смерть могла прийти к нему от худенького, долговязого мальчишки, которого ничего не стоило поднять на острые, дьявольски чувствительные, словно видящие, неподпиленные рога. Подпиливать рога Бергамин стал в последние годы перед уходом с арены, оказавшимся временным. Тогда у него уже не было соперников, траги-

ческий пример Маноло раз и навсегда отбил охоту у кого-либо тягаться с ним, и он позволил себе немного позаботиться о собственной безопасности. Маноло всегда подпиливал рога, и толпа с ума сходила от его фокусов, но в мано а мано быки идут по жребию, тут не подпилишь, и Маноло сподобился памятника от своих сограждан. Когда рога подпилены, у быка ослабляется ощущение расстояния, что дает лишний шанс матадору. Конечно, не надо преувеличивать, и с подпиленными рогами бык чрезвычайно опасен, требует внимания и железной собранности. Так что не стоит подымать шума из-за подпиленных рогов. Но на него, впрочем, этот шум не действует. Жизнь слишком хороша при всех печалях, разочарованиях, потерях, чтобы постесняться принести ей в жертву кончик бычьего рога. А свое изображение он поставил сам, избавил сограждан от лишних хлопот и расходов. Надо все иметь при жизни, даже памятник.

Он твердо решил превзойти всех — и прежних и нынешних матадоров — в долголетии на арене и в долгожительстве на земле. Он умрет с глубоким, хорошо склерозированным и просоленным до полного окостенения стариком. Умирать надо долго и постепенно, как знаменитый библейский кедр в Ливане, уже века не дающий семян, цветов и побегов, почти безлиственный, но еще чующий сквозь дрему солнечное тепло, слышащий шум ветра и шорох дождя и без страданий погружающийся в забвение. Вкусив сладость долгой жизни, надо вкусить сладость долгого умирания — изжить, исчувствовать все до конца: бытие и смерть. Конечно, потом будет еще загробная жизнь, что тоже интересно, и встреча с богом — он думал об этом со слезами умиления и нежного восторга, полагая в глубине души, что вседержитель не останется равнодушен к свиданию с лучшим матадором. Вот только будут ли быки в загробной жизни? Быки-то будут, в раю полно животных, но будет ли бой быков — это весьма сомнительно. Разве что безрогие быки будут играть с безоружными матадорами. Но это для ангелов. Тревога о загробной корриде смущала Бергамина в его добрых мыслях об ином мире. Нет ничего лучше боя быков: ни богатство (оно быстро приедается), ни женщины (они однообразны и взаимозаменяемы), а быки все разные, нет двух одинаковых, и каждый требует особого подхода.

Но почему он всегда спотыкается на мысли о подпиленных рогах, почему не может скользнуть по ней с той

легкой, воздушной поступью, что сводит с ума его поклонниц и соперников-тореро, не постигающих, как можно так изящно двигаться в обжиге тесных матадорских штанов? Дело в том, что толпа в цирке, беснуясь и восхищаясь, вызывая его и требуя ему в награду уши, хвосты и копыта, никогда не забывает об этих подпиленных рогах. Да какое им дело? Ведь он выгадывает этим возможность работать так же раскованно, как в двадцать лет. Никто не может сказать: о, если б вы видели его в молодости! Он сейчас ничуть не хуже, быть может, даже лучше, как и всякий взрослый мужчина, в совершенстве владеющий своим физическим и психическим аппаратом, лучше зыбкого недоросля. Пыльца юности очаровательна, но человек, начинается, когда эта пыльца слетает. Нет, не толки на его счет раздражают — толпа во тьме своих глубин хочет не яркого зрелища, не красивой победы человека над зверем, не крови, наконец, а убийства: никто не признается, но каждому охота, чтобы на его глазах был убит матадор, да и не просто матадор, а знаменитый. Ведь это все равно что причаститься вечности. Подумать только: на глазах этого замухрышки погиб Маноло, об этом будут говорить дети, внуки, правнуки — в роду был человек, видевший гибель легендарного Маноло! А разве плохо звучит: «На моих глазах бык забодал Бергамина. Да, рог прошел насквозь. Он очень мучился, бедняга, но держался, как настоящий мужчина, отошел без стога». Психология толпы ничуть не изменилась со времен римского Колизея: «Крови!.. Крови!..» Но не бычьей, это никого не волнует — бык заранее обречен. До чего же обобран сильными зрелищами современный человек по сравнению с его предками! Христиан уже не швыряют на растерзание диким зверям, нет ни аутодафе, ни публичных казней, ни пыток огнем и железом. А ведь человек не изменился, он по-прежнему жесток и любопытен, так же хочет трагедий, кошмаров и зверства, лишь бы при этом оставаться на местах для зрителей. Толпа сердится, что Бергамин обманул смерть, обманул тайные, стыдные ожидания своих исступленных почитателей: увидеть последний бой и последние минуты великого, незабвенного матадора.

Он все еще возился с этой докучной мыслью, а рассеянный взгляд его скользил по комнате, следя за бледнеющим, потухающим солнечным светом. Луч оставил чучело бычьей головы — погасли рубиновые капли — и сейчас задержался на рисунке Пикассо: матадор, приподнявшись на

носки и чуть откинув верхнюю половину туловища, готовился поразить быка — характерная удлиненность фигуры, прямая, гордая шея не оставляли сомнений, кого изобразил великий Пабло. Луч перескочил на портрет матери, и взгляд Бергамина произвольно смягчился; затем глаза его почтительно и грустно остановились на портрете отца в черной раме, перевитой крепом, после бога он всем был обязан своему замечательному отцу. Затем взгляд его заметался, не находя больше алого на потемневшей стене, — солнце скрылось и луч вобрался в себя, словно щупальце. Теперь Бергамин видел лишь полированную гладь столика черного дерева, фарфоровый кофейник, и чашку, и свою узкую ладонь с длинными пальцами, защемившими витую ручку чашечки, пальцами скрипача, а не матадора. Он любил и ненавидел свои руки — ловкие, гибкие, но недостаточно сильные. Он делал их сильными упорной тренировкой, но они эту силу не держали. После естественных или вынужденных перерывов ему ничего не стоило войти в форму, но подводили руки. Ноги с железными икрами никогда не слабели, тело сохраняло пружинную крепость и гибкость, а руки обвисали плетьюми. Странно, но самый ценный совет, как лучше их укрепить, дал ему не специалист, а писатель Клифтон: тренируйтесь с тяжелым плащом и двойной тяжести клинком.

Клиф был человеком поразительно многогранным и самонадеянным: он давал советы боксерам, бейсболистам, гонщикам, жокеям, наездникам, охотникам, рыбакам, матадорам. Считается, что он все знает, все может, воевал на всех войнах, всех победил, убил всех львов в Кении и всех антилоп в Танганьике, поймал всех акул в Карибском море. Он помогает создавать мифы о себе: за мифом непобедимости идет миф неотразимости, затем миф неуязвимости, назревал миф провидчества: то Геракл, то Парис, то Ахилл, то Кассандра. Разве мало быть большим писателем, быть может, лучшим среди живущих — Бергамин делал уступку общественному вкусу, ибо сам не очень любил книги Клифтона, — его лапидарный стиль действовал замораживающе, даже старый, болтливый, вышедший из моды Бласко Ибаньес трогал его куда сильнее, особенно в изображениях корриды. Зачем так усложнять свою репутацию, взбивать ее, словно сливки? Может, там что-нибудь не в порядке?

Известный американский журналист писал в связи с Клифом что-то об искусственных волосах на груди. Тут

имелось в виду не мужество на поле битвы, а то, о чем знают только двое. Клиф по-свойски расправился с остряком, расквасив ему нос, но ведь это не доказательство. У него всегда были знаменитые любовницы, чтоб все знали о любовных победах Дяди Клифа. Но и у тебя тоже были знаменитые любовницы, иной раз те же, что и у Дяди, а что это значит? Ты их не добивался, они сами выбирали тебя и швыряли к своим ногам. Дядя не нравится женщинам и знает это. Он их завоевывает, укрощает и не любит терять. А кто любит? Отчего твоя хандра? Оттого, что ты увидел из машины Аду Гарпер. Почему она в Мадриде? И с кем она в Мадриде? Но это тебя уже не касается. Ты женатый человек и любишь свою жену. Ты расстался с Адой, еще не зная, что грядет Джулия. Ты никогда не прогонял женщин, даже самых дешевых, даже самых дорогих, первых было немало в пору юности, вторых — в дни успеха. Ты только разжимал руки. Клиф прозвал тебя смесью Дон Жуана с Гамлетом. Когда изживает себя очередной роман, ты становишься Гамлетом, таким же меланхолическим, несчастным, чуточку сумасшедшим и очень нуждающимся в матери, которой нет. Ты проваливаешься в какую-то холодную пустоту, здоровый инстинкт самосохранения гонит женщину прочь из твоего дома, где каждая на время становилась полноправной хозяйкой. Им всегда стыдно своего бегства, чувство вины сутулит им спины. Тебе никогда не приходилось объясняться с ними. Ты не знал жалких сцен с укорами, угрозами, мольбами. Виновата ушла и черноглазая Ада, избалованное дитя Голливуда, с твердыми прохладными скулами и горячим нежным ртом.

Долгая, медленная улыбка, всплыв из самых глубин его существа, задержалась на гладком продолговатом серьезном матово-смуглом лице Бергамина. Клифтон невзлюбил его из-за Ады — вот в чем вся штука. И он чутко уловил эту нелюбовь, замаскированную дружелюбием, потому что его редко не любили. Какие свирепые глаза сделал Клиф, увидев Аду у него на ферме! Он не отбивал Аду у Клифа, разрыв произошел раньше, и у Ады уже были другие связи, но Клиф не ставил в грош всякую безымянную мелюзгу, а то что Ада воцарилась в доме Мигеля, подняло дыбом искусственные волосы у него на груди. Есть такие самолюбивые мужчины, которым невыносима мысль, что после них женщина может быть счастлива с другим. Клиф из числа этих мужчин. Он, правда, сразу взял себя

в руки, был довольно мил и остроумен, дал ему великолепный совет, как укреплять руки, и даже сам поработал с молодым бычком, чтобы показать, как это делается. «Ах, Дядя, мне бы ваши руки!» — любезно сказал Мигель, но Клиф, обычно падкий на лесть, пробурчал в ответ что-то нечленораздельное. Черные глаза Ады и ее крепкие прохладные скулы лишили Мигеля расположения Дяди. А ведь казалось, что они подружатся. Уезжая, Клиф вел себя почти сердечно, добродушно подшучивал над бронзовой статуей, но на Аду не взглянул. А та вскоре выпала из жизни Мигеля, как некогда выпала из жизни Клифа, и вот сегодня он увидел ее мельком из окошка машины, и его как спицей прокололо. Обычно, встречаясь с бывшими возлюбленными, он чувствовал лишь тихое удовлетворение, что это осталось в прошлом. Но с Адой что-то не изжилось до конца, что-то еще трепетало. Конечно, можно отыскать Аду. Мадрид не такой уж большой город, только нет в этом смысла, рухнувшие отношения нельзя оживить. Но все-таки было тоскливо, и затянувшийся летний день до смерти надоел. Скорей бы уже началась коррида, тогда побоку все мысли, воспоминания, сожаления, ты делаешь свое единственное дело, и на душе покой.

Солнце зашло, но еще долго будет меркнуть за окнами сперва золотистый, а потом прозрачно-синеватый свет, прежде чем вечер зажжет звезды, и все дневное исчезнет, и возникнет другой Мигель, какой — неизвестно, и, может быть, этот другой Мигель кинется все-таки разыскивать Аду, чтобы, найдя, не подойти к ней, а может быть, помчится на машине в горы, рискуя сломать шею, может, позовет гитаристов из соседней деревни и будет петь с ними всю ночь напролет, во всяком случае, он выйдет из той прострации, в какую впал из-за внезапного отъезда жены, видения Ады и нахлынувших мыслей.

Про себя он знал, что и жена, в которую все еще был влюблен, и Ада, не перестававшая его волновать, были знаками какой-то иной тоски, иных утрат. Когда поселилась в нем эта тоска? Порой ему казалось, что она всегда с ним. В памяти вырисовывался живой, смелый, на редкость любознательный мальчишка, заводила всяческих проделок, порой довольно опасных, у которого просто не было времени для грусти. Затем — предприимчивый и честолюбивый молодой человек, нацеленный на одно: стать первым матадором своего времени. Вот тогда отец сказал ему: создай свой стиль на арене и в жизни. Мигель знал,



как идет грусть к его серьезному, чуть удлинённому лицу с большими черными глазами, и, весь исполненный молодых, кипящих трепещущих сил, напустил на себя загадочную печаль. Когда же он стал зрелым мужем, гордо и спокойно сознающим совершенство обретенной формы, то вдруг обнаружил, что печаль, которую он поселил в глазах, в ранних морщинах высокого лба и уголках губ, пробралась к нему внутрь. Печаль, или, вернее, странная тоска, словно он узрел на миг то единственное, чего жаждет его душа, и потерял, не успев коснуться. И когда он понял, что тоска его истинна, хоть и непостижима, то захотел скрыть ее от окружающих, но это оказалось ему не по силам. Он знал, что многие считают его притворой и позером. Но знал также, что Клиф, называя его «смесью Дон Жуана с Гамлетом», не вкладывает в прозвище насмешки. Он никогда и никому не говорил о своей тоске, ставшей невыносимой, когда он ушел с арены. Но однажды, не выдержав, он открылся отцу, единственному человеку, которому доверял до конца. «А женщины тебе не помогают?» — спросил старик. «Помогают, когда я влюблен, но это же не может длиться бесконечно». — «Влюбляйся почаще, сынок, но все-таки быки надежней». Он оценил совет и вернулся в цирк. Не из-за денег, как болтали одни, — ему своих некуда девать, не из тщеславия, как утверждали другие, — он ничего не выгадывал для славы и репутации, мог лишь потерять. Но когда он выходил на арену и делал свою филигранную работу, ему было хорошо. В перерывах между выступлениями тоска тихо дремала в нем, но кончался сезон, затихал праздник, смолкала музыка, рассеивалась толпа и далеко не всегда за воротами его поджидала новая любовь. Время замедляло бег, день становился огромен и трудноодолим, как крутой подъем, который никуда не ведет, и он шептал с меланхолической улыбкой: «Ну, входи!» И тоска входила, и он почти радовался ей, потому что это ведь тоже заполнение пустоты. Дела на ферме, по дому и саду, новые для него семейные заботы не заполняли пустоты. А между ним и женой слишком быстро появился третий — очаровательный мальчишка, черноглазый, черноволосый; он родился в шапке крепких волнистых бергаминовских волос и забрал всю любовь матери. То, что рассеянно уделялось из остатков мужу, унижало его гордость...

Он услышал дробный постук каблучков в коридоре. Мерседес! Только ей позволено являться без предупрежде-

ния. Всем остальным, даже братьям и шурина, полагалось заранее извещать о своем приезде. Мигель Бергамин был человеком церемонным, торжественным и не любил, когда его заставляли врасплох. Он встречал своих близких и друзей с подобающей честью, освобождая душу от всякой омраченности, но для этого ему нужно было подготовиться. Мерседес не злоупотребляла своим правом, но и не пренебрегала им. Ее визиты не были результатом взаимного наития, чаще всего она заранее знала, что поедет, но ленилась поднять телефонную трубку, а может, не хотела, ей нравилось ее избранничество, что она может внезапно явиться к знаменитому брату и не увидеть даже тени досады на его красивом, серьезном до чопорности лице.

Каблучки стучали все громче. Мигель Бергамин представил себе быстрый, сухой шаг маленьких ног Мерседес с очень крутым подъемом и как напрягаются ее крепкие икры в черных чулках — Мерседес признавала только два цвета: черный и лиловый; то были ее собственные цвета — лиловые глаза, лиловая помада на смуглых губах, цвета вороньего крыла волосы и оливковая кожа в каких-то поворотах тоже отливают лиловым, и соски ее маленьких острых грудей были лиловыми и тень под нежным животиком. Мерседес до замужества любила показываться брату обнаженной — на пляже, в бассейне, в купальне, она чувствовала его восхищение, и это ей было нужно.

Стук каблучков все ближе и ближе, скрипнула дверь, и вот они уже застучали по самому сердцу Мигеля Бергамина, причинив острую и сладкую боль, и он узнал имя своей неизбывной тоски: Мерседес.

Какая странная беда выпала ему на долю: открыть, что лучшая женщина на свете, самая, да нет, единственно достойная любви и поклонения, единственно способная утолить его тоску — родная сестра. Случай был безнадежен. Нет и не может быть второй Мерседес в мире. Но разве господь бог не всемогущ? «Мигель! — скажет она, задыхаясь от волнения. — Мы разбирали бумаги отца — выяснилась страшная тайна, я не сестра тебе, я приемыш».

— Мигель, — чуть запыхавшись, сказала Мерседес. — Завтра в Испанию приезжают Клифтоны. Дядя будет писать о корриде.

— Здравствуй, сестра, — церемонно произнес вставший с ее появлением Бергамин.

Она небрежно сунула ему руку, он наклонился и медленно поцеловал ее тонкие пальцы с лиловыми ногтями.

— Ладно тебе! — Она отняла руку. — Ты не считаешь, что пришло время использовать Дядю?

— Можно тебе предложить кофе?

— Да. И рюмочку коньяку.

Мигель позвонил. Вошел шоколадный слуга-бербер, выслушал приказание, поклонился и молча вышел.

— Как у тебя великолепны слуги! — восхитилась Мерседес. — Моя горничная если и соизволит откликнуться, то лишь когда я начисто забуду, зачем ее звала.

Она болтала, облизывала языком темные лиловые губы. Почему у нее пересыхают губы? «Она взволнована, хочет попросить меня о чем-то и не решается, — гадал Мигель. — Но она же знает, что я выполню любую ее просьбу. Видимо, сейчас она в этом не уверена или же просьба такого рода, что с ней трудно обратиться. Как все это странно!»

Слуга принес кофе. Поставил поднос на столик. Мигель жестом показал, что разольет сам, и слуга бесшумно вышел. Не дожидаясь, пока Мигель совершит священнодействие с крошечным кофейником, и кукольной чашкой, Мерседес плеснула себе в рюмку коньяку и залпом выпила. Ее слишком современные манеры шокировали Мигеля и волновали. Он был чашкой, которой касались губы Мерседес, горячим напитком, омывающим ее нежный зев и скользнувшим в желудок, был огненным коньяком, опалившим ее небо, а сейчас стал сигаретой в длинных пальцах и гладкой ронсоновской зажигалкой в кулачке другой руки. Вот он вспыхнул желтым лепестком огня под нажимом большого пальца и, сочетавшись с собой же — кончиком сигареты, заалел круглым огоньком у лиловых губ.

И сразу новое превращение — голубым дымом он вытолкнулся из округлевших ноздрей. Каким ценным и наполненным оказывается каждое мгновение, когда рядом любимое существо, и сколько ради этого приходится одолевать пустой жизни!

Он испытывал благодарность к Мерседес за ее подвижность, она словно заключена в сеть малых, безостановочных, несуматошных, четких движений: она затягивалась сигаретой, всасывая щеки, вдыхала дым, сбрасывала пепел мимо пепельницы, пила кофе и коньяк, меняла позу в кресле: то откидывалась на спинку, то наклонялась вперед, натягивая юбку на круглые колени, закидывала ногу на ногу, спокойно и целомудренно показывая смуглое тело выше длинных чулок, поправляла волосы, падающие на

глаза, поводила шеей, как будто ей душно, и вдруг резко выпрямлялась, напрягая высокую грудь, не знакомую с лифчиком. И она была чудесно озвучена: то тихонечко и очень музыкально напевала, то вдруг по-детски (или по-телячьи) шумно и глубоко вздыхала, щелкая крышкой портсигара, звякала ложечкой, чуть покашливала от дыма или табачинки, залетевшей в горло, слегка посмеивалась от какой-нибудь мелкой неловкости или от внезапного столкновения с ним глазами, от затянувшейся паузы, от того, что в сильном электрическом поле между ними что-то смещалось и смех был отзывом на эти смещения. В бессознательной активной жизни молодого существа не было ничего болезненного, нервического, во всем ощущалась перехлестывающая через край упругая сила.

Вот так бы смотреть на нее, слушать творимую ею тихую музыку, и ничего больше не надо. Но мировая суета не знает пощады.

— Так ты не понял: Клифтон завтра будет в Мадриде.

— Очень рад, — сказал он равнодушно.

— Он в Испании — на все лето. Сперва, конечно, поедет в Памплону, потом вместе с друзьями будет сопровождать Хосе в его турнире.

— Почетная свита!

— Да! Что за человек Клифтон?

— Вот те раз! Вы же такие друзья! И видите с ним куда чаще, чем я.

— Часто видется — ничего не значит, — сухо сказала Мерседес. — Он повернут к нам одной стороной. Мы видим его неизменную от уха до уха улыбку, как на рекламе зубной пасты, но ведь он не всегда улыбается.

— Нет, конечно. Ты ждешь характеристики Клифтона? Это мне не по силам. Он прежде всего писатель, и тут я молчу.

— Покойный отец говорил: кто понимает в быках, понимает и в людях.

— Писатель — это не совсем человек. Вернее, это человек и еще что-то. Поэтому мне трудно говорить о Клифтоне. Итак, он прежде всего писатель. Большой, признанный, знаменитый, невероятно популярный, создавший стиль Клифтона, но не перестающий считаться с другими писателями, в том числе с умершими. Значит, он не так уверен в себе, как кажется. Со стороны Клиф — самонадежнейший из смертных.

— Это, конечно, слабина в нем, — заметила Мерседес.

— «Слабина»? Что это — сленг?

— Да, не обращай внимания.

— Он много воевал...

— Стоп! — прервала Мерседес. — Меня война не интересует. Каков он в дни мира?

— Не сбивай меня. Я не знаю, как к нему подступиться. Он, такой большой, шумный, открытый, очевидный, выскальзывает из рук, как угорь. Главное, повторяю, он писатель, отсюда все его достоинства и недостатки. Понимаешь, он не просто живет, как все мы, он живет для того, чтобы потом написать об этом. Сам он так не считает, но уверен, что живет, как все, и наслаждается жизнью. Но неважно, каким он себя видит. С ним все в порядке, раз в результате появляются прекрасные книги. Он может пить, хвастаться, лезть не в свое дело, такой, как он есть, Клиф набирает все необходимое для своих книг. Ясно тебе? — произнес он беспомощно, чувствуя, что говорит совсем не то, что от него ждут, но Мерседес кивнула с серьезным видом, и он снова вломился в чашу. — Понимает ли он людей? А что это значит? Можно ли вообще понять человека? В узком пространстве конкретного дела — да. Таким пониманием обладают бизнесмены, менеджеры, антрепренеры, аферисты. Ну, а что мы вообще знаем о человеке? Что мы знаем о наших близких? Ничего, кроме плоских очевидностей их темперамента. А писателям (я это понял недавно) вообще не надо знать людей, они их выдумывают и этих выдуманных людей вполне понимают. — Мигель облегченно улыбнулся.

— Значит, он не понял отца Хосе? — все так же серьезно спросила Мерседес.

У Мигеля возникло странное и неуютное чувство, будто его толкают в спину, заставляя идти дорогой, которую он не выбирал. Сосредоточенный, из страшной глубины лиловый взгляд Мерседес завораживал, лишал воли. А он то как раз почувствовал, что мог бы что-то сказать о цельной, будто из одного куска, и вместе необычайно сложной и противоречивой личности Клифтона, но Мерседес гнала его, как мула, вперед — к одной, ей ведомой цели.

— Он взял от него то, что ему было нужно. Понял ли он живого Педро — не знаю. Скорее всего он и не стремился к этому. Он придумал своего Педро Орантеса, и все его приняли. А до мотылька-однодневки, послужившего прообразом героя, никому и дела не было.

— Ну, а сам-то Клифтон угадал в Педро однодневку? — настаивала Мерседес.

— Едва ли... — с сомнением произнес Мигель. — Он очень удивлялся потом и горевал, что Педро так быстро сошел. У него где-то есть об этом...

— Оставим литературу в покое, — важно сказала Мерседес.

— Нет, — возразил Мигель, улыбнувшись ее апломбу. — Коли речь идет о Клифтоне, литературу нельзя оставить в покое. Я начинаю понимать, что тебя интересует. Проницателен ли Клифтон? В житейском смысле нет, в литературном — очень.

— Значит, он не понимает, что Хосе — копия своего отца? — почти свирепо спросила Мерседес.

— Что ты имеешь в виду? — пробормотал Мигель, боясь поверить жестокой прямооте молодого существа, так беспощадно говорящего о любимом муже.

— То, что он повторяет судьбу Педро.

— Ты ведьма! — сказал Мигель без улыбки. — Ты этого не можешь, не должна, не смеешь знать. Это тебе нечистый нашептал.

— О нет! Но я так часто вижу своего свекра. Какое у него бедное, обобранное лицо! И это бывший красавец, покоритель женщин! Дядя не узнал его в прошлый раз при встрече, а Педро Оронтес даже не обиделся. Но на глазах у него были слезы. Это ужасно, Мигель!

— Я все-таки не вижу...

— Зато я вижу... и ты видишь, не лги, что Хосе — вылитый отец. У него такое же короткое дыхание. Век на арене не продлишь, но можно другое — сделать его королем. Педро погубило, что у него не было большой победы, триумфа. Он быстро сошел, пал духом и опустился. Ты скажешь: а как же наш отец и братья? Но они дельцы, а Оронтесы — цыгане. Если Хосе уйдет прославленным, богатым, уйдет победителем, он останется человеком. Он же мне муж, Мигель. Мы будем путешествовать, ездить на сафари. Клифтоны давно уже нас зовут, народим кучу прелестных цыганят. Он заведет себе лошадок...

— Что же вам мешает? — чуть нетерпеливо спросил Бергамин.

— Ты, Мигель, ты нам мешаешь, — прозвучало со странной теплой искренностью.

Прямота ответа обескуражила Бергамина.

— Я понимаю тебя, Мерседес... Но Хосе в превосходной форме, и он моложе меня...

— Время, время! — вскричала Мерседес. — У него не хватит времени тебя одолеть. Он сойдет, а ты останешься. Ты двуличный.

— Значит, мне надо уйти? — печально спросил Бергамин. — Едва вернувшись, опять уйти?

— Нет, это ничего не даст. Трон пустовал почти пять лет, а претенденты лишь топтались вокруг. Надо свергнуть старого короля, чтобы занять трон. Как ты сверг Маноло.

— Что же ты хочешь? — Углы губ затвердели, и улыбка не получилась. — Мано а мано?

— Да, мано а мано.

— А ты помнишь, Мерседес, как года три назад один импрессарио соблазнял меня вернуться на арену и выступить мано а мано с Хосе, ты закричала: «Замолчите! Они убьют друг друга!»

— Я была молода и наивна.

— Да, теперь ты куда опытней, — сказал он с горечью. — Поскольку Хосе надо создавать прелестных цыганят, роль трупа отводится мне?

— Молчи! Что за мерзкие шутки! — Казалось, ее набухшие лиловые глаза чернильными каплями стекут на смуглые скулы.

— Прости, Мерседес. Но я вовсе не шучу. И если тебе надо...

— Не мучай меня, Мигель, — попросила она. — Давай говорить серьезно. Пусть Хосе соберет больше наград. Клифтон раздует до небес его победу, и дело сделано.

— Нет, — твердо сказал Бергамин. — Так мы не проведем ни публику, ни Клифтона, при всей его доверчивости. Имей в виду, здесь замешана литература, ты же сама говорила, и он мгновенно почует фальшь! Ушами, хвостами и копытами не отделаться. Нужна кровь — моя и Хосе, чтобы Клифтон поверил. Лишь пройдя по самому краю, на волос от гибели, мы выиграем игру. Испанскую публику вокруг пальца не обведешь, но сработает Клифтон, ему верят больше, чем собственным глазам. Его страх за Орантеса, его волнение, его несправедливость ко мне — гарантия правды происходящего. Но у нас все получится, только если Орантес будет с нами.

— А ты сомневаешься?

— Захочет ли он обмануть своего друга?

— В каком веке ты живешь, дорогой?

— Неужели он согласился?

— Он в восторге! Надуть гринго! Это мечта каждого испанца и уж подавно каждого цыгана.

— И ему совсем не жалко Дядю? — назвав Клифтона не к месту «Дядей», Мигель выдал себя: сделка его корбила.

Но Мерседес то ли не уловила, то ли пренебрегла его проговором.

— Я объяснила, что это будет самое счастливое лето в Дядиной жизни. Он же никогда не видел маю а маю. Он вдосталь поволнуется, пошумит, отпразднует победу своего любимца и напишет замечательную книгу, которая прославит всех нас. Хосе хохотал и радовался, как дитя, когда я рисовала эту заманчивую картину. Кстати, он искренне расположен к Дяде.

— От Хосе потребуется три вещи: возмущаться в присутствии Дяди моими заработками и претензиями быть первым, на арене не закрываться и поэффектнее убить последнего быка, когда со мной будет покончено.

— Я думаю, все это нетрудно, — заверила Мерседес. — Особенно первое.

— И разок ему придется подставить зад под рога.

— Это хуже. Но будет сделано.

«А все-таки Хосе подонок, — подумал Мигель. — Красивый, милый, обаятельный, храбрый, веселый подонок. Но я его люблю. Мне следовало бы ненавидеть его из-за Мерседес, но я его люблю. Ему принадлежит сон Мерседес, ее ночное дыхание, ее стоны, ее тайны, вся ее незримая жизнь, и этим он драгоценен для меня».

— Ты очень любишь Хосе?

— Конечно. Он мой муж. Ты же не можешь быть моим мужем.

— Это ужасно, Мерседес! — вырвалось у Бергамина.

— Хорошее признание для молодожена. Но успокойся, Мигель, так лучше для нас обоих. Я бы убила тебя в первую же брачную ночь.

— За что?

— Ты слишком нравишься женщинам. Это невыносимо.

— Я был бы верен тебе.

— Это не играет роли. Я бы все равно не выдержала.

— А разве Хосе не нравится женщинам?

— Нравится. Но, конечно, не так. И он к ним совершенно равнодушен. Видит только меня, и как же я ему за это благодарна! Хосе мой, навсегда мой, я могу делать с ним все, что захочу.



«Боже мой! — думала она. — Если б можно было не сравнивать, Хосе — прекрасная гитара, но с одной-единственной струной. Виртуоз и на одной струне может совершить чудо. Я виртуоз. И Клифтон виртуоз: из вечно хорошего настроения молодого, отменно здорового и озорного цыгана он извлекает редкие богатства, не подозревая их мнимости. Но какое счастье взять в руки шести-струнную гитару!»

— Я уйду! — Она встала с кресла, брат тоже поднялся. — Дай я тебя поцелую.

Она вся вытянулась вверх, обняла его высокую шею, сильно прижалась к нему грудью и животом и почти отделилась от пола.

— Не порть мне отношений с всевышним, — сказал он, отстраняясь. — Мне понадобится его помощь.

— Я больше полагаюсь на тебя.

— Моя маленькая Мерседес будет королевой.

— И мы получим чудесную Дядину книгу!

— А я — чудесную рану в пах.

— Я поцелую твою рану. — И Мерседес не стало.

Странно, пока они разговаривали, то видели друг друга в давно сгустившемся сумраке. Мигель различал не только лиловые пятнышки ее глаз, губ, ногтей, но и блестящую чернь волос, отличную от цвета ночи, завладевшей комнатой, а когда она ушла, в комнате воцарился такой непроглядный мрак, что он не видел собственных рук, лежавших на невидимых коленях. Но зажигать свет не хотелось. Он словно признавал, что происшедшее между ним и Мерседес принадлежало царству тьмы. А потом все это выйдет под яркое солнце, на глаза десятков тысяч людей и еще одного человека, чей взгляд может оказаться опасней всех или слепее всех — в зависимости от того, какая страсть возьмет верх — житейская или литературная.

Что ни делается — все к лучшему. В конце концов и ему надоело его полупризнанное первенство. Надо со всем этим кончать. В погоне за славой мальчишка скоро перегорит. Пусть упьется коротким торжеством, деньгами, газетной шумихой и выйдет из игры. Все встанет прочно на свои места. И он окажется единственным матадором в истории корриды, который вынес два мано а мано...

... События развивались по четкому плану, разработанному Бергамином. До начало мано а мано он участвовал в нескольких корридах, где Клифтон впервые его увидел. Он показал почти все лучшее, на что был способен, но, как и следовало, не понравился Дяде. Ничто не в силах поколебать предвзятого мнения, тем более если оно сложилось у такого самоуверенного человека. Правда, Клифтон признал, что он «*togeto muy largo*»\*, и на том спасибо. Но Бергамин добился куда большего, чем это признание: Клифтон испугался за исход мано а мано и за судьбу Орантеса. Конечно, сочинив образ Бергамина заранее, Дядя на такую филигранную работу не рассчитывал. Он разволновался, распустил язык и к началу прямого соперничества чудовишно накалил атмосферу. Клифтон наивно полагал, что, избегая журналистов-интервьюеров, он сохраняет свое мнение про себя и соблюдает строгий нейтралитет и полнейшую корректность в отношении Бергамина. Но его замечания и выкрики на трибунах, разглагольствования в барах и ночных кабачках немедленно подхватывались стоустой молвой. К его словам прислушивалась вся Испания.

Состязания между двумя соперниками начались в Сарагосе. Оба показали себя в лучшем свете. Орантес превзошел Мигеля в работе с плащом, но Бергамин лучше воткнул бандерильи — то был его конек. Некоторый моральный перевес оказался на стороне Мигеля. У его последнего быка отвалилось копыто, он прикончил больное животное и с разрешения президента выставил быка от себя. Публика оценила жест матадора ценою в 400 тысяч песет, и, когда бык был убит, Мигелю присудили оба уха и хвост. Орантес же за своего последнего быка удостоился только уха. Вечером в стане Орантеса царило уныние. И Клифтон, тяжело переживая за своего любимца, раз и навсегда покончил с игрой в нейтралитет и беспристрастие. Что, собственно, и требовалось.

Но уже при следующей встрече в Валенсии Бергамин взорвал плавное течение мано а мано. Превосходно отработав с двумя быками, он подставил себя под удар третьему. Ему помог сильный ветер. Уведя быка на середину арены, он дал ветру подхватить утяжеленную по погоде мулету, умница бык тут же подсунул под нее голову, и

---

\* Здесь: «тореадор, который умеет все» (исп.).

Бергамина унесли в операционную с убедительной, хотя и не опасной раной в паху. Он был доволен собой: никто не заподозрит умысла. И главное, как точно он угадал, что этому быку можно довериться. Недаром же говорят, что он знает быков лучше, чем они самих себя.

Клифтон навестил его в госпитале. Добрый человек, он так мучился, что не может до конца искренне сочувствовать Бергамину в постигшей его беде!

Но Дядю быстро осадил: выступая один в Пальма де Майорка, Орантес подставил быку бедро и тоже лег на больничную койку. Состязание только началось, а уже полилась кровь. И тут громко заговорили, что mano a mano кончится лишь смертью одного из участников. А затем было авторитетно уточнено, кого именно...

Раны вскоре зажили, и дуэль продолжалась с еще большим ожесточением. Дядя брал все приманки подряд. Его профессиональная наблюдательность помогала Бергамину. В одном из боев бык наступил ему на ногу, к счастью, копыто соскользнуло, не повредив костей. Боли он не чувствовал, но, совершая круг почета и поравнявшись с местом, где в окружении почитателей и друзей восседал Клифтон, Бергамин не захромал, а стал чуть волочить ногу, будто желая скрыть хромоту. Клифтон, конечно, сразу «раскусил» его уловку, и все вечерние газеты поместили сообщение, что Бергамин охромел.

Вспомнив, что недавно минула годовщина со дня смерти отца, Бергамин надел на рукав куртки креп, который в сочетании с устойчиво меланхолическим выражением его лица должен был толкнуть живое воображение Дяди к похоронным образам. И тут же в интервью Клифтона, которое — он божился — взяли обманом, появилась фраза, что Бергамин носит траур по своей гибнущей репутации.

Убивая быка, Бергамин поднимал шпагу усталым движением, усталость была в его запавших глазах, слабой улыбке, когда он выходил раскланиваться. Толпа далеко не всегда приметлива, но Клифтон все наматывал на седой ус и не давал окружающим пройти мимо этих явных признаков упадка. С бесценной помощью Дяди, о чем тот, разумеется, не подозревал, Бергамин тщательно обставлял свое поражение. Даже преданные его почитатели должны поверить, что проигрыш закономерен.

В Малаге Мигель разыграл спектакль на заданную тему; выложился до конца. С быками он работал так же близко, как Орантес, и был дважды опрокинут наземь. Из-

за этих падений зрителям казалось, что он работает ближе соперника, и ему устроили овацию. Свои коронные приемы он проделал на высшем уровне и убивал быков безукоризненно — с одного удара. И он и Хосе получили равные награды, но ему достался больший успех.

И он подумал, что надо кончать. Сговор сговором, но они оба горячие, смелые, дьявольски самолюбивые люди, и борьба захватила их против воли. Того гляди заведутся так, что одному из них не сносить головы. Со странным, томительным, влекущим и мерзким чувством Бергамин понял, что повторение Малаги, пойди он на такой риск, может погубить необузданного цыгана. И сразу взял себя в руки.

Бергамин не любил Бильбао, где к нему всегда относились холодно, как и к учителю его Маноло, здесь он и решил поставить точку. На этот раз задача куда сложнее, чем в Валенсии, там ему помог сильный ветер, а здесь даже слабого дуновения не ощущалось в тяжелом от зноя воздухе. Подмога пришла в лице растяпы пикадора, на редкость неудачно подставившего себя и свою клячу под удары быка. Демонстрируя безрассудную отвагу, Бергамин втиснулся между дураком на лошади и разъяренным быком, подставив рогу старую рану, — зачем ему новая дыра в теле! Всего не рассчитаешь — бык ударил сильнее, чем хотелось бы. По особой, туманящей сознание боли Мигель понял, что затронута брюшина. Но он не позволил себе лишиться чувств в операционной, пока не узнал, что Хосе прикончил своего последнего быка, правда, с третьего захода, сложнейшим старинным приемом ресибинде, на который никто не отваживался чуть ли не со времен легендарного Педро Ромеро из Ронды, жившего двести лет тому назад. «А теперь ни о чем не думать, — приказал он себе, — и спать, спать...»

Ему было очень плохо. Из Мадрида срочно вызвали жену. Она была в палате, когда ворвалась заплаканная и сияющая Мерседес, откинула одеяло и поцеловала рану брата сквозь окровавленные бинты, гордо глянула на Джулию и вышла не утерев крови с губ. Хорошо воспитанная итальянка и бровью не повела, все испанцы казались ей немного сумасшедшими, и она уже привыкла ничему не удивляться...

... Всего не рассчитаешь. Слава, деньги, заманчивые предложения обвалом рухнули на Орантеса. Он загребал жар обеими руками. Работал на арене вдохновенно, безум-

но смело, но со срывами. Хватило его ненадолго. Уже через год он начал выдыхаться. И Бергамин и Мерседес надеялись, что он продержится хоть несколько сезонов. С ним случилось худшее, что может случиться с матадором: быки мерещились ему денно и ночью, он не знал покоя и отдыха, в воображении бесконечно сходилась с быками и побеждал их. Но это значило, что быки уже победили Орантеса.

Блестящая, хотя и несколько поверхностная книга Клифтона поддержала быстро скисающую славу. Мигель прочел эту книгу, в которой ему не поздоровилось. Дядя искренне хотел быть беспристрастным, он отдавал должное мастерству и, главное, характеру Бергамина, но в целом это были похороны по первому разряду: с венками, музыкой и высоченным могильным холмом. С легким злорадством Бергамин заметил, что Дядя тоже выдохся, — там, где касалось боя быков, он перепевал свой старый роман «Ярмарка». Ему казалось, что он описывает Мигеля и Орантеса, а это опять были Бельмонте и отец Хосе. Клифтон то ли уже не *видел*, то ли разучился передавать виденное и бессознательно обворовывал самого себя. Но, кажется, этого никто не заметил.

Конечно, на Орантеса еще ходили бы и ходили, Клифтон зажег большой костер в его честь, беда была в том, что он сам уже не мог появляться на арене. И тогда настал час Бергамина...

Очевидцы говорят, что это было похоже на смерч. Он участвовал во всех, каких только возможно, корридах: в Испании, Португалии, Италии, Франции, Южной Америке, не зная неудач, работая, как и прежде, с трюками в духе Маноло и с подготовленными быками. Но так уверенно, красиво, элегантно, что публика, вначале сдержанная — трудно поверить в человека, потерпевшего столь жестокое поражение, — буквально бесилась от восторга. Нередко, мрачно улыбнувшись, Бергамин кончал быка старинным приемом ресибиенде, но с первого удара. И все поняли, что вернулся настоящий король.

Испанцы народ гордый, самолюбивый, ненавидящий оставаться в дураках, старательно помалкивали о знаменитом и загадочном мано а мано, но иногда, увидев на улице открытый «роллс-ройс» Орантеса с пышно расцветшей Мерседес и двумя черноглазыми близнецами на заднем сиденье, прохожие обменивались понимающим взглядом, в котором сквозила насмешка над собой...

...За окном не было привычного: раскаленной, растрескавшейся земли, гигантской пыльной акации и очумевших от зноя кошек, и старый, купленный Клифтоном еще во время óно американский дом казался ему чужим. Почему-то чаще всего вспоминались кошки, не собаки, которые куда важнее и значительнее, а кошки. О собаках он старался не вспоминать, чтобы не думать о старом Джеке, убитом бородатым революционером, так испугавшимся дряхлого беззубого пса, что не пожалел на него целой обоймы. Правда, потом революционер очень сокрушался, душевно просил прощения, но Джека это не вернуло к жизни. Так и осталось для Клифтона первое свидание с революцией мертвым черным телом Джека, медленно истекающим кровью в прах земли. А революционеры пришли сказать, чтобы он ничего не боялся и спокойно жил в своей финке под охраной революционного порядка.

Кошек было не меньше семидесяти, а может, и куда больше — последнее время их не пересчитывали. Коты имели имена, кошки, кроме нескольких древних матерей, прародительниц кошачьего стада, оставались безымянными. Он не питал особого пристрастия к кошкам, хотя больших пушистых котов любил, просто не мог топить котят. Поначалу на острове был большой спрос на породистых котят, но затем рынок оказался насыщенным до отказа, и все новорожденные котята остались в доме. Почему он, так хладнокровно стрелявший по любой дичи, включая нежных, грациозных, с девичьими глазами антилоп, не мог утопить слепого, еще не очнувшегося в жизнь котенка? Быть может, потому, что человек, низведший представителя отряда тигровых до малости уютного домашнего существа, как бы взял на себя ответственность за него. Измельчавший хищник отказался от всех своих инстинктов, кроме одного, потребного человеку: ловить мышей, он стал полностью зависим от своего хозяина и тем верил ему свою жизнь. Правда, хозяева не больно задумываются над своей ответственностью и преспокойно топят котят в ведрах, тазах, чанах, унитазах, прудах, речках и других водоемах. Но уж коли ты задумался над этим, то рука не подыметься утопить котенка. В результате кошачья несметь наполнила усадьбу.

За кошками смотрят слуги, вяло думал Клифтон, а что будет, если он навсегда покинет остров? А почему он

должен его покинуть? Уж он ли не приветствовал революцию, покончившую с одной из самых омерзительных диктатур в Латинской Америке? И революция признала его своим и, убив по ошибке Джека, взяла под охрану как памятник старины или иную достопримечательность. Но он не мог там остаться. На острове ненавидели американцев, вполне это заслуживших, он и сам не слишком жаловал своих соотечественников, но любил Америку, и ненависть к ней была ему тяжела. В свое время он поселился на острове, потому что ему нравился тамошний климат, он всегда мечтал жить на море и ловить большую рыбу, но к омерзительному режиму не имел ни малейшего отношения. Сейчас к власти пришел народ. У Клифтона не было оснований для отчужденности, но и отделять себя от американцев, которым на каждом шагу предлагали выкатываться вон, он тоже не мог. Сложная и мучительная проблема. Впрочем, торопиться с решением некуда, большую часть времени он проводит теперь не дома, а в одном из тех таинственных лечебных заведений для избранных, которые, шадя репутацию клиентов, скрывают свою зловещую суть под маской закрытого пансионата. Как он там очутился? Кровяное давление. Железная скоба, сжимающая затылок. Сжимающая так, что кровь не орошает мозг. И сухой, как ядро грецкого ореха, мозг не может выдать ни строчки. Это самое ужасное. Он готов вынести любую боль, любую муку, только дайте ему тысячу слов в день. Ну, хоть полтысячи, хоть сотню. Он знает, как ни тщательно это скрывается, что за ним числят не только гипертонию, но и его страх перед ФБР и налоговым управлением, и даже нашли какое-то паршивое медицинское определение для неотвязной тревоги опытного человека, слишком хорошо представляющего, как интересен он своим прошлым, связями и даже основным местожительством первому управлению и литературными доходами — второму:

Идиоты в белых халатах то и дело заводят разговоры о его отце, прощупывают по части наследственности. Его отец, добрый, великодушный, грустный, словно так и не узнавший себя человек, хороший, бескорыстный врач, даром лечивший индейцев, сделавший много полезного окружающим и оставшийся безнадежно одиноким и в семье и среди других людей, покончил с собой выстрелом из охотничьего ружья без всяких объяснений и неперменной про-

сбы ни кого не винить. Едва ли он мог винить кого-то определенного, даже жену-стерву, отравившую ему жизнь, но немного виноваты перед ним были все: почему не научили своему умению не сойти с ума в этом печальном, безнадежно разобщенном мире? Об отце говорили как о сумасшедшем. А что это такое? Прозрение безвыходности? Невозможность вырваться из собственной тесноты, которую принимаешь за тесноту мира? Ему тоже тесно и душно и хочется вырваться, но куда, как? Вот его и суют в клинику. Для его же пользы. А какая может быть польза, если все кончилось: ему заказан даже глоток виски, он не может спать с Анни и за целое утро чудовищного напряжения не в силах сложить одной фразы...

Он увидел из окна, что привезли почту: толстую стопу газет и журналов, связку писем, проспектов, множество ярких бандеролей с книгами. Он всегда с нетерпением ждал почту в надежде, что восстановится связь с миром, но эта надежда гасла с последней, раздраженно отброшенной газетой и пустым бессмысленным письмом. Стоящие люди писем не пишут. В газетах хоть изредка что-то бывало о боксе, бейсболе, в письмах — никогда ничего: просьбы, обычно денежные, попытки установить родство, завести знакомство, связь, привлечь в какой-нибудь клуб или к липовой благотворительности, иногда просто чушь и блажь, вроде предложения сделать совместно талантливого и умного ребенка, бывали и непонятные угрозы и ничем не мотивированная брань, порой спрашивали советов, как стать писателем, о чем писать и сколько это приносит. Очень редко говорилось о его литературе, и то о вещах старых, забытых. Исключением оказалась последняя книга — о корриде. Все письма были из Испании. Соотечественники Маноло дружно поносили его за оскорбление их кумира. Но эта была такая тяжелая история, что думать о ней не хотелось. И все же думалось. Пусть он позволил себе раз-другой куснуть Маноло, но он открыл испанцам глаза на другого великого матадора — Орантеса, должно же это хоть несколько его обелить. Но испанцы, видимо, не разделяли его точки зрения, что одно стоит другого. Они и вообще вели себя непонятно. Чего уж так ожесточаться?..

Какая тоска и духота! А ведь мир редко был так подвижен, так переменчив, так конфликтен и неустойчив, как сейчас. Но частные люди не жили катаклизмами, мировой трагедией, эпохальными событиями, все глубже забиваясь в свои норы, в свое укромье, куда не достигал вой исторических ветров. Наверное, это происходило оттого, что все



проблемы стали неразрешимыми и сильные мира сего лишь притворялись, будто они пытаются что-то разрешить, все слова обесценивались, все измерялось ложной мерой, взвешивалось на врущих весах, причем все это знали и продолжали обманывать друг друга, а главное, самих себя, обманывать самую идею жизни, и нет выхода, нет спасения. Стоп! А может быть, вовсе не мир износился — и есть герои, и верующие, и прекрасные безумцы, а износился ты сам, твоя плоть и кровь, твой дух и твоя вера? Почему ты не едешь ловить большую рыбу? Кубинец-рыбак был куда старше тебя, а поймал самую большую меч-рыбу в Карибском море, и не его вина, если добычу отняли. Как хорошо и радостно писалась ему эта история, с первых же слов пришла уверенность, что слова совпадут с сутью. До чего счастливое было время, до чего счастливым человеком он был!...

Клифтон увидел, что маленький Микки, сын шофера, взял в охапку газеты и побежал к дому. Эту привилегию ему даровал сам Клифтон в память о другом мальчике, Пепе, внуке садовника финки. Остальную почту принесут позже в столовую, он любил за обедом проглядывать письма и листать старые книги. Газеты слишком воняют мочой, чтобы подавать их к столу.

Послышался звук сандалет (когда приближался Пепе, доносилось шлепанье босых ног), и, как всегда, без стука (тут оба мальчика совпадали), ворвался Микки и вывалил на широкое кожаное кресло стопу газет. Согласно ритуалу, Клифтон протянул руку к деревянному ящику прекрасных кубинских сигар и дал мальчику ароматную гавану. Тот принял ее с наивно-удивленным видом, будто не знал, как распорядиться подарком. Пепе вел себя иначе, он брал сигару, нюхал ее с видом знатока и совал за ухо, мол, выкурю на досуге, но относил дедушке. Притворщик Микки выкурит сигару сам за милую душу. И тот и другой его обманывали, но первый с благородной целью, второй от испорченности. Так же вот разнились и две его жизни — прежняя и теперешняя.

Мальчишка ушел. Клифтон лениво шевельнул газеты, и в руке оказался лист «Кроникл» с огромной фотографией матадора, наносящего удар. От длинной красиво изогнутой фигуры, чуть напоминающей вопросительный знак, пахнуло чем-то таким знакомым, близким, нужным его измученному духу, что защипало глаза, а с языка сорвалось: «Орантес!» И в этом имени вылилась вся его тоска

по той последней счастливой, настоящей жизни, какую ему довелось прожить. Он нашел очки, дрожащими руками заправил дужки за уши. С газетного листа смотрело печальное лицо Мигеля Бергамина.

И как могло ему прийти в голову, что это Орантес! Еще в прошлом году, когда он в последний раз ездил в Испанию, откуда его почти выгнали мстительные поклонники Маноло, стало ясно, что Орантес кончился. Издерганный бессонницей, желто-бледный, он жаловался на какие-то мнимые болезни, хотя единственная его болезнь — та самая, что поражает всех разбогатевших матадоров: страх перед рогами. Будем же справедливы, эта болезнь обошла Маноло и Бергамина. Но как бесстрашно и уверенно дрался Хосе в то незабвенное лето! А что, если его уверенность коренилась не только в отличной форме, силе и мастерстве? Почему так сказочно ожил раздавленный Бергамин и пошел крушить направо и налево? Клифтон еще раз с острым любопытством поглядел на красивое, печальное лицо и прочел на нем то, что прежде почему-то ускользало: выражение непреклонной воли.

Внутри стало пусто, как в брошенной казарме. И гулко прозвучало в пустоте: они надули тебя. Не было никакого вызова, был сговор. Недаром же, когда все кончилось, у него вдруг возникло ощущение, будто он выпил скисшего вина. Анни, милая, умная, любящая Анни сразу это поняла. Все было продумано, взвешено, рассчитано заранее: ажиотаж, доведенный до иступления присутствием знаменитого писателя, который один заменил целое рекламное бюро, поведение участников, ход поединка. В раскаленной атмосфере два профессионала высшей пробы хладнокровно делали свое дело. Впрочем, от одного требовалось лишь хорошо и чисто работать, другому было куда труднее: расчетливо жертвуя собой, превратить первого в короля. Можно было восхищаться мастерством, отвагой и силой воли Бергамина, вложенными им в *семейное* дело, если б тут не умерщвлялось последнее, что сохранил Клифтон от Испании. И как мог Орантес так предать дружбу? Да он даже не думал об этом. Была возможность сделать карьеру, крепко заработать, все остальное ничего не значило. А к Дяде он искренне расположен. Ужас в том, что все согласились играть краплеными картами. А он не согласен. Не потому, что он чистоплюй, а потому, что ему это неинтересно. Лучше выйти из игры. Да, он устарел, — ископаемое, мастодонт, Майн Рид. Впрочем, есть

утешение: карты крапленые, но ведь и деньги фальшивые, так стоит ли серьезно относиться к игре? Но он не может иначе, не умеет, не хочет, его игра всегда шла всерьез, хотя он, как и всякий игрок, случалось, блефовал, но это совсем другое дело. Рыбак Санпедро, проигравшийся в пух и прах, видел во сне львов, с его проигрышем увидишь разве что шакалов.

Все сгнило. Все обман, даже бой быков. А чего он, собственно, ждал от страны, где правят насилие и страх? А мальчик казался таким чистым, искренним, правдивым! С незамутненным взором делал он жалкого дурака из пожилого человека, полюбившего его как сына. Тот, старший, по крайней мере сильно рисковал, ведя свою дьявольскую игру. О нем думается с невольным уважением, хотя и безразличным. Но этот юнец, быстро превратившийся из боевого быка в быка-производителя! А, бог ему судья! Все огадилось, все оболгано. Но остается одна правда — правда последнего выстрела. Бедная Анни.

## СОДЕРЖАНИЕ

Надгробье Кристофера Марло	3
Огненный протопоп	19
Беглец	43
Остров любви	108
О ты, последняя любовь!..	149
Царскосельское утро	170
От письма до письма	181
У Крестовского перевоза	202
Заступница	220
Сон о Тютчеве	250
Злая квинта	261
Запертая калитка	297
День крутого человека	320
Смерть на вокзале	348
Учитель словесности	370
Один на один	390

**Юрий Маркович Нагибин**  
**ПРОРОК БУДЕТ СОЖЖЕН**

Редактор Н. В. Дашковская  
Художественный редактор М. А. Вакарчук  
Технический редактор В. Л. Юняев  
Корректор Л. В. Емельянова

ИБ 1995 Сдано в набор 15.03.90. Подписано в печать 05.07.90.  
Формат 84x108/32 Бумага типографская Гарнитура Т. Таймс  
Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52 Усл. кр.-отт. 23,52 Уч.-изд. л. 25,71  
Тираж 50000 экз. Изд. № 4805 Заказ № 0-324 Цена 4 р.  
Издательство «Книга» 125047, Москва, ул. Горького, 50  
Набрано в Типографии Информационно-издательского центра  
Госкомстата СССР

Отпечатано на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, ул. Воровского, 24

Нагибин Ю. М.

Н 16 Пророк будет сожжен.—М.: Книга, 1990.

ISBN 5-212-00386-5

Книга известного советского писателя Ю. М. Нагибина представляет собой сборник новелл о писателях прошлого. Героями книги стали протопоп Аввакум, В. Тредиаковский, А. Пушкин и Дельвиг, Аполлон Григорьев и Фет, Бунин и другие знаменитые российские писатели.

Читатель встретится здесь и с Гете — героем рассказа «О ты, последняя любовь!...», с Хемингуэем, Марло.

Н  $\frac{4702010201-113}{002(01)-90}$  Без объявл.

ББК 84Р7=4

Издательство «Книга» начало выпуск серии с 1988 года. Цель ее — познакомить читателя с творчеством писателей, чьи имена в годы культа личности, застойного периода были искусственно изъяты из литературного процесса, отторгнуты от читателей.

Прежде всего серия представляет имена тех, чье творчество достигло расцвета в период 20—30 годов, часто в вынужденной эмиграции. Но не только их. Забытые имена есть практически в каждом периоде отечественной литературы, забытые или просто незнакомые — их рукописи лежали в архивах, хранились у частных лиц.

Творчество писателей представлено в самых разнообразных жанрах: проза, стихи, мемуары, статьи, эссе, письма... Каждая книга сопровождается иллюстративным материалом — своеобразной летописью жизни автора, его литературного окружения, а также подробным послесловием и примечаниями, которые знакомят с творческим путем писателя, судьбой его произведений. В ряде книг факсимильно воспроизведены наиболее выразительные издания произведений того или иного автора.

Серия «Из литературного наследия» рассчитана на широкий круг читателей, но удовлетворит вкус и взыскательного bibliофила.

В серии «Из литературного наследия» вышли:

1988

**Андрей Белый. Стихотворения**

Репринтное воспроизведение сборника, выпущенного издательством З. Гржебина в 1923 г.

Это итог двадцатилетнего творческого пути поэта, единственный свод его поэтического наследия, вышедший при его жизни. Семь разделов сборника повторяют заглавия ранее вышедших сборников: «Золото в лазури», «Пепел», «Урна», «Христос воскрес», «Королева и рыцари», «Звезда», «После звезды».

**Евгений Замятин. Сочинения**

В сборник входит роман «Мы», повесть «Бич Божий», рассказы, статьи, литературные портреты и воспоминания.

Включены автобиография, письма. Репринтно воспроизведено издание 1929 г. — «Житие блохи» с рисунками Б. М. Кустодиева.

**Всеволод Иванов. «У». Дикие люди**

Впервые опубликован философский сатирический роман «У», смелое экспериментальное произведение, которое полвека не могло найти дорогу к читателю.

Факсимильно воспроизводится книга «Дикие люди», изданная в 1934 г.

О трагической судьбе непризнанных книг признанного писателя рассказывают его вдова Тамара Иванова и В. Каверин.

**К. Д. Бальмонт. Сочинения**

Факсимильно воспроизводится одна из наиболее известных и характерных книг поэта — «Будем как солнце». В сборник включены лучшие стихотворения и переводы разных лет.

**М. А. Волошин. Сочинения**

Факсимильно воспроизводится самая значительная из прижизненных книг — «Демоны глухонемые» (1919 г.). В сборник включены поэмы и стихотворения; среди иллюстраций — наиболее интересные из акварелей Волошина. Сопровождает сборник статья М. Цветаевой о Волошине «Живое о живом».

**В. В. Набоков. Сочинения**

В сборник вошли рассказы, главы из автобиографической книги «Другие берега», эссе, интервью 1920—1970 гг. Ряд текстов впервые переводится на русский язык.



**Д. С. Мережковский.** Христос и Антихрист. Трилогия. В 3 т.

Трилогия состоит из трех связанных между собою исторических романов. Том I (1989) — «Смерть богов (Юлиан Отступник)». Второй и третий тома (1990) — «Воскрешение богов (Леонардо да Винчи)» и «Антихрист (Петр и Алексей)». Прослежены параллели между переломными эпохами в истории мировой культуры: поздней античностью, Ренессансом, периодом Петровских реформ.

1990

**В. С. Соловьев.** Стихотворения. Эстетика. Литературная критика.

Издание открывают теоретические статьи, в которых представлены эстетические взгляды Соловьева: «Красота в природе», «Общий смысл искусства» и др. Основной раздел сборника составляют стихотворения и статьи на литературные темы.

**О. Э. Мандельштам.** Сочинения

В книгу вошли стихотворения из поэтических сборников «Камень», «Вторая книга» и др., а также стихотворения воронежского периода.